

И. Г. Ганин

МЕСТО
ДЛЯ ПАМЯТНИКА

Scan Kreyder - 24.09.2015
STERLITAMAK

БИБЛИОТЕКА «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

ДАНИИЛ ГРАНИН

МЕСТО
ДЛЯ ПАМЯТНИКА

ПОВЕСТИ

«ИЗВЕСТИЯ»

МОСКВА ● 1982

**РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»**

**Председатель редакционного совета
Сергей Баруздин**

**Первый заместитель председателя
Леонид Теракопьян**

**Заместитель председателя
Александр Руденко-Десняк**

**Ответственный секретарь
Елена Мовчан**

Ч л е н ы с о в е т а :

**Сурен Агабабян, Ануар Алимжанов,
Лев Аннинский, Альгимантас Бучис,
Игорь Захорошко, Имант Зиедонис,
Мирза Ибрагимов, Юрий Калешук,
Алим Кешоков, Григорий Корабельников,
Георгий Ломидзе, Андрей Лупан,
Юстинас Марцинкявичюс, Рафаэль Мустафин,
Леонид Новиченко, Александр Овчаренко,
Борис Панкин, Инна Сергеева,
Петр Серебряков, Юрий Суровцев,
Бронислав Холопов, Иван Шамякин,
Камиль Яшен**

Художник И. БРОННИКОВ

Г $\frac{4702010200-013}{074(02)-82}$ 565 подписное

© Издательство «Известия», 1982 г.



Dr. J. J. Gammie



КТО-ТО ДОЛЖЕН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Разговор затягивался. Невозможно было толком понять, что нужно этому человеку. Прижав телефонную трубку плечом, Дробышев начал перед зеркалом вывязывать галстук. Новенькая рубашка, белая в черную полоску, сидела неплохо. На фоне этих полосок галстук выглядел, пожалуй, широковатым. Дробышев придирчиво осмотрел себя в зеркале. Там стоял крепкий, сравнительно молодой мужчина, с проницательно-серыми глазами, с высоким интеллектуальным лбом, исполненный радости жизни и чувства ответственности. Дробышев подмигнул ему и перебил того, в трубке:

— Позвольте, почему это я обязан?

Потом он наклонился к зеркалу, оскалил зубы, пригладил брови и снова перебил:

— Если вам нужен отзыв, обращайтесь обычным путем, через дирекцию института.

Тот тип в трубке продолжал что-то выкрикивать.

— Вам же лучше,— сказал Дробышев,— получите официальную бумагу.

— У меня этих бумаг завались! — заорал этот парень.— Бумаг у нас не жалеют. Я хотел с вами просто...

То есть не я хотел... Но это неважно. Я понимаю, воскресный день, станете вы себя утруждать, чего ради. Ради какого-то горемыки. Ха-ха, еще настроение испортите.

Именно это и подумал Дробышев. Как раз про свое настроение.

— Вы угадали,— весело сказал он.— Воскресенье — святой день, потому прошу прощения...

— Не стесняйтесь. Можете повесить трубку. Я привык. Я ко всему привык.

Из желчного, занудливого просителя он превратился в обиженного. Он уже наступал на Дробышева. Скрипучий голос его зазвенел, как пила, наскочившая на сучок. Теперь Дробышев имел полное право положить трубку, на этом все бы и кончилось. Но, поступи он так, какой-то неприятный осадок остался бы. Он предпочитал заключить сам убийственно и галантно:

— Так вот, привычный ко всему товарищ Селянин, так кажется... Конечно, я понимаю, ваше открытие великое...

Но тут голос в трубке бесцеремонно остановил его:

— Минуточку... Да подождите вы... Ну, что ты? — это обращалось к кому-то другому.— А что мне с ним... я тебя предупреждал...— он даже не позаботился микрофон прикрыть,— аа-а, делай что хочешь.

— Послушайте,— сердито начал Дробышев, но в том-то и дело, что его никто не слушал, из трубки доносился шорох, чьи-то голоса. Положение Дробышева было глуповато; он посмотрел в зеркало, пробуя изобразить ироническое ожидание, холодное любопытство, сарказм воспитанного человека...

Из кухни тянуло запахом жареного кофе, доносился смех, звякала посуда. Зина и дочери готовили завтрак.

Наконец в трубке приблизилось чье-то частое дыхание и вздрагивающий знакомый женский голос заговорил:

— Алло, Денис Семенович, извините, пожалуйста, вы не обращайте внимания, его совсем замучили, я вас прошу — выслушайте его, вы один, кто может посоветовать, разрешите нам приехать, это ненадолго, я бы не стала, честное слово, это так важно... — она торопилась, но голос ее опадал, теряя надежду.— Я еле уговорила его, для нас это вопрос жизни, у меня не хватает сил снова... я не могу больше, если б вы знали... — Слезы перехватили ей горло, и Дробышев не выдержал:

— Успокойтесь, да разве я... ладно, приезжайте... да хоть сейчас...

К завтраку были ленивые вареники, целая гора дымилась на расписном глиняном блюде. А блюдо стояло на красной, в шотландскую клетку, клеенке, которую Дробышев привез из Эдинбурга, где он выступал на конгрессе электрохимиков.

От девочек за столом, да и вообще на кухне, становилось тесно, шумно, и начиналась игра, в которой Дробышев прикидывался их сверстником, хохотал и пугался Зины. Старшая собиралась пойти на утренник; Дробышев хотел проводить ее, но тут он вспомнил про телефонный звонок, про эту странную чету и удивился тому, что мог клюнуть на дешевый трюк со слезами. Сейчас он уверял себя, что это трюк, потому что ему было жаль терять утренние часы и нарушать день, распланированный, казавшийся таким свободным, спокойным, с прогулкой и затем приятной работой над версткой своей статьи. Ночью ему пришло на ум сравнение традиционного метода измерения с густым деревом, всегда чувствующим ветер, и теперь Дробышеву не терпелось посмотреть, как это можно вставить...

Он пожаловался Зине. Она промолчала. Конечно, он сам виноват, расплачивайся за свою доброту, но посочувствовать она могла? Ну ничего, ничего, он выдаст этой парочке, угрожающе повторил Дробышев, настраивая себя на беспощадность.

— Напрасно ты так,— заметила Зина.— Если уж пошел людям навстречу, то сделай все по-хорошему. Все равно выслушаешь их.

Элементарно. Но разумно. Зина часто смущала его не то чтобы практичностью, а тем, что практичность ее оказывалась человеческой и очевидной. Слишком часто в последнее время Зина была права, и это злило его.

Они были одноклассники, вместе кончили институт, но Дробышев давно обогнал ее, защитил кандидатскую, сейчас оформлял докторскую и в свои тридцать восемь лет чувствовал себя совсем молодым, моложе, чем когда он монтером работал на подстанции. Он знал, что Зина гордится им и в то же время ревнует его к этой молодости. Она так и застряла расчетчиком. Вроде ничего ожидать

от нее не приходилось, но дома он постоянно ощущал превосходство ее здравого смысла.

— А чем я смогу помочь им? Ничем! — упрямо сказал он.

— А что им надо?

— Конечно, чтоб я помог. Протолкнуть какую-нибудь бредовую идею.

— А если не бредовую?

— Тем хуже. Опять заниматься чужими делами. Так по-твоему? Я своего не успеваю... Ты прекрасно знаешь. Вечно ты впутываешь меня в какие-то истории.

Зина отошла к плите, заколдовала над кофейником; можно было представить ее уличающую улыбку. Было в ее терпении что-то материнское, и Дробышев успокоенно почувствовал себя взбалмошным, капризным, по сути, простофилей, не умеющим заботиться о себе, не умеющим отказывать. И, кроме того, благородным и талантливым, которому за это кое-что можно простить.

Селянины выглядели почти акробатической парой: она легкая, тоненькая, с напряженной застывшей улыбкой, он высоченный, костистый, длиннорукий. Не обратив внимания на приглашение Дробышева садиться, он зашагал по кабинету взад-вперед, отшлепывая мокрые следы на паркете, бесцеремонно оглядывая книги, аквариум, кактусы. Тонкие губы его кривились, он хмыкал и подергивал плечом.

Она беспокойно следила за ним. Она уселась на краешек дивана, зябко съежилась; казалось, замерзла, хотя день был весенний, теплый.

Дробышев сел в свое кожаное кресло, спиной к окну, закинув ногу на ногу, показывая, что готов слушать.

Селянин продолжал молча ходить, разношенные ботинки его прихлопывали. Вызывающе он разглядывал кабинет, а может, делал вид, что разглядывал, болезненно бледное лицо его дергалось в желчной усмешке. Он поджимал губы, всячески показывая, что не намерен нарушить молчание. Более невыгодно вести себя было трудно. В этом заключалось даже что-то любопытное.

Наверное, следовало подтолкнуть: «Итак, я вас слушаю» — что-нибудь в этом роде, но бес упрямства увлек Дробышева: ну, ну, давай, резвись, посмотрим, кто кого перемолчит.

Он усмехнулся.

— Костя! — сказала женщина измученно.

Она была куда моложе мужа, лет двадцать пять — двадцать семь, довольно милая внешность: короткая стрижка, слегка подкрашенное личико, припухшие красные глаза — следы недавних слез. Дробышев не сразу узнал ее — она была медсестрой в больнице, где он лежал года два назад. В белом халатике она тогда была совсем хороша; между ними даже что-то происходило — легкое, веселое...

Селянин резко взмахнул руками, как будто его дернули за какую-то ниточку, но, взглянув на жену, закивал, засуетился.

— Вот, полюбуйте, — он стал выгружать из папки бумаги, вырезки, рукописи. — Вот заключения. Акты комиссии. Рекомендуют. Предлагают. Три года прошло. Никого не интересует. Каждый откукарекался, а там хоть не рассветай.

— Простите, — Дробышев не притронулся к бумагам, — не знаю вашего имени-отчества...

Селянин подозрительно покосился на него.

— Константин, по батюшке Константинович. Я привык, что секретарша докладывает. Знаете, как они это делают, — он наклонился к Дробышеву, хихикнул, — пишут на листочке и кладут перед начальником, чтобы не затруднять их память. Поскольку визитных карточек у нас нет. Буржуазные предрассудки. Позвольте и супругу мою — Клавдия... Просто Клава. — Он чему-то усмехнулся. — Между прочим, монографию вашу я читал, весьма солидное сочинение, и я бы мог...

Дробышев предупреждающе поднял руку:

— Давайте сперва о ваших делах, Константин Константинович. Что вы хотите от меня?

— Я? — Селянин изобразил удивление. — Ничего не хочу. Ничего! — торжествующе возгласил он. — Это ее идея. Клава считает вас, так сказать, высшей инстанцией. Морально и технически.

— С чего это вы взяли... — укоризненно обратился Дробышев к Клаве, не требуя ответа.

Она вспыхнула. Зеленые глаза ее заблестели так мучительно, что Дробышев перевел взгляд ниже, на ее шею, фигуру.

— Во-первых, я давно еще, когда прочла статью в «Вечерке»...

Глупейшая, развязная статья, его расписали так, что стыдно было перед знакомыми. И вот нате — оказывается, он для кого-то возник в таком елочном обличье, расцвеченный, приторный до изжоги. Самоотверженный Рыцарь Науки, Борец за Истину, Бескомпромиссный Защитник Нового — черт те что, и теперь в глазах этой особы он именно такой. И глубокомысленная важность на его лице, его сдержанность, скромность — все из этого набора...

— Чушь, чушь! — сказал он как можно скромнее.

— И мне еще Щетинин говорил...

— Какой Щетинин? Журналист? Популяризатор?

Уловив его гримасу, она виновато кивнула, но тут вмешался Селянин:

— Я вам всё объясню. Щетинин дал статью обо мне в «Огоньке», уже после всей этой истории с КБ.

Он говорил, убежденный, что Дробышев читал статью в «Огоньке» и слышал выступление по радио, и вообще он должен знать о Селянине, не может же он не знать, если это печаталось в центральной прессе и передавалось на Союз по первой программе.

— Вы уж простите, я человек темный, — поехидничал Дробышев. — Начну-ка я с азов. — Он взял описание разработки Селянина, перелистал вводную, нашел схему. Форсирование подзарядки аккумуляторов. Добавки... Асимметричный ток по своеобразной схеме...

— Понимаете разницу с обычными устройствами? Обратите внимание на токовую диаграмму. Вот этот участок... — нетерпеливо подсказывал Селянин. — В нем весь фокус. Вам самому, пожалуй, не разгадать, тут есть тонкости. Я ведь не просто ввожу добавки... Давайте уж я вам...

Поразительно, до чего этот человек умел восстанавливать против себя. Вроде бы естественная вещь — помочь разобраться в схеме, так ведь обязательно с подковыркой, и тон оскорбительно-поучающий.

Дробышев прищурился, сказал, глядя на Клаву:

— А я-то думал сам одолеть. Поскольку я дробы проходил...

— Костя, ты мешаешь, — с неожиданной силой произнесла Клава, и лицо ее, освободясь от вымученной улыбки, стало жестким и необычным.

— Да нет, он мне не мешает, — небрежно сказал Дробышев, продолжая с интересом следить за ней. — Вы,

Константин Константинович, пока что рассказывайте, в чем у вас конфликт.

— Каюсь, недооценил,— Селянин театрально раскланялся.— Видишь, Клава, я не мешаю. Денис Семенович, подобно Юлию Цезарю, может и слушать, и читать, и мыслить... Он все может.

Клава умоляюще посмотрела на Дробышева, и он смолчал. Самое лучшее, что он мог сделать,— выискать слабое место, ткнуть в него Селянина и покончить на этом. Щелкнуть его по носу. Изящно так, по всем правилам... Не бог весть какая разработка, а фанаберии сколько...

— История моя в некотором смысле типичная. Стереотип. Изобретатель, фигура для таких, как вы, поднадоевшая, их истории всегда повторяются.— Селянин наконец уселся, вытянул ноги и, перестав скоморошничать, перешел к делу. Эту часть рассказа он излагал затверженно, отработанными фразами.

Два года назад он предложил новую систему подзарядки. Она давала значительную экономию и, конечно, сулила полный переворот. Вскоре выяснилось, что над аналогичной темой работает конструкторское бюро, возглавляемое неким Брагиным. Разумеется, метод Селянина был лучше, проще, но попробуй тягаться с целым коллективом, тем более что первые испытания метода выявили всякие недоделки. Селянин попробовал добиться средств на постройку опытных моделей. Куда там. Докладные пересылают в КБ на заключение, и там, ясное дело, рубят под корень. Селянин опротестовывает, он требует комиссии. А кто в комиссии? Опять же люди, связанные с КБ. Правда, попал туда профессор Чертков, и он, естественно, написал особое мнение — вот оно,— где высоко оценивает. Однако вскорости он умер. Селянин решил тайком, собственными силами изготовить установку, поскольку он начальник электроцеха и в его распоряжении есть некоторые средства. В это время его вызывает начальник КБ Брагин, вернее, бывший начальник, а ныне переведенный с повышением в главк, и этот Брагин предлагает сотрудничество. Схему можно продвинуть, доработать, конечно, придется взять Брагина в соавторы. Селянин отказывается, пишет министру. Опять комиссия. И тут обнаруживают, что Селянин использует служебное положение, незаконно строит опытную установку. Дирек-

ции нагорело. Селянина сняли с начальника цеха. Он обжаловал в печать. Щетинин взялся за это дело и напечатал статью в «Огоньке». Но от этого только круче завертелось. Дирекция обозлилась. Селянина зажали по всем правилам. Тем более что Брагин, несомненно, способствовал. У Брагина всюду связи. Куда только не обращался Селянин — и в обком, и в профсоюзы, и в Комитет по технике, и в прочие комитеты. Чтобы вскрыть подоплеку этого дела, он теперь добивался разоблачения Брагина. И разоблачения дирекции. В профсоюзах и даже в комитетах сидят не специалисты, они, как положено, направляют на отзыв, и, рано или поздно, все опять возвращается в тот же круг. Даже в Академии наук, напуганные Брагиным, уклоняются или же пишут что-то невразумительное...

Рассказ его от частого повторения выцвел, стерся, приобрел застарелую безнадежность. Дробышев слушал вполуха, отмечая про себя знакомые имена. Однако виду не подавал. Лицо его выражало скуку человека, давно знающего все наперед. Внутренне он развлекался, представляя фигуру Селянина в министерстве, в приемных и кабинетах, где после его жалоб и угроз вызывают секретаршу и предупреждают, чтобы с этим параноиком даже по телефону не соединяли. Представлял этих непроницаемых, тертых ребят из Госкомитета, которые на второй минуте отфутболивали его невесть куда. Нелепые манеры Селянина в кабинетах Президиума Академии со всем их церемониалом. Или, наконец, Селянин у зампреда. Как Селянин желчно оглядывал длинный полированный стол, белый пульт, кнопки, ковер... Как он фыркал... Кошмар. При таких манерах лучше вовсе не показываться на глаза. От личного появления он только проигрывал. Он раздражал, прямо-таки напрашивался на отказ. Конечно, от этого он пуще ожесточался. И сам цеплялся по всякому поводу. На каком-то активе его называли склочником или сутягой, он подал в суд за клевету. Кроме Брагина, он уже привлекал к ответственности и тех, кто поддерживал Брагина, и свою дирекцию, и членов комиссии. Против него возбудили дело за злоупотребления по работе. То есть не возбудили, а «состряпали», потому что разве он себе брал материалы, ведь он опытный образец хотел сделать. Он обжаловал приговор, он обратился в прокуратуру, требовал сменить судью, на которого, несомненно, оказали давление...

— Ого, широкий фронт у вас образовался,— не вытерпел Дробышев.

— Еще бы. Они все связаны. Одна шайка-лейка. Я установил — никому нельзя спускать, иначе...— Он выразительно скрючил пальцы, вертанул, изображая, как сворачивают ему шею.— Им только дай почувствовать слабость. Наоборот, тут надо наступать! — Он помахал кулаком, заговорщицки зашептал: — Они ведь побаиваются! Никто из них не заботится о государственных интересах. Я знаю, я отвечаю за свои слова.— Он наклонился к Дробышеву.— Прихожу я, доказываю, убеждаю, а у него в глазах — как бы выскользнуть. С какой стати он будет вмешиваться? Зачем ему это нужно? Экономия? А что ему экономия, не его деньги экономят. Понимаете, у него не болит, ему и так не плохо.

— Кого вы имеете в виду? — строго спросил Дробышев.

— Многих. Это они топтали кибернетику, они запрещали социологию.

Дробышеву все меньше нравился этот разговор.

— Напрасно вы так,— предостерегающе произнес он.— Для чего же так обобщать!

Что и говорить, реплика была не из лучших, он уловил свой промах по тому, как злорадно закривлялся Селянин, как хлопнул с восторгом себя по коленям:

— Боже, до чего знакомо! Слыхала, Клава? Хоть бы интонацию обновили. Не ожидал. Уж вы-то, Денис Семенович, вы могли бы посмелее, самостоятельнее. Да разве я смею обобщать. Я, известное дело, исключение! Печальное исключение на фоне бурного техпрогресса. Каждая гнусность у нас — исключение. А раз исключение — чего же беспокоиться?

Дробышев невозмутимо покачивал ногой. Оплешность становится оплешностью, когда в ней признаешься. Приподняв брови, Дробышев удалился в ледяные выси своего авторитета. Оттуда он взирал на этого злопыхателя с вдумчивостью астронома. Колкость, укусы, издевки не доходили до него. Сквозь прищур видно было, как Селянин выгибается, перекручивается, входя в раж. Что-то чрезмерное было в его изгибаниях. Чувствовалось, что он гарцует, и не только перед Дробышевым, совсем нет. Тогда, значит, перед Клавой? Но чего ради?

— И все же вы обобщаете. Да это и понятно. Вам обидно пребывать в виде исключения.— Безошибочно

Дробышев избрал профессорский тон, самый невыносимый для Селянина.— Обвинять в своих неудачах систему — на это не нужно мужества: раз виновата система, то вы ни при чем...— И, не давая Селянину возразить, он извлек из пачки бумагу со знакомой подписью: — Отзыв Кравцова. Вполне удовлетворительный. Вот видите. А вы всех под одну гребенку.

Селянин вскочил:

— Трус он! Предатель! Поначалу-то он хвалил. А когда я просил сравнить мою схему, оценить преимущества, он переметнулся. Поджал хвост! Брагина испугался!

Дробышев, смеясь, изобразил дребезжащим, сладким голоском:

— Дорогуша моя, увольте, я же чистый теоретик...

— Точно! — Селянин даже передернулся и тут же испытующе уставился на Дробышева: — А-а! Так вы его знаете... Ну конечно, он мне тогда советовал пойти к вам. Правильно. Вы, дескать, более в курсе...

Перед Дробышевым возникло сдобное, румяное личико, седенькие щеточки усов, окающий говорок Кравцова, весь он, радостный, лучистый, — «попик», как называли его на кафедре. «Ай да попик, втянуть меня хотел, — весело подумал Дробышев. — Ах, какая гнида».

— Тэк, тэк, ко мне направлял, — повторил Дробышев. — Ну, а к Матиевичу вы не обращались?

— Как же. Но Матиевич отказался. Вообще отказался. Не захотел вмешиваться.

— Что ж, по-вашему, и Матиевич боится?

— Нет, зачем же, Матиевич не боится... — Селянин, не кончив, замолчал.

Даже он не решился ничего плохого сказать о Матиевиче. Старик Матиевич был выше всяких подозрений. При всей своей вздорности, капризности он имел репутацию щепетильно честного. Бойцом он никогда не был, в последние годы, одряхлев, уединился, как отшельник, на своей даче, но по-прежнему слыл безгрешным верховным судьей...

— Вероятно, он из-за Щетинина, — подумав, сказал Дробышев. — Вы сами себе испортили... Кому охота быть заодно с такими, как Щетинин.

— В моем положении выбирать не приходится, — запальчиво возразил Селянин. — Да, да. Чистоплюйство мне не по карману. Щетинин не испугался, написал...

— И что?.. — Дробышев тихо улыбнулся. — И что?

В который раз его кольнула зависть к старику Матиевичу. Вернул рукопись — не желаю вмешиваться, — и конец. Не снизошел до оправданий. Другие оправдают. А не оправдают — тоже не беда, плевать ему. Но в том-то и дело, что оправдают, потому что кодекс Матиевича всем известен. Что бы там ни творилось, в любых ситуациях, он живет по своему кодексу чести. Аристократ. Этаким столбовой дворянин. Сколько его помнит Дробышев, всегда в темно-серой тройке, роскошная палка, женщинам целует ручки, старинный перстень, французские словечки. Негнущийся, скрипучий, как высохшее дерево. Конечно, не обличье делало его знаменитым, оно лишь обрамляло. И не работы. За последние годы он мало выдавал. Славу его составила безупречность репутации. Его суждения были эталоном честности. Федор Алексеевич Матиевич — один ФАМ, так молодые обозначали единицу научной щепетильности. Единица была стабильной, не менялась с годами. По этой шкале Дробышев набирал 0,7—0,8 ФАМа. Талант, работы, положение — всего этого Дробышеву хватало, добиться он мог чего угодно. Но кем бы он ни стал, какие бы звания ни приобрел, вряд ли он сумеет позволить себе то, что Матиевич. После войны при обсуждении проекта электрохимического комбината Матиевич выступил против, доказывая, что технология проекта устарела, копирует американскую, что нужно не догонять за границу, а идти собственным путем. Его пытались образумить, поскольку инициатива исходила от министра, всесильного тогда человека.

— Нет уж, извините, в этом вопросе я понимаю больше его, — заявил Матиевич, и никакие уговоры, угрозы не могли заставить его отказаться от своего мнения.

Подобных легенд о нем ходило множество, и не поймешь, в чем тут был секрет, и как это старик позволял себе подобное, и почему его уважали и не трогали. На киевском симпозиуме Надеждин разлетелся к нему, протягивая руки. Матиевич — это случилось в кулуарах, толпа кругом — проскрипел: «К сожалению, единственное, что могу, это не подать вам руки». И все, Надеждину была хана. Несмотря на шум, который поднимал тогда Щетинин по поводу надеждинского двигателя. Казалось бы, чего легче — не подать руки. Поругаться — пожалуйста, это Дробышев мог, а вот чтобы на людях руки не подать — духу не хватает. И при этом никто не усомнился в праве Матиевича на такую немилость.

Забавно действует механика репутации. С годами человек как бы играет все меньшую роль в своей жизни. Уже сама сложившаяся репутация работает вместо него.

Тот же Щетинин еще до Надеждина прославился тем, что защищал материализм от Эйнштейна, от Бора, от Ландау, а два года спустя защищал Эйнштейна от идеализма и писал воспоминания о Ландау, выставляя себя закадычным его другом. Он травил Иоффе, потом славил Иоффе, он поддерживал, даже выискивал сомнительных новаторов. Трудно сказать, чем он руководствовался, то ли ущемленным самолюбием неудачного физика, то ли жаждой раздувать сенсации. Его сторонились с брезгливой опаской. Считалось неприличным иметь с ним дело. Последнее время он изо всех сил пытался оправдаться, но уже не мог вырваться из своей репутации. Дробышеву легко было представить, как в институтах Академии рекомендовали Селянина — «тот самый, которого возносил Щетинин», «щетининский протезе». Этого было достаточно, и мало кого уже интересовало, прав Селянин или не прав...

— ...Лучше бы, если б вас Щетинин обругал,— сказал Дробышев.

Селянин встал, руку в бок, вздернул голову:

— Я не политикан! Моя сила в истине! Мне нечего терять. Каждая чинимая мне несправедливость придает мне силы! Я как Феникс...

Древнегреческий герой, трибун, народоволец — черт знает кого он изображал, поза его была невыносима в этой малогабаритной квартире.

Морщась, Дробышев покосился на Клаву. Отогревшись, она сидела, свободно раскинув руки по спинке дивана, глаза ее, оказывается, светло-зеленые, неспелые, замороженно следили за мужем. Ах, вот перед кем красовался Селянин — перед ней, больше всего перед ней,— Дробышев начинал кое-что понимать.

Фалды затрепанного пиджака развевались, когда Селянин простирали свои длинные руки, заношенные до блеска брюки пузырились. Король, облаченный в жалкое рубище. Лишь бы не быть смешным. Что ему остается — разыгрывать мученика прогресса. Перед этой девочкой он бескомпромиссный борец, жертва своих принципов, обличитель пороков; вот он надувает грудь, шариковую ручку

наперевес и бесстрашно мчится... Его не прельстишь вашими венгерскими креслами, люстрами, кактусами. Благополучные обыватели, приспособленцы — вот вы кто рядом с облаченным в рубище Селяниным — Рыцарем печального образа. Истекая кровью, он в одиночку сражается за Правду...

Было смешно и немного завидно. Дробышев подумал, что Зина никогда, во всяком случае давно, так не смотрела на него, снизу вверх, благоговейно, с отчаянной верой. У Зины постоянно подмешивалась некоторая ирония. Как бы она ни гордилась им, у нее всегда оставался запас превосходства, слишком хорошо знала она его сомнения, слабости, изнанку его успеха.

— ...У них один выход — плести интриги! Хунта! Брагин — хищник! Любыми способами, ему лишь бы наверх. — Селянин наклонился к Дробышеву. Зрачки его плясали. — Брагин, он свободен от совести. Поэтому ему так легко. Это вам не догматики. У тех хоть есть идея, а этот, я его насквозь... Можно доказать...

Дробышев мягко отстранил его:

— Может, не стоит?

— Чего не стоит?

— Заниматься мелодекламацией.

— Испугались? Не привыкли, чтобы такое и полным голосом. Ха! Рекомендую на всякий случай дать мне отпор. Отмежуйтесь. Чтобы иметь оправдание. Мало ли что, а вдруг спросят? Эх, вы, боитесь, даже слушать боитесь.

Дробышев заставил себя улыбнуться:

— Да, видать, крепко наболело у вас.

Он правильно рассчитал: намек на сочувствие достаточно было, чтобы Селянин обмяк, доверчиво раскрылся.

— Вы бы знали! Порой хоть в петлю... За что, спрашивается, меня так?.. За то, что я хочу дать государству лучшее... Я из-за них дошел... — Но, посмотрев на Дробышева, он запнулся, чутко свернул: — Форменные вредители. Они догадываются, что я раскусил их, они хотят доконать меня...

— Костя!

Селянин замер, тяжело дыша; изглоданное лицо его потно блестело, стиснутые кулаки дрожали.

«Фанатик, маньяк, — подумал Дробышев, — дать ему волю, он ради своего, своей ерундовой идейки уничтожит кого угодно».

— Ужасно принципиальный вы человек,— сказал Дробышев.— И гнев ваш весьма благороден. Послушать вас — так вы на все готовы ради справедливости. Только все это бутафория. Все оттого, что ходу не дают вашей работе. А приняли бы ее, так ходили бы в обнимку с Брагиным. И нахваливали бы его и всех начальников...— Он сам не ожидал от себя такой злости. Слишком хорошо он знал цену подобным демагогам. Дешевка. Хорош как не полиняет. Он с удовольствием общипывал этого вредного индюка. Пусть Клава увидит его без украшений, так сказать, в натуральном виде.

Вытянув шею, она напряженно следила за их схваткой. Глаза ее перебегали от одного к другому, сравнивая, и это сравнение подстрекало Дробышева. До сих пор он был зрителем, слушателем, судьей, теперь же, он чувствовал, ему хочется одолеть Селянина, выиграть, что-то возникло, натянулось между ним и Клавой, какие-то силовые линии.

Было, конечно, приятно ощущать крепость своих ударов, но дальше начиналась жестокость и — женская жалость к поверженному.

С великодушием сильнейшего он отпустил Селянина:

— Давайте не будем топтать человечество из-за вашей мозоли.

Однако Селянин быстро пришел в себя, он потребовал «вернуться к существу», к своей разработке, к технической ее новизне, к слабостям схемы КБ. Он снова насккивал на Дробышева — неужели тот не сумеет разобраться и оценить преимущества селянинской идеи.

Нет, Дробышев не хотел оценивать. Зачем? Чтобы Селянину легче было разделаться со своими врагами? И без того Селянин уже не думал о внедрении. Ему важно было лишь восторжествовать, во что бы то ни стало выиграть, сразить... Поразительно, сколько злобы скопилось в этом человеке. И в то же время он упивался своим открытием. От гордости его заносило.

— Никому до меня в голову не приходило так использовать токовые характеристики. Вроде бы невероятно, да? Как все гениальное.

На всякий случай он посмеивался и снова величественно хвалился. Четырнадцать миллионов экономии дает, шутка ли. По самым скромным подсчетам! Любая капиталистическая фирма меня бы озолотила!

Он становился до скуки похожим на разного рода от-

крывателей, которые появлялись в институте. Присылали проекты новых двигателей. Раскрывали тайну шаровой молнии. В большинстве недоучки. Мечтатели, прожектеры, они с маху разрешали все противоречия теории элементарных частиц, создавали нестареющие аккумуляторы, элементы, заряжаемые от луны, от космических лучей, от газовой плиты... Авторы были назойливы и обидчивы. Неосторожный ответ вызывал у них поток жалоб. Приходили запросы, начинались телефонные звонки. Возражать всерьез было нельзя. Они охотно пересчитывали, требовали снова рассмотреть, «поскольку я учел ваши замечания», добивались открытой дискуссии.

Дробышева раздражал этот бредовый самотек. Подобная публика только мешала серьезным изобретателям. Современная наука развивалась не за счет самодеятельности и дилетантов. Открытия происходили в лабораториях, в коллективах, под опытным руководством, а не у надомников-любителей.

Однако Селянин не укладывался в эту категорию. Работа его была сырой, но профессиональной. И бахвальство имело кое-какое основание. Диффузионные ограничения снимались. Сам процесс заряда существенно менялся, уменьшалось время, по крайней мере для данного типа... Общий замысел, по-видимому, корректен. Возможно, тут влияют примеси, выбор диаграммы... Требовался тщательный анализ, как в шахматной партии — есть выигрыш или нет выигрыша.

Селянин наседал. Он старался вырвать у Дробышева хоть какое-то признание, именно сейчас, перед Клавой.

— ...Суть-то вы можете оценить? Это же не просто форсированный режим. Это же иной подход, верно? Я уверен, придется пересмотреть основы теории.

— Ну зачем так,— Дробышев снисходительно улыбнулся.— Уж сразу на основы замахиваться. Вам и без того справиться бы...

Воспаленные глаза Селянина догадливо заострились:

— В смысле не пробиться? Да? Не одолеть? Не ваша печаль... Вы свою собственную научную беспристрастность проявите...

Дробышев и виду не подал, кротко вздохнул, будто не слышал, будто думал над схемой. Было бы весьма приятно распушить, раздолбать все эти графики, кривые. С его опытом он мог это сделать убедительно; загробить

при желании можно все, даже работающую установку. Трудно понять, что его останавливало.

— Не знаю, насколько подкреплены ваши выводы... Одно дело малые объемы, а другое — большие. Там все может пойти иначе... — осторожно добавил он, и это добавление встревожило Селянина. Он потребовал доказательств.

— То небольшое положительное, что есть в отзывах, — как бы размышлял вслух Дробышев, — весьма поверхностно...

— А Брагин? Брагин-то почувствовал. Иначе разве он стал бы... Выходит, Брагин для вас не авторитет? — уцепился Селянин.

Тут он попал в точку. Брагин всегда чуял. На чужие идеи у Брагина был верный нюх. Фактически он на этом выдвинулся. И ничего в этом не было плохого. Он отбирал надежное, практичное, что можно быстро внедрить. Но сейчас, когда Брагин хлопотал об организации института, ему хотелось блеснуть собственной серьезной работой. Поэтому-то он, наверное, и рискнул предложить Селянину соавторство. Наверное, называлось это сотрудничеством, и, наверное, действительно он помог бы...

Имя Брагина вызывало запах рыбы, ухи. Имелась почти жесткая связь: Брагин — уха — костер — комариный звон — Кравцов — розовые пластмассовые стопочки.

Кравцов тогда еще был крепок, и каждую весну устраивались знаменитые кравцовские рыбалки. Приезжал Брагин из Москвы, привозил водку экспортную, медальную, собиралась «школа Кравцова» — и закатывались дня на три на Вуоксу.

На третий год аспирантуры Дробышев впервые сподобился, был допущен. От выпитой водки, от близости больших людей он быстро ошалел. Каждый казался ему крупным ученым. Еще бы, у всех степени, кафедры, книги; члены коллегии, ученых советов, каких-то президиумов. И запросто, в ватниках, драных кепочках, с ним чокаются, с Денисом Дробышевым, бывшим монтером. Кравцов тост за него произнес, да так, что Дробышева слеза прошибла, и вот ведь загадка психики — тут же, с этой самой слезой во взоре, попросил Брагина быть оппонентом. До сих пор по спине пробирает, как похолодели желтые глаза Брагина: «Вы что, сюда приехали делишки

свои устраивать?» Мастак он на подобные повороты. А диссертацию все же взял и отзыв написал хороший. Не сам, конечно, писал. Это уж потом Дробышев узнал. Во всей этой физике-математике Брагин не тянул. Он лишь учуял в Дробышеве предстоящую, так сказать, фигуру. Дробышев понятия не имел, что его ждет, а Брагин небось вычислил, сэкстраполировал. Со временем Дробышев, конечно, прозрел. Эпоха переоценок и утраты иллюзий. Неловко вспоминать, до чего он был наивен. Правда, Брагин тоже за эти годы гибче стал, но в общем и целом это был прежде всего деляга. Циничный, беззастенчивый, энергичный и в чем-то наивный. Обсуждали очередную работу КБ. Дробышев выступал довольно критически. Брагин подсел к нему и стал выяснять, что случилось — может, кто из работников КБ его обидел, может, кто-то наклепал, в чем дело? Послушав Дробышева, он печально сказал: «Темнишь ты, парень. Не хочешь признаваться».

Беда в том, что он развратил КБ на мелких, выгодных беспроектностию работах. Самое важное было выполнить в срок. Те, кто пытался углубиться, невольно задерживали, срывали план. Постепенно талантливая молодежь уходила, выдвигались аккуратные исполнители. Научный уровень падал, и Дробышев предвидел, что вскоре ему придется схватиться с Брагиным всерьез.

— ...И что же? — впопад его мыслям поинтересовался Селянин. — Вообще, интересно, как вы расцениваете Брагина? — Пистолетом наставил палец, вцепился глазами, будто следил за раздумьями Дробышева, будто слышал его мысли. Эта проницательность настораживала. Было в ней что-то опасное.

— Подождите. — Дробышев нахмурился над рукописью, потом задумчиво спросил: — Вы сейчас кем работаете?

— Я не работаю, я влачу, — подхватил Селянин с восторгом самоунижения. — Спускаюсь по той самой лестнице, по коей вы возноситесь. С начальника цеха на старшего, со старшего на сменного. Ниже некуда. Сменный инженер, то, с чего начинал. В нарушение всех законов. А что им закон. Звонок этого прохвоста Брагина сильнее закона.

Щеки, лоб Дробышева прохватило внезапным жаром.

— Послушайте, вы, на каком основании вы себе позволяете... Не вам судить Брагина! Что вы знаете о нем! Кто нашу электротехнику после войны поднимал! Кто внедрял новые зарядные агрегаты, кто осваивал сухие элементы! Таких организаторов поискать. При всех его недостатках. Это он, к вашему сведению, из развалин харьковский завод восстановил. Стыдно так, походя, чернить, перечеркивать...

Он встал, прошелся поостыть. Знал бы Селянин, знала бы эта женщина всю меру его справедливости. Вот оно, истинное беспристрастие.

— ...Так с какой же формулировкой вас сняли?

— По болезни.

— Чем же вы больны?

Кончик носа Селянина стал краснеть, отделяясь от бледного, костлявого лица.

Мудреное латинское название, насколько уразумел Дробышев, означало психическое расстройство. Дважды, последний раз недавно, Селянин попадал в больницу.

Так вот оно что — у Дробышева словно отлегло, все прояснилось. И как он сразу не догадался: псих. Обычайнейшее явление среди неудачников такого типа. Псих, шизик, милый ты мой, — он испытывал к нему почти нежность, — какой же спрос, если псих, можно не обижаться, не реагировать.

— Надо же, что ж вы так довели себя... — новым, нежно-докторским тоном сказал Дробышев.

— Это меня довели.

— Нет, Костик, ты, конечно, себя перемучил, — не вытерпела Клава.

Они заспорили: он — виновато оправдываясь, она — с наболевшим упорством. Из ее напоминаний, упреков Дробышев узнал, как Селянин явился к ней на работу, в профилакторий, и выступил с речью «Кто украл у вас четырнадцать миллионов». Показывал там фотографии Брагина, Кравцова, Непишева.

— Непишева? — Дробышев расхохотался, свободно, благодушно, ибо отныне с Селянина не было никакого спросу.

— Смешного мало, представляете мое положение, — сказала Клава, передергиваясь от давнего стыда и испуга, — а потом он отправился в мединститут и стал объяснять студентам, сколько больниц можно построить на эти деньги.

— Ну, а что, что мне было делать! — воскликнул Селянин, вскакивая с места, прижимая руки к груди. Что-то похожее на уважение к его нелепым поступкам шевельнулось у Дробышева. Но тотчас ему привиделось, как Селянин прокурорски обличает Брагина, Кравцова и главное Непишева, и он окончательно развеселился от этой балаганщины.

— Глупо, глупо, я понимаю.— Селянин наспех заискивающе улыбнулся Клавье.— Ну ничего, теперь я здоров. Им всем назло...— Он остановился и стал внимательно разглядывать Дробышева, как бы прислушиваясь.— А вы обрадовались? Все изменилось, да? Теперь вам можно меня расценивать иначе. Каждое мое слово... Я знаю, я замечал...— Он повертел пальцем у виска, диковато выпучил глаза и хихикнул.— Сумасшедший? Да, мне теперь стало труднее. Вот и наш разговор тоже по-другому пойдет... Вы сейчас начнете ласково увещевать... Потому что я ведь могу укусить...

Огромные черные зрачки его и впрямь казались безумными. Суетливые, размашистые жесты и задыхающаяся речь — все вдруг обрело какой-то новый смысл.

Выбрав деловито-серьезный тон, Дробышев сказал:

— Ерунда, не обращайтесь внимания, ничего не изменилось,— но тут же подумал, что и эта деловитость разгадана Селяниным. На мгновение у него появилось гнусное ощущение: будто череп его стал прозрачным, и Селянин видит, как там возникают, складываются мысли. Это было невероятно. Знал ли сам Селянин об этом? Дробышев смотрел ему в глаза и видел в темном пламени зрачков судорожную ухмылку.

— В конце концов многие гениальные люди имели какие-то сдвиги,— насильно произнес Дробышев совсем не то, что хотел сказать.— Достоевский, например. Гоголь. Всякий творческий человек немного того...

— Да, да,— рассеянно подтвердил Селянин.— Не все ли равно, кто сделал, псих или нормальный, важно, что сделано. Я заставляю их признать...

Пунктик это у него был или все же он не понимал, что после больницы он уже человек конченный. Брагину нечего опасаться, достаточно предупредить, просто намекнуть, и Селянин может доказывать что угодно, всерьез его уже принимать не станут. Крышка ему. И угадывание мыслей не поможет. Сюжет фантастического

романа: человек обладает могуществом чтения мыслей и ничего не в состоянии добиться. Потеха! Это поразило Дробышева и некоторым образом утешило. Не то чтобы он всерьез полагал, что Селянин читает мысли, но все же, допустим, если читает, и что толку?..

— ...На прошлой неделе я наконец пробился к Непишеву.

— Так, так,— предвкушая, сказал Дробышев.

— Я его все же убедил. Я ему доказал. Лед тронулся.

— Да ну?

— Напрасно иронизируете. Вчера мне уже звонили. Предлагают ехать в Кремнегорск. На опытный завод. И второй вариант... Не угадаете... Вы слишком трезвый. А знаете, логика никогда не создала ничего великого.— Не торопясь Селянин прошелся по комнате, растягивая предстоящее торжество, вознаграждая себя за недавние унижения.— Так вот, приглашают меня перейти в КБ, к Брагину.

— Ну что ж, прекрасно,— с каким-то секретом произнес Дробышев.

— Да, прекрасно. Не знаю, что вы там подразумеваете, но я-то понимаю, откуда ветер дует. Они запросили пардону. Убедились, что со мной им не сладить. На сделку вынуждены пойти. Приручить меня.

— И что же вы решили?

— Ха! Никаких компромиссов. Свернуть меня с моего пути — дудки!

Клава вздохнула. Прерывистый этот, обреченный вздох напомнил Дробышеву ее отчаянный голос в телефоне... «Не могу, не могу больше».

Перед ним разом как бы открылась их совместная жизнь в течение последних лет: пустые надежды, обещания, неудачи, его болезнь, исступленная злоба на весь мир, угрозы, а она должна соглашаться с ним, поддакивать, лишь бы не раздражать, иллюзии, которыми он морочил ее, и снова разочарования. Ежевечерний стук на машинке. Жалобы. Письма. Запах лекарств. Все стоило денег. Дробышев увидел ее чиненные матерчатые туфельки, штопку на колене и другую у щиколотки. Ноги у нее были красивые, и от этого Дробышеву стало еще больше ее жаль.

— А что, если Брагин на это и рассчитывал,— сказал он.— На это самое ваше завихрение. На ваше само-

мнение. На ваше, извините, тупое упрямство. До чего ж вы примитивны. Вас можно вычислить наперед, любые ваши реакции. Такими, как вы, управлять ничего не стоит. Брагин нуждается в вас! Эх вы...

Комбинация, затеянная Брагиным, отчетливо представилась ему. Он любил решать шахматные задачи. Это было что-то вроде трехходовки, с правильным матом, экономным и чистым. Селянин сам шел под мат. Других ходов у него не было, то есть были, но в его характере других не могло быть, и Брагин это учел. Брагин ничего не делал зря. Чтобы окончательно ликвидировать всякие слухи, он сам приглашает Селянина к себе в КБ. Приглашает, когда Селянин повержен, вроде обезврежен: смотрите все — Брагин готов простить маньяка, который клеветал на него, сутяжничал; мало того, Брагин помогает этому человеку, чем может. Ох и хват! В глазах Непишева Брагин сразу очистится. Непишев терпеть не может всяких сомнительных историй.

— Чушь! Чушь! — замахал руками Селянин. — Это вы нарочно. Ваши домыслы. Сейчас важно не поддаваться. Знаете, это ужасно — сплеховать в последний момент, когда уже там дрогнули. Достаточно мне еще немного выстоять... — Он схватился руками за свои короткие черные волосы («Их же там всех под машинку!» — сообразил Дробышев). — Нет, нет, Клава, ты не должна...

Слушать его было тягостно, точно больного, который не сознает безнадежность своего положения.

Дробышев покосился на Клаву, она как-то машинально успокаивающе кивала. Наверно, она ничего не слышала. Взгляд ее отрешенно блуждал по кабинету, впитывая спокойный уют этого чужого налаженного быта. Она как бы нежилась в солнечных бликах рыбешек, играющих в аквариуме, в ряби книжных корешков за стеклами высоких полок. И эта блестящая, удобная стойка с пластинками. И серия гравюр на стенах. Виды старого Петербурга — Дробышев приобрел их недавно, сам окантовал мореным багетом, и ему было приятно, что она заметила их. Они придавали кабинету особенность. Не то что обычные репродукции Ван Гога, Модильяни, Серова... Она любовалась без всякой зависти, отдельно от своей судьбы и все же по-женски примеряя к себе, к своему вкусу, по-иному переставляя мебель, наводя, как это пыталась Зина, порядок на его столе... Солнце высветило ее золо-

тистые волосы и глаза. Зеленоватая, прозрачная их глубина была полна печальной мечтательности.

Откуда-то из подсознания, — а по-старому, так из глубины души, — вынырнуло у Дробышева не воспоминание и не мысль, скорее нечто похожее на давнее сновидение, в котором он, Дробышев, уже был не Дробышев, а Селянин или такой же, как Селянин. Вернее, не был, а мог быть таким. Один шаг отделял его от подобной судьбы. Сладостное и в то же время жутковатое чувство порой тянуло его заглянуть в ту несостоявшуюся жизнь.

Меняли масло в трансформаторе. Стоя над душной глубиной пустого кожуха, Дробышев проверял заземление. Внизу лоснились плетения обмоток. Монтеры чистили изоляторы. Гудя, полз мостовой кран. И среди привычных звуков, запахов, движений совершенно незаметно возникло понимание того, как параллельно работают трансформаторы. Что творится здесь, внутри. И сразу все стало просто, будто и не было полугодовых поисков, расчетов, будто он и не бился над этой путаной задачей, не отчаивался.

Решение пришло само собой, он принял его как запись в студенческом конспекте. Понадобилось полчаса или больше, чтобы он уразумел случившееся. Осторожно, с застывшим лицом, он спустился в машинный зал, прошел на пульт и на обороте суточной ведомости стал записывать. Он просто механически записывал под диктовку. Ни до этого, да и, пожалуй, после, с ним не происходило ничего подобного.

Через неделю, перепечатав на машинке, сделав рисунки, он отнес статью Кравцову. Потянулись дни ожидания. Недели. На заседаниях кафедры Дробышев пытался по его лицу угадать... Кравцов ласково улыбался — его нетерпению? самомнению? гениальности? Дробышев боялся спрашивать. Тот разговор произошел по дороге в раздевалку. «Ах, да, да, ваша статья, как же...» Пухлая ручка описала замысловатую кривую. Увы, оказывается, Дробышев опоздал. В своей новой монографии Кравцов получил то же уравнение в виде частного случая параллельной работы систем. На днях сдает рукопись. Огорчительное совпадение. Что делать, идеи носятся в воздухе. Подобные совпадения известны в истории науки. Он привел несколько парадоксальных примеров. С Беллом, с

Сименсом, с Ампером. Память у него была редкостная. Гардеробщик подал ему шубу. Кравцов положил на барьер двугривенный. Неодетый Дробышев вышел на улицу за Кравцовым, все еще чего-то ожидая. «Не простудитесь, дорогуша,— сказал Кравцов.— Вам нельзя болеть. У вас диссертация. Зря вы отвлекаетесь. Нет, нет, вы молодец, додумались, своим ходом. Но все же это несколько на околице вашей темы. Умейте сосредоточиваться. Вам надо защитить. Вот цель. А все остальное...— воздушный жест ручкой.— У вас же все впереди. Богаче, богаче надо себя чувствовать».

Грабеж происходил среди бела дня, на улице, на глазах у прохожих. Пухлой ручкой за горло. Это теперь она сморщенная, немощная, а тогда она не дрогнула.

«Нет, не отдам, ни за что, у меня есть свидетели!..» Существовали ли минуты сомнений и выбора, поворотная точка, тот миг равновесия, когда определяется жизнь на многие годы?

«Да, да, вы правы, мой дорогой профессор, мой руководитель. Диссертация важнее...» Они тщательно разыграли эту интермедию. Заботливый, мудрый Учитель потряс руку опечаленного, но верного своего, талантливого, многообещающего Ученика. После этого Дробышев и получил приглашение на рыбалку. И даже часть этого самого «механизма параллельной работы» Кравцов опубликовал в виде статьи за двумя подписями — Дробышева и Кравцова. В алфавитном порядке. До сих пор на нее ссылаются. Первая печатная работа Дробышева. А все остальное в книге Кравцова.

В дерматиновом переплете. Выдвинутая на премию. В те годы вряд ли он одолел бы Кравцова. Заупрямься Денис Дробышев, и не было бы ни диссертации, ни лаборатории, ни этой квартиры, ни самостоятельности. Психовал бы вроде Селянина, строчил жалобы, ходил по приемным, доказывал свой приоритет. Постепенно озлобился бы, пожалуй, так и застрял бы дежурным инженером. Влачил бы, по выражению Селянина; может, до сих пор ютились бы они с Зиной в сырой комнатухе, дверь на кухню огромной коммунальной квартиры. Так же, как эта парочка. Перед ним была проекция его жизни, возможный ее вариант, доведенный до этой трагической, жалкой фигуры. Один шаг отделял его... Нет, нет, все было правильно. По самому высшему счету он поступил правильно. От его уступки и наука выиграла — три де-

сятка серьезных работ, монография, курс лекций, готовая докторская. Полная научная самостоятельность. Кравцовская кафедра фактически в его руках. Кравцову припомнили прошлые грехи. Для начальства он еще оставался патриархом, но в институте его открыто третировали. Ему противопоставляли Дробышева. Кравцов стал воплощением старого, Дробышев — нового времени. Сам Дробышев не мстил, не припоминал того случая. Ему предстояло еще многому учиться у того же Кравцова: надо было уметь раздобыть для своих работ средства, штаты, приборы, валютный фонд. Кроме электрохимии, существовала не менее сложная наука министерских взаимоотношений, смет, планов, сроков, связей с какими-то вроде незаметными, а на самом деле решающими людьми. Кравцов вынужден был вводить его в «сферы»; впрочем, и там все менялось, влиятельные друзья Кравцова исчезали, появлялись какие-то незнакомые Кравцову молодые, с холодными, решительными лицами, деловые и насмешливые, с которыми Дробышев быстро находил общий язык.

— Вам бы еще избавиться от вашей интеллигентности,— учил его Брагин.— Не нужна она вам, Димочка. На этом вы поскользнетесь. Интеллигентность, она хороша для приемов. По вечерам. Интеллигент, он нежный, он стесняется, он все усложняет. Его руководителем ставить нельзя. Чувствительность у него высокая. Ваше счастье, Дробышев, что вы из рабочих. И не напускайте на себя. Вытравляйте. Проще надо. Иначе вам не достигнуть...

С годами Брагин укрепился в цинизме. Он доказывал, что это помогает ему работать и трезво оценивать обстановку.

Словечко «достигнуть» он бросил не случайно; у Дробышева, по его мнению, были хорошие перспективы, и Брагин отмечал его всяческим вниманием. Грубоватые его заходы смешили Дробышева.

— Отсталые у вас суждения об интеллигентности, Брагин. Недооцениваете вы ее. Вот пощупайте.— Дробышев подставил согнутую руку. Под рубашкой круто вздулись отработанные на корте бицепсы.— Современный интеллигент — это не хлюпик. Сила плюс сознание своей ответственности, плюс еще кое-что,— многозначительно добавил он.

Когда решался вопрос о командировке в Англию,

Дробышев доказал, что послать следует его, а не Брагина, поскольку последние работы Дробышева достойно представляют нашу науку, да и сам он знает язык, и вообще...

— Как видите, я не стесняюсь,— сказал он Брагину.

Брагин одобрительно похлопал его по плечу, изображая гордость воспитателя. Он нисколько не обижался.

У Дробышева отстоялась своя теория — такого, как Брагин, надо научить уважать нашу интеллигенцию. Он, Дробышев, и есть новый тип интеллигента — не идеалиста, а трезво-расчетливого, умеющего постоять за себя, без лишней рефлексии, деликатности и комплекса вины.

Как далеко была та рыбалка, каким крохотным, глупым казался он себе с этого расстояния!..

— Давайте рассмотрим положение несколько иначе. Проще,— как бы подумал вслух Дробышев, следя за Клавой. Надо было найти ход, который разрушил бы комбинацию, оставил Брагина в дураках. В то же время откровенничать с Селяниным было бы неосторожно. Любопытная ситуация.

— Будем принимать факты как таковые. Не вникая. Брагин хочет быть благородным — чудесно, дайте ему эту возможность. Она вам же выгодна. Пойдите ему навстречу. А вы, Константин Константинович, кладете камень в его протянутую руку. Красиво ли это? Вы готовы себе во вред, лишь бы отомстить.

— Оставьте,— рассердился Селянин,— что вы разыгрываете?

— Отнюдь,— ласково сказал Дробышев, надеясь что-то еще узнать о Брагине.— Ну, было, ну, хотел Брагин присоединиться, дело житейское, а теперь-то почему вы не доверяете, ведь он к вам со всей душой. Честное слово, у нас в электротехнике слишком возятся с изобретателями...

Откровенная скука отразилась на лице Селянина, он поковырял в ухе, потом посмотрел на часы и спросил:

— Где у вас телефон?

— Н-нда...— Дробышев усмехнулся над этой бестактностью.— Пожалуйста, в коридоре.

— Мне позвонить надо.

— Я догадался. Что ж еще можно делать с телефоном?

Селянин дернулся, но смолчал.

Они остались вдвоем. Сразу стало спокойно и тихо. «А-а пошел он...» — мысленно выругался Дробышев, потянулся, скидывая с себя напряженность, хитрость этой игры, в которую он незаметно втянулся. Клава закинула руки за голову, распрямляясь. Произошло это одновременно, произвольно и так одинаково, что они улыбнулись друг другу.

«А она ничего», — отметил Дробышев, продолжая улыбаться уже по-другому. Выгнувшись, она задержалась, тело ее под платьем выпукло обозначилось навстречу его взгляду. Зеленые до оскотины глаза ее освобожденно засмеялись. Дробышев поднялся, как бы показывая себя, плечистого, в просторной горчичного цвета замшевой куртке; он видел сейчас свое твердое, крупно очерченное лицо, с улыбкой, перешедшей в прищур. Ему нравилось, что она не смутилась. В ней не было притворства, смело и даже чуть поддразнивающе она ждала. «Ей бы отдохнуть, приодеться», — подумал Дробышев.

— Устали вы с ним, — сказал он с жалостью и шагнул к ней, положил руки на ее плечи.

Получилось это у него от души, она благодарно кивнула, затем лицо ее насторожилось, но Дробышев не снял рук. Безрассудное желание вдруг охватило его. Это было как пробой, проскочила искра, пробило изоляцию, руки его стали горячее, а может, плечи ее стали горячее.

Она поднялась, он не отпускал ее. Теперь глаза ее были совсем рядом, такие зеленые, что у него сводило щеки.

Из коридора слабо доносился пресекающийся голос Селянина. Дверь и десяток шагов отделяли их от него. Достаточно соблюсти предлог — «давайте встретимся отдельно, чтобы обсудить», что-нибудь в этом роде, — и пойдет, и закрутится. Он не сомневался. Он знал, что в таких случаях надо напропалую, женщин это не оскорбляет, наоборот. Все просто. И с годами все проще и безошибочней. И как прекрасно это нежданное... А можно и без предлога, потому что какой же Селянин соперник. Мишура с него облетела, сколько можно верить его рассказам, она давно устала от его болезней, злости, занудства; чем он остановит ее? И Селянин это понимает, оттого так боится. Дробышеву ничего не стоит... Черт возьми,

в том-то и штука, что ничего не стоит. Слишком неравные силы. Одолеть калеку, убогого... Не по-мужски.

Разочарованный, он снял руки, усмехнулся, удивляясь себе.

— Тяжелый случай.

Она растерялась, не понимая, что произошло, что значат его слова.

Дробышев отступил, еще раз опечаленно полюбовался. В сереньком подкороченном платьице, тоненькая, беззащитная, она возбуждала желание заслонить, нарядить, утешить...

Собственное благородство растрогало его.

— Чем бы я мог помочь вам? Прежде всего вам,— сказал он.

Взглядом глухого она смотрела на его губы. Ему захотелось, как маленькую, погладить ее по голове.

Она с силой провела по щекам, встряхнулась. До чего ж тяжело ей было возвращаться к жене Селянина, к лекарствам, бутылкам кефира, в заваленную папками, тесную их комнату.

— Как, по-вашему, это? — она кивнула на селянинскую рукопись.

— Что ж, вероятно, работа заслуживает...

— Только не врите! — грубо сказала она. — Думаете, я не заметила? Вы оттого, что он больной? Да? Не надо. Если вы хотите помочь... Скажите. Я должна знать.

Что-то угрожающее появилось в ее голосе.

— Конечно, он преувеличивает,— сказал Дробышев, следя за ее лицом. — Это вам не радар, не лазер и никакая не революция, но принцип может оказаться...

— Принцип! — она топнула ногой. — Мне вот где эти принципы. Господи, ну почему вы не можете честно... Если это ерунда, так зачем же все? Он себя довел и нас. — Она схватила Дробышева за руку. — Я стала тоже истеричка. Вы поймите, мы не живем. Ради чего? Ни отпуска, ни выходного. Я ни разу в Москве не была. Я тоже жить хочу... Ну ладно я, но сын, сын у нас, шесть лет ему, из него неврастеника мы сделаем. Он плачет по ночам. Он отца боится. Ребенок, стоит он ваших аккумуляторов? Провалились они. У вас есть дети? Вы можете понять?..

— Шесть лет... глядя на вас, не поверишь,— любезно проговорил Дробышев и тотчас устыдился, так пошло

прозвучало это.— Да, да, ребенок, в такой обстановке, я представляю... Но что делать?

— Ведь если б у него вправду великое было открытие, вы бы тогда помогли? Верно? — она лихорадочно стиснула его руку.— И все другие помогли бы. Давно уже, значит, он себя обманывал, да? Я понимаю. Сейчас ему этот Кремнегорск предлагают. Пусть дыра. Пусть. Неважно. Надо переменить обстановку. Больше так нельзя. Дадут подъемные. Он тут больше не выдержит. И я. Я тоже...— Бледное лицо ее набухло, стало некрасивым, и эта-то некрасивость сильнее всего подействовала на Дробышева.

В коридоре Селянин положил трубку, слышались его шаги. Клава не отпускала руку Дробышева, она почти прижимала ее к себе.

— Пусть он бросит... Докажите ему. Сейчас все от вас зависит. Вы должны... Его надо заставить. Чего вы боитесь? Все чего-то боятся. Я бы ушла, но я боюсь, он убьет себя. Я тоже боюсь. А в общем, все равно. Сына жалко. Он при чем?

Шаги приблизились и прекратились. Селянин стоял за дверью. Он чего-то ждал. Клава словно ничего не слышала, нехорошее спокойствие потушило ее глаза. Если б она заплакала, Дробышеву стало бы легче.

— Тетя меня в церковь водила. А я не могу молиться. Бога нет. Известно, что нет,— тихо и быстро говорила она.— Я бога ненавижу за это, за то, что нет его.

При чем тут бог, он сначала не понял, он лишь понял, что сейчас ему предстоит решить судьбу обоих этих задержанных людей и еще ребенка. Но с какой стати, почему он должен брать на себя такую ответственность? Все это свалилось нежданно-негаданно, еще только что было легкое, игривое, если б он не уклонился, то продолжалось бы... А вот теперь поздно, даже если он ничего не станет решать, это все равно решит.

Осторожно высвободив руку, он громко сказал:

— Войдите!

— Нет, нет, подожди! — крикнула она и тотчас сморщилась как-то брезгливо.

— Что же вы... А впрочем, как хотите. Я понимаю, вам-то что...

Дробышев покраснел:

— Вы не поняли. Я готов. Я не отказываюсь. Я соби-
рался при нем...

— Нет, как же так сразу...— вдруг испугалась она.— Ведь вы должны... Он поймет. Даже не то. О чем я? Ах, да... Вы не должны, если только из-за меня. Я ведь не знаю, может, я не имею права? — Она перешла на горячечный шепот.— Он меня всегда уверял — все великое требует жертв. Он себя ведь не щадил, может, он и вправду... Когда я его слушаю, я верю, я на все готова. В конце концов, что я такое? Подумаешь, медсестра в профилактории. Может, вы не должны, то есть я... какое у меня право?

— Да что вы, выкиньте из головы,— так же шепотом бормотал Дробышев, потрясенный ее чувством.— Ничего тут великого, ерунда это, семечки, клянусь вам, ради бога не сомневайтесь, да если б и было, если б и великое, разве стоит оно, ваша жизнь, сына, его самого, я ведь все почувствовал. У меня тоже было...

Ему аж горло перехватило, он готов был поклониться ей, поцеловать ей руку — он знал, что сделает все, чтобы защитить ее, помочь, выручить...

Дверь медленно, тягуче отворилась. Петли, которые никогда не скрипели, тут почему-то взвизгнули. Селянин появился с вымученной, ненужной улыбкой.

Однажды Дробышеву пришлось консультировать биохимиков, исследующих электрическую активность мозга. Он видел эти сероватые снаружи, ярко-белые внутри бугристые полушария, утыканные электродами, пронизанные невидимыми импульсами, и сейчас он с такой же явственностью ощущал свой собственный мозг, всякие его нейронные структуры, механизм его, который включился, ожил, действовал с четкостью счетной машины.

Сомнения его разрешились. Теперь он мог не стесняться, он мог поставить Селянина на место, разделать его, как бог черепаху. Он просто обязан был ошельмовать его работу. И никаких церемоний и оговорок. Все получило оправдание, самое святое, высокое. Даже не оправдание, потому что оправдание означает какую-то вину, а речь шла о долге, у Дробышева никакого выбора не было. Он заносил красный фломастер над очередной страницей и ставил жирный нестираемый крючок вопроса. И раньше он обладал прямо-таки даром мгновенно нащупывать слабые места. Но тут он развернулся, тут он показал себя. А известно ли автору, какие процес-

сы происходят при подобном форсировании? А где же расчеты? Отрицательный электрод — это одно, а что будет с положительным? Как изменяются сроки службы? Он уцепился за эти разделы и стал трясти и потрошить, избегая прочих деталей. Вопросы, которые он ставил, были безответны, потому что сам Дробышев не знал ответа на них. Сомнения всегда неопровержимы. Шведы, а затем японцы в сороковых годах отказались от подобного форсирования, а почему? Неужели Селянин не читал? Ах, языков не знает? Теория подобия вам известна? Не то чтобы Дробышев экзамен устраивал, надо же выяснить, на каком уровне разговор вести. На пальцах такие вещи не докажешь... «Интуиция», «озарение» — это, простите, не метод.

Постепенно Дробышев «заводился». Почему, спрашивается, почему он в своих работах должен одолевать шаг за шагом, этап за этапом, не позволяя себе надеяться на случай? Да потому, что наука не может жить на счастливых находках. Важно понять, что же в действительности происходит при этих режимах, какие явления, физика процесса. Это вам не лотерея. Настоящий изобретатель не игрок. И даже когда приходит удача, он все равно не может насладиться ею, он обязан обосновать свой результат, а этот стрекатель считает своей заслугой случайную догадку. Видите ли, на него «снизошло», его «осенило», подавайте ему венок.

...Разгром получился сокрушительный. Жаль, что Клава не могла оценить его искусство. Наклонясь вперед, она сидела, точно готовая к прыжку. Зеленые глаза ее сузились. Без всякой жалости следили они, как Селянин сник, схватился за голову. Что-то мстительное было сейчас в ней, в ее по-кошачьи замершей фигурке.

Дробышеву почему-то стало грустно. Вместо удовлетворения пришли пустота и усталость, и какой-то металлический привкус во рту.

Палец Селянина, желтый, дрожащий, уткнулся в график, пытаясь что-то отстоять.

— И это придется проверить, — неумолимо сказал Дробышев.

Кожа на пальце была изъязвлена. Дробышев сообразил — пары кислоты. Аккумуляторщик. У всех аккумуляторщиков такие руки.

У Дробышева тоже — ногти неприятно белые. Все

ногти правой руки у него такие. Не от кислоты — от пневматики. На левой прошло, на правой осталось.

До сих пор — правда, все реже — снится ему обрубочный цех. Желтые лампы вяло светят сквозь черную пыль. Скорчившись, он лежит на боку и рубит. Шипят шланги, стучит зубило, воют бормашины. Огромная деталь вся в наростах, приливах; остатки земли и окалины сыплются на лицо. Он ловко счищает пригар. Появляется нарост, он срубает нарост, под ним трещины, прибыля вырастают на детали, но, вместо того чтобы работать, он читает учебник. Прибыля пучатся, тяжелеют, нависают над ним, он налегает на зубило, грохот и тряска отдаются в груди, в животе. Давление в шланге падает. «Воздух, воздух!» — орет он, а его не слышно, прибыля давят на него, прижимают к земляному полу...

В этот момент от тоски и боли он обычно просыпался и долго лежал, приходя в себя. В горле еще пыльно першило, руки дрожали от пневматики. Отстукивал будильник, громко и часто, как зубило. Скоро вскакивать, ехать на завод и ехать в институт. Полусонный мозг его не мог отделить явь от сна. Этот промежуток, когда он пребывал в прошлом и не мог доказать, что это прошлое, был ужасен.

Он как бы понимал, что отброшен на много лет назад и нет сил начинать все сызнова. Опять ходить на вечерние лекции. С гудящей головой, полуоглохшему, бессмысленно пялить глаза на лектора, стараясь только не заснуть. Он тянул из последних. Курсовой проект он запарол. Три раза перечерчивал, пересчитывал и плюнул. Тупица. Ну и провались все. Его дело, видно, вкалывать.

Каждый хорош на своем месте. Хороший обрубщик лучше плохого инженера.

Алейников, брюзгливо оттопырив губу, тыкал в чертежи — это откуда? Лапша какая-то... Потом уставился на его палец с белым ногтем. Обрубщик? Оглядел с ног до головы. «Не с вашим здоровьем... Ладно, зайдите через недельку». Добился, перевел его монтером на подстанцию и опекал до самого диплома...

Селянин смахнул рукопись, затиснул в папку, туда же закомкал вырезки, бумаги, вскочил, как подхлестнутый.

— Опровергну! Просчитаю! Исследую... И докажу. Всем докажу! Меня не остановишь! Не на того напали!

— Да вы себе представляете? — сказал Дробышев. —

Одному тут не справиться. Года два коптеть. Нужна лаборатория. Стенды. Нужно считать на машине.

— Машины не имею-с. У меня линейка. Трехрублевая. Но не беспокойтесь. Два года потрачу, три года, пока не сдохну. На вашей совести. Вы убедитесь. Вот видишь, Клава, нам нельзя уезжать. Ха, японцы, шведы... Надеялись, что я отступлю, испугаюсь? Как бы не так. Фактически, понимаешь, Клава, сам Денис Семенович вынуждает меня остаться! Из-за него остаюсь!

Он размахивал затрепанной папкой, как флагом. Новое намерение захватило его. Вырвался, извернулся из железных объятий Дробышева. С какой-то дьявольской ловкостью он переиначил доводы Дробышева и, потный, всклокоченный, уже мчался и увлекал за собой — есть цель, появилась цель, от него требовали — он готов выполнить.

— Ты заметила, Клава, отвергнуть-то Денис Семенович не решился. Раз так, он нам поможет. Он ведь благородный, он участливый! Хи-хи-хи, в самом деле, почему бы вам не помочь.— Он глумливо подмигнул Дробышеву и вдруг распрямился и совершенно спокойно сказал: — А вам выгодно мне помочь. Поручите вашим аспирантам испытать, просчитать. Давайте наставим нос Брагину. Вы же ученый, вы же против его дяльской политики. Через несколько месяцев вы преподнесете: вот вы, Брагин, высмеивали Селянина, психом его считали, а, между прочим, напрасно, он, между прочим, переплюнул ваше КБ, мы вот тут подсчитали, проверили, все правильно. Давайте? Вы можете себе это позволить. Вам-то чего бояться? Вы авторитет.

Против воли Дробышев прислушивался, даже дополнял эту невероятную картину. Заседание коллегии, его сообщение, бескорыстная работа, которую проделал он, Дробышев, помогая этому затравленному человеку. Матиевич поддержит, а Непишев... Влияние добавок для этой диаграммы можно изучить в натуральных условиях. Голыми руками Брагина, разумеется, не возьмешь. Он не преминет всадить: «Наш уважаемый Денис Семенович разделяет мнение небезызвестного Щетинина». Смешка тут не избежать. В таких случаях и самому следует рассмеяться. «Оттого, что у Щетинина дважды два четыре, не значит, что надо от этого отказываться...»

Незаметно, с какой-то завораживающей силой Селя-

нин втягивал его в головокружительный водоворот своих фантазий.

— Не слушайте его! — крикнула вдруг Клава. — А ты... ты... — стиснутые ее зубы яростно блеснули.

— Почему не послушать, — успокоил ее Дробышев. — Не так часто меня искушают, да еще с таким размахом и ловкостью. Ах, какой же вы обольститель, Константин Константинович! Жаль, что ваши овчины выделки не стоят.

— Но вы же знаете, что это не так! — Селянин стукнул по столу. — Вы же прекрасно знаете!

— А хоть бы и знал! — в запале сорвался Дробышев, но тут же осадил себя. — Вы, очевидно, полагаете, что я и мои аспиранты ждали, пока вы сделаете это лестное предложение. Изнывали от тоски. Ничего более важного, чем ваша работа, у нас нет... Послушайте, бросьте вы упрямиться, займитесь чем-то новым — сколько есть насущных проблем. Неужели вы больше ни на что не способны?

— Как же так? — Селянин впервые растерялся. — Я столько вложил...

— И каков результат? Талант — это щедрость, это богатство. А вы, как нищий, цепляетесь. Посмотрите на себя, как вы себя изуродовали.

— Вы меня хотите убедить моими неудачами? Плевал я на них. Я готов на любые жертвы. Вам этого не понять...

— А-а, бросьте. Ваши жертвы никому не нужны. Вы уверены, что ваша работа стоит трех лет жизни? Добро бы только своей. Но кто дал вам право жертвовать счастьем ваших близких?

— Вы спросите его, когда мы были в театре, — вскинулась Клава.

— ...За эти годы сколько вы могли бы создать. Вы же не работаете.

— К нам никто больше не ходит!

— ...Поверьте, Константин Константинович, в науке, в технике человек несчастный не способен создать что-либо значительное.

Неплохо сказано. Ему самому понравилось. Оно давно зрело в нем, это убеждение, что для удачной работы нужна душевная гармония, ощущение полноты жизни, пусть на ходу, на улице, но чтобы замечать весну, подстриженные, уже краснеющие ветки, желто-зеленую

траву, лезущую из-под крупитчатого, истончалого снега. Нельзя, как Селянин, лишать себя всех радостей. Это приводит к бесплодию. Да и есть ли открытие более дорогое, чем любовь, солнце, друзья?! Еще один патент, еще одна статья, ну и что, разве это заменит, возместит потерянную полноту жизни?! Жизнь — это больше, чем работа.

— Безнравственно, да, именно безнравственно работать за счет жизни.

— ...Хоть бы раз съездил с сыном за город.

— Похоже, Селянин, что у вас нет мужества отступить. Бойтесь, что останетесь ни с чем. Верно?

— ...Он раньше совсем другим был. Вы не поверите, Денис Семенович, на гитаре играл, песни пел.

Селянин усмехнулся затравленно.

— Точно. Играл.— Мучительно наморщил лоб.— Гитара была с усилителем. Клава, а где она?

— У меня отец тоже играл,— вдруг потеплевшим голосом сказал Дробышев.

— Разбил я ее,— вспомнил Селянин, вздохнув, повертел папку.— Что ж, выходит, уступить? Значит, простить все, что было?

— Вас возмездие интересует. А вы попробуйте с другого боку. Возьмитесь за что-нибудь новое. Есть же у вас какие-то идеи. Не одна, так другая пройдет,— дожимал Дробышев.— Авторитет свой восстановите. На белом коне вернетесь.

— Красиво у вас получается. Лишь бы вам не ввязываться.

— Как видите, я ввязываюсь, теряю время, терплю ваши грубости,— холодно сказал Дробышев.— Что вы упиваетесь своей одержимостью? От нее только вред делу. Нравится вам страдать. А муки-то ваши, они не из-за творчества. Из-за Брагина ваши муки. Да еще из-за вашего характера. Дон-Кихота из вас не получилось. Дон-Кихот совершал подвиги, показывал бесстрашие, а вы показываете лишь непонимание жизни. Он воевал с ветряными мельницами, принимая их за великанов, а вы воюете с великанами, принимая их за ветряные мельницы. Вы сами себя в тупик загнали. И как бы вы ни бились — не пробьете. Слишком вы много дров наломали. Все люди — человеки, у каждого самолюбие... Вот вы взываете к справедливости. А сами? Сколько вы людей пообидели? Вы и к семье своей несправедливы...— Дро-

бышев посмотрел на часы.— Самое правильное вам уехать, переменить работу.

— Уехать,— как эхо повторил Селянин.— Уехать.— Он вдруг изогнулся, подозрительно спросил:— А может, вы друзья с Брагиным?

«Вот и все, что вывел этот сукин сын»,— устало возмутился Дробышев. Но та логическая машина, которая была в нем, тотчас заработала, спокойно продолжая: стоит Селянину уехать, и Брагин потихоньку приберет к рукам его работу. Брагину выгодно избавиться от этого жалобщика. Тут уж ничего поделаться нельзя, теперь Брагин в любом случае выиграет. Конечно, когда-нибудь Дробышев предъявит Брагину счет: «Вы помните Селянина?» Когда-нибудь Дробышев использует... Выходит, следовательно, что у Дробышева все же есть своя корысть, пусть честная, но корысть, он заинтересован в отъезде Селянина? Забавная диалектика.

— Вы готовы весь мир делить по Брагину — за и против. Далеко у вас зашло. Уезжайте. Я забочусь не о Брагине,— сказал Дробышев с приятным ощущением правдивости своих слов.— Мне жаль вашу жену и сына.

Клава взяла Селянина под руку.

— Большое спасибо вам, Денис Семенович,— кроме признательности, во взгляде ее отразилось и то, что произошло между ними двумя. Она как бы огладила Дробышева, потерлась о его замшевую куртку. Не поймешь — досадовала она, жалела, дразнила? Дробышеву больше всего нравились в женщинах эти переливы чувств, загадочных, нечаянных, которых и определить-то в точности нельзя. Снова ему взгрустнулось от своего благородства.

— Не за что,— сказал он.— Самые лучшие советы — это всего лишь слова. Желаю вам на новом месте удачи.

Клава подтолкнула мужа, он покорно протянул руку, пробормотал:

— Спасибо...

Влажная рука его бессильно смялась в руке Дробышева.

— Ничего, ничего, все будет о'кей!

Дробышев испытывал умиротворение, как хирург после тяжелой и удачной операции. В передней он заботливо помог Селянину надеть пальто. Движения Селянина были неверны, одеревенелыми пальцами он долго застегивал пуговицы своего кожаного потертого реглана.

Клава подала ему шляпу, он нахлобучил ее, стоя перед зеркалом.

Клава тянула его за рукав.

— Ну и субъект,— сказал Селянин, разглядывая себя.— Такой может выкинуть любое. Почему нет? В этом его преимущество.

Дробышев утомленно ждал, он никак не мог предвидеть того, что произойдет.

Открылась входная дверь, появилась Зина с младшей дочкой. Румяные, холодные, они принесли с улицы запахи весны. Анечка держала длинную ледяную сосульку, у Зины была сумка с продуктами. В маленькой передней возникла толчея, Дробышев знакомил женщин, раздевал Анечку и не заметил, с чего все началось, почему Селянин взял Зину за руку и говорит, захлебываясь от возбуждения и страха, что его прервут.

Дробышев лишь увидел, что Зина несколько не испугалась. Она слушала внимательно, не отнимая руки, напряженно следя за его прыгающей мыслью.

— ...Они оба вынудили меня. Ваш муж... у него логика. Он меня логикой раздавил. А если душой, вы поймете, потому что не может так быть, чтобы всем выгодно. Где-то ошибка. Брагину выгодно, Клаве выгодно, мне выгодно. Вы чувствуете? Всем выгодно, чтобы я отказался. Вашему мужу выгодно. Допустим, мелочь я изобрел, пускай гайку. Не закон природы, не Эйнштейн, но если гайка эта для меня — как если б я был Эйнштейн. Вы понимаете? Сегодня гайку отвергнут, завтра — генетику. Да, да. Генетику! — Он воспламенился этим примером. — Им тоже: отрекитесь! А они...

Все же он умел заставить себя слушать. Особенно женщин. На них действовала эта умоляющая беспомощность, эта иступленность.

— ...Ваш муж, он добрый, он ко мне добрый, к ней. Позвольте тогда вопрос. Пусть абсурдный, чисто теоретический. Если б ваш супруг отрекся, вы как, уважали бы его? Ради вас отрекся, ради дочери. Не то чтобы жизнь или смерть, это я понимаю...

С изощренным чутьем он нащупал чувствительное для Зины, воспаленное ее место, и Дробышев почувствовал на себе ее колющий взгляд.

— Да, я псих, то есть я здоров, не хуже других, но

я болел, меня легко ославить,— злорадно предупредил Селянин.— И сейчас я для всех идиот, потому что против своей выгоды... Торгуйся я для себя, никому и в голову бы не пришло. Тогда я нормальный. А тут для государства, для науки, подумаешь. Главное, во вред себе. Нет, погодите, бог с ней, с наукой. Я другое хотел. Вот вы счастливы. Она тоже хочет, Клава. Я понимаю. Квартира, диссертация. Я не осуждаю... Нет, не то... Опять не то...

Он схватился за голову. Зина взглядом остановила Дробышева.

— ...Так нельзя жить,— застонал Селянин, сжимая голову.— Должны быть идеалы. Во имя чего... Иначе что же остается?

Дробышев почувствовал, что нельзя молчать, что он проигрывает. С каким наслаждением он попросту спустил бы его с лестницы. Не будь тут Зины. Селянин цеплялся за нее, он был под ее защитой, пользовался этим не по-мужски. И это в благодарность за все. Дробышев взглянул на Клаву, призывая ее в свидетели. Видит бог, как говорили в старину, совесть Дробышева чиста, пусть Селянин пеняет на себя.

— Ах, вот оно что,— сказал Дробышев.— Вы, значит, печетесь о государстве? У вас идеалы. Прекрасно, о чем тогда разговор, Константин Константинович, все улаживается как нельзя лучше.— Не издеваться, а высмеять надо было его перед Зиной, все это мерзкое кликушество. Дробышев скрестил руки, покачал головой: — Что ж вы скрывали? Я-то думал, что вы все о себе, а вы о государстве печетесь. Вы бескорыстный идеалист. Виноват, каюсь,— примериваясь, он поиграл занесенным клинком: держись, голубчик, сам напросился...— Раз так, отдайте ваше предложение Брагину. Приглашайте его в соавторы. Вы же думаете только об интересах страны. Уже год назад государство получило бы экономию, эти четырнадцать миллионов. Пожертвуйте своим личным авторством. Не все ли вам равно, с точки зрения высших идеалов. Что вам слава... А промышленности, а технике один черт, сколько там авторов — один, два... Брагин, он быстро внедрит. Ну, что ж вы? За чем дело стало? Не хочется? Чур, одному? Знаете, как это выглядит?

— Как? — ошеломленно отозвался Селянин.

— Не Брагин, не Кравцов украли четырнадцать мил-

лионов. А вы! Из-за вашей жадности. Не вам — так никому, пусть гниет. Все ваши красивые возгласы — брехня. Прикрываете свое тщеславие. Вы не лучше Брагина. Хуже. Будь вы патриот, вы согласились бы хоть на десять соавторов, сколько угодно, лишь бы дело пошло. Но как же так — разделить свою славу? Ни за что. Хоть лопни. Не отдам. Мое. Какие ж тут идеалы?.. Наговорить что угодно можно...

Он рубил его наотмашь, так, что кости хрустели. Пусть Зина видит всю труху, слишком она податлива на дешевые словеса. Ковырнуть как следует — и посыплется труха. Работать надо, работа — вот идеал, отдавай работе честно все, что можешь, будь реалистом: изобрел — пожалуйста, имеешь законное право ни с кем не делиться, но тогда нечего строить из себя праведника. От этих праведников самое зло и пакость. Внутри обязательно эгоист, а то и хапуга.

Наступила тишина, Селянин подождал, затем деревянно поклонился, главным образом Зине, направился к дверям. Безмолвный уход его возмутил Дробышева.

— Ну что ж, можно и так, — бросил он вслед.

Селянин обернулся. Лицо его было пустым, без глаз.

— Безнравственно! — прошептал он. — Все, что вы говорили. Пусть я... Но вы-то... Ведь если вы — тогда мне все можно. Я думал, что хоть кто-то должен... Я шел... Я не хотел идти... — он шептал все более невнятно и сбивчиво. — Вы думаете, четырнадцать миллионов нужнее, что они дороже такого поступка...

Некоторое время Дробышев стоял в опустелой передней. На кухне Зина и Анечка разгружали сумку с продуктами. Глухие звуки еле пробивались к нему. Словно у него заложило уши. Как будто он вышел из самолета. Дробышев пригладил волосы, провел руками по лицу.

Надо было взглянуть на часы. Он не хотел смотреть на часы.

Он пошел на кухню. Ему не надо было сейчас заходить к ним.

— Мы купили яблок, — поспешно сказала Анечка. — Хочешь?

— Только помой, — сказала Зина.

Глаза их ускользали, зеркально-безразличные.

В кабинете пахло чужим едким дымом и еще чем-то,

тоже чужим. Он открыл форточку, сел к столу. Долгожданная верстка лежала перед ним. Рыхлые листы с большими полями, удобными для правки. Текст, огибающий таблицы и формулы, текст, который еще можно подчистить...

Дробышев умел заставить себя работать при любом настроении. Что бы ни происходило, пахарь должен пахать.

Мысленно он еще следил, как Селянин и Клава идут по улице, Селянин оправдывается или, наоборот, обвиняет, старается еще более утвердиться.

Ему хотелось, чтобы зашла Зина, помешала, спросила. Никто не знает, что он переступил через себя ради этой Клавы, ради ребенка. И не узнает. Теперь этот изувер домучает их. И еще смеет говорить о нравственности. Так всегда, благородные слова захватывают подонки. Они пользуются, они произносят их с легкостью и пафосом...

Правка не приносила удовольствия. Он чиркал все более недобро. Слишком много было бесспорного. И никаких колебаний, никакого выбора, подарочный набор в блестящей упаковке.

«Ну и что?» — подмывало его написать на полях.

Закончив главу, он пошел погулять. В передней он задержался перед зеркалом, повязывая шарф.

Что-то незнакомое было в его лице. Как будто стеклянная глубина хранила отражение Селянина и его взгляд — взгляд человека, усомнившегося в чем-то главном... Удивительно было обнаружить такие глаза на своем лице.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

На песчаных отмелях чернели перевернутые смоленые баркасы. Дома стояли тоже черные, крытые серебристой дранкой, местами поросшие зеленым мхом, обнесенные высокими жердяными изгородями. Напоминали они о раскольничьих скитах, монастырях, о жизни медленной, пристальной, наполненной тайным смыслом, который всегда чудился Дробышеву в этих затерянных лесных деревнях.

Час, а может, и больше простоял Дробышев у борта, бездумно смотрел на плывущие мимо глухие леса, на

бледное пустое небо, вдыхал речную свежесть, чуть пригорченную пароходным дымком. Иногда с косы обдавало теплом, разогретым хвойным настоем. Желтая пыльца сосен припорошивала гладкую воду затонов.

Теплоход шел медленно. След его был короток. Вода быстро смыкалась позади, и река опять застывала, отражая высокие леса и песчаные косогоры.

Архангельский поезд, на который Дробышеву надо было пересестъ, запаздывал. Слоняясь по вокзалу, Дробышев набрел на расписание речного пароходства. Когда высчитал сроки прибытия и отплытия, густой голос произнес над ухом:

— Напрасно ты, парень.

Он обернулся, увидел над собою огромного хмельного бородача; лиловое, блестящее потом лицо его расплывалось от доброты, оно было воплощением мирового братства и нежности.

— Почему напрасно? — спросил Дробышев.

— Будто не знаете.— Он погрозил ему пальцем.— От реки всегда развал в голове. Да еще если ветер завяжется...

Может, это и подтолкнуло его, а может, то, что давно не плыл он пароходом, в неспешности, все только самолетами, да машинами, да поездом, и всегда скорым.

На пристани матрос, проверяя билет, наклонился, сказал доверительно:

— Вы, конечно, извините, только Кащенко ни при чем, вы команду спросите, все свидетели.

— Какой Кащенко? — спросил Дробышев.— Вы что-то путаете.

— Понимаю,— сказал матрос.

В каюте на нижней полке седоусый старичок заводил ключиком игрушечный самосвал.

— Слыхали,— сказал старичок,— Кащенко привлекают из-за тех жуликов.

— Так ему и надо,— сказал Дробышев и сунул портфель под подушку.

— Усовеститесь! Вывел их на чистую воду, вот и возводят напраслину. Говорили ему — не связывайся! — Старичок в сердцах опустил самосвал на пол, и тот, жужжа, поехал на Дробышева.

На палубах толпились экскурсанты. Пели, играли в карты, фотографировали закат, кидали хлеб чайкам.

В ресторане уже опустело. Дробышев выбрал столик

у окна. Лесистый берег тянулся совсем рядом, за стеклом. Тугая волна ломала отраженные ели и редкий березняк. Усталость командировочных дней медленно оседала, смывалась чистой речной водой.

— Что кушать будете?

Официантка, молодая, лениво зачарованная, как эта река, поигрывала привязанным карандашиком.

— А что есть?

— А ничего нет,— безмятежно прожурчала она, любопытствовала на его смех и вновь перевела незамутненные глаза на окно.

Было легко задержать ее взгляд любым испытанным приемом, особой своей намекающей улыбкой, которая вгоняла в краску, одной-двумя фразами: про фигуру, волосы, что-нибудь в этом роде. Но не было настроения. Давно уже стало ему не до этой игры.

Озабоченный командированный, немолодой, голодный, усталый — вот кем он был для этой девицы. Один из тех, от кого хочется скорее отделаться.

— Вы олицетворение инертности,— сказал Дробышев печально.— Солнечный газ. А Кашенко-то расписывал мне.

Мир тотчас преобразился, забурился.

— Вы когда его видели? Ну, как он? Медаль ему надо, а его по судам таскают! Вы простите, однако, вы по его делу?

— Ну зачем же,— туманно ответил Дробышев.

— Шашлычок желаете? Соляночка осталась.

Мимо окна прошел долговязый мужчина в роскошном черном с голубыми полосами джемпере. Фигура его показала Дробышеву знакомой. Мужчина присел на скамейку рядом с мальчиком. Они по очереди разглядывали в бинокль дальний берег.

Еще поднимаясь на теплоход, Дробышев ощутил чей-то взгляд. В мелькании пассажиров, толпившихся у борта, чьи-то глаза сверху следили именно за ним.

Прежде случайный этот рейс, со всеми его странностями, возбудил бы вкус приключения, но сейчас любые встречи и разговоры были Дробышеву в тягость. Он рад был одиночеству, своей незаметности.

Пообедав, Дробышев спустился на нижнюю палубу. Между рыжими сельдяными бочками рыбаки забивали козла. Слышно было, как наверху поют под аккордеон. Песни были незнакомые, разные и чем-то одинаковые.

... Ты неплохо устроилась,
Муж, квартира, уют,
Я ж поеду на Север,
Где норд-осты поют,
Там олень бродит замшевый,
Звезды в рыжем дыму...
Почему же ты замужем,
Ну скажи, почему?

Пели с чувством, из песни в песню повторяя эту немудреную хвалу неустроенной палаточной жизни с кострами, пургой, аэродромами. Романтика горожан. Были у нее свои поводы, но чем-то они обижали Дробышева. «Муж, квартира, уют...» Чудаки, разве это формула благополучия? С каким облегчением сменил бы он нынешнюю свою работу, такую с виду распрелестную, на эти простые лишения — мерзнуть, лазить по горам, недосыпать.

Наступающая теплая белая ночь выгнала всех на палубы. Ища укромный уголок, Дробышев зашел на корму и опять увидел того мужчину с мальчиком. Физиономия мужчины показалась ему еще более знакомой, он даже приготовился к выражению нечаянной встречи, но мужчина сделал безучастное лицо и отвернулся. Явно умышленно отвернулся.

Пустяковый этот случай почему-то задел Дробышева. Последние неудачи сделали его болезненно уязвимым. Раньше он и внимания не обратил бы. Подумаешь, кто-то отвернулся. Былой самоуверенности не хватает, ощущения устойчивости.

Найдя свободный шезлонг, он уселся поближе к борту, чтобы никто не заслонял крутого берега, розовых от невидимого закатного солнца вершин высоких сосен с обнаженными корневищами.

Здесьние места привлекали своей первобытностью. Их оставалось все меньше, нетронутых, затерянных уголков, где можно укрыться от людей, особенно от этих туристов. Собственно, людей не так уж много, размышлял он, возросла подвижность, скорость перемещения, на долю современного человека приходится, наверное, в десятки, сотни раз больше километров пути, чем раньше. Люди хотят больше видеть. Жизнь расплывается как бы вширь, а не вглубь. А ему именно хотелось вглубь...

Берег двигался совсем рядом, маня просветами брусничных полянок, еловыми шатрами. Но пока примериваешься, мечтаешь, наплывают новые манки, скользят

мимо, повторяясь в воде. Параллельно его жизни плыла другая, такая близкая, а он не в ней, он здесь, огороженный железными поручнями...

То и дело за спиной раздавались голоса, взрывы смеха, стучали каблучки. Все отвлекало, мешая сосредоточиться. Эх, люди, люди, если б вы знали, чем он занят. Крохотным коэффициентом — омегой. Буковкой в формуле. Понять, постигнуть физический смысл. А между прочим, на жизни любого из вас скажется эта самая омега. От нее зависит новый тип аккумулятора. Емкого, небольшого, способного произвести революцию в технике. Мир может преобразиться. Появятся электромобили — дешевые, бесшумные, легкие. Очистится воздух городов. Спасена будет природа. Да, да, природа, утвердился и обрадовался Дробышев. Никогда прежде он не задумывался о нравственной цели своей работы. Считалось признаком дурного тона говорить о подобных вещах. Спасены будут эти сосны, полянки.

А рядом суета, кишение, люди проходят мимо и не догадываются, что этот хмурый, одинокий пассажир творит их Будущее, такой незаметный, Благодетель Человечества, скромный Гений, один из тех, чей неоценимый вклад...

Он и посмеивался, и утешался. Мысли его клубились, как пар, что поднимался над светлой водой, оседал на правом берегу, стлался по муравчатой пойме.

Стога, затопленные туманом, всплывали куполами неведомого града.

Над чащей поднимались белые знаки створов.

У шлюпки девушка и паренек, оба в джинсах, в свитерочках, обнимались, прижимаясь так откровенно, что Дробышев отвернулся.

Почему-то все источало укор и грусть — эта парочка, уплывающие стога, красота этой жизни, которая огибала Дробышева, уходила все дальше.

Люди имеют полное право смеяться и не обращать на него внимания. За полтора года иступленной работы он получил жалкие результаты. Конечно, организационный период, неизбежные срывы, то да се, но и впереди не видно. Когда он дорвется до этой омеги...

«Селянин! — вдруг ударило его. — Не может быть!»

Он вскочил. Скамейка на юте была пуста. У лебедки стоял мальчик. Дробышев подошел, наверное, слишком быстро, потому что мальчик испуганно отпрянул.

— Здравствуй, твоя фамилия Селянин?

— Д-да.

Мальчику было лет восемь. Узкие ярко-зеленые глаза его напоминали Клаву. Он попятился к трапу, готовый бежать вниз.

— Видал? — Дробышев вынул пистолет-зажигалку.

— Не настоящий. — Все же он протянул руку, но остановился; к ним подходил отец.

Теперь, зная, что это Селянин, Дробышев еще больше удивился. Не мудрено, что он не узнал его. Перед ним был модно одетый, преуспевающий не то какой-то спортсмен, не то артист. Даже странно было обнаруживать черты прежнего Селянина в этом широкоплечем здоровяке с буйными черными волосами, с движениями сдержанными и весомыми.

— Вы это или не вы? — Дробышев развеселился. — Что с вами? Вы так помолодели.

Селянин довольно улыбнулся и тотчас согнал улыбку, но и без улыбки гладкое бронзово-загорелое лицо его сохраняло то же довольство.

— Пройдет, — сказал он.

Под франтоватым его джемпером чувствовалось тело, играющее мышцами, исчезла сутуловатость, он стал как бы выше ростом, словно распрямился, и все в нем округлилось, подобрело.

Дробышев все еще разглядывал его, потом спохватился, что так и не поздоровался, не протянул руки и почувствовал, что теперь здороваться уже не следует.

— Вас тоже не узнать... Вы что, болели? Или заработались? — спросил Селянин, впрочем, без интереса. Он хлопнул мальчика по спине: — Леша, давай-ка надень куртку.

Они посмотрели вслед мальчику, как он сбегал по трапу.

— Не ожидал... Курите? — Дробышев щелкнул зажигалкой.

Селянин помотал головой.

— Бросили? — Дробышев прикурил. — Да, сколько лет прошло.

— Года два с лишком.

«Уже два года», — подумал Дробышев. Потом он подумал: «Всего два года». Лучше было об этом не думать.

— Как ваша супруга поживает? — спросил он.

— Лично я считаю, что неплохо.— Селянин засмеялся. Он держался приветливо и безразлично. Приветливость его относилась не к Дробышеву, а к этому прелестному вечеру, красивому небу и убаюкивающему гулу теплохода.

— Это вы давеча отвернулись?

Вопрос получился глуповатым. Дробышев разозлился, ему никак не удавалось найти правильный тон.

— Я думал, вам неприятно будет,— сказал Селянин уклончиво.

Дробышев сплюнул за борт, ему хотелось вести себя небрежно, иронично, выглядеть корифеем, которому не до внешности, который может себе позволить...

— Почему же?..— вызывающе спросил он и, не давая Селянину ответить, скривился.— До чего ж вы чуткий нынче. Когда у вас нужда была, вы не заботились, приятно мне или нет.

— А у вас что, нужда? — поинтересовался Селянин. Руки его были в карманах, ноги расставлены.— Любопытство у вас. Вот что.

Явное его нежелание продолжать разговор поразило Дробышева.

— Конечно, любопытно,— сказал Дробышев как можно простодушнее, потом, осмотрев Селянина, вздохнул: — Впрочем, все ясно.

Но Селянин не спросил, что ему ясно, сладко зевнул, похлопывая себя ладошкой по губам, посмотрел на часы.

— На воде в сон тянет... Чего это вас занесло сюда?— как бы уступая, лениво спросил он.

— По делам. В Кремнегорск.

— Надо же,— протянул Селянин, чему-то усмехаясь.

— А вы? — глядя в сторону, на веселый брусничный закат, спросил Дробышев.

— Мы?.. Мы из отпуска возвращаемся.

— С супругой?

— Да, всем семейством.

— Уж не в Кремнегорск ли?

— Угадали.

— Вы что же, на «Рот-фронте»?

Селянин показал рукой:

— Смотрите, язь играет. Ишь блеснит. Голова у него позолоченная. Ох и хитрая рыба. Пойду Лешке покажу. Счастливо вам отдыхать.

Он направился к трапу.

— Ай-я-яй! Это ж неучтиво,— протянул Дробышев.— Боитесь вы меня, что ли? Такая долгожданная встреча. Можно сказать, подарок судьбы.

— Ах, помилуйте, чтоб моя скромная особа удостоилась, да я с полным удовольствием, к вашим услугам.— И Селянин церемонно раскланялся.

— Очевидно, вы работаете на «Рот-фронте»,— начальственно сказал Дробышев.— Я еду к вам устроить заказ на керамические пластины. Я занимаюсь сейчас новым типом аккумулятора.

— Слыхал.

— Ну что ж, это облегчает мою задачу. Тем более что я сам еще не знаю, что это за штука — новый электролит.— Следовало смягчить голос, но он не мог так просто отделаться от чувства обиды.— И кем вы там?

— Зам главного технолога.

А самомнения-то... Дробышев успокоенно посмеялся про себя и стал рассказывать о данных будущего аккумулятора, какие нужны пластины, в чем их особенность. Как всегда, рассказ воодушевлял его. Цифры обладали испытанной магией. Само произнесение их вслух было приятно. Он привык, что лица слушателей, даже понимающих сложность задачи, постепенно смягчались, становились мечтательно-нездешними.

Он взял Селянина под руку, повел вдоль борта. Ради такого дела можно было поступиться самолюбием.

— Выходит, мне повезло,— заключил он сердечно.— На ловца и зверь бежит.

— Не знаю,— с некоторой колкостью усомнился Селянин.— Я — что. Вам надо с директором.

— Директор само собою. А я вас в адвокаты. По знакомству. Советоваться-то он с вами будет.

— Это его дело.— Селянин высвободился, раскинул руки навстречу сыну.— Леха! Язя видал? — Он чему-то удивленно засмеялся.— Да-с... А заводешко-то наш невидный. Верно, Леха?

— Зато в некотором роде уникальный,— заступился Дробышев, превозмогая желание выругаться.— У вас можно прокатанные электроды делать. Любые покрытия.

Селянин равнодушно кивнул.

— Леха, а где мама?

— Она с тетей Томой.

Они заговорили о своем. Дробышев растерялся: даже мастера, простые заводские мастера и те ахали — вот это

аккумулятор, неслыханная емкость! К новому аккумулятору проникались интересом, расспрашивали, одни с недоверием, другие с восторгом, но как-то реагировали.

— Так как же? — напомнил он смущенно.

Селянин наморщил лоб, как бы вспоминая:

— Ах, да... Если меня спросят, я, к сожалению, буду против.

— То есть?

— Буду отговаривать директора.— И Селянин весело развел руками.

— Вот как... Почему же?

— А зачем нам взваливать на себя,— глаза Селянина смотрели кротко и приветливо, однако где-то на дне их играло веселье.— Посудите сами: работа внеплановая, трудоемкая. С этими пластинами умыкаешься. Спецоснастка нужна. Какой нам резон? И без того хвороб нам хватает.

Прикрыв глаза, Дробышев попробовал представить прежнего Селянина.

— Неужели это вы? Может, то был ваш брат? И это вы говорите мне?

— Я, я самый. Никаких братьев. В натуральную величину,— с удовольствием подтвердил Селянин.

— Ну, это уже не косметика, полная реконструкция. И снаружи, и внутри. Какое превращение!

Мальчик настороженно смотрел на Дробышева, на отца, пытаясь понять, что происходит.

— У тебя, Леша, папа иллюзионист. Только что был впереди прогресса, и хоп! — перед нами матерый консерватор. Не желает помочь передовой идее. Что с ним случилось?

Селянин миролюбиво улыбался, кивал.

— А что делать? Мы вот с Лешей выписываем «Знание — сила». Отличный журнал. В каждом номере про новые идеи столько открытий — диву даешься. И все коренные, все переворачивают.— Он сочувственно пожал плечами и подмигнул Леше, еле заметно, однако с таким мерзким намеком, что Дробышев покраснел.

«Что же это, он хочет меня выставить маньяком». Он понял, что стоит поддаться возмущению, и все пропало. И без того он успел многое проиграть в этом разговоре. Он придал голосу беззаботность мэтра, которому наплевать на результаты своей просьбы.

— Что ж, идея вам кажется нереальной?

— Идея чудесная.— Селянин мечтательно вздохнул.— У меня самого когда-то бродила мыслишка — попробовать нечто вроде биоаккумулятора. Электролит из органики.

— Чистяковский вариант?

— Зачем, у меня свой был вариант. Я даже прикидывал. Примитивно, конечно.

— Мы это направление тоже имеем в виду.

— Да ну? — вежливо удивился Селянин и помахал руками.— Прекрасное направление. Божественное направление.

Держась за поручни, он откинулся на вытянутых руках, выжимаясь, приседая, и Леша, косясь на Дробышева, тоже приседал. Двигались они в лад, глубоко и ровно дыша, так что Дробышев невольно засмотрелся. Чего ему не хватало, так это сына. Девчонки — совсем другое. Отправиться вдвоем с сыном, мешки за плечами, по рекам и лесам...

— Весьма сожалею, что ваши упражнения помешали закончить столь приятную беседу,— произнес Дробышев как хорошо воспитанный человек.— Был рад встретиться.

— Простите,— виновато сказал Селянин.— Привык перед сном...— Он выпрямился. Лицо его потно лоснилось, грудь раздувалась, он дышал шумно, наслаждаясь каждым вдохом, своим здоровьем, этим чистым воздухом.

— Мы подводным плаванием с Лешей занимаемся,— сообщил Селянин, как бы продолжая извиняться.— Да, так вы насчет биоаккумулятора говорили. Весьма перспективная проблема.

— А что, если...— Дробышев запнулся.— Конечно, если органика вас еще занимает, я мог бы... Хотите к нам в лабораторию?

Вместо широкого жеста получалась чуть ли не просьба. Что-то все время сбивало Дробышева.

Селянин улыбнулся так, как будто он ожидал этого предложения.

— Великодушно. Ценю. Жаль, что поздновато. Увы, увы! Видите ли, Денис Семенович, степени я не достиг, значит, оформите вы меня старшим инженером. Либо эмэнэс. В деньгах я потеряю рублей сто. Квартиры вы мне не дадите. Точно? А в Кремнегорске у меня трехкомнатная. И прочие условия у вас не ахти,

— С чего вы взяли?

— Да это ж невооруженным глазом...— Селянин заботливо смахнул какую-то соринку с дробышевского плеча.— Вот вы, известный ученый, должны тащиться к нам в Тмутаракань, уговаривать, упрашивать. Я ж понимаю. Вместо того чтобы вызвать директора нашего в Москву... Значит, все на вашем энтузиазме держится. Передо мной, пешкой, и то вам приходится... Куда это годится? При такой бедности добиться каких-нибудь результатов — это ж сколько времени надо. Для меня вот что курьез,— он наклонился к Дробышеву, заглядывая ему в глаза.— На что вы рассчитываете?

— В каком смысле?

— Допустим, рабочую температуру элемента снизить. Одна эта проблема потребует годы. А при ваших-то условиях? Вы прикидывали?

Вопрос был противный. Внутри заныло, ожила какая-то сосущая пакость. На что ушли последние два года? Куда они подевались? Ничего толком не вспоминалось, лишь мелкая суета, какие-то хлопоты, споры, бумажки.

С тех пор как он добился создания лаборатории, он то выбивал лаборантскую ставку, то приборы. День за днем, неделя за неделей проскакивали, и все они были ненастоящие, все были преддверием. И вот, оказывается, прошло два года — шутка ли, два года,— а до самого главного он так и не добрался. Вначале он полагал месяцев семь, от силы год потратить на организацию лаборатории. С его напором, хваткой он справится, и затем заварится оно самое, ради чего уже не жалко времени.

В тот момент собственная его жизнь казалась бессрочной, вся она располагалась в Будущем...

Об этом тоже не следовало думать.

Селянин ждал ответа. С холодным вниманием он наблюдал за Дробышевым, как в поле микроскопа за поведением какой-нибудь козявки.

— Часто лаборатория лучше всего работает, пока она в подвале,— заученно сказал Дробышев.— Наука не должна становиться жирной. Есть романтика в наших невзгодах. Недостаток средств обостряет пытливость. Бедность требует оригинального мышления...

Он без конца повторял это своим сотрудникам и своим противникам. Никто не должен был различить, уга-

дать его страхи. Особенно Брагин. И об этом лучше было не думать.

«При вашем нервном истощении надо избегать неразрешимых ситуаций», — советовал врач.

Большей частью неразрешимая ситуация состояла в том, что он не разрешал себе сказать, что хотел, дать выход своим чувствам. Только дома, с Зиной, он позволял себе срываться. Опустив голову, она умолкала, лицо ее становилось туповато-покорным. Хоть бы возразила. От ее мученического терпения с ума можно было сойти. Ему иногда хотелось довести ее до слез, до крика... Как будто она была виновата, что вместо института ему с трудом удалось добиться небольшой автономной лаборатории.

А между прочим, виноват был Селянин. Именно из-за Селянина многое перевернулось.

После того как Брагин стал соавтором, он укрепился, вскоре о Селянине уже не упоминали, повсюду фигурировал один Брагин, и само собой получилось, что новый институт достался ему. Дробышев возражал. Был даже момент, когда все заколебалось. Дробышев считал, что незачем создавать из брагинского КБ еще один НИИ. Новый институт должен заниматься действительно новой проблемой, а не поделками на злобу дня, которые Брагину кажутся наукой. Научный уровень работников КБ довольно низкий. Достаточно вспомнить историю с Селяниным. Он лишь намекнул об этой истории в числе прочих, еще ничего не зная о соавторстве. Вот тогда-то Брагин и выложил, но не просто: сперва побагровел от обиды, потом смиренно превозмог обиду; оказывается, он, Брагин, уступил просьбе Селянина, согласился помочь этому несчастному больному; он, Брагин, вдохнул жизнь в этот наивный эскиз, и как мог Дробышев, зная Брагина столько лет, после того, что Брагин сделал для него, как он мог... Невероятно! Он опустил голову, скрывая слезы — святой человек, мученик, — и седые волосы красивой волной упали ему на лоб.

Непишев осуждающе посмотрел на Дробышева, даже Матиевич покачал головой.

Конфуз получился полнейший. Всегда находчивый, умеющий шуткой снять любую неловкость, Дробышев ошеломленно молчал. Значит, Селянин последовал его

совету, и бумеранг вернулся... Машинально он пробормотал какие-то слова извинения, не слыша себя, лишь бесчувственно отмечая, как чаша весов окончательно качнулась в пользу Брагина, и под ногами словно поползло, шурша, осыпаясь...

Через несколько дней Брагин, встретив его в министерстве, обнял, сияя от дружелюбия:

— Неимоверно я тебя подсек? То-то, рыбонька моя. Надеюсь, ты не сердишься? Ты же умница. Ты оценил меня? Ну и видок был у тебя... Сверх ожидания. Но ты не придавай значения... Все равно у тебя сорвалось бы. Больно уж рискованна твоя идея. Химера. То ли дело у меня, все темы — верняк. Тебе надо начинать скромненько. Ах, Денис, Денис, вот ты лютуешь на меня. А я ведь нынче с министром говорил и свое словечко вставил насчет лаборатории тебе. Не ожидал? Видишь, какой непредвиденный изгиб. И он согласился. С тебя приходится.

Рыхлый, теплый, он нежно прижал Дробышева к себе, он был влюблен в него за свой поступок.

— И не совестно тебе? Я же знаю — ты сейчас прикидываешь: зачем, с какой стати мне это понадобилось? Опасаешься? А ты не ломай голову. Хочешь, сам скажу? Помог тебе потому, что понравилась мне твоя отчаянность. Я же тебя проектировал иначе. И вдруг нате: все побоку, отложил карьеру, репутацию ва-банк. Что с тобой стряслось?

— А то, что хватит. Пора.

— Сделаешь — лауреатом станешь. Но — риск... Не боишься?

Вот тут-то Дробышев почувствовал, что Брагин сам побаивается его, потому побаивается, что не понимает, как это могло случиться. А случилось это, когда старик Матиевич поделился выношенными своими мыслями, и у Дробышева вдруг словно щелкнуло, соединилось с собственными его размышлениями, которые, вероятно, возбудила селянинская разработка, вернее, непонятные явления, которые она выявила... Соединилось, сошлось в такой сладостной стройности, что дух захватило, и уже больше ни о чем другом думать не мог. И пошло, и закружило его, все остальное побоку. «Так и надо, — успокаивал его Матиевич, — *beati possidentes!*»¹

¹ Счастливы обладающие (лат.).

— Чего бояться, попытка не пытка.

Брагин хлопнул его по плечу:

— Это по мне! Это по-нашенски!

— Подал ручку, да подставил ножку,— буркнул Дробышев, веря ему и не веря.

— Подставил,— с удовольствием согласился Брагин.— Потому что мне победить тебя надо было. Я доказать хотел. Спик инглиш? Помнишь? А я помню.

— И только-то? Мелко. Я-то думал — принципы, философия. А вы счета сводили.

— Ах, Денис, упрощаешь ты меня. Ищешь утешения себе. Какой же ты ученый, ты должен противоречия искать. Думаешь, мне это директорство приспичило? На что оно мне? Для карьеры мои сроки уже вышли. Я теперь о других сроках задумываюсь... Старость — это, может, самая ответственная пора. Тут ищи мои мотивы. Мне зачем это директорство? Затем, что, например, я теперь многое могу исправить в своей жизни. Чувствуешь? Радиус моего действия увеличился, и принципы мои увеличились. Принципы требуют радиуса, то есть должности. И в этом пропорция должна быть. Попробуй соблюди ее. Вот, рыбонька моя, это и есть философия. Иначе карьеристом станешь...

Он наслаждался своей откровенностью, рассуждал громко, нисколько не стесняясь многолюдной канцелярии. И тут же, от избытка чувств, предложил Дробышеву войти в ученый совет института.

— Как же так, я выступал против института... Неудобно,— сказал Дробышев и, услышав свой нерешительный, застенчивый голос, вспылil. Может быть, откровенность Брагина заразила его. С какой стати он будет поддерживать этот никчемный институт своим именем. Мелкие темы, звонкие пустячки, не имеющие отношения к науке, ни одной серьезной проблемы, ничего перспективного. Нет, в эти игры он не играет.

— Раньше грешники уходили каяться в пустынь, а теперь, значит, создают для этого НИИ... Добрые дела, сделанные за счет государства, не зачтутся...

Лицо Брагина стало серьезно-запоминающим. Не надо было этого говорить. Дробышеву еще можно было вернуться назад. Согласиться. Сделать всего один шаг, один маленький шажок. Сказать «да». Это ведь так просто, так легко, все толкало его на это,

Нет, нет и нет, я был и буду противником вашего института в нынешнем его виде.

Безрассудный ты человек,— грустно сказал Брагин.— Как ты все себе осложняешь. И для своей лаборатории. Ты о деле не думаешь. Ради дела тебе не следует так говорить. Потешил себя на минутку, а потом? Потом ведь жалеть будешь. Неблагодарный ты.

И тут Дробышев не выдержал. Тут он вознаградил себя. Уж Брагину-то он ничего не должен. Кто посоветовал Селянину? Кто подтолкнул Селянина?

— Так вот оно что,— медленно сказал Брагин, разглядывая его.— Значит, ты подтолкнул... И теперь раскаиваешься?

Плохо, что даже Зине нельзя было рассказать об этом разговоре. Она сразу вспомнила бы ту сцену в передней.

На последнем совещании в министерстве Брагин невзначай обронил: «Мы бы тоже не прочь тянуть сроки, как Дробышев. Нерешенный вопрос не содержит ошибок». Лаборатория вовсе не зависела от Брагина, но Дробышев постоянно ощущал его недобрый интерес.

Надо было делать вид, что все идет как положено. Никто не должен был знать о его страхах и сомнениях.

— ...Вовремя вы пособили Брагину,— сказал Дробышев.— Вот он, конечно, может вам воздать и квартиру, и ставку. Он не предлагал вам?

— Нет, что вы, у меня с ним больше никаких дел...— искренне удивился Селянин.

— Неблагодарность с его стороны,— поерничал Дробышев.

У пологого мыса бледно светились огни бакенов. Пароход прогудел. Табунок коней, стоявших на лугу, встрепенулся. Жеребенок побежал вдоль отмели. Короткий, чем-то печальный звук гудка эхом откликнулся в дальнем бору.

— Скоро Шумья,— сообщил Селянин.— Там у нас курорт строится.

Голос его звучал умиротворенно, и Дробышев обнаружил, что весь их разговор куда-то затерялся, пропал в этих новых светлых просторах. Селянин словно заражал его расслабляющим чувством успокоения; обида, злость, попреки — все таяло перед ликом этой белесой тишины, высокого неба.

Стало еще светлее, но тени исчезли. Селянин загадочно улыбался. Был в нем какой-то секрет, какая-то недосыгаемость, которую Дробышев никак не мог разгадать; не верил, досадовал, и, казалось, Селянин с удовольствием наблюдает за его усилиями.

— Значит, вы не жалеете, что согласились на Кремнегорск? — спросил Дробышев.

— Нисколько.

— А что я с этого имею? — Дробышев принужденно хохотнул. Впрочем, не стоило пережимать, тут Селянин мог ему кое-что припомнить. Странно, почему он не пользуется случаем...

— Наша работа сейчас в стадии неразберихи, — обрывая паузу, весело сказал Дробышев. — Знаете, стадии открытия? Сперва шумиха, потом неразбериха, потом поиск виновных, потом наказание невиновных и, наконец, награждение начальства. Виновных еще нет, но будут, как в том анекдоте про волка и зайчика. Слышали?

Это он умел — круто свернуть, с видом простака выпустить очередь анекдотов, эти палочки-выручалочки, которые всегда кстати, которые упрощают любую ситуацию.

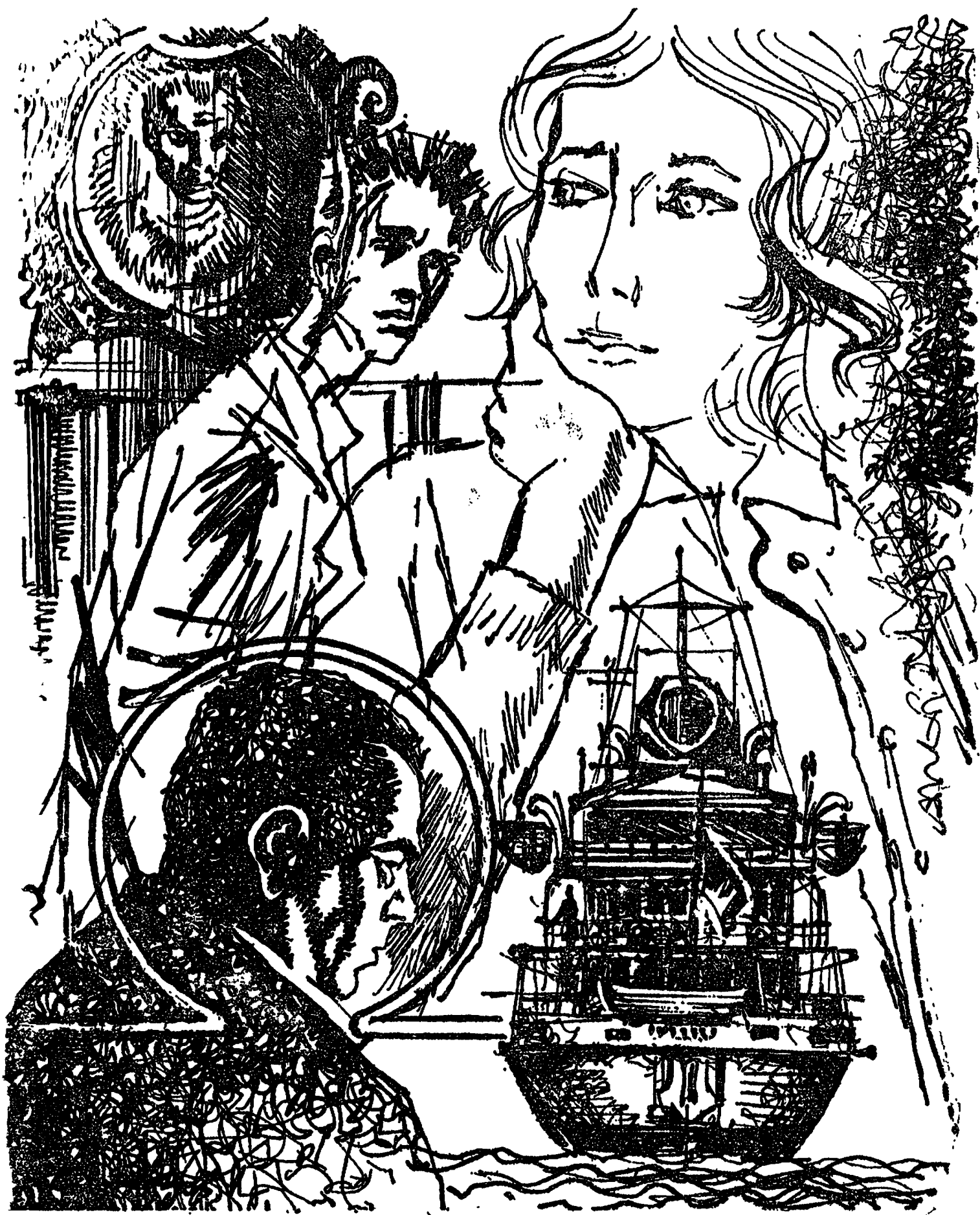
Смеялся Селянин, заливчато, по-детски, утирая глаза, переспрашивал, чтобы запомнить, и под этот смех Дробышев пригласил его к себе в каюту, пропустить по стопке для согрева, — правда, в каюте он не один... Конечно, Селянин ответно предложил к себе, и Клавдия Сергеевна будет рада...

В коридоре Дробышев замедлил шаг. Большое настенное зеркало отразило его залысину, бледное, набрякшее усталостью лицо.

Показываться в таком виде не хотелось, и в то же время хотелось увидеть Клаву. И чем больше хотелось, тем больше он боялся — этаким душевный резонанс раскачивал его.

Первым в каюту вбежал Алеша с криком: «К нам гости!» За ним Селянин; на какой-то момент Дробышев остался один, слышался голос Клавы; веселый сквознячок прошел у Дробышева внутри, так, что он поразился своему чувству. Этот момент и следующий, когда он встретил взгляд Клавы, были самыми трудными.

Слава богу, она не помолодела и не стала красавицей. Она окрепла, располнела, гусиные лапки появились



у глаз. Медно-крашенные волосы и загар сделали ее гру-
бее. Чувствовалось, что жила она эти годы в свое удо-
вольствие, ничего не упуская.

Дробышев пожал ей руку, безулыбчиво, сохраняя
темные свои морщины.

Глаза ее не успели скрыть настороженности, не было
в них и радости.

— Вот уж сюрприз... Какими судьбами?

Он молчал, не отпуская ее руки, чего-то ожидая, и вдруг она ответила ему тайным пожатием.

В каюте было тепло, пахло апельсинами, духами, бормотал транзистор. Селянин познакомил его с Томой, нежно-розовой толстушкой, горделиво представил его: известный профессор, ведущий ученый.

Появились бутылка коньяку, конфеты, бумажные салфеточки. Дробышева усадили в угол, женщины, соперничая, ухаживали за ним, что-то романтическое было в его появлении, одинокости, небрежном костюме... И он сам почувствовал себя уже не командированным, а путешественником, этаким суровый флибустьер.

Плечи его расправились, и, как всегда бывало в компаниях, само собой он стал центром.

Чокнулись «со свиданьем». У Клавы в черноте зрачков плеснулось воспоминание, и Дробышев подивился превратности жизни, замысловатым ее коленцам, скрытой и мудрой ее стройности.

Селянин ловко разрезал апельсины, раскрывая дольки лепестками. Тома придвинулась к Дробышеву, расписывая красоты Кремнегорского монастыря, рыбацких парусников. Она часто смеялась, великолепные зубы освещали ее кукольно-пухлое личико.

Все быстро и как-то охотно захмелели. Клава сидела против Дробышева, колени их под столиком соприкасались. Она наклонялась, и белый лифчик виднелся в разрезе халатика. Все оказалось просто, совсем просто. Дробышев подумал, что напрасно он в тот раз деликатничал. Грубее и проще следует относиться ко всему.

— Костик организует рыбалку, поедem на Сивый остров,— планировала Клава, глядя ему в глаза.

Селянин согласно посмеивался. Он как бы демонстрировал свою семью, свою новую прекрасную жизнь.

— Да, да, чудесно... только я еще не знаю,— отвечал Дробышев.

— Это почему? — насторожилась Клава, поглядывая то на него, то на мужа.

Дробышев глотнул коньяку, зажмурился. Самолюбие мешало ему пожаловаться.

— Дела. Все течет, все меняется.

— Что наша жизнь? Дела! — пропел Селянин, не то сочувствуя, не то забавляясь.

— Опять дела,— Тома возмутилась.— Что с мужиками происходит? Уж бабы вроде всю работу на себя за-

брали, ваше дело ухаживать. Так нет, силой надо заставлять. То в политику норовят вырваться, то техника. Свою мужскую профессию начисто разучились исполнять. Ты, Клава, не мигай. Мужик, извиняюсь, мужчина — это звание повыше доктора наук, верно я говорю, Денис Семенович? — Она взяла Дробышева под руку, прижалась, пышные волосы ее щекотали ему лицо.

— Ладно, что будет, придет, — беспечно возгласил Дробышев.

Ему казалось, что все может стать как прежде, когда не было особых забот, все получалось само собой, легко и весело.

— Все-таки исхалтурились мужчины, — не унималась Тома. — Норовят все наспех. Мне хоть бы раз в жизни кто письмо написал, чтобы на пяти страницах, чтобы поплакать всласть. Эх, жила бы я в большом городе, я бы такой роман закрутила... Профессор, вы меня понимаете, в лучшем смысле?..

— Тома! — сказала Клава.

— Понимаю, очень даже понимаю, — смеясь, сказал Дробышев. — А вот Константин Константиныча не понимаю.

— Это в чем? — спросила Клава.

— Да так, пустяки, приглашаю его переехать в Москву, — как бы между прочим сказал Дробышев, — к нам в лабораторию, есть сейчас вакансия.

— Точно, — самодовольно подтвердил Селянин. — Но я категорически.

Тома вскочила:

— И дурак. Профессор, вы меня уговорите. Я вашим очкарикам тонус быстро подниму.

Клава засмеялась вместе со всеми, словно разделяя самодовольство Селянина, и Дробышеву захотелось уязвить ее, нарушить это согласие.

— Рутинером стал ваш супруг, ба-альшим рутинером, — сказал он. — Чурается всякого прогресса... не желает ни во что ввязываться... — Дробышев погрозил Клаве. — Ваше влияние? Да, недооцениваем мы роль жен в развитии науки. А впрочем, бог с ним, с прогрессом. Важно, чтоб вы были довольны. Вдали от шума городского... Вы ведь этого хотели!

Она ожесточенно, с вызовом кивнула:

— Конечно. А то как же... Но, между прочим, вы напрасно, Денис Семенович, так выводите. Костя на за-

воде передовиком является. На городской доске Почета он выставлен. Увидите. Его ценят. Считается, что если провинция... а провинцией всюду можно стать. И полнокровной жизнью можно всюду... Телевидение у нас через «Орбиту». Кино первым экраном. Мы ничего не пропускаем. Мы теперь, когда в Москву приезжаем, все театры обходим...

— Побывали, значит, в Москве! — вырвалось у Дробышева.

Она улыбнулась ему как бы поверх своей обиды, благодаря за то, что он вспомнил.

— Побольше иных москвичей ходим. На «Современник» я билеты достала. Вы, конечно, Брехта смотрели...

— Нет, не смотрел.

— Ну, вот, — торжествующе сказала она.

Дробышев почувствовал какое-то разочарование и все-таки порадовался за нее. В конце концов, это было дело его рук, его заслуга. Не важно, что ему пришлось перетерпеть из-за этого и до сих пор расхлебывать, зато им, и ей, Клаве, он помог, он был их благодетель. Они должны были благодарить его. А они и не вспоминают. Хорошо или плохо он поступил тогда? Но как же может быть плохо, если они ожили, расцвели...

Селянин тихо улыбнулся: «Убедились? Ко мне не подступишься, все в порядке, так что зря беспокоитесь».

— И все ты врешь, Клава, — вдруг проникновенно, хмельным голосом сказала Тома.

Молчание наступило резко, плотно заполнив каюту.

Клава взяла стопку, повертела ее, с маху поставила назад, расплескав коньяк.

— Не слушайте ее, Денис Семенович, — она растянула губы в жесткой улыбке. — Тома любит поперек.

Она прищурила глаза, лицо ее остановилось, и низким, грудным голосом запела:

Дорогой длиною, да ночью лунною,
Да с песней той, что вдаль летит, звеня...

Щемящая ее тревога и смятение были не по песне, казалось, сейчас от боли голос оборвется, но тут вступил Селянин, подхватил, заслоняя ее своим сильным баритоном, повернув на отчаянность, на ту забубенную лихость, которая уводила от цыганщины куда-то в российское раздолье, в туманные поля, что тянулись за окном.

Клава замолчала, отвернулась к окну. Дробышев ви-

дел ее легкое отражение в стекле. Взгляды их сходились где-то на гранитном валуне, на тропке, ныряющей в ивняк, а иногда скрещивались в прозрачной толще стекла.

Селянин уже пел один, пел старые забытые песни — про атамана Кудеяра, про отраду, что живет в высоком терему, пел для себя, не думая ни о Дробышеве, ни о женщинах.

«А что, если он и впрямь счастлив,— подумал Дробышев,— и ничего другого ему не надо?»

Тома блаженно улыбалась:

— Хорошо!

«Да, да, хорошо,— думал Дробышев.— Но что мешает мне, почему не верю я этому счастью?»

— Сюда бы гитару,— пожалел Селянин. Он налил себе, поднял стопку.— За ваше здоровье! — сказал он Дробышеву.— За ваши успехи!

Дробышев поклонился.

— Спасибо. Это мне очень поможет...— Он усмехнулся, тоже поднял свою стопку.— Ладно, я, наверное, чего-то не понимаю, но я рад видеть вас такими счастливыми...

— Эх, профессор, простая вы душа,— сказала Тома.— Нам, бабам, другое счастье нужно, не такое, как вам. Мы ведь столько можем... А можем и впустую отцвести...— перехватив взгляд Клавы, она махнула рукой: — Язык у меня наперед ума... Вот объясните мне, профессор, почему я в Москве букашкой себя чувствую. Арбат новый вымахали. А я от такой красоты расстраиваюсь. Иду, и кажется мне, будто жизнь упускаю.

«И верно, и со мной так бывает»,— растроганно подумал Дробышев. Он почувствовал руку Клавы, сильное и теплое ее прикосновение и обрадовался.

— Вы что, не согласны? — спросила Тома.

— Наоборот. Но вы себе противоречите.

— Это я всегда. И себе, и другим.— Она произнесла это как само собой разумеющееся, и Дробышев позавидовал ей. Ему тоже захотелось противоречить себе, избавиться от своей логики, от привычки искать во всем причины, следствия. Все равно эти причины и логика могут объяснить только видимость, а есть еще и другое, сокровенное, может, самое-то и важное... Вот они сидят, четверо взрослых, что-то говорят, и в то же время между ними существуют тайные отношения, совсем иные, чем кажутся, у него с Клавой эти прикосновения, и, навер-

ное, у Тома с Клавой тоже что-то происходит, о чем он не знает, и у Селянина с Клавой... И все это отдельно от их слов, а кроме того, у каждого еще что-то внутри творится...

Продолжая чувствовать руку Клавы, он спросил:

— А вы видели, как я садился на пароход?

— Я? Нет.

— Значит, Константин Константинович стоял один.

— Что же ты мне не сказал, Костя? — спросила Клава с внезапным вниманием.

Селянин чему-то улыбнулся.

— Я думал, что вам будет неприятно встретиться с нами.

— Почему же? — искренне удивился Дробышев, забыв о неприятностях, какие доставил ему Селянин.

— Не знаю.

— Вы же мне ничего плохого не сделали. Может быть, наоборот, вам было неприятно? — спросил он уже с умыслом. Какое-то мгновение они, все трое, балансировали над краем воспоминаний.

— Не знаю, — равнодушно повторил Селянин. — Леша, тебе спать пора.

— Да, пойді уложи его, — попросила Клава.

Дробышев поднялся.

— И мне пора.

— Вы погодите, вы постарше. — Клава потянула его за рукав.

Селянин легко поднял Лешу и вынес его.

— Атлет, — сказал Дробышев. — Чем вы его кормите?

— Первый месяц, как приехал, ложку не мог держать, так руки тряслись, — вспомнила Тома.

Клава смотрела куда-то между Томой и Дробышевым. Высокий, лесистый берег закрыл небо. В каюте потемнело.

— Тома...

— Понятно, — сказала Тома. — Пойду я на свежак, повздыхаю.

Дверь затворилась. Некоторое время они слушали удаляющиеся шаги по коридору. Обозначились какие-то мелкие звуки на палубе.

— Снова мы одни, — сказал Дробышев.

— Да, да, — нетерпеливо кивнула Клава, не спуская с него глаз. Дробышеву казалось, что она разглядывает

не его, а того, который тогда взял ее за плечи, или, может быть, она видела сейчас ту себя, заплаканную, измученную...

— Я потом сразу хотела позвонить вам. Сколько раз я говорила с вами. Придумывала. А теперь вот... Идите сюда.— Она взяла его за руку.— Нет, лучше так. Вы-то вспоминали обо мне? Хоть разик?

Лицо ее приблизилось. Дробышев ощутил запах ее кожи, волос, ему казалось, что он и впрямь вспоминал о ней, хотел ее видеть, то, что было между ними, то, несостоявшееся, оно до сих пор живое, потому и живое, что не состоялось.

— А-а-а, не все ли равно... Если бы не вы... Я изменилась?

Густой загар, крепкое тело; любясь, он признался грубовато:

— Вы стали заманчивей.

— Задержитесь у нас, чего вам стоит. В нашем доме сосед есть, старик, у него квартира пустая, я устрою, вам удобно будет.— Она говорила деловито, бесстыдно, и Дробышев так же бесстыдно прикинул — почему бы не воспользоваться, чтобы она уломала Селянина помочь с заказом?

— Ну, как вам Костя? — Она быстро пересела к нему на диван, положила руку ему на колено.— Не тот он, верно? Думаете, что я виновата?

Глаза ее были совсем рядом, ему хотелось увидеть, как они затуманятся, покачнутся.

— Черт возьми,— пробормотал он.

— Он что — не хотел вам помочь? — шепнула она, как бы угадывая.

Дробышев привлек ее к себе, но тут же остановился, сказал с шутливым вздохом:

— Хорошо бы побыть с вами... и чтобы никого...

— А что, я могу! — она выпрямилась, ожидая.

И Дробышев вдруг понял, что она действительно может. Она ничего не боится. Предложи он сейчас сойти на первой пристани — она ведь согласится, сойдет. У него в груди замерло, когда он представил, как они сбегают по шатким сходням, поднимаются в незнакомый городок, эти первые шальные минуты вдвоем, а там будь что будет...

Вырваться хоть на недельку, забыть про всех и про все, про скопленные за два года нерешенные дела —

цепкие, нудные, неотвязные, вроде бы и помыслить нельзя об этом, а вот случись с ним инфаркт, и все дела отодвинутся, станут неважными перед той, тонкой пленкой, что удерживает сердце от разрыва. Вот тогда-то и вспомнится эта рука, вспомнится то, от чего отказался, то, чего не было. Он знал, что пожалеет о том, что не сошел. Он всегда будет спрашивать себя, почему он этого не сделал. Непонятно...

— Вы молодец,— сказал он.— Но не будем делать глупостей.

Она не обиделась, она посмотрела на него задумчиво:

— Господи, неужели это вы?

Зрачки ее затопили глаза, в их блестящей черноте Дробышев увидел себя и понял, что она все еще видит в нем прежнего Дробышева, удачливого, уверенного в себе, пожалевшего несчастного ее мужа. Или хочет видеть, думал он, самонадеянным, имеющим на все ответы... Господи, неужели я был таким? Он разглядывал себя в ее зрачках и все хотел понять: а что же она сейчас видит?

— Тогда я, наверное, вам больше нравилась? — спросила она.— Вы несчастненьких любите. Иначе как же себя показать. Вам люди нужны, чтобы себя в них разглядывать. Я это заметила. Это вы виноваты, что он стал такой...— Она сморщилась, замотала головой.— Что я, вы тут ни при чем, ведь вы из-за меня...— Она прислушалась, быстро обняла Дробышева, поцеловала в губы.

— Не слушайте, что я говорю,— шепнула она.

Дверь отворилась. Клава успела отодвинуться, но Дробышев нарочно не отпустил ее руки.

— Сумерничаете,— сказал Селянин.

Фигура его заполнила дверной проем. Дробышев, не торопясь, освободил руку Клавы.

— К Залучью подходим,— сообщил Селянин как ни в чем не бывало.

Клава поднялась, стала к окну.

— Сходите посмотрите,— сказала она.

Теплоход приваливал к пристани. Разносились слова команды. Отдали правый якорь. Прогрохотала цепь. Дробышев стоял, наблюдал слаженную работу матро-

сов, толкотню на пристани: кого-то встречали, кого-то провожали, и те, и другие обнимались, всхлипывали. Грузились бородатые изыскатели с огромными рюкзаками, удочками, аппаратами.

— Здесь алебастр нашли,— пояснил над его ухом Селянин.

Дробышев не обернулся.

— Тут теплый ручей есть, мы ездили сюда зимой купаться.— Селянин помолчал.— Вообще-то я зимой в проруби купаюсь. Укрепляет нервную систему. Помните, какой я задохлик был?

— Да, укрепили,— не выдержал Дробышев.— Вас теперь ничем не прошибешь.

— Вы о Клавье? Вы не обращайте внимания, с ней бывает.

— Ах, вот как.— сказал Дробышев.— Неплохо вы устроились. Полный душевный комфорт.

Он замолчал, поняв, что Селянин ждет вопросов, хочет как-то оправдаться.

— ...Больше мы на юг не поедem. У нас тут спокойней. На Сивом озере такой дом отдыха! Приезжайте в отпуск. А что, берите супругу и приезжайте.

Дробышев внутренне отдернулся, будто тронул горячее.

— Никак не могу определить, какого цвета тут вода,— поспешно сказал он.

Гладь воды отливала голубым, розовым, но все ее краски были иными, чем на небе, темней, сталистей, и ни одну из них нельзя было точно назвать. Позади стемнело, где-то за лесами закат еще продолжался, там что-то тлело, мерцало. На мачтах загорелись фонарики.

Ему захотелось, чтобы Зина видела эту красоту, чтобы они плыли в этом тихом темном покое, отдыхая, ни о чем не заботясь. Что она имеет последние годы — одни ожидания. Сперва его кандидатская, потом его докторская, теперь эта его работа. И постоянно она должна его подбадривать, утешать, откуда только она силы берет. Почему, с какой стати он старается ради каких-то будущих, неизвестных ему людей, а рядом живет человек самый близкий ему, и что она имеет?

— ...Вот мы отплывем, все уйдут с пристани, лягут спать,— прочувствованно говорил Селянин.— А ведь плес останется, ельник в воде, молоко это над травой, для кого ж эта красота будет? Ведь до утра никто не

взглянет. Выходит, зазря чудо это пропадет.— Он слегка волновался.— Кроме человека, ведь никто не может оценить, насладиться. Никто, верно? Не может быть, чтобы природа сама для себя...

— И что же отсюда следует?

Насмешливый тон смутил Селянина, но он продолжал:

— Может быть, природа подсказывает нам: пользуйтесь красотой, принимайте ее.— Он стеснительно протянул руку, будто оглаживая эти дали, и леса, и тихую воду.

Дробышев крепко сжал поручни, засмеялся:

— Вам бы поселиться здесь, в тиши. Покой и полное слияние. Чтоб начальство и планы не мешали вашему счастью созерцать, купаться в проруби.

— На свете счастья нет,— мягко сказал Селянин,— а есть покой и воля.

— Как вы сказали?

— Это не я, помните, у Пушкина?

— Покой и воля,— повторил Дробышев с нарастающей злостью.— Ах, какой милый рецепт. Пушкин не достиг, а вы достигли. И как же это устроивается в наше бурное время — покой и воля?

Наверное, следовало сдержаться, потому что Селянин сразу замкнулся. Он выставил свое ленивое равнодушие, даже иронию пояснил:

— Очень просто. Как все великое. То, что меня окружает, и то, из чего состоит моя жизнь, прекрасно. Потому что сама по себе жизнь прекрасна. Примерно как у Гегеля.

— И все? — подождав, спросил Дробышев.— А я-то думал... Пушкин, Гегель, сами-то вы куда делись?

Теплоход разворачивался, выходил на середину реки. Литая полированная волна опять прилепилась к корпусу.

Селянин вздохнул еле слышно, кротко:

— В нашей жизни столько радостей, столько хорошего — принимай и наслаждайся. У нас любят начальством огорчаться. А меня начальство возлюбило, в некотором смысле за то, что не оправдал опасений. Предложил я, к примеру, новую форму сепараторов. Невозможно, говорят, штампов нет. Опасались, что я буду настаивать. А я не спорю. Вправду нет штампов. Будет возможность, они сделают. Они ведь тоже понимают, что к

чему. Ужасно им понравилось это доверие. Даже ласкать стали. Сами беспокоятся. Парадокс? Представьте, благодаря таким отношениям больше удастся сделать.

Зыбкий белесый свет мешал Дробышеву уследить подробности выражения его лица. А все дело было в подробностях, потому что Селянин наверняка лукавил, может, даже издевался над ним. И в то же время Дробышев чувствовал, что Селянину что-то нужно от него.

Селянин тоже беспокойно кружил, как бы подманивал его, дразнил, ни разу не напомнив, чей совет он выполняет, чьи слова повернули его жизнь или, во всяком случае, способствовали. Он не ссылался, не возвращался к тому дню, но Дробышев все время ощущал скрытое лезвие, нож, который мог блеснуть в любое мгновение.

— Чем же вы заняты, душевно заняты? — идя ему навстречу, спросил Дробышев. — Рыбачите? Смороду выращиваете? Чем вы живете?

— Вы не представляете, сколько всякого, кроме работы. Мы с Лешей цветной телевизор мастерим. Слежу за международными событиями. Китай меня занимает. Я в связи с этим молодого Маркса изучаю. «О краже леса» читали? Замечательно.

Вдали, на горе, сквозь березняк светились серебристые башни.

— Химический комбинат, — пояснил Селянин. — Полная автоматизация. Превосходно сделано.

— Не верю я вам, — сказал Дробышев. — Что-то не сходится.

— Что же именно? — с готовностью отозвался Селянин.

— Вы же талантливый человек. При чем тут цветной телевизор? Нельзя же этим исчерпать...

— Я так и знал, вам нужна моя неудовлетворенность, — подхватил Селянин. — Чтоб я втайне мечтал, грыз себя, сожалел, мучился... Но о чем? Раньше я оттого, что не мог добиться, винил всех...

— А теперь элениум, — тоже прервал его Дробышев. — Таблетка элениума — это ваш покой. А где же воля, воля-то в чем?

— Я перестал быть рабом своих идей.

— Что же вы, душите их, пока они слепые?

— Нет, я не вынуждаю людей заниматься ими. Если что придет — отдаю, делайте, как считаете нужным. По-

чему моя идея должна всем нравиться? Не обязательно она самая лучшая, вот, например...

— Ах, какая доброта, бери — не хочу, не хотите внедрять — пусть гниет, мне на... — выругался Дробышев.

— Да вы поймите, меня ж никто не заставляет, и я не хочу заставлять, я ради себя, мне самому это приятно. Я ради жены, сына. Могу я позволить себе... Ну как вам это объяснить? Любовь чувствуешь, когда жертвуешь чем-то. Она же конкретной должна быть. Неужели вам никогда не приходило в голову, что, сколько б ни сэкономить киловатт-часов, они не прибавят ни любви...

— Приходило, давно это известно, все для семьи, для дома, — возбужденно прервал его Дробышев. — Но гражданин где? За что вы боретесь, с чем? Гражданское чувство, без него... это ж мещанство. За чей счет ваш покой? Да, да, сколько вы ни заслоняйтесь Доской почета, все равно...

— А что такое гражданин? Не знаю. «Пройдемте, гражданин». Нечто милицейское, а? Все изменилось. Гражданин не оппозиция. По отношению к кому мне быть гражданином? К своему директору? Так он болеет за завод больше меня. Лучшее, что я могу, — помогать ему. Кого критиковать? И начальники, и мои инженеры — мы все знаем наши беды. Легче всего — на начальство валить. Я убедился — от такой критики вреда больше, чем пользы. Вот вы вернетесь от нас, допустим, ни с чем. И начнут ваши подручные склонять вас, упрекать. Ну, кому, спрашивается, от этого польза? Разве этим поможешь? Будто вы сами не переживаете.

Они вышли на корму, где было безветренно, тепло, там дремали, похрапывали, примостясь на мешках. Кто-то наливал, бренча бутылкой о стакан, сладко кричал.

Домашние эти, уютные звуки мешали Дробышеву, были против него, они словно возражали ему вместе с этой сонной рекой, рыбацким костерком на берегу, запахом дыма, со всеми простыми и верными радостями жизни. «Как много аргументов у малодушная, — подумал он, — любые слабости, измены, косность, все они вооружены, у них всякие слова, манки, оправдания...»

— Вы уверены, что им это нужно? — спросил Дробышев.

— Кому им? — голос Селянина дрогнул. Прежние морщины проступили на лице Селянина, вблизи оно не казалось уже таким моложавым.

— Клавдии Сергеевне, к примеру. Что, ей так лучше?

— Знаете что...— угрожающе начал Селянин, но вдруг усмехнулся.— А впрочем, давайте выкладывайте, что вы имеете в виду.

— Да так... мне казалось, что все же раньше была у вас какая ни на есть цель. Был смысл, была страсть...

Дробышев остановился, внезапно сообразив, что за это самое он когда-то высмеивал Селянина, ломал его, явственно вспомнилось ощущение хруста...

— Сейчас вы, конечно, вспоминаете тот наш разговор,— казня себя, твердо начал он.— Вы можете спросить...

— А чего вспоминать, чего именно?

— То, что я говорил вам, советовал...

— Подсчитать, проверить? Сперва я пытался, было дело...

— Да я не про то,— раздраженно оборвал Дробышев.— Я про то, что мы потом, и в передней, насчет смысла, и насчет Брагина, и еще...

— Нет, не помню,— глядя ему в глаза и улыбаясь, сказал Селянин.— Память стала никудышная.

— Бросьте, что вы все время придуриваетесь? — в ярости от этой улыбки прикрикнул Дробышев.

— Ей-богу, да с чего вы взяли? И была охота вам ворошить?! — уверял Селянин.— Не знаю, что вам Клава наговорила, на нее иногда находит такое настроение.

— Думаете, это — настроение? — мстительно сказал Дробышев и стал закуривать. Когда он поднял голову, Селянин стоял перед ним, засунув кулаки в карманы, побычьи пригнувшись вперед.

— Послушайте, а что вы, собственно, хотите от меня? Почему вы вмешиваетесь? По какому праву? Вот именно, откуда вы право взяли себе такое — судить? — спрашивал он тихо, ровно, но вздутые кулаки его еле удерживали накопленное чувство.

«Да, да, какое я имею право,— опомнился Дробышев,— если он доволен своей жизнью, почему я считаю, что он должен жить иначе?»

Но как только он соглашался, он чувствовал, что все это не так.

— ...Похлопотал бы за ваши пластины — и я оправдан,— говорил Селянин.— Реабилитирован. Более того, уверяю вас, да вы бы мое душевное равновесие за образец посчитали. Творческая гармония, самоуглубление, бо-

гатство духовной жизни и прочие трали-вали. Но поскольку я отказываюсь, то сразу ничтожество. Погряз. Достоин презрения.

Неожиданный этот выверт поразил Дробышева, прямо-таки парализовал его. Несомненно, Селянин был убежден, что все так бы и перевернулось. Со стороны, наверное, так и выглядит, подумать только — и нечем опровергнуть, ничем не докажешь.

— А у вас какие доказательства? — спасаясь, выкрикнул Дробышев. — Вы же не по существу. Все дело в том, почему вы не хотели помочь. Тут-то и обнаружилась ваша...

Но Селянин, не давая оправиться, сбил его твердым своим голосом:

— ...Вам лишь бы подчинить себе, использовать. А все, что вам не способствует, то, значит, плохо. Потому что вы подвижник, вы крест на себя взвалили. У вас великая миссия.

— Я взвалил, я и несу, — болезненно морщась, сказал Дробышев.

Селянин словно этого и ждал, именно этих слов, этой мучительности, этого последнего всплеска.

— Так ведь не донесете, — с безжалостной прямоотой сказал он. — Не успеете. Дай бог, если помощники ваши доберутся. Я-то представляю, сколько вариантов перелопатить надо. Ну, допустим, с температурами управитесь. А завершать-то другие будут. Вы даже и не знаете, кому достанется... Вы, конечно, простите меня.

— Валяйте, все так, — согласился Дробышев. — И что же дальше-то, что?

— Я тоже спрашиваю, дальше-то что? И зачем вам это? Продолжали бы работы по электрохимии, книги, теорию, все шло у вас в полном согласии. Ну, появилась проблема, так зачем же самому, и чтоб все мосты сжечь. Правильно я говорю?

— Да, да, правильно, — с какой-то мучительной радостью подтвердил Дробышев.

— И в самом главном вы не уверены.

— В чем же? — замирая, спросил Дробышев.

— А в том, получится ли у вас. — И Селянин вцепился в него глазами, следя за каждой черточкой.

— Угадали, — Дробышев помолчал. — Принцип-то у нас правилен, но может статься, что осуществить нельзя.

С температурой, например. На нынешнем уровне. Так ведь выяснить любопытно.

— А если результаты вы не узнаете, тогда какой смысл? Хорошо, если затянется. А может, и полный пшик.

— Пшик — он уже через год-два обнаружится.

— Тогда что же?

— Тогда освищут. Не пожалеют, — почти со сладострастьем сказал Дробышев. — И правильно сделают. Я ведь свою репутацию заложил. Мне под нее поверили. — Он сел на скамейку. Дерево было влажное, холодное. — Вы спросите: зачем пошел на это?.. Как странно — вы, Селянин, уже не знаете, зачем идут на это, все забыли.

— Я тут ни при чем. Напрасно стараетесь. Мало того, что сами вы не уверены, так ведь и других увлекли. И меня хотите. Вас удивляет, как это я не согласен. Вы готовы всех заставить. Сто человек, тысячу. Вы уверены, что осчастливите меня и других. Да, заставить.

— А как, по-вашему, это делается? — услышал Дробышев свой незнакомо тяжелый голос. — Какой ценой? Если надо, то и заставить.

— Жалко мне вас, — сказал Селянин, стоя над ним. — Это и есть рабство. Вы раб, вот какой ценой. Весь этот аскетизм ваш. Вам кажется, это — высшее достижение. Вы не замечаете, каким вы стали, Денис Семенович. Потому что нельзя работать за счет жизни. Вы вот хотите меня заставить. А жизнь — это больше, чем работа. Я убежден в этом.

До чего ж знакомы были его слова. Где Дробышев их слышал? Да это он сам произносил их. Давным-давно говорил он Селянину примерно те же слова, жизнелюбец Денис Дробышев, отраженный в овальном зеркале, — чудесный портрет, висящий в прихожей над телефоном, удачно найденная поза — прижимая плечом трубку, вызывает галстук, доволен собой, хорош...

Наставив на Селянина палец, Дробышев беззвучно засмеялся. Смешно, до чего ж смешно увидеть себя в таком обличье.

Ничего не поняв, Селянин встревоженно огляделся.

— Нет-нет, джемпер в порядке, — успокоил Дробышев. — Брюки тоже. Только лицо исчезло. Пропала физиономия. Вы не волнуйтесь, здоровью это не вредит.

Сперва Селянин испуганно отступил, а потом, соболезнуя, покачал головой.

Перегнувшись через поручни, Дробышев ловил в сплюснутых разводах воды свое отражение. Размытая его фигура как бы выплывала из круговерти, притягивая к себе, хотелось наклониться еще ближе, лицом к лицу...

Где-то рядом за переборками Селянин осторожно раздевался, блаженно вытягивал тело между простынями. Можно представить, как он дремотно ухмылялся диковинной этой встрече, нелепому поведению Дробышева и от этого еще полнее ощущал прочность защищенного покоя. Сонное дыхание Клавы сливалось с плеском воды, недавние тревоги растворялись, поднимались легкими пузырьками, и он засыпал — нет, отходил ко сну в сладостном сознании своей правоты и победы.

Но как же это могло быть, как мог он чувствовать себя победителем, если Дробышев не чувствовал себя побежденным? И неправым он тоже себя не чувствовал. Но не могут же оба они быть правыми.

Он с силой оторвался от поручней. Пора спать. Заснуть, отвязаться от всех этих вопросов.

Почему два года назад он все знал, на все мог ответить, ни в чем не сомневался...

Зайдя в туалет, он остановился перед стенным зеркалом, поскреб щетинистый подбородок, попробовал согнать морщины со лба, они спустились к губам, окружили рот глубокими складками. Он вгляделся в глаза, пытаясь понять себя через свое отражение. Тот, из глубины зеркала, тоже изучал его. Дробышев нахмурился, взгляд этот был неприятен — казалось, тот, в зеркале, насквозь видит его и все понимает. А вот Дробышев не понимал, не понимал, откуда приближается, как дальняя гроза, чувство свободы и правоты, хотя он был несвободен, и неудачи угнетали его, и сколько глупостей, оказывается, он совершил... Но в том-то и штука, что он не мог понять себя через зеркало, потому что отражался не он. В зеркале был не его двойник. Дробышев даже улыбнулся: у того, в зеркале, дернулся левый глаз, а не правый, и сердце билось справа, а не слева. Они отличались друг от друга. Дробышев существовал сам по себе, и никакие отражения в Селянине, в Клавe не могли повторить его. Нигде

он не мог увидеть самого себя... Почему-то это удивило и успокоило его.

В каюте, не раздеваясь, он плюхнулся на койку.

Очнулся он, словно кто-то окликнул его. Спросонок он не сразу разобрал кто, почему, потом вспомнил, посмотрел на часы — пять. Затекавшее усталое тело молило об отдыхе. Внизу нежно посапывал старичок. Сквозь жалюзи пробивался свет, и вся каюта была в алых полосах. Дробышев заставил себя подняться. Некоторое время он тупо сидел на койке, покачиваясь из стороны в сторону.

Теплоход завибрировал, задрожал, давая задний ход. Дробышев встал, взял портфель, тихонько вышел. Двигался он в полудреме, сложным путем, пока не очутился перед каютой Селяниных. Дверь бесшумно отворилась. Он несколько не удивился, увидев Клаву, и она тоже не удивилась. На ней было накинутое на плечи пальто, селянинские туфли на босу ногу. Молча спустились они на нижнюю палубу.

— Я так и знала.

— Откуда?

— Здесь, в Пирютине, аэропорт.

— Да, да,— сказал он как бы еще во сне.

— Ты домой?

— В Кострому. Там есть заводик, вроде вашего.

— Да, я знаю.

— У меня там ученик один... Может, он посодействует.

Она положила ему руки на плечи, пальто ее распахнулось, открыв голубенькую ночную рубашку.

— А то останься, я уговорю Костю,— сказала она без всякой надежды. Прижалась к нему, и он уткнулся в угол между ее шеей и плечом, окунаясь в тепло.

...Дрожащий воздух речной заводи, нагретых камышей, сладких дудок с бархатистыми коричневыми шишками рогоза.

Припеченный солнцем старинный городок, с городским парком, шелканьем выстрелов в тире, белой церковью на берегу.

...Всего несколько дней. Имел же он право. Нельзя работать за счет жизни... Покой и воля... Кто дал право ему вмешиваться... Хорошо или плохо он сделал. Он хотел остаться — вот чего он боялся. Его тянуло к этой удобной, беспечной жизни, к прежней легкости, где все станет опять просто, передать лабораторию можно кому-

нибудь из молодых, стать консультантом, вернуться на кафедру, перейти в НИИ, сколько возможностей...

Теплоход задрожал еще сильнее, подваливая к пристани, и вдруг, смолкнув, мягко толкнулся о кранцы.

— Пора,— сказал Дробышев.

Холодный воздух выдул из него остатки сна.

— И так я задержался. Я уже не могу рисковать.

— Я хотела помочь тебе.

Он вдруг увидел ее отдельно, она существовала сама по себе, независимо от его спора с Селяниным, от той игры, которая происходила у Дробышева с ней, была она сама, зябко кутающаяся в пальто, невесть когда ставшая ему близкой.

— Почему, почему все так...— сказала она в отчаянии. Мелкий озноб колотил ее. Дробышев виновато пригладил растрепанные ее волосы. От этого прикосновения она заплакала.

— Ну что ты, не надо,— сказал Дробышев.— Кто-то ведь должен.

Она смолкла, не понимая его слов. Он и сам не мог понять их. Что он имел в виду? Кто-то должен заменить того Селянина? Кто-то должен кончать окаянную работу над аккумуляторами? Кто-то должен жертвовать, отказываться, быть черствым, не знать ответа...

Устанавливали сходни. По мокрому пирсу, лая, бежала собака. Окна пристани пылали, плавилась от утренней зари.

Стиснув отвороты пальто, Клава заплакала еще горше. Она не стеснялась ни вахтенного, ни пассажиров. Дробышев чувствовал, что плакала она уже не о нем, а о чем-то другом, куда более горьком и трудном. Он неловко топтался подле нее с портфелем в руке, не зная, что делать, готовый от сострадания на все.

— Я останусь, ради бога успокойся...

Она помотала головой и порывисто плечом подтолкнула его к сходням, которые уже втягивали на борт. Дробышев перебежал на пирс.

Не махнув рукой, не оглянувшись, Клава сразу ушла, и Дробышев, постояв, пошел в кассу, узнал, что до аэропорта пять километров, автобус придет через час-полтора и лучше выйти на шоссе проголосовать, а то и просто дойти пешком.

Мощенная булыжником дорога поднималась на вал. У каменного верстового столба Дробышев остановился.

Солнце только взошло, еще красное, огромное. Даль речной поймы с плесами, заливными лугами, лесобиржей — все было окрашено спело-красным светом. Река лежала совсем алой, и по ней, оставляя дрожащий след, медленно выходил на стрежень теплоход. Белые палубы его пустынно сквозили, только у рубки темнела одинокая фигурка. Заслоняясь рукой от солнца, Дробышев тщетно всматривался — все растворял слепящий блеск.

Он знал, Клава видит его. Можно еще было что-то крикнуть, докричаться в этой солнечной просторной тишине. Он был виноват перед ней, виноват, может быть, больше, чем он знал, но она плакала сейчас не из-за него, и он ничем не мог помочь.

Ясное, без единого облачка небо поднималось над теплоходом. Оттуда, с палубы, Дробышев виделся ничтожной, крохотной мошкой. И собственная жизнь показалась ему такой же крохотной, мгновенной, смысл ее был неразличим. Может, только Клава видела сейчас его таким, каким он, Дробышев, был на самом деле, каким он никогда не может увидеть себя сам.

Теплоход удалялся, таял. Что-то едкое набежало Дробышеву на глаза, он уже ничего не различал, только острый до рези блеск. Он не сразу понял, что это слезы. Он пробовал смахнуть их, но они вскипали снова.

«О чем я плачу? — пытался понять он. — Не из-за нее. Ведь это хорошо, что она почувствовала себя несчастной».

Он облизнул губы, ощутил забытый с детства соленый вкус слез.

«Как это хорошо, что я плачу», — подумал он, не в силах объяснить свое мучительное, щемящее и счастливое чувство.

Дорога спускалась ложняком. В последний раз он оглянулся: река была пуста, посверкивал гранитный верстовой столб, похожий на обелиск, на памятник тем временам, когда верста была расстоянием. Дробышев шагал по мягкой обочине. Болело сердце. Портфель оттягивал руку. Пустынная дорога не предвещала попуток. Он представил себе хлопоты в Костроме, звонки из проходной, смущенную озабоченность своего ученика, питье водки и хитрые разговоры с мастерами, обратный путь поездом, сколько раз ему придется мотаться туда, пока изготовят пластины, и надо еще разместить заказы — на измерительные аппараты, добывать реактивы, опять ва-

ляться на гостиничных койках, опять упрашивать, доказывать, уклоняться от брагинских интриг...

Вроде ведь никто не заставлял его делать все это? Почему не кто другой, а именно он, Дробышев, обязан? Какого черта он не может бросить, отказаться, вернуться к прежней, спокойной жизни? Казалось бы, чего легче, казалось, все толкает его к тому, а вот не может... Что же, что мешает ему? Как называется это непонятное чувство, откуда оно пришло, и как это оно вдруг стало главным в его жизни?..

1970

ПОВЕСТЬ ОБ ОДНОМ УЧЕНОМ И ОДНОМ ИМПЕРАТОРЕ

1

Имя Араго хранилось в моей памяти со школьных лет. Щетина железных опилок вздрагивала, ершилась вокруг проводника... Стрелка намагничивалась внутри соленоида... Красивые, похожие на фокусы опыты, описанные во всех учебниках, опыты-иллюстрации, но без вкуса открытия.

Маятник Фуко, Торичеллиева пустота, правило Ампера, закон Био — Савара, закон Джоуля — Ленца, счетчик Гейгера... — имена эти сами по себе ничего не означали. И Араго тоже оставался прикрепленным к железным опилкам и магнитной стрелке, пока не попало мне трехтомное его сочинение: «Биографии знаменитых астрономов, физиков и геометров».

В разного рода очерках по истории науки я встречал ссылки на эту книгу.

Историки часто пользовались ею. Она была написана в пятидесятых годах прошлого века, и было странно, почему до сих пор к ней сохраняется интерес. Ее цитировали почти все, в кавычках и без. Если можно судить о ценности работы по количеству ссылок на нее, то книга Араго в истории науки занимала одно из первых мест.

Книга сама служила первоисточником — вот в чем был секрет. Большею частью она состояла из воспоминаний Араго о своих современниках.

Это были его учителя — Лаплас, Пуассон, Гаспар, Монж.

Его друзья — Фурье, Ампер, Френель, Малюс, Гумбольдт.

Он работал с Томасом Юнгом, Жаном Био, Пети.

Он знал Лагранжа, Делаμβра, Дальтона, Кювье, Гершеля.

Однако «Биографии» заинтересовали меня не только фактами.

Выход в литературу у больших ученых всегда своеобразен. Автобиографии Алексея Крылова, Чарлза Дарвина, Норберта Винера, книги о науке Освальда, Шкловского, Вавилова, Капицы, Бернала отличаются от прочих мемуаров и научно-популярных работ, пожалуй, прежде всего свободой. Такую же свободу я почувствовал у Араго. Работы его предшественников для него живая плоть, из которой вырастали его собственные исследования. Он может судить о великих своих друзьях самостоятельно, ему не надо заручаться чужими авторитетами. При этом ему иногда удавалось решить труднейшую, уже чисто литературную задачу — связать научную характеристику с человеческим характером ученого. Показать, как житейские качества, склонности проникают в систему мышления, сказываются на результатах работы.

Блестящий экспериментатор, Араго знал, как опасно пренебрегать «мелочами». Он описывал, казалось бы, общеизвестные и поэтому малоприметные тогда подробности быта, привычек; спустя столетие его «мелочи» стали драгоценностями. Он был прав: откуда нам знать, какие детали нашей жизни поразят людей следующего века?

Его повествование вызывало действие, которое хочется назвать (ничего лучше я не могу придумать) авторским эффектом, автоэффектом.

Араго писал о других, он сам увлекался и увлекал читателя перипетиями их научных поисков, зигзагами судеб в бурях Великой французской революции, наполеоновских войн, он с блеском специалиста раскрывал разные манеры мышления — все это захватывало, и в то же время возникал совершенно непредусмотренный интерес — к самому автору.

Где-то за фигурами героев, как шорох за сценой, как вычерки в рукописи, появлялась личность автора. Причем появлялась против его воли — вот что было любопытно: он всячески прятал себя и тем самым проступал, обозначался из умолчаний и недомолвок о самом себе.

Временами голос его срывался, бесстрастный тон пе-

реходил в крик — он не замечал этого, поглощенный любовью к своим героям. Каждого он любил по-другому. Откуда он брал столько чувств, не уставая восхищаться, гордиться их успехами, страдая от их слабостей, каждый был неповторим, любого «...можно заместить, но никогда нельзя заменить».

В биографии Ампера он все отдавал Амперу, почти не говоря о собственных опытах, на которых Ампер основал свою теорию.

Он писал о Малюсе, стараясь не упоминать, что, продолжив исследования Малюса, он, Араго, открыл хроматическую поляризацию.

Рассказывая о Френеле, он не выделял собственных опытов, подтвердивших теорию Френеля. Выяснить из биографии Френеля, что Араго вместе с ним установил законы интерференции поляризованных лучей, невозможно. В крайних случаях он неохотно сообщал о себе в неопределенной форме: «один из членов академии», «один из его друзей».

Не так-то часто в науке встречаешь подобную скромность.

Известно, что в спорах о природе света, об электромагнетизме он резко расходился с Пуассоном, Био, Фурье, Гей-Люссаком, но нигде он не позволял себе никаких выпадов. Последующие годы подтвердили правоту Араго, он имел право торжествовать — он этого не делает. Он только свидетель, летописец. Единственное, что он не прячет, это свою влюбленность. Никогда не скажешь, что его научные заслуги не меньше, а иногда и больше тех, о ком он пишет с таким уважением и восторгом.

Порой он проговаривался — не то чтобы о себе, а о том, что мучило его:

«Действительно ли люди, занимающиеся отлично науками, становятся равнодушными ко всему, что другие считают счастьем или бедствием, становятся холодными к переменам в политике и нравственности?»

Я бы тоже мог задать этот вопрос многим из знакомых физиков.

Но не потому ли это мучило его, что ему самому надо было отвечать?

Значит, были в его жизни события, когда приходилось выбирать.

«Для истории человеческого ума полезно доказать, — пишет он, — что люди могут обладать гением в своей спе-

циальности и в то же время быть посредственностью в житейских делах».

В конце третьего тома была приложена его автобиография, вернее, короткие заметки о его молодости. Себя он не успел написать. И это жаль, потому что биография его была неожиданной.

Кто знает, когда, чьими стараниями возник образ ученого как человека, далекого от мирских дел, затворника, погруженного в свою непонятную никому науку. Сто, а то и двести лет существовал во всяких романах, повестях, пьесах бородатый сутулый чудаковатый, рассеянный, неуклюжий, наивный, колдующий среди книг, рукописей, приборов. Он, конечно, одержим своей идеей, он страдает, мучается, ищет, но внешне судьба его не примечательна яркими событиями, нет в ней особых приключений, опасностей...

Конечно, таких ученых было немало. Можно вспомнить биографии Фарадея, Павлова, Ньютона, Эйлера, Фурье, Эйнштейна. Но, оказывается, не меньше было и других великих ученых, чья жизнь богата приключениями, и опасностями, и подвигами. Ломоносов, Франклин, Гала, Карно, Жюль Кюри, Курчатов — список этот можно продолжать, обнаруживая в нем героев войны, революционеров, политиков, дипломатов, путешественников. Никто из них не был любителем приключений. Обстоятельства втягивали их, и жители лабораторий, тихих кабинетов проявляли мужество, находчивость, выносливость. И вот что примечательно — они умудрялись во всех своих превращениях оставаться учеными.

2

Сначала мне хотелось написать повесть «для среднего возраста», назидательную повесть о невероятных похождениях молодого Франсуа Араго в Испании и Африке...

Она писалась весело и легко, и, может быть, я зря от нее отказался.

Приключений было много, их хватило бы на большой авантюрный роман в добрых традициях старой, но нестареющей литературы.

А можно было сделать лихой кинобоевик; актеры играют в алых камзолах, дерутся на шпагах, стреляют из длинноствольных пистолетов...

Там были бы переодевания, побеги, рабство, пираты. Главный герой — изящный молодой француз, немножко д'Артаньян, немножко хитроумный Одиссей, влюбчивый, храбрый, любознательный и легкомысленный. Что бы ни случилось, он благополучно выходит из самых отчаянных ситуаций.

Получилась бы занятная, веселая картина, тем более что все кончается как нельзя более счастливо. И незачем доказывать, насколько это исторически соответствует, что все так и было. Никому и в голову не придет сличать факты. Какое мне дело, соблюдал ли историческую правду Александр Дюма в «Трех мушкетерах»? И правильно делал, если не соблюдал.

«Похождения Доминик-Франсуа Араго» — мысленно я ставил картину и прокручивал для себя. Актеры играли превосходно, только все героини были похожи на женщин, которых я любил. А главный герой — на моего приятеля, тренера по волейболу. Ничего в нем не было от научного работника, а тем более от великого ученого. Стреляли пушки, хлопали паруса, рычали львы, и никакой науки...

Появлялся Наполеон, на мгновение, как взмах клинка, и потом где-то он все время присутствовал. Их жизни скрещивались упорно. Наполеон и Араго. Слишком настойчиво — Араго и Наполеон, — и тут я вдруг почувствовал нечто большее, чем приключенческий сюжет.

Была в этом радость сравнения. События располагались подстроено четко, почти симметрично, не надо было ничего сочинять. Оставалось лишь срифмовать факты, обнаружить их скрытый рисунок, соединить звезды, как это когда-то делали астрономы, в фигуру созвездия.

Лучше всего начать с поступления Араго в Политехническую школу. Ему было шестнадцать лет. Он приехал сдавать экзамены в Тулузу, мечтая о военной карьере. Шел 1802 год. Только что был заключен Амьенский мир, и Бонапарт, герой войны, стал героем мира. Слава его манила, казалась такой доступной...

Мальчиком Араго изучал главным образом музыку, фехтование и танцы. Почему-то в его маленьком Перпиньяне считалось, что именно эти предметы должен знать офицер. И еще он учил математику. Она появилась в его жизни случайно и захватила его, как недуг. Он самостоятельно одолевал Эйлера, Лагранжа, Лапласа.

У него и в мыслях не было стать математиком, ему просто правилось *понимать* математику.

Экзамены были трудные. До него отвечал его товарищ и провалился; немудрено, что экзаменатор Монж предупредил Араго:

— Если вы будете отвечать так же, то мне бесполезно вас спрашивать.

— Мой товарищ знает лучше, чем он отвечал, — возразил Араго. — Я, конечно, тоже могу не удовлетворить вас, хотя надеюсь быть счастливее его.

— Ну, знаете, неподготовленные всегда оправдываются робостью, — сказал Монж, начиная сердиться на самоуверенность этого провинциала из Перпиньяна. — Так вот, лучше не экзаменуйтесь, чтобы не стыдиться.

Араго ответил заносчиво:

— Больше всего я стыжусь вашего подозрения. Спрашивайте, это ваша обязанность!

— Однако, сударь, вы много о себе думаете. Ну что ж, сейчас увидим, имеете ли вы на то право.

Монж начал с геометрии. Араго ответил. Затем пошла алгебра. Араго знал работы Лагранжа «как свои пять пальцев». Щеголяя, он разбирал вариант за вариантом, ответ его продолжался час. Монж помягчел. Хвастливый юнец заинтересовал его, и ради любопытства он решил проверить его сверх программы. Араго простоял у доски два с лишним часа. Монж был в восторге, он поставил имя Араго первым в списке.

Спустя год, при переходе на второй курс, Араго сдавал экзамен знаменитому математику, геометру, академику Лежандру. Он вошел в кабинет Лежандра, когда слушатели выносили упавшего в обморок студента. Лежандр несколько не был смущен, он сразу же накинулся на Араго:

— Как вас зовут? Араго? Вы не француз?

— Если бы я не был французом, то не стоял бы перед вами.

— Я утверждаю, что тот не француз, кто называется Араго.

— А я утверждаю, что я француз, и хороший француз.

Поскольку странный этот спор зашел в тупик, Лежандр отправил Араго к доске. Однако вскоре он возвратился к прежней теме:

— Вы, без сомнения, родились в департаменте Восточных Пиреней.

— Да.

— Так и надо было говорить. Вы, значит, испанского происхождения?

— Я не знаю происхождения моих предков, знаю лишь, что я француз, и этого достаточно.

Оба, учитель и ученик, стояли друг друга в своем упрямстве. Взбешенный Лежандр закатил вопрос, требующий двойных интегралов, и тотчас прервал ответ:

— Этот способ вам Лакруа не читал, откуда вы его взяли?

— В одной из ваших работ.

— Ага, вы его выбрали, чтобы мне понравиться?

— Я об этом и не думал. Выбрал я его потому, что он кажется мне лучшим.

— Тогда объясните мне его преимущества, иначе я поставлю плохую отметку, во всяком случае за ваш характер.

Араго объяснил, поигрывая в небрежность и скуку.

Лежандр потребовал определить центр тяжести сферического отрезка.

Араго протяжно зевнул и заметил, что вопрос этот слишком легкий.

Лежандр усложнил вопрос. Араго ответил улыбаясь...

Надо было обладать величием Лежандра, чтобы прервать поединок признанием таланта этого наглейшего из учеников.

По этим выходкам рано о чем-либо судить, пока что это может остаться всего лишь обычной кичливостью самонадеянного, знающего свои способности студента. Но вот совершается поступок, и сразу недавнее поведение обретает смысл. Поступок всегда раскрывает шифр вчерашнего вздора и невнятицы. Молодость Араго тем и привлекательна, что она состояла из поступков.

В 1804 году первый консул Франции надел на себя корону императора.

Студентов Политехнической школы выстроили в актовом зале присягать Наполеону. Один за другим, вместо того чтобы отвечать: «Я клянусь!» — они отвечали: «Я здесь!» Это никак не могло означать повиновения новому императору Франции. А студент Бриссо (запомните эту фамилию!) выкрикнул с полной определенностью:

— Я не желаю присягать на повиновение императору!

Начальник школы приказал арестовать его. Араго командовал бригадой. Он отказался выполнить приказ.

Накануне в числе других он отказался поставить подпись под поздравлением императору. Начальник школы принес Наполеону список непокорных студентов.

Первым стояло имя Араго. Первым не по алфавиту, а как первого ученика.

— Я не могу выгнать лучших воспитанников,— сказал Наполеон,— жаль, что они не худшие, оставьте это дело.

Так Наполеон впервые узнал о существовании некоего восемнадцатилетнего республиканца Араго. Он и понятия не имел, что только что монаршая его милость определила судьбу человека, который в последние дни царствования определит его собственную судьбу.

Первый поступок Араго быстро и непредвиденно вызвал за собою следующий, он, в свою очередь, породил другой, и долго еще, не затухая, волна эта бежала по его жизни.

На первый взгляд, автобиография Араго написана не ученым. То есть там ученый и научные занятия — предлог, чтобы поведать удивительную, презабавнейшую одиссею одного молодого человека наполеоновских времен. О самих исследованиях — вскользь, без особой увлеченности, не это главное...

В Испанию Араго отправился в 1806 году по настоянию Лапласа. Незадолго до этого Лаплас добился у правительства ассигнований, чтобы продолжить работы по измерению меридиана.

Мечты об офицерском мундире еще томили Араго, он был разочарован в Наполеоне, но военные подвиги молодого Бонапарта по-прежнему кружили ему голову. Нехотя он согласился на эту скучную командировку, не смея отказать Лапласу.

Измерение меридиана началось во времена Великой французской революции. Конвент постановил ввести во Франции метрическую систему мер. Мерой длины предложили метр — одну десятимиллионную долю четверти длины меридиана. Но для этого надо было эту четверть измерить. Была послана экспедиция, Деламбр во главе первой группы поехал в Дюнкерк, Пьер Мешен стал двигаться ему навстречу от Барселоны. Война прервала работу, и двадцатилетний Араго, назначенный вместе с

Жаном Био комиссаром Комиссии долгот, должен был продолжить измерения меридиана дальше из Каталонии.

Шесть месяцев он провел на метеостанции в пустынных горах. Изредка он вырывался в Валенсию, на ярмарку или к землякам.

Стремительные романы с местными красотками, дуэли из-за них и трактирные драки занимали его больше, чем измерения. В горах бродили отряды испанских партизан и разбойничьи шайки. Они нападали на купцов, на путешественников, на геодезистов.

Однажды Араго спас предводителя всех разбойников округа. Он дал ему приют в своей горной хижине и от него получил за это право беспрепятственно ходить в горах от станции к станции в любое время. Он был единственный, кто ночью шел не таясь, размахивая фонарем, распевая песни. Стоило ему назвать свое имя, как его тотчас отпускали. Гарантия действовала.

Никто кругом — крестьяне, монахи, даже горожане — не понимал, чем заняты эти странные люди, о чем сигналият они желтыми огнями с вышек, что измеряют диковинными кругами, трубами, угломерами. Партия геодезистов пробивалась напрямик по глухим тропам...

Шли королевские войска, преследуя разбойников, гремели выстрелы, пастухи пасли стада коз, в городах еще хозяйничала инквизиция, по улицам Валенсии везли на осле колдунью, вывалянную в черных перьях, на перекрестке дорог лежали тела четвертованных разбойников...

А Франсуа Араго с товарищами безостановочно, день за днем, шагал, вымеряя свой незримый меридиан, утешаясь смиренной гордостью чернорабочего науки.

Линии геодезических треугольников пересекали провинции, страны, границы, скрепляя навсегда единым обручем Землю, уточняя фигуру земного шара, маленькой, сплюснутой в полюсах планеты.

Работа была безвестной, безымянной — может быть, первая работа, которая соединила ученых разных стран и ученых разных поколений.

Давно уже умер Борда — ученый, воин и моряк, затем, после восьмилетнего пути, умер на этом меридиане Пьер Мешен, приходили другие, продолжая этот путь, верста за верстой, мимо монастырей, селений, через войны, суеверия, лихорадки, обвалы, смены правительств, восстания.

Войска Мюрата вступили в Мадрид, нещадно рас-

правляясь с патриотами. Провинции поднялись против интервентов. Крестьяне, ремесленники вооружались, готовясь к отпору. Испанские патриоты бросили вызов Наполеону — началась герилья, ожесточенная долгая народная борьба за независимость.

Био, заболев, вскоре уехал домой; теперь, когда Испанию охватила гражданская война, Араго тоже имел полное право собрать свои инструменты и вернуться во Францию. Вместо этого он отправился на Мальорку заканчивать измерения. Ему хотелось измерить «одним треугольником дугу параллели в полтора градуса». Мальорка была для него не центром восстания, а точкой, которую надо было соединить геодезически с Ивзой и Ферментерою. Что поделать, таков был путь меридиана, не Араго его выбирал.

С точки зрения здравомыслящего человека, меридиан не испортился бы, если его покинуть на годик. Никуда он не делся бы, и даже партизаны не могли его повредить.

Однако в науке здравый смысл не такая уж ценность.

Сам Араго, конечно, считал себя весьма здравомыслящим человеком: попадая в очередную передрагу, он действовал хитро, находчиво, гибко; вопрос лишь в том, чего ради он постоянно из одной передраги попадал в другую, с какой стати он отправился в самое пекло, где его не ждали ни награды, ни слава, куда ему никто не приказывал лезть?

В столице Мальорки на главной площади Пальмы неделю горел огромный костер, толпа заталкивала в огонь кареты дворян, сторонников Годоя, кричала: «Долой временщика! Долой французов! Смерть французам!»

Араго преспокойно устанавливал свои приборы на метеостанции над портом. Сочувствуя испанцам, он полагал, что их угрозы к нему не относятся. Пусть Наполеон воюет, сколько ему вздумается, каждый занимается своим делом, он, Араго, вместе со своими друзьями испанскими комиссарами Родригесом и Шэ тем временем выяснит, насколько Земля сжата у полюсов...

Поскольку испанцы не знали ничего о его сочувствии, а сжатие у полюсов им тоже казалось делом не экстренным, то они заключили, что француз, который сигналил огнями на виду французской эскадры, — обыкновенный шпион.

Рассуждения их были вполне логичны. И когда разъяренная толпа подступила к метеостанции, у Араго хва-

тило здравого смысла не рассказывать им об эллиптических функциях, а переодеться крестьянином. Отлично владея мальоркским наречием, он незаметно смешался с повстанцами. Он подзадоривал толпу не церемониться с французом. Ему нравилась игра с опасностью, балансирующая пробежка по краю жизни. И вообще, если б не его работа, он не прочь был бы остаться с повстанцами. Не следует думать, что ученые так уж любят свою работу. Большой частью они рады отделаться от нее — и не могут. Почему так — то ли это какая-то хворь, то ли врожденное устройство души — неизвестно. В самом деле, что заставляет красивого ловкого парня, владеющего шпагой, быстрого на язык, просиживать годами над приборами, уточняя какую-нибудь четвертую цифру после запятой, вместо того чтобы стать купцом, пиратом, офицером, наконец, императором?

Ночью Араго пробрался в порт на корабль экспедиции. Капитан отказался укрыть его. Тем временем преследователи обнаружили беглеца, они заняли причал. Араго с несколькими верными матросами спрыгнул в шлюпку и поплыл к Бельверской цитадели. За ним гнались на лодках. Толпа бежала вдоль берега. В схватке ему располосовали бедро, чудом ему удалось забраться в крепость, укрыться там в тюремной камере. Он смеялся: это был побег наоборот, побег в тюрьму. Он стал арестантом и был спасен. Спасен для новых опасностей. Какой-то фанатичный монах потребовал отравить заключенного. С монахами у Араго постоянно возникали нелады. Большой частью его интерес к духовенству кончался тем, что его порывались убить или отравить.

Иногда, со стороны, его поведение выглядело более чем странным. Представьте себе следующую сцену. Вместе с Био он является к архиепископу Валенсии. Им надо заручиться содействием церкви, чтобы получить помощь местного населения. Аудиенция проходит благополучно, архиепископ обещает покровительство, Био и французский консул удаляются, совершая при этом непростительную небрежность, — они забывают поцеловать руку монсеньеру. Араго почему-то стоит оцепенелый и безучастный. Чрезвычайно рассерженный архиепископ сует ему руку прямо в зубы, даже не руку, кулак. Грубость несколько не возмущает Араго, наоборот, с нежностью,

зачарованно он склоняется над волосатым кулаком архиепископа.

Попробуйте разгадать эту сценку, понять, что тут произошло. А между тем все дело заключалось, оказывается, в перстне. С первой минуты Араго заинтересовался перстнем архиепископа и стал прикидывать, какие оптические опыты можно поставить с великолепным большим аквариумом, сверкающим перед его глазами. С этими учеными никогда не угадаешь, что может взбрести им в голову.

3

В тюрьме он прочел в газетах душераздирающее описание жизни молодого астронома Араго, покорно позволившего себя повесить.

Многообещающий поворот, конец первой части и начало новых приключений Араго.

Он не пишет формул на стене своей камеры, не пересыпает свою речь научными словечками. У него иные заботы. Самые элементарные. Ему надо бежать из крепости. С помощью своего друга Родригеса он, ловко обработав губернатора, бежит на рыбацьем барке в Алжир.

Итак, барк подан, впереди Средиземное море. Астронома Араго больше нет, не существует, он казнен, есть таинственный незнакомец и дальше на выбор — сражение с корсарами, захват фрегата английского, испанского, любого; можно возглавить отряды испанских партизан, стать грозой наполеоновских войск — «неуловимым Доминик-Франсуа», — полководцем, диктатором, и представляете — время от времени Парижская академия получает подписанные инициалами «Ф. А.» записки. Чтение их производит переполох. Открытия в метеорологии, электричестве, оптике следуют одно за другим. Кто он, гениальный автор?..

Скорее всего он вынужден будет оставить науку, почти как Наполеон.

В игре этих замыслов — несостоявшиеся варианты его судьбы. У каждого человека есть несколько несбывшихся биографий, набор случайно несостоявшихся судеб.

Пока барк медлил с отплытием, сюжеты ветвились один заманчивее другого. Араго в этот явно неподходящий момент грузил на барк свои приборы. Не знаю, каким образом друзья умудрились утащить их со станции, и вот теперь он грузил ящики со всякими треногами, ба-

рометрами, медными кругами, угломерами. Самым что ни на есть банальным приемом показывал он свою преданность науке. Словно какой-нибудь служака-лаборант. С этими учеными никогда не знаешь... Кажется, характер, самой природой назначенный для приключений: лихой, фатоватый, мушкетер, которому море по колено, созданный для поединков, подвигов; так нет, обязательно испортит приключение, нарушит темп и вылезет нудный педант, готовый рисковать жизнью не ради возлюбленной или власти, а ради каких-то железяк, годных на то, чтобы измерить угол чуть поточнее...

С разными приключениями, которые так и льнули к Араго, добрался он до Алжира. Раздобыв фальшивый паспорт, он наконец сел на корабль и отправился в Марсель. Трое суток плавания, вот уже Лионский залив, конец путешествия, а там отчет в Комиссии долгот и можно вернуться в обсерваторию, а можно уйти в армию, надеть мундир, саблю... Увы, в самую последнюю минуту их настигает испанский корсар, берет в плен, тащит назад и доставляет в Розас.

Чиновники во главе с судьей должны были установить личность пленных. Араго пришлось проявить все свое искусство, чтобы замести следы. Допрос напоминал ему привычную обстановку экзамена, с той лишь разницей, что неудачный ответ означал расстрел.

— Кто вы?

— Бедный торгош.

— Откуда?

— Из страны, где вы никогда не были.

— Откуда?

— Я из Швеката.

— Нет, вы испанец, испанец из Валенсии, это слышно по вашему выговору.

— Да? А может, я из Ивзы?

— Попались! — сказал судья. — Вот здесь солдат из Ивзы, поговорите с ним.

Эффектная пауза. Толпа замерла, предвкушая развязку. И вдруг Араго чистым высоким голосом запел песню пастухов Ивзы. «Бе-бе-бе», — припевал он, блея козой и прищелкивая по-пастушьи. Где, когда успел он подхватить это характерное наречие? Солдат из Ивзы, со слезами восторга поклялся, что перед ним земляк. Но Араго, хохоча, уже доказывал, что он француз. И бывший офицер бурбонского полка после нескольких фраз Араго

тоже подтверждал — француз. Ничего подобного — перед судьей уже был не француз, а сын какого-то мотарского трактирщика. А через минуту он превратился в комедианта-кукольника из Лериды.

Замороченный судья хватался за голову, толпа гоготала. Араго разыгрывал представление у старой мельницы близ Фугераса. Чем только не наделила его природа — он жонглировал своими способностями, полный молодых сил и дерзости. Кто он — иллюзионист, актер, чревовещатель? Сейчас он начнет показывать фокусы, он превратится в арабского шейха, в мага-волшебника, предсказателя судеб...

Будь он вымышленный герой, он сорвался бы по касательной, вознесясь над знаменитыми авантюристами прошлого, вплоть до Казановы и Калиостро, поскольку он обладал еще разными научными сведениями. Но в том-то и секрет его молодости, что всякий раз какая-то центростремительная сила удерживала его.

В Алжире было полно испанских офицеров, в любую минуту беглеца могли опознать и отправить на казнь.

Уговорив часового, Араго передал письмо капитану английского корабля, стоящего на рейде: «Вы можете меня вытребовать, потому что я имею английский паспорт. Если этот акт будет для вас труден, то, сделайте милость, возьмите у меня рукописи и отошлите их в Лондонское Королевское общество».

Вот что его мучает. Рукописи. Хоть бы переправить в Европу результаты измерений. Хотя бы в Англию. Наплевать, что идет война и Англия — заклятый враг Наполеона. Измерения сделаны не для англичан и не для Наполеона. Важно, что с их помощью теперь можно вычислить меридиан и сжатие Земли у полюсов и сравнить с тем результатом, который Лаплас добыл теоретически.

Капитан пришел. Они переговаривались, стоя по краям карантинной площадки, огороженной канатами. Вытребовать Араго он не мог. Ну а рукописи? Взять с собою рукописи и передать в Королевское общество?.. Араго вытащил из-под рубашки грязную связку листов, испещренных цифрами. То, что он спас всяческими хитростями. Капитан рассердился. Он полагал по меньшей мере увидеть солидный фолиант в сафьяновом переплете. Было бы из-за чего рисковать. Какую ценность могла иметь пачка мятых бумаг, которой размахивал этот оборванец!

Английский капитан Джордж Эйре ничем не отличался от многих своих земляков, любивших видеть науку в строгих мантиях оксфордских докторов, среди громоздких приборов, обязательно непонятных и дорогих.

Что оставалось Араго? Бежать. Тщательно изучив местность, он ночью заполз в кустарник и оттуда благополучно пересек линию часовых. В это время в лагере поднялся шум. Вспыхнули факелы. Его схватились. Он метнулся назад, притворно потягиваясь, вошел в барак. Если бы его поймали, ему грозила верная смерть. Оказалось, что его спутники, взятые с ним в плен турки, арабы, евреи, искали своего защитника и спасителя, они боялись погибнуть без него. Он увидел их отчаяние и остался.

Пропотевшая рукопись вновь легла под солому, она снова была в плену, и он был прикован к ней, как каторжник к пушечному ядру.

Пленников перевели в каземат, оттуда в форт, оттуда в темный подвал на понтоне. Им давали сухой хлеб и горстку рисовой крупы, которую негде было варить. Иногда их выпускали в город. Заросший бородой, в лохмотьях, Араго бродил по кривым улочкам и рыжим базарам Паламоса, выпрашивая подаяние.

Во Франции его давно считали погибшим. Спустя двадцать лет Араго вспоминал о своих скитаниях с легким удивлением и завистью к себе, молодому, выносливому.

Рукопись, приборы... Он упоминает о них нехотя, они ему порядком осточертели. Кажется, что если бы он переправил рукопись в Англию, во Францию, то взмыл бы, свободный, легкий, ринулся бы в политику, в войну. Наука не могла поглотить весь его темперамент и энергию.

Тяжелее всего пришлось, когда пленных поместили в маленькую часовню. Каждое утро приносили из госпиталя умерших. Ночью, когда Араго лежал рядом с холодными телами, он мысленно возвращался в свое прошлое, ему хотелось проверить неизбежность траектории, которая привела его сюда. Ночь сладко пахла трупным тлением. Покойники все казались одинаковыми. Только раны были у них разные. Они умирали от французских штыков, французских пуль и ядер. Араго привык к виду смерти, но тут ее было слишком много. Йодистый привкус ее сводил скулы. Его собственная смерть переминалась с ноги на ногу за порогом вместе с караульными

крестьянами. Всякий раз, когда открывались кованые двери, можно было ждать, что его поведут на казнь. Обидно было умереть без имени, без вины, ни за что ни про что. В душе его не было злобы к партизанам. Их считали фанатиками, но он-то знал праведность их ненависти к французам. Европа впервые увидела такое отчаянное сопротивление целого народа. Ему было стыдно за Францию.

Лунный свет сквозь узкие витражи пестро расцветивал лица покойников. Бегали крысы. Сонно вскрикивали обезьяны. Неукоснительно прямая линия меридиана соединяла эту часовню с Парижем и нынешнюю жизнь Араго с его прежней. Сквозь все случайности и нелепости пробивалась, в сущности, жестокая связь. Как будто он тронул цепь, и движение отозвалось в том дальнем, первом звене его поступка, в актовом зале Политехнической школы. Сперва он отказался арестовать Бриссо, потом спустя несколько месяцев Бриссо, уже исключенный из школы, пришел не к кому другому, а именно к Араго, сказать, что он хочет освободить Францию от тирана. С инженерной тщательностью он разработал план покушения на Наполеона. Долго тренировался в стрельбе из пистолета. Нанял маленькую комнату на площади Карусель. Окно ее выходило на место, где Наполеон обычно устраивал смотр гвардии. Бриссо стрелял без промаха. Ничто не могло поколебать его руки и намерений.

Откровенность Бриссо поставила Араго в отчаянное положение. Донести он не мог, об этом он и думать не хотел. Но и быть соучастником убийства, а это было убийство, он тоже не мог.

Несколько недель он потратил, уговаривая Бриссо отказаться от замысла.

Прав ли он был, спасая жизнь Наполеона? Наполеон виноват в войне с Испанией. Война сделала Араго пленником... Не пожинает ли он сам ныне плоды посеянного им? Поразительное, конечно, сцепление обстоятельств, которое привело его сюда, но, глядя назад, в прошлое, он мог отыскать неизбежность, похожую на возмездие. Все же оно существует, возмездие, должно существовать. Где-то в начале пути совершается выбор, казалось бы, незначительный, и вот через годы вдруг предъявляет счет. Вот теперь, испытав на своей шкуре несправедливость этой войны, увидев сотни невинно погибших, остановил бы он Бриссо?..

К ноябрю 1808 года по ходатайству алжирского дея Араго получил свободу и отплыл в Марсель.

На сей раз уже показались сахарно-белые дома на холмах Марсея, когда налетел шквал, корабль погнало на юг и спустя неделю выбросило на берега Африки. Все начиналось сызнова. Араго тащится с караваном опять в Алжир, через селения, охваченные междоусобной войной.

Вокруг костров бродили львы. Араго стрелял в жаркую черноту. В одном из селений его узнали, он избежал смерти, прикинувшись паломником, готовым принять мусульманскую веру. Он творил намаз по всем правилам Корана, а под рубахой у него топорщилась все та же связка рукописей — седьмая часть четверти меридиана, дуга, измеренная им с точностью, доселе недоступной, земной эллипсоид, который он тащит за пазухой...

Бродячий Атлант однообразен, как будто обречен спастись и спастись, приключения давно превратились в испытания, ему давно следовало погибнуть, сдаться, а он? Все еще жив и упрямо волочит за собою приборы и затрепанную рукопись.

В Алжире выяснилось, что дей, отпустивший их, казнен, а новый дей объявил войну Франции. Согласно правилам, Араго внесли в список невольников.

Новые приключения ничего не могли изменить. Они лишь нанизывались на растущее упорство Араго. Прошло несколько месяцев, и он опять на корабле и в третий раз плывет в Марсель.

Перед родным берегом английский фрегат чуть было не захватил их в плен. Судьба соревновалась с Араго в настойчивости, и вдруг в последний момент не то чтобы сжалилась, она сдалась, признала себя побежденной — стало ясно, что сколько ни отбрасывать этого человека назад, он все равно будет возвращаться.

Препятствия не превратили его в одержимого. Слава богу, его не причислишь к лику маньяков науки, поглощенных лишь своей идеей. Достаточно взглянуть, чем он занимался, сидя в каюте корабля. Приводил в порядок рукописи? Готовил вычисления? Научный отчет? Как бы не так! Он наслаждался захваченной французами почтой испанских горожан с Мальорки. Он знал там многих. Без стеснения он вскрывал письма известных ему девиц, большинство упоминали о нем весьма лестно и откровенно обсуждали слабости его соперников. Ему исполнилось

двадцать три года, и он раздувался от гордости. Это чтение было поинтереснее научных статей.

Воскрешение Араго произвело во Франции сенсацию, кандидатуру его немедленно предложили в Академию.

За день до выборов Лаплас позвал к себе Араго и сказал:

— Напишите письмо в Академию, что вы желаете избираться только после открытия вакансии для Пуассона.

Он считал, что Пуассон, учитель Араго по Политехнической школе, должен быть избран раньше. Пуассон был учеником Лапласа, его гордостью. Лаплас считал Пуассона лучшим математиком. Может, он и был прав, и, что еще важнее, он не мог быть неправым, он был властителем Академии, он был гордостью Франции и любимцем Наполеона. Спорить с ним было немыслимо. Но Араго был весел и счастлив, секрет его состоял в том, что он не рвался в Академию. Мундир академика прельщал его меньше, чем офицерский.

— Гумбольдт предлагает мне ехать в экспедицию на Тибет,— сказал Араго Лапласу,— там звание академика не поможет. Так что я могу и подождать. Но я бы не хотел поступить нетактично в отношении Академии. На мое письмо мне будут вправе сказать: откуда вы знаете, что о вас думают? Вы отказываетесь от того, что вам не предлагают.

Он отклонил просьбу Лапласа. Почтительно и твердо. Несогласие с Лапласом было дерзостью. Граф Лаплас, сенатор Лаплас возмутился. Достаточно ли вообще у этого юнца заслуг, чтобы быть избранным, не слишком ли он молод?

Если бы в эту минуту прокрутить перед Лапласом сцену тридцатилетней давности... Чтобы он увидел и услышал себя после того, как его забаллотировали в Академию. Он был так же самоуверен, кичлив, как Араго, ему тоже было двадцать три года, и ему говорили те же слова, и как он негодовал! Но сейчас он об этом не помнил. Он начисто забыл — вот как удобно устроена у человека память. Она стирает все, что неприятно.

Что другое, а этот упрек задел Араго за живое. Сам он мог называть себя лоботрясом и неудачником. Он считал, что ничего не успел, потратил впустую три года в Испании, карабкаясь на тонконогих мулах по тропам Кабилии, пробиваясь сквозь воюющую страну, сидя в тюрьмах. Но то, что он не сделал,— это его забота, а

ваша, милостивые государи,— изумляться тому, сколько он сделал. Самомнения у него хватало. И все же не без страха он попробовал подсчитать:

Вместе с Био он сделал несколько работ по атмосферной рефракции.

Провел наблюдения для проверки законов качания Луны.

Вычислил орбиты многих комет.

Определил коэффициент для барометрической формулы.

Изучил преломление света в различных газах.

Там, в Испании, он впервые применил турмалиновые пластинки для определения преломления света в воде.

Окончил самую большую гриангуляцию для продолжения парижского меридиана.

Неплохо. Он сам не мог понять, когда он все это успел.

Осторожный, расчетливый, предусмотрительный Лаплас, пожалуй, впервые терпел поражение. Ему осмелились возражать и Био, и Лежандр, и Галле. За Араго вступился и Лагранж, а затем и Деламбр.

Араго выбрали почти единогласно.

Французских академиков пленило его «...мужество в самых затруднительных обстоятельствах, которое способствовало окончанию наблюдений и спасло инструменты и полученные результаты».

В конце концов и Лаплас подал голос за избрание Араго.

Получив зеленый мундир, расшитый золотом, Араго явился на прием к императору во дворец Тюильри.

Таков был новый порядок. Наполеон лично знакомился с избранными академиками.

Церемония имела разработанный ритуал. Возвращаясь с мессы, Наполеон в сопровождении своих маршалов и министров производил смотр творческим силам империи.

Шеренги писателей, артистов, художников, ученых выстраивались под присмотром руководителей Академии, секретарей отделений. Желающие могли преподнести императору лучшие свои работы. Остальные так или иначе старались быть замеченными, удостоенными, упомянутыми.

Гений императора был всеобъемлющ — он с успехом наставлял архитекторов, давал указания художникам.

«Не бородавка на носу придает сходство,— учил он, и слова его повторялись, как откровение.— Никто не осведомляется, похожи ли портреты великих людей: их гений — вот что должно быть изображено».

Наиболее сведущим Наполеон считал себя в естественных науках. В молодости, слушая лекции Лапласа и Монжа, он мечтал стать ученым. Он даже написал трактат о внешней баллистике. И как знать...

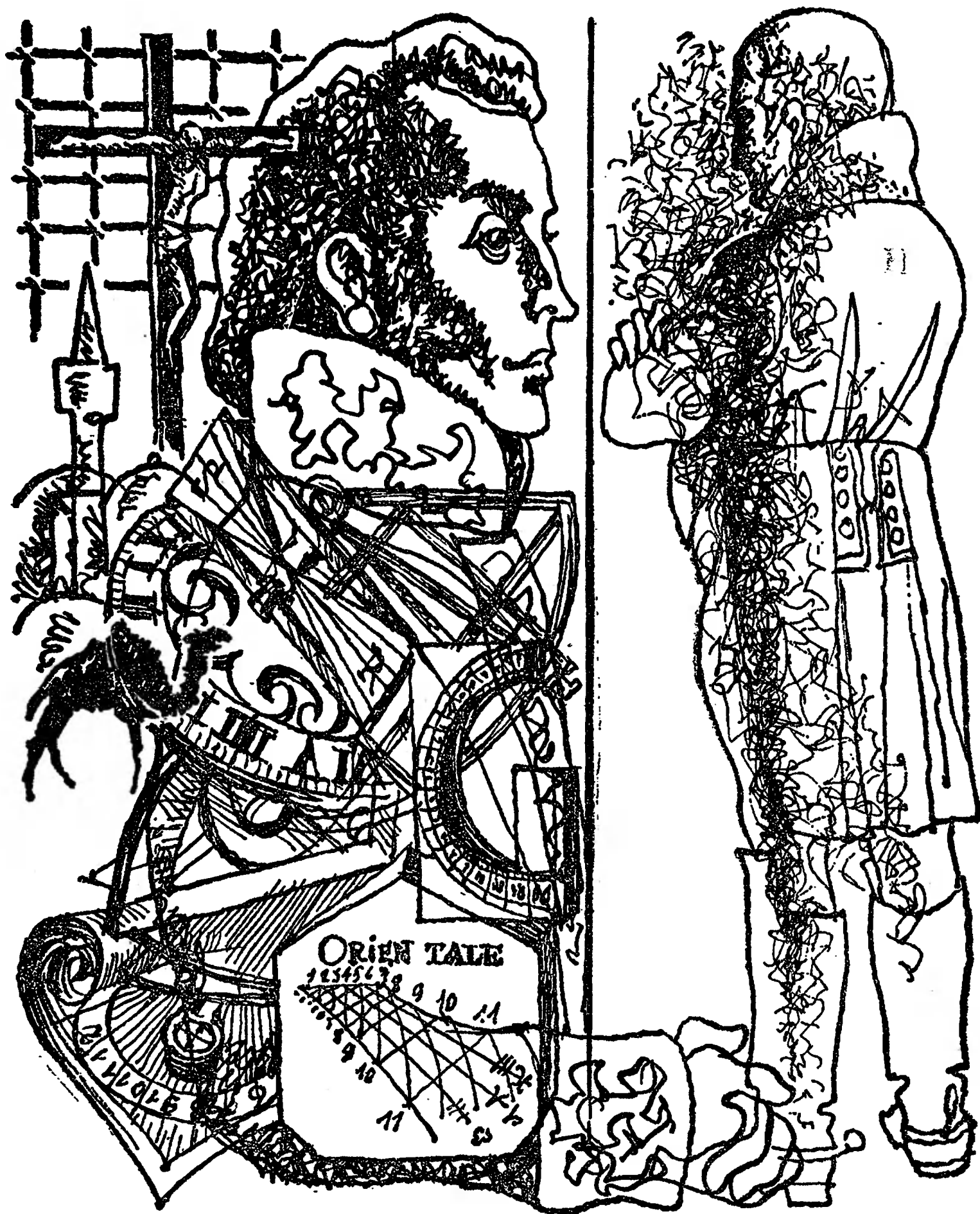
Приятно было погрузиться о несостоявшейся научной карьере. Наполеон писал Лапласу: «Весьма сожалею, что сила обстоятельств удалила меня от научного поприща». Не будь он императором, он, конечно, занимался бы математикой или артиллерией, а может, астрономией, но, увы, приходилось быть императором.

«Как только у меня будут шесть свободных месяцев, я употреблю их на изучение вашего прекрасного творения»,— обещал Лапласу, автору «Небесной механики», знаток механики земной. Это «шесть месяцев» должно было всем показать уважение к сложности труда Лапласа. Шутка ли — потратить полгода своей императорской жизни, лишь бы насладиться творением Лапласа. Вот до чего доходила его любовь к науке. К счастью, этого не случилось, но стало ясно, какими способностями он обладал, ибо надо быть незаурядным математиком, механиком, чтобы разобраться в трудах Лапласа. Недаром молодого генерала Бонапарта избрали вице-президентом Египетского института наук и искусства и членом по математическому отделению. Пожелай он — и был бы президентом, но он решительно отказался, предложив президентом великого геометра и своего друга Гаспара Монжа. Предложение его после приятного сопротивления было принято. Монж — президент, гражданин Бонапарт — вице-президент и гражданин Фурье, великий математик и теплотехник,— непременный секретарь. Так что гражданин Бонапарт по своему ученому весу располагался где-то между Монжем и Фурье.

Французская революция подняла авторитет ученых.

Молодой, еще стройный, прямо-таки худенький генерал Бонапарт искал их поддержки. Он был полон почтения к своим недавним наставникам, он доверял им, советовался с ними — скромный солдат, «самый штатский среди военных», казалось, он мечтает создать власть ученых и политиков, инженеров и военных.

Ему верили. Эти математики, астрономы, механики



всегда верят в разумные вещи. Они считали, что если ученые бескорыстны, преданы родине, талантливы, то, следовательно, они могут заниматься государственными делами. Эти чудаки всегда рассматривают идеальную схему. И хотя Наполеон, став диктатором, постарался освободить их от всяких надежд, они долго еще продолжали держаться за свою утопию. И Араго тоже был убежден, что государством должны управлять ученые.

Культ науки у него переходил в культ ученых. Ученые бескорыстны, образованны. Стремление к истине, свойственное естествоиспытателям, оздоровит государственную машину. Но как раз тут научное мышление изменило ему, он не сумел, а может, не желал понять того, что происходило у него перед глазами. Хотя бы с его учителем Лапласом. А пример был поучительный.

Наполеон назначил Лапласа министром внутренних дел. И величайший правитель Франции, и величайший ученый Франции поначалу были довольны. Однако вскоре выяснилось, что министра из Лапласа не вышло. К счастью или к сожалению, но не вышло. Взялся он за дело со всем усердием исследователя. Пытался вести управление по математическим расчетам. Формализовать аппарат. Внедрить математические методы. Но оказалось, что администрация новой империи работала по иным законам. Канцелярские интриги не поддавались расчетам. Интересы чиновников были посильнее формул, эти интересы исходили не из целесообразности и, уж во всяком случае, не из интересов страны. Лаплас заслужил славу неудавшегося министра. По своему характеру он и в самом деле не мог оставаться министром. Но неслыханный его провал примечательнее успехов некоторых прославленных наполеоновских министров.

Став императором, Наполеон стал мудрее, образованнее генерала Бонапарта. Император все знал сам и не нуждался в советах астрономов или ботаников. Он был достаточно умен, чтобы не отталкивать от себя Академию, он ласкал ее, награждал и щелкал по носу, выбивая вольнодумство.

На торжественном заседании, посвященном десятилетию его правления, секретари отделений зачитали обзоры успехов наук, обязанных заботам императора.

Зал был переполнен, Академики соревновались в эпитетах и сравнениях. «Величайший гений...», «Праздник природы...», «Редчайшее сочетание...»

«Бог, сотворив Наполеона, почувствовал необходимость в отдыхе!»

«Наконец-то человечество получило достойную награду».

...Увековеченный в скромном сером сюртуке, император шел, сопровождаемый свитой, сиянием звезд, лент,

золотого шитья. Араго смотрел, не чувствуя в себе волнения и удивляясь прежним мечтам своим.

Наполеон изменился, обрюзг, отяжелел. Еще больше преобразились люди, окружавшие его. За три года отсутствия Араго исчезли остатки якобинских замашек. Каждое слово императора ловили, как наивысшую истину, преувеличенно ахали, преувеличенно смеялись, исто-во замирали от восторга. Лица «бессмертных», знакомые Араго по портретам, потно блестели от страха и обожания. Здесь взвешивался малейший жест, учитывались интонация, молчание.

Бархат, толстые золотые эполеты, бриллианты, напoмаженные склоненные головы... Только что Араго так же подставлял голову обезьянам, которые ловко истребляли вшей в его волосах, и только что он протягивал холщовую торбу, выпрашивая банан и кусок хлеба.

Наполеон остановился перед ним.

Испания избавила от многих иллюзий, и все же Араго чувствовал силу, исходящую от этого человека, она действовала вопреки воле и разуму.

— Вы очень молоды,— сказал Наполеон.— Как вас зовут?

Один из академических чиновников опередил Араго со стремительностью личной охраны:

— Его зовут Араго!

— Чем вы занимались?

Другой чиновник, а может, то был ученый, Араго не успел посмотреть, проворно ответил:

— Астрономией!

— И что вы сделали в этой науке?

Тогда первый, перехватывая, крикнул:

— Он измерил дугу меридиана в Испании!

Араго восхитила шустрость этих молодцов. Они знали о нем наверняка все. Император, кивнув, отошел, решив, очевидно, что перед ним немой или идиот, обалдевший от робости и восторга.

Он не успел сказать Наполеону ни одного слова. Да и о чем? Что следует говорить императорам? Бесстрашные истины, которые нравятся школьным историкам? Но надо, чтобы это еще нравилось и императору. Или, во всяком случае, чтобы не очень ему не нравилось.

С каким чувством он ехал во дворец? После избрания он считал себя героем — он спас не только ценные инструменты и рукописи, он сохранил результаты многолет-

них измерений, стоивших Франции огромных средств. Строились станции в глухих горах Каталонии, Арагоны, Валенсии. Караваны мулов перетаскивали по горным тропам оборудование. Ураганы опрокидывали вышки... Правда, на фоне дворцовой роскоши эти суммы съежились. И работа его вряд ли могла поразить придворных сановников. Другое дело, если бы он обнаружил новую планету, открыл всемирное тяготение или в крайнем случае изобрел динамит. Они напоминали того английского капитана — Джорджа Эйре. Вереница джорджей, милых, сочувственно удивленных: стоило ли так трястись над этой пачкой грязных листков? Что от них останется? Лишь несколько цифр в справочнике.

Свита озидала с жалостью недотепу-новичка, этого простофилю, который упускал счастливый случай вернуть что-нибудь приятное и тем удержаться в памяти императора.

Он улыбался.

— Ваше величество,— мог бы он сказать,— кроме меридиана, я еще кое-что сделал.

— Что же? — спросил бы Наполеон.

— Я спас вашу жизнь.

В его распоряжении оставались еще две или три секунды. Наполеон был рядом. Можно было сказать:

— Вы изволили заметить, ваше величество, что я очень молод, но это не помешало мне еще шесть лет назад отвести руку убийцы. Бриссо уже умер,— добавил бы он,— теперь я могу назвать его имя.

Кто еще в этом зале мог похвастаться чем-либо похожим? В запасе у него были и новые подозрительные трубы, и разные сведения, полезные для войны. Несколько слов — и положение его могло круто измениться. Всего один шаг отделял его от обладающих славой, богатством, властью. Ничего не стоило ему очутиться среди них. Привычная отчаянность и дерзость подмывали его. Было так легко сделать этот шаг. За ним мерещились бурная пена славы и разные прелести столичной жизни, по которой он стосковался, дворцовые балы, орден Почетного легиона, покровительство монарха, карьера, карьера...

Молча он смотрел на круглую спину Наполеона.

Может быть, он вспомнил ночные трупы в часовне.

Что-то с ним происходило.

Может, он не хотел отойти в сторону от меридиана. Слишком долго он шел, сверяя свой путь с меридианом.

У меридиана были свои законы. Участок, измеренный Борда, давно слился с отрезком, измеренным Кассини, а тот — с отрезком, измеренным Мешеном, теперь к ним добавится дуга, измеренная Араго.

На меридиане не пишут имен, на нем не будут обозначены три года жизни Араго, его скитания, свист пуль, кровь, чума, там будут лишь градусы, минуты, секунды.

Наполеон уходил, не оглядываясь. Еще шесть лет было до того дня, когда ему придется долго ждать ответа Араго.

История — лучший драматург, она позволяет себе любые условности, симметрию почти геометрическую. Шесть лет назад и шесть лет вперед, а посередине — Араго в зале Тюильри...

4

Это случилось после Ватерлоо. Наполеон приехал в Париж 21 июня 1815 года. Палата непрерывно заседала, предместья бушевали, готовые стать на защиту императора: «Долой палату! Не нужно отречения! Император и оборона!» Но для Наполеона все было кончено. 22 июня он подписал отречение и удалился в Мальмезон.

Гаспар Монж — академик, создатель начертательной геометрии — был один из немногих, кто не оставил в эти дни Наполеона. Ежедневно он являлся в опустелый дворец к своему кумиру. Двадцатилетняя дружба связывала знаменитого геометра с императором.

Монж заслуживал полного доверия, и однажды Наполеон открыл ему свой план, наилучший выход из создавшегося положения, последнее произведение великого стратега — уехать в Америку, не ради спасения своей свободы, а для того, чтобы начать новую, достойную наполеоновского гения деятельность.

— Бездействие для меня убийственно, — говорил он Монжу. — Судьба отняла у меня надежду когда-нибудь возвратиться к моей армии.

Что же ему оставалось, чем еще он мог заполнить свою душу, ум? Имелось ли что-либо в этом мире, равное славе завоевателя, вершителя судеб народов и государств? Конечно, нет. Но была наука — его первая, молодая любовь. Ему вдруг показалось, что он и в самом деле любил ее и втайне был верен ей. Пожалуй, наука,

только она может вернуть ему душевное равновесие, удовлетворить его честолюбие.

Когда-то, еще будучи первым консулом, он сказал академику Ламерсье, который отказался от должности государственного советника:

— Вы хотите полностью принадлежать науке? О, как я понимаю вас! Если б я не сделался военачальником и орудием судьбы великого народа, неужели я стал бы бегать по департаментам и салонам, чтобы добиться портфеля министра! Потерять независимость и самого себя — нет! Я занялся бы наукой, точными науками! Я вступил бы на дорогу Галилея и Ньютона. И поверьте, я всегда добивался того, чего хотел, в любых самых великих походах и предприятиях, так же было бы и в науке. Я прославился бы не меньше своими открытиями...

Ему внимали с умилением. Он и сам верил в универсальность своего гения. Легенда была удобной — в любой области он добился бы своего. Не властолюбец, не карьерист, он жертвовал своим призванием ради славы Франции.

При всяком годном случае он разукрашивал этот образ, пока сам не уверился в своем неосуществленном таланте. В Америке он намерен был вести научные экспедиции, обследовать весь Новый Свет — от Канады до мыса Горн. С истинно наполеоновским размахом он готовился завоевать, в смысле науки, обе Америки. Что именно изучать, не важно: то, что еще не известно. В Америке этого добра хватает, насобирать открытий можно сколько угодно. Одна лишь загвоздка — найти спутника, который натаскает его до современного уровня науки, введет в курс. Это должен быть талантливый ученый, отважный, закаленный, чтобы хоть как-то соответствовал Наполеону... Такой, как Монж, но помоложе, сам Монж из-за ветхости не потянет.

Решено было оказать эту честь Араго. Разработана была финансовая часть предприятия. На деньги Наполеон не скупился. Естественно, за потерю работы и должности во Франции Араго будет щедро вознагражден. В любом случае он получит большую сумму. Будет куплено лучшее оборудование, приборы астрономические, физические, метеорологические...

Монж воспринял этот план с энтузиазмом.

В своем рассказе Араго изо всех сил сдерживает иро-

нию, сохраняя невозмутимость беспристрастного летописца.

Отказ Араго изумил Монжа. Как же так? Известно, что дружба великого человека — благодеяние богов. О чем еще можно мечтать — стать спутником Наполеона, удостоиться быть ему верным помощником, соучастником в его грандиозном замысле. Монж продолжал верить в звезду императора. Ореол божества еще сиял для него над челом Наполеона. Со всем красноречием Монж уговаривал Араго, не понимая, как можно уклониться от столь лестного предложения.

Это уже спустя десятилетия Араго иронизирует. В те дни замысел Наполеона не выглядел фантазией. Наполеону удавалось все. Поражение, разгром, Ватерлоо — не в счет. Побед было больше, чем поражений. Отречение? Ну что ж, однажды он уже отрекался. Чудо Стадней смутило самые трезвые умы. Вслух уверяли друг друга, что дело императора проиграно, исторически обречено. Фурье не побоялся сказать это в лицо Наполеону. Однако втайне тот же Фурье побаивался — а вдруг... Не верили и верили. От Наполеона можно было ожидать чего угодно. Казалось, для него не существовало неодолимого. Снова, в который раз, все могло перевернуться.

Надо было иметь смелость отказать Наполеону. Он продолжал оставаться опасным.

Изо всех сил Араго пытался стряхнуть с себя гипнотическую силу этого человека, вернуться к действительности.

— Англичане и пруссаки подходят к столице! Франция гибнет!.. Как можно думать сейчас о путешествии на мыс Горн! — доказывал он Монжу. — Это немыслимо, Наполеону сменить оружие на барометр! В такую минуту! Когда надо защищать нашу независимость!

Насчет войны Наполеон знал побольше Араго, войну он проиграл до конца, до последнего шанса. Сидя в Мальмезоне, он нетерпеливо ждал известий от Монжа. Это была последняя ставка Наполеона, запасной сокровенный козырь его фортуны. Согласие Араго не вызывало сомнений. В глазах Наполеона он оставался тем самым обалделым, онемелым от восторга малым в новеньком зеленом мундире академика, замершим на воощеном паркете белого зала Тюильри...

Монж не терял надежды уломать своего ученика.

Никто из приближенных не понимал, почему Наполеон тянет, откладывает отъезд. Снова, не объясняя, приказывает распрягать лошадей. Дорог был каждый час. Два фрегата ждали его в порту Рошфор, готовые отправиться в Америку. День проходил за днем. Он подолгу стоял у окна. Подъезжали конники, кареты, и все было не то, не то... Наконец 28 июня Наполеон покинул Мальмезон и ехал не торопясь, словно ожидая кого-то. Утром 3 июля он прибыл в Рошфор. К этому времени английская эскадра блокировала гавань. Но еще можно было пробиться. Офицеры предложили вывезти его ночью на небольшом судне. Он отказался.

Момент катастрофы, крушения великого человека вызывает у потомков почему-то особый интерес. Биографы расплетают нить событий на волокна тончайшие, самые тончайшие. Любая нелогичность, любое нарушение структуры становится тайной. О странности этих решающих, трагических дней спотыкались почти все специалисты. Осторожные исследователи отмечают непонятную нерешительность Наполеона, никак не свойственную его натуре, военному опыту. Другие смелее: они догадываются, что Наполеон явно медлил с отъездом, как может медлить человек ожидающий... Чего? Научная добросовестность молча пожимает плечами.

На острове Святой Елены Наполеон в разговорах и воспоминаниях перебирал всю свою жизнь. Однако сколько-нибудь удовлетворительного объяснения своему поведению в последние дни свободы он так никогда и не дал.

Историку, вероятно, свидетельства Араго недостаточно. Не знаю, существуют ли другие подтверждения его рассказа. Да это и не так существенно, мне важна была не подлинность, а возможность.

По-видимому, можно найти доказательства, когда хотят, их находят, но зачем мне доказательства, я верю Араго, как верят правде; когда правде не верят, тогда ее начинают доказывать, и тогда уже говорят «я согласен», а не «я верю».

Рассказ Араго мог ускользнуть от внимания историков, затеряться; они из разных миров, эти два человека, не приходит в голову сопоставлять их интересы. Но стоило обнаружить их случайное скрещение, как сразу все сцепилось, выстроилось, и представилась утлая, отчаянная надежда Наполеона начать на новой земле новую

жизнь, с иными радостями и ценностями. Может, впервые он пожалел о своем юношеском выборе. Ничего не осталось от его побед, от его империи. Все рассыпалось, как тлен, труха. Стоило ли тратить на это свой гений! Он мог стать великим ученым, таким же, как Лаплас, а может, и больше.

...Он обнял Араго. Наконец-то. Еще не поздно. Америка, экспедиции, лаборатории, не одна, не две, лучшие мастера, десятки ученых — все это скреплено именем Наполеона, его славой, его миллионами, его волей, его гением, ведь гений его в полной силе... Не правда ли?

— Не знаю, ваше величество,— уклончиво сказал Араго.— Я никогда не начинал сначала, я умею только продолжать.

Можно было счесть это дерзостью. Ничего не стоило приказать арестовать, связать этого человека, заставить его, припугнуть, да мало ли средств еще оставалось у изложенного императора! Отныне Наполеон был свободен от всяких обязательств. Но он был уверен, что Араго поймет, преисполнится. Ему давали славу — неслыханную славу помощника Наполеона, деньги, каких не имел ни один ученый, новую жизнь, полную приключений, открытий, власти — да, да, полнота научной власти над экспедициями, лабораториями...

— Ах, ваше величество, если б я не был занят! Видите ли, я сейчас выясняю, какой поляризованный свет...

На какой-то миг перед Наполеоном словно приоткрылись пространства Вселенной, внутренняя сущность вещей, где колебались, расходились волны света, бесшумно мчались планеты, возникали заряды, поля; мир, который не подчинялся никаким императорам, который был неподвластен политике, силе, войнам, где царили иные, вечные нестареющие законы.

— ...Иногда я удивляюсь, ваше величество, чем заняты все остальные люди, если только они не изготавливают мне приборы и линзы,— Араго улыбнулся над собственным простодушием. Он хитрил, но он и не хитрил.— Почему вы не можете уехать сами, ваше величество?

Уехать самому? Но что такое он сам, не император, не полководец, просто господин Бонапарт, мистер Бонапарт, частное лицо... Вдруг предстать перед всеми обыкновенным человеком — толстенький, маленький, плохо воспитанный корсиканец. Лишенный министров, полиции, солдат — что же останется? Заурядная личность?

На него показывают пальцами, удивляются, разочарованно переглядываются. Его высказывания любой сможет счесть банальностью, над вкусом его можно будет безнаказанно смеяться. На Эльбе его защищал ореол узника, опасного пленника, его боялись, его сторожили. В Америке он будет никем, просто беглец.

Без миссии поездка в Америку становилась бегством. Бесславный побег ради спасения жизни. Нет, это не для Наполеона. Он хотел оставаться Наполеоном, любой ценой, но Наполеоном.

Смешно, что судьба Наполеона ныне зависела от какого-то Араго, вернее, от увлечений этого Араго, от какой-то поляризации, линз...

Наполеон, привыкший повелевать народами, государствами, королями, должен был упрашивать, уговаривать этого человека, не имеющего ни власти, ни денег, ничего...

...Это я заставил Араго догнать Наполеона. Меня мучило отчаянье Монжа, холодная, черствая неуступчивость Араго, и даже уязвленное самолюбие Наполеона.

Я видел, что отказ Араго нанес последнюю рану, сквозь которую выходили энергия, предприимчивость...

На самом деле этой встречи не было, и разговора этого не было. Но мне хотелось, чтобы Араго согласился. Все-таки это был Наполеон. Рушилась грандиозная эпоха, и, кажется, если бы Араго решился, примчался в последнюю минуту в Рошфор, Наполеон воспрянул бы и не было бы острова Святой Елены и тихого, бесплодного угасания этого могучего духа.

Монж делал все, что мог. «Никогда любовь Монжа к Наполеону,— пишет Араго,— не обнаруживалась с такой силой, как в продолжение этих переговоров».

Араго не осуждал Монжа, противиться очарованию Наполеона умели немногие. (До конца своих дней Монж сохранял верность опальному другу. За это его исключили из Академии. Травить бонапартистов было выгодно и безопасно. Власти запретили участвовать в его похоронах. Араго выступал в защиту памяти Монжа. Он требовал уважения к Монжу за его верность. Араго не допускал мысли, что большой ученый может быть безнравственным человеком. Для него нет сомнений, что и Лавуазье казнен несправедливо — «он благороднейший гражданин и великий химик». Он обличает тех, кто каз-

нил астронома Балли. Они невиновны, жертвы тех кровавых лет,— и Ларошфуко, и Кондорсье, и Мольбер.)

Он уверен, что творческий гений и злодейство несовместны. Наука нравственна, и занятия наукой нравственны, они требуют бескорыстия, честности, товарищества.

И непреклонности...

Восьмого июля Наполеон поднялся на борт фрегата «Заале» и вышел в море, все еще собираясь отправиться в Америку. Он действовал как бы по инерции — пассивно и вяло. Его офицеры попросили англичан пропустить фрегат. Английский капитан сказал, что если Наполеон выедет в Америку, то нет гарантии, что он не вернется и не заставит Англию и Европу принести новые кровавые жертвы.

Капитан другого французского фрегата вызвался напасть на англичан, отвлечь их на себя, и тем временем «Заале» проскользнет, выйдет в океан. Это было в духе Наполеона, однако он не дал согласия. Он предпочел плен.

Ньютон однажды заметил: «Надобно чувствовать в себе силы, сравнивая себя с другими».

Нынешний Араго осмеливался сравнивать себя с Наполеоном. Не в смысле военном. Есть ученые, способные командовать армиями, но даже великий полководец не может стать ученым. Призвание к науке требует осуществить себя смолodu. Наполеон когда-то сделал свой выбор...

Теперь Араго вел собственное сражение с защитниками теории истечения света. Его соратник Френель получил законы новой волновой оптики. Давняя борьба перешла в решающую битву, впрочем, не известную никому, кроме десятка-другого умов, распаленных своими знаниями и заблуждениями. Не обращая внимания на европейские катастрофы, они напрягались ради новой, пока что безупречной истины. Только что Араго сумел поставить победный опыт, подтверждая формулы Френеля. Теперь они готовили следующий удар, желая установить законы интерференции поляризованных лучей. Речь шла о природе света — это было поважнее планов Наполеона и любых обещаний.

Предложение Наполеона никак не взволновало Араго.

Наука не прибежище для потерпевших неудачу монархов.

Спустя тридцать лет он вспомнил об этом эпизоде без всякого тщеславия, мимоходом, лишь в связи с Монжем.

Казалось бы, сама возможность такого поворота могла ему льстить. Шутка ли — уехать с Наполеоном в Америку, какие сюрпризы истории таились в этом варианте и для Араго, и для Франции, и вообще... Все зависело от него. А для него это был курьезный случай, не больше. Нечто несущественное в сравнении с тем, что произошло дальше. А что же произошло?.. А ничего. Он остался в своей обсерватории. Он сделал десять, а может, двенадцать неплохих работ. Вот, пожалуй, и все, ничего больше.

Через два месяца император-гобедитель, вступивший в Париж Александр I, пригласил Араго переехать в Петербург работать в Академии наук. Александр искал славы просвещенного монарха. У Екатерины были Эйлер, братья Бернулли, у него будет Араго.

Узнав об этом, другой победитель, Фридрих, король прусский, пригласил Араго работать к себе в Берлин, пригласил сперва через Гумбольдта, а потом и сам явился в обсерваторию.

Араго даже не предложил ему сесть. Был солнечный день, и он торопился закончить опыт.

Он отказывал монархам быстро и небрежно. Ему было не до них. Он гонял луч света сквозь всякие пластинки, призмы, вертел его зеркалами, ломал, гасил... Его мучили загадки мерцания звезд. Он чувствовал себя волшебником, хозяином Вселенной. Он чувствовал себя ничтожеством перед неистощимым хитроумием природы...

...Но все это будет не скоро, через шесть лет. Пока что он стоит в зале Тюильри. Он впервые говорил с Наполеоном, то есть Наполеон говорил с ним и двинулся дальше, и за императором двинулись министры, маршалы, герцоги, уже прославленные навечно своими подвигами, изменами и милостями Наполеона. Казалось, не будет конца могуществу и счастьем этого маленького, легко полнеющего человека. Араго смотрел ему вслед, слушал, как Наполеон отчитывает и поучает Ламарка.

Старик плакал от унижения и обиды, на которую он не мог ответить. Араго запоминал каждое слово.

В такие моменты запоминается все, любая малость.

Ему было стыдно и грустно.

Великий Ламарк плакал перед этими князьями и генералами; Наполеон решал, быть ли ему, Араго, академиком. Расшитые зелеными ветвями мундиры академиков были для наполеоновских придворных ливреями, и они были правы — это были ливреи. Они считали, что это им, для них Араго тащил свою рукопись. Вот он, финиш скитаний и всех его злоключений.

Но почему, по какому праву они были высшими судьями — миловали и казнили? Кто из них понимал, что такое Ламарк? И что такое путь меридиана?

Не проще ли быть с ними, тоже вершить суд... Или с этими, в зеленых ливреях? Такова цена за науку. Он презирал и жалел своих наставников и учителей и жалел себя за то, что он был не лучше, ему тоже хотелось, чтобы Наполеон поблагодарил его: «Вы молодец, Араго, родина не забудет вас». Он жаждал похвал, он ведь шел сюда и за этим. Отныне его место здесь, в этой шеренге склоненных и ждущих милости. Весь его путь сквозь Испанию, Африку приводит, оказывается, в эту шеренгу. За все надо платить, и за прямоту пути тоже, выходит, надо расплачиваться молчанием или поклоном.

Сидя в тюрьме, попрошайничая на улицах Паламоса, он был свободней, чем здесь, где надо притворяться, выслушивать поучения, терпеть, унижаться... Чего ради? Только для того, чтобы делать свое дело, чтобы иметь возможность осуществить себя, остаться самим собой, чтобы остаться... Если б он хотя бы знал, что у него получится, сколько он сделает в электричестве, в оптике, в метеорологии, ему было бы легче, все было бы легче, все было бы оправданно.

Никто и ничего не мог ему подсказать, облегчить этих минут.

Это как мистика — вжиться в судьбу давно ушедшего человека, очутиться вместе с ним в каком-то часе его жизни, он-то и знать не знает, что будет дальше, а мы уже знаем все, до последнего его дня и после смерти, что будет с его книгами, с разными его теориями, какие он совершит ошибки, что будет с Наполеоном, что произойдет от этой встречи, что будет с этой юношеской обидой

на то, что Наполеон никак не отметил, не увидел, не сказал...

И слава богу, что ничего не сказал! Отныне Араго был свободен. Больше он не будет нуждаться в этом, в этих наивных иллюзиях молодости. Молодость его кончилась. Иные судьбы, иные боги, иные награды ждали его.

1971

МЕСТО ДЛЯ ПАМЯТНИКА

I

Впоследствии даже мелкие подробности этого события стали казаться Осокину многозначительными и странными. Но, пожалуй, самым странным было то, что вся история, во всяком случае в его рассказе, выглядела совершенно естественной, обыкновенной, даже скучноватой. Вот это-то и заставляло к ней прислушиваться.

Речь идет примерно о начале пятидесятых годов нашего века. Карьера Осокина только начиналась, и начиналась неплохо. У него была машина, кабинет, секретарша, он ведал большим отделом, и попасть к нему на прием было уже нелегко.

Приемных дней Осокин не любил. К вечеру голова становилась тяжелой, мускулы лица болели от выражения внимательной вежливости, Осокин раздражался, проклинал свою должность, из-за которой гибла еще такая молодая, такая перспективная жизнь. Как он ни старался, очередь в приемной не убывала. За два года она даже выросла. Чем больше он принимал, тем больше к нему записывались на прием.

Было без сорока минут семь, то есть практически Осокин мог принять еще двоих-троих, поскольку на посетителя уходило десять — пятнадцать минут.

Осокин точно запомнил, что посетитель оказался предпоследний и фамилия его была Лиденцов. Память на фамилии у Осокина была чисто профессиональной.

Судя по фигуре и походке, вошедшему можно было дать лет сорок — сорок пять, прожитых, очевидно, нелегко. Худой, морщинистый, в затрепанном коричневом пиджаке с оттопыренными карманами, он выглядел каким-то обгорелым, обожженным или обугленным, что-то

в этом роде, определил Осокин. Лиц своих посетителей Осокин не разглядывал. Входя к нему, люди делали нужные им лица — робкие, страдающие, измученные,— то были не их собственные лица, и на эту удочку Осокин не поддавался. Скорее можно было раскусить посетителя по тому, как он приближался к столу или протягивал свои бумаги.

Пока Лиденцов говорил, Осокин листал его дело. Обстоятельства были несложные. Два года назад Лиденцов разошелся с женой, жил где-то у приятелей, снимал угол, а теперь просил комнату. Право на совместную жилплощадь он потерял,— очевидно, не захотел судиться, а просил дать ему комнату скорее, сейчас. Никаких к тому уважительных оснований Лиденцов вроде не имел. И ни на что не ссылался. На дурачка не походил. Бывают такие чудачки,— как будто Осокин тут же вынет им из ящика ордер на квартиру. Лиденцов держался уверенно, даже весело,— большей частью так держатся имеющие чью-то поддержку.

— Очередь для всех одинакова. Чем другие хуже вас?

Фразы у Осокина были отработаны на все случаи, однако осторожности ради он несколько смягчил тон.

— Знаете, в моем положении,— сказал Лиденцов,— думать приходится не о преимуществах других, а о своих собственных.

Осокину показалось, что отвечают ему такими же заготовленными фразами, как будто исполнялась заученная сцена.

— Какие ж у вас преимущества?

Лиденцов почему-то засмеялся.

— Я болен.

Тут же поднял рукав и показал сыпь, мелкие красные струпья. Зрелище было препротивное, но Лиденцов не стеснялся, сам с задумчивым интересом разглядывал свою руку.

— Мне каждый день надо ванну принимать.

— Внеочередным правом пользуются туберкулезные больные.

— Значит, не тем заболел?

— Вы ж интеллигентный человек,— с укором сказал Осокин.— Как вы можете, вы представляете себе, что такое открытая форма туберкулеза?

За точность текста и тут и дальше ручаться нельзя. Вряд ли Осокин мог буквально запомнить этот диалог.

Свои собственные реплики он восстанавливал легко, реплики же Лиденцова он преподносил по-разному, и приходилось выбирать наиболее достоверное. Но, впрочем, как судить о достоверности? Вот, например, в этом месте Лиденцов заговорил о другой болезни, мучившей его. Слова его были настолько туманны, что Осокин считал неудобным повторять их, боясь, что он чего-то напутает.

Смысл сводился к тому, что Лиденцов страдал от хода времени: поток времени, видите ли, шел через него, раскачивая какие-то рецепторы его организма. Лиденцов физически ощущал разрушительное движение времени, оно уносило частицы его, оно размывало его, как песок, и он пытался пересекать его под углом. На Осокина все это произвело впечатление гораздо меньшее, чем сыпь, хотя Лиденцов говорил взволнованно. Пришлось Осокину прервать его: при чем тут комната? Лиденцов объяснил, что работа у него сейчас теоретическая, ему надо сидеть и думать. Что это за работа, когда можно не ходить на работу,— этого Осокин не понимал и понимать не желал.

— Ах, да! — спохватился Лиденцов и стал рыться в карманах.— Совсем забыл.— Он вытащил ветхий, заношенный конверт.

Так Осокин и предполагал, так он и думал, что существует бумажка; без нее люди не ведут себя столь уверенно. Подобных посетителей с записочками, резолюциями, ходатайствами, по которым он обязан был обеспечивать, содействовать, предоставлять, Осокин терпеть не мог. Он даже выступал против подобной практики. Все эти записочки урезали его и без того скудные возможности. Нарушался порядок, последовательность всех прохождений, весь механизм, который он с таким трудом налаживал.

Письмо со штампом управления, номер которого требовал внимания, было обращено к глубокоуважаемому товарищу Осокину с просьбой помочь научному сотруднику Лиденцову, занятому важнейшими исследованиями. Какой-то сверхпроводимостью при комнатной температуре... какая-то гипотетическая сверхпроводимая молекула,— как будто Осокин должен был понимать, о чем идет речь. Самомнение ученых больше всего раздражало Осокина,— то, чем они занимаются, обязательно проблема всемирного значения, и все остальное перед ней — мелочи. Однако в этой бумаге было что-то сверхобычное,—

Осокин никак не мог понять, что именно, но что-то беспокоило его. Что-то в ней было не так...

— Одну комнату вам,— повторял он,— без очереди, ну конечно, сверхпроводимость,— и вдруг воскликнул, озаренный догадкой: — А подпись-то, а!

— Что подпись? — удивился Лиденцов.

— Подписано-то академиком Ляхницким! — торжествуя, сказал Осокин.

— Да, да, он в курсе моей работы.

— Ах, в курсе,— Осокин обрадованно покивал,— между прочим, умер он в прошлом году. Или в позапрошлом? — и уличающе поднял палец.

Но никакого замешательства не произошло, Лиденцов был даже разочарован.

— А, вот вы о чем,— сказал он.— Но какое это имеет значение?

Признаться, Осокина тут чуть тряхнуло.

— Как так — какое значение? Очень даже большое значение. Оно же недействительно! Придется вам новое письмо брать. Пусть академик Полуянов, он у вас теперь, пусть он обратится.

— Полуянов? Что вы! — Лиденцов руками замахал.— Полуянов не был никаким ученым. Пустой сундук. Он никогда не верил в такое решение задачи.

Именно после этой странной фразы Осокин впервые внимательно посмотрел на Лиденцова, заметил детскость его нездорово-темного лица. Слегка прищуренные яркие глаза были как прорези куда-то, где что-то клубилось, менялось...

— То есть как это — был? — медленно и строго спросил Осокин.— Что вы имеете в виду?

— Господи, да никто ж про него и не помнит.

— Погодите.— Осокин подымался, опираясь о стол.— Я ведь только вчера говорил с ним по телефону.

Лиденцов досадливо поморщился:

— А-а-а, если в этом смысле...

Осокин уверял, что слова о Полуянове были не случайной оговоркой. И в то же время невозможно представить, на что этот человек рассчитывал. Обмануть? Запутать? И не смутился, когда его поймали с поличным, когда Осокин, стукнув по столу, напомнил, что Полуянов — депутат, заслуженный человек, и кто дал право... И тут Осокин постучал по столу иначе, кончиком ногтя,— так, чтоб было вполне понятно.

— Учтите! — заключил он тоном, не требующим ответа.

Но Лиденцов шагал по кабинету, разглядывая носки своих растоптанных туфель. Он упирался кулаками в днища карманов и думал о чем-то своем. Вполне возможно, что он не слышал Осокина.

— А если б к вам пришел Шокли? — вдруг спросил Лиденцов.

— Кто?

— Да, вы можете и не знать... ну, допустим, Менделеев?

— Что за Менделеев?

— Дмитрий Иванович Менделеев, слышали? И вот Менделеев нуждается в комнате. Ему тоже надо получить бумажку от Полуянова?

— Но вы пока что не Менделеев.

Лиденцов не обратил внимания на его усмешку.

— А все же, если бы пришел Менделеев?

На психа Осокин не стал бы сердиться. Психом он умел выпроваживать. В том-то и штука, что Лиденцов не был психом, у Осокина и мысли такой не возникало.

— Скромности вам не хватает, скромности, — произнес Осокин тоном, который следовало бы учесть.

Тем не менее Лиденцов не смутился, — наоборот, похоже было, что ему стало смешно: он тихо посмеялся чему-то своему и при этом немножко и над Осокиным.

— Между прочим, — Осокин откинулся на спинку кресла, — срок вашей прописки кончился. Вы нигде не прописаны.

— И что же?

— А то... будто вы не знаете. Вы вообще лишаетесь всяких прав. Из очереди вас следует исключить.

— Это невозможно, — горячо сказал Лиденцов. — Вы, наверное, не представляете себе размаха проблемы.

Смеяться Лиденцов все же перестал, схватил свое недействительное отношение и принялся вычитывать оттуда хвалебные формулировки и комментировать.

Данный момент в рассказе Осокина был наиболее невнятным. Он тогда не придавал никакого значения словам Лиденцова. Он постукивал карандашиком, ожидая, когда кончится эта тарабарщина.

А именно эта часть беседы в дальнейшем представляла особый интерес, поэтому Осокина уговорили провести сеанс стимуляции памяти. Удалось восстановить немно-

гое. По обрывкам фраз можно лишь догадываться, что Лиденцов говорил о возможности изменить всю энергетику, электронику, биологию... «Ясно станет, как генетическая молекула хранит информацию», — вот, пожалуй, единственная буквальная фраза, которую привел Осокин.

Текст ее сохранился в памяти Осокина вероятно потому, что он вцепился в эти слова: молекула, молекула... Подобные типы воображают, что весь мир держится на их молекулах. Еще бы, им одним известно, как молекулы хранят информацию, от кого хранят, они, видите ли, Менделеевы, Мендели, а все остальные — вахлаки, лопухи. Кто для него Осокин? Писарь, конторщик, который обязан обслуживать, обеспечивать корифеев с их генетическими молекулами, они, конечно, корифеи, пуп земли, они решают мировые проблемы...

— Верю вам, дорогой, — Осокин переходил в таких случаях на полную вежливость и виду не подавал, — согласен, что очень интересно, как она там хранит информацию, да только все это теория.*

Тут Лиденцов почему-то смутился. До того он вел себя чересчур свободно. Независимо ходил по кабинету, останавливался у окна, спиной к Осокину, подходил к шкафу и рассматривал там корешки Большой Советской Энциклопедии и каких-то неизвестных самому Осокину справочников.

Смущение Лиденцова выразилось в том, что он замахал руками и стал розоветь.

— Ах, да, конечно, у меня пока модель...

— То-то и оно-то, — с напором продолжал Осокин, встал и пошел на него. — А кроме теории есть практика. Практика жизни! С вашими молекулами дома не построишь. Молекулы у нас есть, а кирпича не хватает. И цемента. На стройку никто не идет. Все молекулами заняты. Да еще при комнатной температуре — конечно, это лучше, чем в котловане.

Лиденцов растерянно потер лоб и сказал:

— Значит, вы ничего не поняли.

— Нет, это вы ничего не поняли! — повысил голос Осокин. — Только о себе думаете! — И с горечью махнул рукой. — Ладно. Вас не переговоришь. Там меня еще посетители ждут. Они, конечно, не Менделеевы, но тоже люди.

На таких, как Лиденцов, это действовало. Он съежил-

ся, послушно направился к дверям, однако на полпути обернулся:

— Значит, я не получил?

Что-то у него и впрямь не ладилось с временами.

— Только в порядке очереди.

— И вы не боялись?..— удивился Лиденцов.

— Чего? Что вы имеете в виду?

— ...ошибиться,— робко сказал Лиденцов и опять чему-то удивился.

— Вы про что? — зачем-то крикнул Осокин, не спуская с него глаз.

Тут Лиденцов хитро подмигнул, и по лицу его прошло нечто из других инстанций, как будто он что-то знал про Осокина, и не только про Осокина.

— А если Менделеев?

Осокин засмеялся нервно, против воли, и тоже подмигнул:

— Ну, если Менделеев, тогда устроим.

Когда прием кончился, Осокин достал из шкафа том энциклопедии, нашел Менделеева, долго смотрел на памятный по школе портрет с тонкой широкой бородой: Лиденцов... Лиденцов... Получалось нечто нагловатое и ерундовое, обсосанный прозрачный леденчик... Менделеев... Менделеев... Он прислушался, покачал головой и удивился тому, что у великих людей всегда бывают и фамилии красивые, внушительные. И внешность у них значительная. Он тогда же подумал о том, как будет звучать его фамилия — Осокин, Осокин...

У Осокина было счастливое свойство: он умел забывать неприятное. Поскольку посещение Лиденцова было чем-то непонятно, а следовательно и неприятно, Осокин о нем больше не думал.

II

Через неделю снова был приемный день, снова появлялись люди и уходили, обдумывая замечания Осокина, их скрытый смысл, интонацию его голоса. К семи часам Осокин захлопнул папку. Кабинет имел вторую дверь, которая выходила прямо в коридор. Осокин хорошо запомнил этот вечер. Собственно, вечер только наступал, фонари еще не зажигались, с желтого неба падал редкий дождь, желто блестели мостовые, и вода в канале блестела, как мостовая.

Осокин поднял воротник, что чрезвычайно шло ему, надвинул глубже мохнатую кепку — отличная у него тогда была кепка, моднейшая, и в то же время без пижонства.

Перейдя мостик, он не свернул на набережную, а пересек площадь и спустился в винный подвальчик. Был такой подвальчик «Советское шампанское», или «шампузия», как называл его Осокин: славный, пропахший вином, бочками, дымом подвальчик, куда заходили сотрудники ближних учреждений, командировочный народ, пили у стоячка, закусывали конфеткой, беседовали, обсуждали хоккейные и футбольные таблицы; пьянства тяжелого и злого тут не бывало, потому что пили виноградные, самым крепким была «бомба» — смесь шампанского с коньяком.

Осокин взял стакан такой «бомбы» и потягивал сквозь зубы ледяную жгучую смесь. Усталость проходила. Только что он крадучись спешил по коридору, стараясь, чтобы никто не узнал его, потому что сразу наваливались со своими просьбами; еще только что каждая его минута была нарасхват, люди добивались возможности встретиться с ним, записывались за месяц вперед, подстерегали его, и вот он стоит спокойненько, кругом толпятся, чокаются, дымят, и на него никто не обращает внимания, никто не догадывается. Он любил такие минуты. Как раз в то время он бросил курить. Еще не бросил, но сильно сократил себя. Сейчас, после вина, ему захотелось затянуться. Он достал из карманчика единственную, хранившуюся на случай сигарету, обратился к соседу за огоньком. Щелкнула зажигалка, Осокин прикурил, поднял глаза.

Он еще не успел сообразить, кто это, как человек с ним поздоровался, деловито, как будто давно ждал его. Осокин вдруг сообразил, что перед ним Лиденцов, и удивился своей памятьливости, и еще больше тому, что Лиденцов не назвал себя, словно уверенный, что его помнят.

На Лиденцове было потертое суконное пальто, длинное, с широкими плечами, нелепо пестрый шарф, зато на голове сияла шапка из неизвестного Осокину гладко-золотистого меха. Все вместе создавало вид такой жалкий и бедственный, что Осокин не стал сердиться на этого человека. Осокин почувствовал свое гладкое, молодое лицо, хорошо сшитое модное пальто, ловкое, из заграничного ратина, свою позу, свободную и добрую. Нарушая

правила, он даже спросил Лиденцова — как дела? Правило у Осокина было такое — самому не вдаваться в бедственные обстоятельства. Обстоятельства вызывали сочувствие, требовали содействия, а помочь Осокин не мог. Никто и не представлял себе, как мало, до обидного мало у него было возможностей. Несмотря на шикарный кабинет, и секретаршу, и прочее, от Осокина мало что зависело. Отказывать — это он мог, тут у него были неограниченные права. А легко ли всегда отказывать? Слышать от людей одни жалобы, просьбы, — к нему же шли только с нуждой и бедствием. Господи, сколько их.

Лиденцов жаловался ему, а он жаловался Лиденцову. В такой обстановке совсем по иным законам идет разговор. Лиденцов пил коньяк. Он вертел в руке стакан с коньяком, чокаться они не чокались, а время от времени поднимали стаканы, согласно местным обычаям. Осокин убежден, что держался вполне демократично, и даже начало появляться у него что-то вроде жалости. И кто знает, может быть, все пошло бы по-хорошему, но Лиденцов стал зачем-то напоминать ему про Менделеева и все приставал — не желает ли Осокин убедиться?

— В чем? — вынужден был спросить Осокин.

Не снимая шапки, Лиденцов каким-то ловким движением вытащил из-под нее бумаги, целую пачку бумаг. Конечно, Осокин полагал, что там всякие отношения из института насчет комнаты.

Странно было, что Лиденцов, вроде бы ученый человек, интеллигент, а не понимал, как невыгодно ему сейчас лезть с делами, бестактность это.

Лиденцов свободной рукой обтер мокрый прилавок, где стояли стаканы, положил перед Осокиным одну бумагу, вторую, еще и еще... Бедное освещение подвала еле пробивалось сквозь дым в их угол.

Осокин взял первую бумагу, всмотрелся. Это был печатный бланк Института сверхпроводимости имени С. Лиденцова. Так и стояло синими буквами: имени С. Лиденцова.

Осокину понравилась бумага — тонкая, шершавая, похоже, что тисненая.

Он добродушно хмыкнул Лиденцову:

— Лихо! Лихо придумали.

Лиденцов ответил виноватой улыбкой, взял у Осокина бланк, подал ему следующую бумагу.

В полутьме Осокин с трудом разбирал мелкий шрифт.

Несомненно, это была вырезка из журнала. Юбилейная статья с портретом Лиденцова и фотографией института имени Лиденцова сообщала о каких-то новых документах, освещающих деятельность выдающегося ученого прошлого...

Осокин не стал вчитываться, шутка зашла далеко, напечатано типографским шрифтом, сомнений быть не могло: вот еще одна вырезка, другой шрифт, снова портрет Лиденцова. И марка зеленая, почтовая марка с портретом Лиденцова, самая настоящая марка, с зубчиками. К столетию... Осокин поспешил палец, потер рисунок — не смывается.

Тут Осокин взглянул на Лиденцова, потом опять на марку и на вырезки. На всех портретах Лиденцов был чуть старше, чем сейчас, — не то чтобы неудачное изображение, нет, Осокин почувствовал, что на портретах Лиденцов такой, каким еще не был.

Нервы у Осокина были крепкие, и не так-то легко его было сбить с толку.

— Розыгрыш? — понимающе осведомился он. — Покупочка?

Лиденцов грустно помотал головой. Поеживаясь, следил он, как Осокин взял еще одну вырезку с припиленной фотографией. Показалось Осокину или нет, что Лиденцов пристыженно потянулся, словно желая забрать этот документ назад. Осокин отстранил его руку. Заметка была вырезана из газеты наспех, неровно, с краями соседних заметок. Корреспонденция описывала открытие памятника С. Лиденцову, торжественную церемонию, падение покрывала и как перед глазами толпы предстал памятник, своеобразный по своему художественному решению: поскольку он был без пьедестала, фигура ученого висела в воздухе, замысел выражал идею открытия... Осокин пропускал абзацы. Митинг... председатель горсовета, какая-то незнакомая фамилия... «в нашем городе жил и работал»... «мы, земляки»... «слово предоставляется президенту Академии наук», опять совсем неизвестная фамилия... «вписал... Лиденцов... к славе отечественной науки... преобразователь»... Министр присутствовал, и секретарь... и никого из них Осокин не знал. Впервые он читал эти фамилии, никому не известные фамилии. Но это было напечатано в газете, а газете Осокин привык верить больше, чем любой книге или журналу. На фотографии был памятник, маленькая трибуна, вроде знако-

мая площадь, лица людей на трибуне — чужие, властные, слишком молодые.

Осокину стало страшновато. Правда, Осокин умел не показывать своих чувств. По его лицу никто ни о чем не мог догадаться. Он давно выработал это необходимейшее качество. И напрасно Лиденцов надеялся. Лиденцов уставился на него не мигая, никакой шутки в глазах его не было; и согласия на шутку там не было. Глаза сквозили, как щели, оттуда тянуло знобящим холодком, что-то там виделось непредусмотренное, совершенно неположенное.

— Так. Далеко вы заехали, дорогой мой,— вкрадчиво сказал Осокин. Он мгновенно подобрался: дело становилось серьезным, и следовало вести себя со всей предусмотрительностью.— Пользуетесь типографией? Клише изготовили. Активные у вас методы. Вы на что рассчитываете?

— Вы же сами обещали, что если вы...— начал было Лиденцов, но Осокин не позволил себя прервать.

— Вы меня не плюсуйте. По-вашему, у нас там кто? — Он показал глазами вверх.— Новые люди сидеть будут? Откуда, спрашивается, вам их фамилии известны? Кто вам подсказал? Понимаете, чем это пахнет?

Кто-кто, а сам Осокин понимал отлично — лучше всего было избежать скандала и поскорее вывернуться из этой опасной истории. Никаких злых намерений он не имел, на всякий же случай отпор он обязан был дать.

— Провокация,— сказал он.— За такую аферу вас можно...

Лиденцов страдальчески покраснел:

— Вам сколько лет?

— Это еще что? — удивился Осокин.— Вы мне бросьте. Не на того напали.— Он скомкал вырезки, помахал ими перед носом Лиденцова.— Думали меня купить?

Алые пятна пошли по лицу Лиденцова. Наверное, от испуга, он всхлипнул, задыхаясь, потянулся к Осокину за бумагами, Осокин убрал руку за спину и засмеялся, ибо уморительно было представить памятник Лиденцову, этот маленький носик уточкой, блестящий и красный, это потертое добела суконное пальто — и все в бронзе.

— Силен, а? Памятник ему. Ай да хмырь! — Смех все пуще разбирал Осокина.— Медный всадник! Колоссально!

Губы Лиденцова задрожали, он схватил Осокина за руку, вывернул ее и вырвал бумаги. От боли, от нагло-

сти Осокин рассвирепел, отвороты лиденцовского пальто затрещали в его руке. Лиденцов почти ничего не весил, он с легкостью отлетел и шлепнулся на пол, в угол. Вскочив, он снова кинулся на Осокина. Стакан Осокина зазвенел, разбился. Осокин был много сильнее Лиденцова, он мог разделить его, как бог черепаху, дух из него вышибить. Ничтожество. Речи о нем будут держать!

Конечно, симпатии присутствующих были на стороне Осокина. Налицо было явное хулиганство. Осокин вынужден был защищаться. И когда появилась милиция, Лиденцова сразу определили как нарушителя. И забрали его. Тем более что в паспорте у него не было прописки. И он был пьян. И все лез к Осокину.

Для восстановления душевного равновесия Осокин принял еще сто граммов коньяка. Уборщица смела осколки, подняла залитую вином фотографию, подала Осокину. Это была отдельная фотография площади с памятником Лиденцову, отлично исполненная фотография. Осокин сунул ее в карман, на всякий случай, как вещественное доказательство.

Назавтра звонили из милиции, Осокин сказал свое мнение: аферист, и вообще не мешало бы, чтобы общественные организации в институте занялись им. Со своей стороны Осокин приказал снять его с очереди, как не имеющего прописки.

Больше о Лиденцове он ничего не слышал. Об этой истории он старался не вспоминать. Как-то, услышав о телепатии, он отнес все случившееся за счет телепатии, гипноза и прочих штук и окончательно успокоился.

III

Вечер никак не мог наступить. Небо темнело, а на улицах все сохранялся закатный свет, блестели окна, было видно отчетливо далеко. Осокин вышел на Морскую площадь, и там стало еще светлее. Стены новой гостиницы сияли голубоватым металлом и прозрачным пластиком. Стекла тоже были голубоватые, цвета морской воды, и плавные линии здания застыли в вышине, как штормовая черноморская волна.

Гостиницу Осокин видел впервые: за последние годы в своих прогулках он не заглядывал в этот район. Ничего не скажешь — красиво. Он попробовал вспомнить, что же

стояло прежде на месте гостиницы, и не мог. Что-то мешало ему, как будто площадь в нынешнем своем виде была ему уже знакома. Особенно здание новой гостиницы. Разглядывая, он словно узнавал ее, хотя для него было открытием, что она голубая.

Дома перед сном Осокин присел к письменному столу, пытаясь что-то вспомнить. Рассеянно выдвигал один за другим ящики, развязывал папки. Там лежали старые грамоты, блокноты, мандаты на конференции, пропуска, акты приема-сдачи дел; многого он уже не помнил и удивлялся тому, что, оказывается, когда-то он делал доклад на всесоюзном совещании и были отпечатаны тезисы. Он перебирал папку за папкой, не понимая, чего он ищет.

Посреди ночи он проснулся, зажег свет, кряхтя, полез в нижний ящик стола. Было чудом, что фотография сохранилась. Вероятно, он тогда спрятал ее в конверте в сейф.

Он не слышал, как в кабинет вошла жена. Он сидел в пижаме на ковре, покачиваясь взад-вперед, похожий на Будду. Не слыша, пустыми глазами он смотрел на нее, затем протянул фотографию:

— Узнаешь?

Она пошла за очками, долго вглядывалась:

— Кажется, Морская... Новая гостиница, а тут не знаю...

— Дура,— сказал он.— Этой фотографии лет сорок. Помнишь, я тебе рассказывал?

Она сняла очки, глаза ее стали большими, испуганными. И он вспомнил, что рассказывал не ей, а покойнице, первой своей жене.

— Ну, иди, иди,— сказал он.— Я лягу.

Утром он поехал на Морскую площадь. Держа перед собой фотографию, он ходил по площади, ища точку, откуда сделали снимок. Справа от гостиницы стоял двубашенный особнячок, на снимке он тоже был виден. Осокин зашел так, чтобы выступ гостиницы совместился с краем башенки особняка, и принялся сличать. Гостиница полностью соответствовала гостинице на снимке, совпал барельеф на цоколе, совпал поворот тротуара и фонари. На снимке виднелись фигурки людей, шел дождь, блестела мостовая. Тяжело опираясь на палку, Осокин немного походил, чтобы успокоиться. В конце концов, совпала только часть снимка с гостиницей, памятника-то не сущест-

вовало. На снимке памятник Лиденцову находился как бы под раковиной, и за ним была ниша, глубокий выем в легком стеклянном здании, похожем на кристалл. Здания этого тоже в натуре не было. Слева от гостиницы стоял облупленный дом с аптекой и рыбным магазином, на тротуаре в талом снегу лежали серебристые штабеля оград. Чем больше Осокин приглядывался, тем более странным казался этот старый дом: витрины рыбного магазина были пыльные, темные, в аптеке тоже было темно. Он подошел поближе. В подворотне что-то мерили рулеткой два техника.

— Ремонт? — спросил Осокин.

— Снести, папаша, будем, — ответили они, — до основания.

И тут Осокин увидел, что дом пуст, рамы вынуты, в подворотне лежали снятые двери, старинные двери с длинными таблицами звонков, со следами почтовых ящиков.

— Что ж тут будет? — спросил Осокин.

Здание строить собираются, а какое именно — техники не знали. Они посоветовали обратиться в Архитектурное управление. Осокин поехал туда. Довольно быстро он добился того, что ему было нужно, хотя он и не мог объяснить, зачем ему это было нужно. Впрочем, он ничего не объяснял, он умел разговаривать внушительно и уклончиво, исключая всякие расспросы. Необходимо, мол, ознакомиться с проектом реконструкции Морской площади. «Нужно, и все», — значительно повторял он. И это действовало.

Руководителем проекта оказался Мурзин — крепкий бритоголовый парень в темных очках. Он сидел на столе, окруженный своими архитекторами, такими же, как он, загорелыми, молодыми, в золотистых свитерах. Они холодно разглядывали запыхавшегося грузного старика с редкими волосами, в узких брючках и в туфлях из настоящей кожи.

— Что случилось? — спросил Мурзин.

— Вам звонили? Где проект?

— Вы успокойтесь, — сказала одна из девиц. — Вы садитесь.

Мурзин раскурил старенькую трубку.

— Вы кто? — спросил он. — Вы древний грек?

— Почему? — не понял Осокин.

— Только древних греков так волновала архитектура.

— Ладно, это мы еще увидим, кто грек,— сказал Осокин.

— Леночка,— сказал Мурзин,— покажи товарищу пенсионеру проект.

— Минуточку.— Осокин поднял сухой палец.— Напрасно вы избегаете. Тут могут быть особые обстоятельства.

Их оставили одних в застекленном, как веранда, кабинетике. Мурзин расставил на полу эскизы. Он заметил, как старик прижмурился, словно собираясь с духом, в руках его вздрагивала какая-то фотография, он разглядывал эскиз, потом фотографию, снова эскиз и наконец шумно, обрадованно вздохнул:

— Ну, спасибо. Большое вам человеческое спасибо!

— За что?

— Самостоятельный у вас проект. Рентабельный.— Осокин вытер платком лоб, глаза.— Вы молодец. Сразу видно — одаренный человек.

Старик растроганно потряс ему руку, и Мурзин несколько смягчился. Это был тот период его жизни, когда он искал похвал, любил их и полушутя признавался, что тот, кому нравятся его проекты,— тот и есть хороший человек.

— Памятник тут у вас не предусмотрен? — осведомился Осокин.

— Кому памятник?

— А если и будут ставить,— успокоенно продолжал Осокин,— то какому-нибудь мореплавателю, верно? Площадь-то Морская?

— С чего вы взяли памятник? На площади и места нет.

— Вот именно,— подхватил Осокин.— Нет там места. Ваш проект исключает. Аннулирует.

Мурзин забавлялся горячностью старика, но когда Осокин стал допытываться, утвержден ли проект, и кем, и полностью ли, Мурзин насторожился.

— Собственно, вам-то что? — грубовато спросил он.

Тогда Осокин со значением положил перед ним фотографию. Небрежно взглянув, Мурзин бросил ее на стол:

— Ну и что? Это давно известно.

Осокин вздрогнул:

— Как?

— Мы это обсуждали.

— Кто?.. Почему?

— Так это ж киселевский вариант. Вы что, не знаете?

— Не-ет.

— Его отвергли. Конструктивно, ничего не скажешь, но суховато. И, пожалуй, старомодно.

— Выходит, это фотография проекта? Так, по вашему?

— А вы думали,— сказал Мурзин.— Последний вариант проекта... Простите.— Он выразительно посмотрел на часы, но Осокин не шелохнулся.— Я тороплюсь.

— А между прочим,— ровным голосом сказал Осокин,— снимок этот я получил сорок лет назад.

— Надо же! — вяло удивился Мурзин.

— ...когда еще гостиницы не было. А она заснята. Площадь тогда называлась Петровской. А здесь уже Морская площадь. Вот вам и греки. Если не верите, посмотрите как следует. Фотографию. Там ведь люди ходят.

— Комбинированная съемка,— сказал Мурзин.— Монтаж. Это применяется.

— Может, и комбинированная, но откуда он знал?

— Кто он?

Происшествие с неким Лиденцовым воспринято было Мурзиным в тот, первый раз как забавный, правда чересчур длинный, анекдот. Все это произошло слишком давно, до рождения Мурзина, и вызывало не больше чем любопытство. Те времена, пока Мурзина не было, казались уже одним этим странными и сказочными. Они спрессовались с эпохами, когда жили ведьмы, искали снежного человека, топили дровами...

В дверь поминутно заглядывали, солнце светило в огромное окно, и серьезность Осокина казалась Мурзину уморительной. Единственное, что несколько озадачивало,— это подробности вроде красных струпьев или золотистой шапки. Детали были слишком нелепые, невыгодные для розыгрыша. Может статься, что история не совсем выдумана — какой-то Лиденцов существовал на самом деле и сумел изрядно заморочить голову этому старикану.

— Мистификатор. И талантливый,— сказал Мурзин.— Известны такие. Граф Калиостро, например. Еще кто-то, не помню сейчас. В наше время вряд ли можно производить подобные фокусы...— И он проницательно усмехнулся.

Однако Осокин не принял усмешки. Он не понимал, почему Мурзину не страшно. Он почувствовал, что еще

немного — и его примут за психа, ему нечем было доказать и убедить; что бы он ни приводил, на кого бы ни ссылался — ему не поверят, и чем точнее он рассказал бы, тем было бы хуже. Толстая стена времени отделяла его от Мурзина. Через нее было невозможно докричаться, достучаться.

— Сколько вам лет? — спросил Осокин.

Мурзин сунул руки в карманы, покачался на носках:

— Кажется, я выполнил все ваши просьбы? Спасибо за вашу историю и за лестные отзывы о моем проекте. Цель вашего посещения осталась мне неясной, но, как сказал Байрон, прощай, и если навсегда, то навсегда прощай.

— Конечно, у меня теперь нет прав, — устало произнес Осокин, — но учтите, моя жизнь прошла на ответственной работе. Мы за каждое слово головой отвечали. Каждое слово обдумывали. И если уж я информирую... Не такие, как вы, прислушивались. — Он направился к двери, палка, несмотря на бесшумный синтетический ковер, стучала.

У дверей Осокин обернулся, прижмурил морщинистое желтое веко.

— Вы уверены?

— В чем?

— Что проект ваш будет проведен в жизнь?

— Так он фактически утвержден.

— Я вам советую — проследите осуществление на всех этапах. Я вам добра желаю.

— Оревуар, — сказал Мурзин. — Чао. Нам повезло, что такой человек посетил нашу мастерскую.

Но тут из оплывшего лица Осокина посмотрело на него такое жесткое, четырехугольное, что Мурзин запнулся.

IV

Очевидно, Осокин насторожился, заметив у батареи человеческую фигуру. В подъезде было темновато, Осокин остановился.

— Никак, струхнули? Ах, Матвей Евсеевич, вы же ясновидец.

На это Осокин ничего не ответил.

— Вы же прорицатель. Пророк. А чего пророку бояться? Пророк — он обязан все знать наперед. Вам же

все известно. Вы все можете предсказать. И меня можете предсказать. Можете? Все, что со мной случится, а? Авгур. Теософ.

— Гражданин, вы не безобразничайте,— сказал Осокин.

— Это вы безобразничаете! Вы!

Осокин всмотрелся:

— А-а, Мурзин! Чего это с вами?

И Осокин покачал головой, поскольку Мурзин был чуть выпивши, но, может быть, он покачал потому, что Мурзин действительно выглядел неважно — за последние два дня он осунулся, в голове у него была полная неразбериха, под глазами темные пятна.

— Проектик-то мой... того... забодали,— сказал Мурзин.— Вашими молитвами, Матвей Евсеевич. Добились? Ну, что молчите? Зачем вам это понадобилось? Доказать хотели? Обиделись?

— Значит... Значит...

Осокин так и застыл, пришлось взять его за отвороты пальто, трясти, втолковывать... Он оказался рыхлым и легким, как мешок с трухой, голова его болталась, глаза выпучились, отупелые, немигающие. Мурзин с отчаянием пихнул его:

— Объясните вы наконец, вам-то какая выгода?

Не отвечая, Осокин побрел к лестнице, опустился на ступеньку. Мурзин брезгливо разглядывал его: вместо пророка перед ним горбился, держась за сердце, перепуганный ветхий старикан. Стоило ли томиться, ожидая его, на что-то надеяться, узнавать имя, отчество, адрес. Стыдно было вспомнить свои переживания. При ближайшем рассмотрении этот несчастный кликуша всего лишь угадал случайное и несчастное стечение обстоятельств, ничего другого и быть не могло.

Тут Осокин тяжело поднял голову и спросил: чей же проект принят?

— В том-то и дело, кажется, что киселевский,— сказал Мурзин,— тот самый вариант, что на вашей фотографии, его предпочли.— От своих слов Мурзин снова расстроился: — Чего вы спрашиваете, это же ваши штучки.

Осокин сжался, словно в страхе, и сказал с отчаяньем:

— Вы что, не понимаете? Я же вас недаром предупреждал.

— О чем? Вы можете толково сказать — о чем?

— Надо было действовать. Вы сделали что-нибудь? Мурзин пожал плечами.

— Не поверили, — злорадно сказал Осокин.

— А чему верить?

Он вдруг наткнулся на глаза Осокина, из которых несло холодом и тьмой. И Мурзина охватило сомнение: а что, если б он прислушался, среагировал, проследил, — кто знает...

— Чушь собачья. Бред, — сказал он. К нему возвращалась обычная уверенность. Поскольку старец ни при чем, значит, действует статистическая закономерность, а может, и динамическая.

— Опять себя успокаиваете, — сказал Осокин. — Опять размагничиваетесь.

— А вы слышали, Матвей Евсеевич, что такое вероятностный процесс?

— Не морочьте себе голову, — слабо, но твердо сказал Осокин. — Вы лучше доложите, как там комиссия сформулировала. Кто там первый заикнулся? С чего началось?

Он выяснял — кто и что сказал, как себя вел председатель, от кого что зависит. Слушая Мурзина, он мелко кивал, кряхтел, что-то обдумывая.

— Ничего, мы еще кое-что пустим в ход, — пробормотал Осокин. — Безобразие, такой проект отклонить.

Мурзин иронически спросил:

— Чем же вам не нравится проект Киселева? Композиция не устраивает?

— Плевал я на композицию, — сказал Осокин. — Гостиницу построили, и этот, киселевский, дом могут построить, если не уследить.

Нелепая убежденность Осокина, как ни странно, подействовала на Мурзина.

— Вы положитесь на меня. — Осокин поднялся, словно взбодренный опасностью или угрозой. — Я добьюсь. Не таких, как Лиденцов, перестраивали...

Жаль, что Мурзин при встречах с Осокиным довольствовался ролью слушателя. В дальнейшем выяснилось, что именно с Мурзиным Осокин был наиболее откровенен, и тем не менее Мурзин не задавал самых естественных вопросов, у него всегда возникало желание скорее отвязаться, уйти.

Он боялся, что позволил затянуть себя слишком далеко в эту абсурдную историю.

Предчувствия не обманули его. Спустя несколько дней проект затребовали на пересмотр. Как видно, Осокин пустил в ход свои связи. Экспертная комиссия мудрила и так, и этак и наконец предложила учесть некоторые пожелания. Переделки были довольно принципиальные, и Мурзин наотрез отказался. Приехал Осокин, озабоченный, помолодевший, рассказал, скольких усилий ему стоило склонить начальство вернуться к проекту Мурзина, уже все на мази, со всеми обговорено.

— Да вы представляете, что они требуют? — рассвирепел Мурзин. — Упростить силуэт! Что же остается?

Осокин обмахивался соломенной шляпой. Одутловатое лицо его глянцевито блестело.

— Надо уметь поступаться личным.

— Чего ради?

— Ради общества. Я вам рассказывал — этого прохиндея Лиденцова надо прекратить в самом начале. В ваших же интересах. Но вы хотите, чтобы другие, и за даром. Так не бывает. Всё о себе привыкли. И так я за вас хожу, шапку ломаю — в мои-то годы! Мало того, что проворонили...

Но тут Осокин неодобрительно покосился на стеклянные стены конторки и попросил Мурзина спуститься с ним вниз. По дороге Осокин крепко держал его за руку, они зашли в кафе, где было шумно илюдно.

— Послушайте, вы никому не болтали? — тихо спросил Осокин.

— Чтобы меня сочли — того? — Мурзин повертел пальцем у виска.

— У меня такое чувство, что им откуда-то известно. Больно они подстраховываются. Из Москвы им звонок был — и все равно тянут и тянут. Не настучал ли им кто?

Позднее Мурзин признался, что на него подействовало в Осокине, — убежденность. Даже когда Осокин говорил о хитростях невидимого противника, это почему-то не казалось смешным.

— Не покажете ли вы мне еще раз ту фотографию, — вдруг попросил Мурзин. Он полагал, что Осокин засуетится: забыл, потерял, украли. Но Осокин как будто ждал этого и тотчас вынул фотографию из бумажника.

Мурзин взялся за нее недоверчиво. Высмеял памятник: к сожалению, невозможно было на снимке разли-



чить физиономию этого Лиденцова, до чего самоуверенный тип — так мнить о себе, а главное, о своем будущем. Неужели подобное самомнение помогает? — вот что было любопытно Мурзину. Помогает терпеть, надеяться или работать?

Он хотел позабавиться и спросить, понравился ли памятник самому Лиденцову, но не спросил, потому что впился глазами в здание позади памятника, в этот киселевский кристалл.

Постепенно Мурзин уходил все дальше, туда, на Мор-

скую площадь, выученную им наизусть; правда, на нынешней площади не было этих деревьев, и газонов, и мостовых, по которым мчались какие-то диковинные автомашины. Мурзина несколько не удивлял фон,— в архитектурных журналах стало модно подавать проекты на так называемом коллажированном фоне; здание, киселевский кристалл — вот что заставило его замереть. Перед ним был не проект и не макет. Здание было сделано из камня. На стенах кое-где выступали подтеки. Не тени, не ретушь, а копоть скопилась в орнаменте цоколя. Стекла блестели по-разному — омытые и пыльные, занавески выдувались из раскрытых окон. Он ощущал присутствие людей внутри, за этими стенами. Всем своим опытом архитектора он чувствовал, что здание это существовало. Оно стояло, и уже не первый год, на Морской площади, на том самом месте, где сейчас готовили к сносу старый дом для его, Мурзина, проекта...

Беда Мурзина, как он потом признавался, заключалась в том, что для него не было разницы между необычным и невозможным. Его всегда учили обычному, он не был готов к чуду, он не знал, как обращаться с необычным,— легче всего было отвергнуть его как невозможное. Он вертел фотографию и так, и этак, надеясь на подвох. Подвоха не было. Там, где должен был стоять его проект, его дом, построили скучный киселевский кристалл без особой выдумки и чувства. Почему? Как это случилось? По какому праву?

От стыда и оскорбления у него пересохло во рту. Он запомнил мельчайшие подробности той минуты — блеклые винные следы на фотографии, песенку, которую мурлыкали на телеэкране две пышные девицы,— до сих пор у него в памяти звучит этот ерундовый, липкий мотивчик.

Ярость его обратилась на Лиденцова — с какой стати кто-то там из древнего прошлого командует его, Мурзина, судьбой? Год с лишним работы, может, один из лучших его проектов — и пожалуйста, псу под хвост из-за того, что какой-то тщеславный сукин сын желает установить себе памятник.

— Вот именно,— подтвердил Осокин,— этого нельзя допускать.

Мурзин стукнул кулаком по столу:

— Ваш Лиденцов — авантюрист!

Он поносил Лиденцова последними словами, пока наконец не опомнился.

— Вы старый человек, а в такую глупость верите. Это же идиотство. Невежество! — Он потряс карточкой перед носом Осокина. — Форменное идиотство. Какой-то шарлатан вас околпачил, а вы...

Парни у стойки оглянулись на них. Осокин спокойно следил за Мурзиным, потом чему-то улыбнулся.

— И более того, — сказал он, — я сразу определил это как провокацию. Поэтому и надо бороться.

То, что он говорил, было нелогично, глупо, но Мурзин жадно слушал его.

— Иначе он поставит на своем. Тут главное не поддаваться и не философствовать.

Мурзин выпил коньяку, помотал головой, словно пытаясь прийти в себя.

— Нет, давайте все же разберемся. Допустим, фото — факт. И ваш рассказ — факт. Лиденцов достоин памятника. Киселевский дом будет построен. Какой же смысл сопротивляться? И этично ли это? Если признавать Лиденцова, тогда не следует бороться. А если не верить, тогда и не признавать, тогда опять же незачем бороться.

Осокин смотрел на него с жалостью:

— Я же говорил вам — нельзя тут нам философию разводить. Боевитости вам не хватает. Вы что же, собираетесь сидеть сложа ручки? Поощрять...

— Подождите. — Мурзина вдруг охватило подозрение. — А вам-то что? Лично вам что плохого Лиденцов сделал?

— А чего он мне мог сделать? — Осокин прищурился. Он сидел прямо, смотря вдаль. — От таких, как он, я не зависел. Я ему мог сделать, это да. А я полиберальничал. В итоге вишь он как... Мне понятно, к чему идет дело. Тень положить, охаять, пересмотреть. Вот, мол, не признавали. Не те люди стояли...

Мурзин с трудом разбирался в его намеках, обидах, угрозах, однако он чувствовал, что старик намерен бороться, как говорится, насмерть. При этом Осокин подавлял его непоколебимой убежденностью в том, что все можно отменить, подчинить, исправить — и теорию вероятностей, и физику, и будущее, — в сущности, он брался переделывать даже прошлое.

— Надо бороться, — твердил Осокин. — Подумаешь — переделки! Важно в принципе вскрыть его подоплеку.

— Между прочим, он жив?

— Не думаю...

Осокин чего-то не договорил, и на Мурзина вдругдохнуло холодом. Он выпил коньяк, поежился.

— Сложное было время,— сказал Осокин,— счастье трудных дорог и так далее. И параллельно всякие разочарования, разоблачения. В таких условиях необходима твердость. Порядок должен быть. Представляете, если каждому позволить фотографировать то, что фактически не осуществлено? — Осокин уставил палец на Мурзина.— Мало ли у кого какое будущее? А если разглашать, тогда что получится?

Слова Осокина пробуждали в душе Мурзина что-то тягостное, возможно, слышанное в детстве. Прошрое, откуда явился Осокин, имело свою силу, и старик обладал ею, темной, загадочной, понятной лишь своей враждебностью к Лиденцову.

До сих пор у Мурзина еще не было врагов. Жизнь его складывалась легко, талант — прекрасная штука — избавлял его от необходимости над чем-либо задумываться. И когда перед ним возникло препятствие, он возмущался, жажда одолеть его любыми средствами.

Он сделал поправки. Проект снова рассматривался комиссией, вызвал разногласия, перешел в следующую комиссию, которая предложила новые поправки. Как Мурзин ни посмеивался над собой, он начинал ощущать присутствие какого-то невидимого противника, и азарт странного поединка все более втягивал его.

Все чаще он думал о Лиденцове, воображал себе его; облик Лиденцова складывался почему-то грустно-спокойным, с глубокими впалыми глазами, в старинном сюртуке. Мурзину захотелось узнать подробности о жизни Лиденцова, и он обратился к знакомым физикам. Ответ задерживался, физики наводили справки и наконец сообщили, что о Лиденцове никому ничего не известно. Сколько-нибудь крупного физика с такой фамилией нет и не было.

В первую минуту Мурзин даже не поверил. Он ожидал чего угодно, кроме этого. Не может быть — он не мог прийти в себя. Попался, влип, как последний идиот, уши развесил. Выходит, Осокин облапошил, обвел его, как сопляка. Собственно, он никогда до конца не верил Осокину. Не верил, а слушался...

Он позвонил Осокину и потребовал немедленно при-

ехать. Такой у него был голос, что Осокин даже не посмел ни о чем расспрашивать. Мурзин повесил трубку и подумал: а какой интерес Осокину стараться, чего ради? Но тут же забыл об Осокине, сейчас было не до него. Со стеллажей достал первый основной вариант своего проекта и поставил рядом с последним эскизом.

Он сам не помнил, сколько времени сидел, стиснув голову руками. Перед ним была наглядная картина его уступок, соглашательства, трусости...

Осокин потряс его за плечо.

— Ах, это вы, Матвей Евсеевич.— Мурзин потер ладонями лицо, встал, движения его были медленные, тяжелые.— Памятника Лиденцову не будет. Не беспокойтесь. Поскольку нет натуры. Лепить не с кого. В прошлые времена, может, и ставили памятники мнимым лицам. А у нас сейчас требуется хоть справочка. Ничего не понимаете? Ах вы, бедняжка! — Он не торопясь, со вкусом поиздевался над Осокиным.

Но вот что замечательно. Осокин нисколько не обиделся, не расстроился, наоборот — Осокин возликовал, хлопнув себя по коленкам.

— Так это же прекрасно! Я так и знал. Наша взяла. Он самозванец. Аферист он. Я вам говорил, что ничего у него не выйдет. Не должно быть такого проникновения. А раз у него прав нет, так вообще полный порядок.

Мурзин подошел к последнему своему эскизу, стоящему на полу, ткнул его ногой, картон зазвенел. Мурзин наступил на него, переломил и стал тяжело мять и топтать ногами.

— Что вы делаете? Зачем? — испугался Осокин.— Уже все согласовано.

— Не будет никаких переделок! Не было никаких переделок! Ничего не было, Лиденцова не было. И вас не было.

— Мальчишка... Истерик вы и хлюпик,— жестко, с привычной уверенностью сказал Осокин.— Так вы ничего не добьетесь.

Он угрожающе простер руку, на что Мурзин со злостью прищурился.

— А вы знаете,— был Лиденцов или не был, но я должен быть. Я себя должен осуществить. Делать, а не подделываться. Делать то здание, которое должно быть построено, а не то, которое построят.

Мурзин помнил, что слова его не произвели на Осо-

кина впечатления,— скорее всего он не понял, что хотел сказать Мурзин, и хотя Мурзин был доволен собой, в глубине души он испытывал разочарование. Злоключения с проектом Морской площади имели в себе какую-то тайну, происходило что-то особенное, чудесное,— так ему начинало казаться. Теперь уже ореол исключительности исчез. И фотографию, конечно, физики сумеют разобрать по всем законам оптики, объяснить и доказать. Все стало на свои места. Но вкус несостоявшегося чуда оставался. До сих пор он ощущает его.

V

Между тем Осокину во что бы то ни стало хотелось услышать ответ физиков своими ушами. Он отправился в институт, и физики подтвердили, что ни о каком Лиденцове не знают, не проходили, в учебниках не встречали. И вообще ссылок на него нет.

— А именно по количеству ссылок в литературе следует судить об ученом,— втолковывал Лева Туманович.

Они разговаривали с Осокиным терпеливо, как с больным. Поведение Осокина, с их точки зрения, было алогично: он настырно допытывался, переспрашивал про своего Лиденцова и все более радовался тому, что ничего узнать о нем не может.

Добросовестности ради он пробовал показать им фотографию. Над ней посмеялись. Это окончательно умилило Осокина. Он сиял. В эти минуты его следовало заснять. У Левы была под рукой кинокамера. Цены бы не было кадрам, изображающим, как Осокин осматривал лабораторию. Он впервые был в лаборатории. На голубых стендах скользили световые стрелки, тикали самописцы, мерцали экраны, над цветными сплетениями проводов колдовали люди в кремовых халатах.

Осокин осторожно трогал приборы руками, подмигивал, ему было весело, как будто он смотрел картинки из научно-фантастических романов, которые читал в молодости.

Известная документальная кинокартина, которую сделали сами физики, «Белая королева», начиналась с момента прихода в лабораторию заведующего Кузина. Примерно так оно и было. Кузин зашел случайно и случайно услышал разговор про Лиденцова. Кузин отличался от

своих сотрудников прежде всего возрастом. И Туманович и Мурзин были в те времена постыдно юны.

Кузин должен был показаться Осокину существом нездешним,— Кузин не обладал объемом, у него был только профиль, короткие седые волосы его стояли дыбом и при разговоре шевелились. Решительность его юнцов слегка рассердила его. В науке забвение еще ничего не означало. Кузин не торопился с ответом. Он спросил — у кого работал Лиденцов, что это был за институт.

— Полуянов?.. Полуянов?..— повторял он, закатив глаза.

Осокин подсказал укоризненно:

— Академик Полуянов... действительный член...

— Что-то было такое... что-то несущественное.

— То есть как несущественное?

— Кажется, этот Полуянов отличался невежеством. Была какая-то история...

Осокин изумился тому, как быстро проходит слава. Если уж Полуянов забыт, где уж такой мелюзге, как Лиденцов, сохраниться. А ведь какие претензии были у этого Лиденцова. И он не мог удержаться от удовольствия рассказать физикам о Ляхницком, о Менделееве, о памятнике...

— Позвольте, как вы сказали — Ляхницкий? — вдруг встрепенулся Кузин и зашевелил своими белыми волосами.

— Ляхницкий! — воскликнул Маркин.— Чего ж вы молчали? Это же совсем иной уровень.

Они долго твердили — Ляхницкий! Ляхницкий!— и попросили в ближайшие дни позвонить к ним, справиться.

Но Осокин не позвонил, уверенный в окончательном посрамлении Лиденцова. К счастью, Кузин проявил настойчивость. Через адресное бюро Осокина разыскали и уговорили приехать в институт. За ним прислали машину, в вестибюле его встретил сам Кузин и повел по главной лестнице прямо в директорский кабинет. Секретарша принесла кофе, на беседе присутствовали Кузин, оба его сотрудника и директор института.

Без подробностей и оценок директор сообщил, что удалось найти некоторые любопытные материалы о Лиденцове, однако их пока мало, чтобы судить о характере его последних работ; не поможет ли Матвей Евсеевич Осокин уточнить кое-какие обстоятельства.

— Сколько угодно,— сказал Осокин,— я рад способствовать прогрессу. Рано или поздно наука должна восторжествовать. Это закон развития. Наука — враг суеверия и мракобесия.

Физики были деловые люди, больше всего они ценили время, мнение Осокина о науке их не занимало. Почтительно и твердо они всякий раз возвращали Осокина к истории с Лиденцовым. Выслушав про обе встречи, они стали подробно расспрашивать: над чем работал Лиденцов, что он рассказывал про свои работы, на какой стадии они находились. Ничего этого Осокин не помнил, сверхпроводимость он путал с полупроводниками, молекулы с атомами и чувствовал себя виновато, тем более что ученые обсуждали каждое его слово. Поэтому Осокин согласился провести сеанс стимуляции памяти.

Стимуляция производилась на модели «СТП-сигма», и в кинофильме почти полностью приведена эта уникальная запись.

Ему приставили к затылку и вискам множество тоненьких электродов, подключили поле, приборы, он выпил какую-то жидкость вроде шипучки, заработал ритмофон, голос Осокина замедлился, глаза потускнели; полулежа в специальном кресле, он смотрел вверх на обтянутый серой синтетикой потолок и вспоминал, иногда оживлялся, показывал пальцем, может на Лиденцова, голос его крепнул,— возможно, Осокин не только вновь переживал, но и видел свои воспоминания, при стимуляции это у каждого бывает по-своему. Несколько раз Осокин умолкал, приборы регистрировали так называемый «тормозной эффект»,— он явно избегал вспоминать какие-то моменты, на пленке они просматриваются темными, четко очерченными пятнами.

В перерыве Осокин полушутя-полусерьезно сказал, что боится, как бы этими электродами не высосали из него то, чего он не хочет. Ему объяснили, что все записи будут вручены ему и уже он волен вручить их или не вручить институту. Сеанс продолжался час, затем после перерыва еще двадцать пять минут.

Бледный, измученный Осокин, полулежа в кресле, недовольно оглядывал окружающее, во взгляде его словно сохранялся отблеск вновь пережитой власти. Несколько торжественно он передал катушки записей директору института. Теперь, когда Осокину вспомнилось все до малейших подробностей — и жалкий вид Лиденцова, и его

лепет, его пальто, добела протертое в швах,— было ясно, что ничего серьезного, или, как он выразился, «ничего самостоятельного», этот Лиденцов представлять собою не мог. Непонятно было одно — почему Лиденцов выглядел так молодо, он оказался куда моложе, чем помнился Осокину. От этого поведение Лиденцова получалось еще более наглым.

Физики ушли к доске, рисовали там схемы своих молекул, обсуждали слова Осокина, толкуя их и так, и этак. Обрамленные непонятными терминами, слова его повторялись разными голосами и становились многозначительными, как когда-то.

Прошное, которое только что промелькнуло перед ним,— манило, Осокин хотел вернуться туда, там он все знал, и его все знали. Он не понимал, как он очутился здесь и что это за люди, когда это все произошло. Нет, ему надо назад, туда, в тот свой кабинет. Но в том-то и дело, что после того кабинета были другие кабинеты,— он знал свое будущее... И тут Осокин сообразил, понял все, понял, почему Лиденцов показался ему таким молодым.

Значит, эти люди в кремовых халатах и есть настоящее, и ему невозможно избавиться от них, вернуться в свой кабинет. Мелкие теплые слезы катились по его щекам. Он ненавидел свою старость, даже в их стимуляторе он не мог увидеть себя молодым; какого-то Лиденцова мог, и свою секретаршу мог, а себя не мог.

Хорошо, что никто не смотрел на него, физики стучали мелом, их занимало — успел или не успел Лиденцов получить вещество со сверхпроводимостью при комнатной температуре.

Туманович в отчаянии тискал свою лысую голову:

— Обрыв на самом решающем месте. Надо же, как в пошлом детективе. На чем остановился Лиденцов?

— В некотором смысле он обогнал нас,— растерянно сказал Кузин.

— А считалось, что модель предложил Ляхницкий,— сказал Маркин.

— Вернее, ему приписывали,— поправил директор.— Видите, имя Лиденцова вычеркнуто.

Он листал какие-то старые отчеты.

— Братцы, наша-то схема переноса — лиденцовская! — воскликнул Маркин.— Мы сколько с ней мыкались... Если бы знать! Но он-то, как он сумел, с тогдашним оборудованием?!

— Он через свою модель. Самыми элементарными средствами,— сказал Туманович.— Самыми первобытными. Как Фарадей. Поразительно!

— Я же вас предупреждал,— сказал директор.— Слишком много тратите.

Все, кроме Кузина, засмеялись.

— Нет, серьезно,— сказал директор.— Сократить вам ассигнования, и станут ваши извилины поизвилистей.

Кузин заявил, что, очевидно, направление работ, избранное им, Кузиным, не единственное, надо попробовать зайти с того бока, откуда шел Лиденцов, и пользоваться его молекулой. Потом он признался, что это были нелегкие минуты, он восхищался Лиденцовым и проклинал его.

— Не заметили! Как же мы не заметили такой простой ход! — убивался Маркин.

Кузин знал, какой ценой достигается подобная простота,— но он не стал говорить, он чувствовал себя виноватым.

— Жизнь слишком коротка, чтобы мы могли извлекать пользу из своих ошибок,— сказал он.

Они были смущены и растеряны. Кузину было хуже всех, и все же он не мог удержаться от восторга:

— Ну и прохвост этот Лиденцов, как он умудрился обогнать нас! Сколько он успел!

— Как будто он подсмотрел наши работы,— сказал кто-то.

Кузин озабоченно пошевелил волосами.

— А какой ему резон... если бы наши направления совпадали,— совершенно серьезно сказал он.— Однако мы исходили из совсем иных данных.

— Ничего удивительного. Лиденцов стоял у истока, ему было виднее.

...Голоса их доносились к Осокину невнятно, единственное, что он понимал,— быстро растущую уважительность к Лиденцову. Они объясняли Лиденцова, ссылались на Лиденцова, изумлялись Лиденцову, как будто и не было недавних смешков. Фигура Лиденцова росла, обретала авторитет, уже мелькало, как само собой разумеющееся: «критерии Лиденцова», «молекула Лиденцова», «идея Лиденцова».

Осокин подозревал директора, наиболее из них понятного, и спросил о памятнике. Директор успокоил его: памятник, конечно, преувеличение. А в таких делах преувеличение вредно: когда замечают преувеличение, то

начинают подозревать и истину... Но тут его перебили: дело, конечно, не в памятнике, однако если подтвердится насчет модели молекулы и если найдутся последние работы Лиденцова, то они войдут в историю физики.

— Мало ли кому памятники ставят! — выкрикнул Лева Туманович.

Осокин запоминающе осмотрел этого лысого юнца:

— Кого вы имеете в виду?

И все строго покачали головой, а директор отобрал у Левы мел.

— Господи, при чем тут памятник? — удивился Кузин. — Кого интересует памятник?

— Товарища Осокина интересует, Матвея Евсеевича! — крикнул Лева. — Это он настаивает.

Тогда Осокин начал выпрямляться в кресле.

— Наоборот! — сказал он. — Как раз в другом смысле. — И достал фотографию. На этот раз фотографию взял Кузин и надолго замер над ней, грызя ноготь. Как во сне, он сделал несколько шагов, волосы на голове его зашевелились.

— Магнит! — вздрагивающим голосом произнес он.

Его обступили, нависли над фотографией.

— Непроницаемый... вытесняет... диамагнетизм!.. Отрицательная проницаемость! — выпаливал Кузин.

— Теперь ясно: поддерживается своим полем.

— Магнитная подушка.

— Какая красота!

Фигура Лиденцова висела перед ними в воздухе без постамента, и они начинали понимать все, что с этим связано, и блаженствовали.

Кузин подбежал к Осокину:

— Вы не обратили внимания, Матвей Евсеевич, из чего был сделан круг, который на земле? Материал блестящий? А низ фигуры? — Кузин умоляюще засматривал в лицо Осокину. — Пожалуйста, Матвей Евсеевич, дорогой, припомните.

— Не заметил, — машинально ответил Осокин и тут же опомнился, отшатнулся. — Не было никакого памятника, о чем вы говорите, не было его!

— Как жаль, как жаль, — расстроенно сказал Кузин. — Вряд ли они употребили титанат стронция... — И устремился к доске, где горячо обсуждали устройство памятника, прикидывали зазор, силы магнитного поля, ток, который должен циркулировать по кольцу. Замысел

памятника, по мере того как цифры сходились, вызывал все большее восхищение. Надо же было додуматься, чтобы так остроумно воплотить сущность идеи Лиденцова. И как раз в памятнике ему же! Именно в памятнике, то есть в сооружении, поставленном навечно, то есть показать смысл сверхпроводимости — когда сопротивления нет, ток движется вечно. Блистательно!

Они вспомнили про бланк, — правильно, нужен институт, специальный институт сверхпроводимости. Возможности открываются такие, что придется действовать широким фронтом.

Фигура Лиденцова продолжала расти, подниматься, и вместе с ней росли угроза Осокину и его тревога.

— Понимаете — значит, открытие Лиденцова — факт! — сияя нежностью, обратился к Осокину Маркин. — Иначе осуществить такой памятник было бы невозможно.

Осокин посмотрел на него с презрением:

— Что невозможно?

— Ну, это... — Маркин поднялся на цыпочки, взмахнул руками, — парить!

— Так, — сказал Осокин ничего не выражающим голосом, от которого все притихли. — Я-то полагал, что вы как специалисты, с точки зрения науки... Ведь ваша задача — разобраться и опровергнуть. Такого явления нет и в наше время быть не может. А вместо этого находят товарищи, — палец его остановился на Маркине, — фактом называют! Голый факт сам по себе еще ничего не означает.

— Можно предположить временный сдвиг. — Маркин виновато переступил с ноги на ногу. — Общей концепции у меня пока нет.

— А что особенного? — вмешался Лева. — Знак времени меняется при переходах из одной среды в другую. Еще Льюис Кэрролл обнаружил. У Белой королевы память была устроена так, что лучше всего она помнила события будущей недели.

— Как? — переспросил Осокин.

— Нет, нет, — сказал Кузин, — такое может происходить лишь по ту сторону зеркала.

— А если допустить, что была повернута ось времени? Следствие тогда наступает раньше причины.

— ...Достаточно сместить ось времени.

— Погодите, — сказал Кузин, — Лиденцов ведь ощу-

щал это смещение. Он воспринимал сдвиг как болезнь; вполне возможно, физически для организма тяжело...

— В таких случаях вместо памяти развивается способность обратная...

Осокин постучал ложечкой, как он делал когда-то на узких совещаниях, и все стихли. Неужели они со своими приборами и диссертациями не понимают, до какого абсурда они докатились!

Кремовые халаты обступили его, внимая каждому слову.

Не стесняясь, он вдруг расхохотался им в лицо. Всерьез рассуждать о ком — о Лиденцове! Как будто такой горемыка, придурок может быть великим человеком. Тупицы! Он-то знал Лиденцова, он-то видел его. Только что видел — красный носик уточкой, нахал, которого он осадил, и тот живо хвост поджал. Рожденный ползать, летать не может.

От его смеха они втягивали свои ученые головы в плечи, но при этом они не переставали разглядывать его слишком пристально, как врачи.

— Это в старое время гении оставались непризнанными! — заключил Осокин.

— Гений — явление неизученное. — Кузин подергал себя за волосы. — Подсознательное «я» у гения существует в ином виде времени. По отношению к сознанию оно может быть будущим. Нет точных доказательств, запрещающих перемещения во времени. Раз физика не запретила, значит, это может быть, значит, оно существует в природе. Мы его еще не выявили.

— Нас это не касается. Сдвиги времени не наша специальность, — сказал директор. — Нас интересует несколько иное.

Возможно, что Осокину показалось, что все уставились на него, он заволновался и сказал неожиданное.

— Понимаю, насчет жилплощади, — сказал он. — Так вот, ваш Лиденцов сам виноват.

Маркин поднял руки к небу:

— Он же просил маленькую квартиру. Всего-навсего! Такому человеку! Неужели он не заслужил? Поразительно, Матвей Евсеевич, как вы могли отказать? У меня не укладывается.

— Маленькую квартиру, — с ненавистью передразнил Осокин, — Ишь добренькие! Маленькую. Да разве вы по-

нятие имеете! Люди стояли в очереди. За одной комнатой. Последними словами меня поносили. А что я мог? От других таких же отымать? Теперь вам куда просто. Маленькую квартиру. Умники!

Насколько ближе был ему сейчас Лиденцов — уж он-то бы понял, он бы не посмел, он все это знал.

Кузин мучительно сморщился:

— Нельзя, нельзя, товарищи, во всем винить Матвея Евсеевича. Кто мог тогда знать... — И осекся.

Пауза быстро выростала.

Кто мог знать? Да?

Первыми неслышно хихикнули молодые.

Кто мог? А может, кто-нибудь мог? А кто? А вот кто... Знать — знал, а дать — не дал. А ведь все знал. Наперед знал!

Кто мог знать? — надежный, надежно-безответный вопрос, не вопрос, а извечное оправдание, убежище для всех людей, при всех неожиданностях. И вдруг захлопнулся как ловушка.

Директор согнал с лица смешок, и оно осталось пустынно-торжественным.

— И все же, товарищи. Мы должны благодарить Матвея Евсеевича за его участие. Наши молодые иногда упрощают прошлое. Вы уж простите... Помощь ваша позволит нам продолжить розыски. Вы, Матвей Евсеевич, надоумили нас обратить внимание на ряд новых аспектов проблемы. Вполне возможно, это сыграет историческую...

Уши, шея Осокина густо побагровели.

— Я вас не надоумил! — Он задыхался. — Вы воспользовались. Я не желаю вас надоумить! Не желаю! Думаете, я не вижу, куда вы тянете? — Он схватил палку, затряс ею. — Не получится у вас! Не на того напали. Обманом берете? Раз так, я вообще не согласен. Я отменяю. Все отменяю.

Палка прыгала в его руках, багровое лицо вздулось, посинело, директор испугался, попробовал его усадить, а Осокин, хрипя, отталкивал его.

— Что вы, уверяю, без вашего разрешения мы ничего... — торопился директор, — успокойтесь, мы категорически запретим.

Осокин никак не мог застегнуть пиджак, Кузин подал ему плащ, они вдвоем с директором помогали его надеть. Директор, поглаживая Осокина по спине, сказал:

— Всё мы с вами согласуем. Абсолютно всё. — Голос

его стал замшевым.— Вот если разрешите, фотографию? На минуточку. Мы ее сейчас переснимем. Чтобы вас из-за этого не беспокоить.

Кузин заискивающе улыбнулся.

— Дадим максимальное увеличение. Сколько вам копий?

Осокин с неожиданной силой отстранил их, подошел к столу, прислонил палку. Двумя пальцами одной руки и двумя пальцами другой Осокин высоко поднял перед собой фотографию и медленно разорвал ее. Сложив обрывки, он понаслаждался общим ошеломлением и снова не спеша разорвал. Бросил клочки в пепельницу. Но, перехватив чей-то неосторожный жадный взгляд, сообразил, с ловкостью схватив спички, он чиркнул и поджег. Маленькое желтое пламя поднялось над пепельницей. Не разрешая приблизиться, Осокин стоял над своим костром, свет пламени лизал его лицо, плясал в старческих глазах.

Первым опомнился Кузин. Он беззаботно махнул рукой, и на лицо его вернулось растерянно-восторженное выражение.

— Архивы-то надо искать в полуяновском институте,— сказал он.— Там все отчеты...

Переговариваясь, они последовали за Кузиным в глубину комнаты, оставив Осокина одного.

Директор нагнал Осокина на лестнице. Осокин часто останавливался, отдыхал. Директор проводил его до машины. По дороге директор пригрозил Осокину за уничтожение документов, имеющих государственную важность. Осокин молчал. Тогда директор попробовал выяснить — нет ли у Осокина еще каких-либо документов и где могут быть те фотографии Лиденцова и вырезки, куда они могли подеваться. И вообще, не припомнит ли Осокин фамилию президента Академии, того самого, что был на открытии памятника, то есть не был, а будет, если, конечно, будет то, что было...

Осокин, который никак не реагировал на его вопросы, тут чуть покосился на директора, и директор замер лицом. Продолжалось это несколько мгновений, все же достаточно долгих, ибо они навсегда запомнились директору и, может быть, во многом определили его будущее.

К концу лета сняли леса, заборы, новое здание открылось разом прозрачной льдистой глыбой. Посреди фасада

извилистым углублением темнел выем. Назначение его было непонятно. Архитекторы пытались доказывать председателю горсовета необходимость чем-то перебить монотонный ритм фасада. Но председатель был недоволен. Тем более что при обсуждении проекта председатель указывал на эту нишу. Были сигналы. Теперь, когда реконструкция площади кончена, ниша мозолила глаза. Для чего, спрашивается, ее делали, о чем думали? Как ее использовать? Архитекторы беспомощно лепетали про сквер. А при чем тут сквер? Председатель отчитал их и, как человек хозяйственный, предложил использовать нишу под кафе-автомат.

Известно, что вид нового здания подействовал на Осокина удручающе.

Пока стояли теплые дни, Осокин приходил в новый сквер. Кафе-автомат разместилось в нише весьма удобно. На площадке поставили столики. Посредине посадили кусты жасмина. Правда, они почему-то никак не принимались. Вялые листья свертывались и падали. Садовник опрыскивал ветки, сыпал землю порошками. Осокин издали следил за ним и усмехался. Усмешка его была маленькая, трудно различимая среди морщин. Он сидел на скамейке, привычно листал газеты, проглядывал фамилии в сообщениях о приемах, визитах, рассматривал фотографии и опять усмехался той же рискованной усмешечкой.

Он очень одряхлел и, сидя, легко засыпал, однако держался по-прежнему настороженно и прямо и, задремав, не опускал головы.

1969

НАШ КОМБАТ

I

Они стояли на углу, все трое, ожидая меня. Издали я узнал только Володю Лазарева. Мы с ним несколько раз встречались с тех пор. И кроме того, мы с Володией были тогда закадычными друзьями. Встречались мы случайно, шумно радовались, но кто-то из нас всегда спешил, мы записывали телефоны друг друга, кричали — звони, надо собраться...

Трое мужчин стояли на углу возле закрытого овощного ларя. Они не замечали меня. Нас разделяла улица. И еще кое-что. Один из них должен был быть Рязанцев. Он тогда был политруком, кажется второй роты. Я плохо помнил Рязанцева, я решил, что этот толстый, потный, в желтой клетчатой рубашке навывпуск и есть Рязанцев. Комбат не мог быть таким. А собственно, почему бы нет?

Недавно на аэродроме я увидел Лиду. Она шла в толпе прибывших, растрепанная, увешанная сумками, пакетами. Жидкие, давно выкрашенные волосы ее были полуседые. Наш самолет медленно тащили на взлетную. Я прильнул к стеклу. Когда мы сблизились, я понял, что это не Лида. А потом мы стали отдаляться, и она опять стала невыносимо похожа на Лиду. Что-то было в изгибе ее фигуры от Лиды. Правда, я никогда не видал Лиду в штатском. Я долго сидел, набираясь мужества перед простой мыслью: почему Лида не может стать такой?

И комбат мог стать каким угодно.

Я видел третьего, видел и не смотрел на него. Я просто видел какого-то человека. А то, что было в моей памяти комбатом, оставалось нетронутым, и я не сравнивал этих людей.

Мне захотелось повернуться и уйти, пока меня не заметили. Можно было тем же шагом пройти мимо, чуть отвернувшись к витринам. Поехать домой, сесть за работу. Я знал, как опасно встречаться после долгой разлуки с людьми, которых любил. С женщинами — другое дело. Там неизбежны всякие морщины, полнота, там ничего не поделаешь, с женщинами становится грустно, иногда по-хорошему грустно. В худшем случае удивляешься — чего ты в ней находил.

Мужчины стареют иначе. Они становятся пустыми. Из них лезут глупости, поучения и злость.

Я до сих пор очень любил того, нашего комбата. И после него попадались отличные командиры, с которыми наступали, освобождали, нас встречали цветами, мы получали ордена. А с нашим комбатом были связаны самые тяжелые месяцы блокады — с октября 1941 по май 42-го. И комбата я любил больше всех.

С годами он становился для меня все лучше и совершеннее, я написал очерк о нем, вернее — о нашем батальоне, и о Володе, и о себе, но главным образом я имел в виду комбата. В этом рассказе все были хорошие, а лучше всех был комбат. На самом деле среди

нас были всякие, но мне было неинтересно писать плохое о людях, с которыми вместе воевал. Через них я изумлялся своей собственной силе. Очерк мне нравился. Комбата теперь я помнил главным образом таким, каким я его написал, хотя я старался ничего не присочинять.

Тот, третий, кто должен был быть комбатом, повернулся, посмотрел на другую сторону улицы, на меня и дальше, по воскресному, полному прохожих, тротуару. Не признал. Время стерло и меня. Мы оба друг для друга были стерты до безликих встречных. Каждый из нас ушел в чужие — есть такая огромная часть мира, недоступная, а то и незамечаемая — чужие, незнакомые люди, которые безостановочно струятся мимо нас в метро, на дорогах. Многие друзья моего детства давно, и видно навсегда, скрывались в этом мире чужих.

— Здравствуйте,— сказал я, появляясь из этой безликости.

— Я ж вам говорил! — крикнул Володя.

Мы обнялись с ним. Тот, кого я считал Рязанцевым, тоже развел руки, а потом не решился, неловко хлопнул меня по локтю и сказал:

— Я бы тебя не узнал.

Третий улыбнулся, пожал мне руку. Я улыбнулся ему точно такой же настороженной, ни к чему не обязывающей улыбкой слишком долго не видевшихся людей. Сколько-то лет назад существовало еще время, когда б мы кинулись целоваться, прослезились.

Он поседел. Он сгорбился. Пополнел. Бостоновый костюм с большими старомодными лацканами, галстучек в голубых разводах, велюровая шляпа, в руках авоська с каким-то пакетом — окончательно отдаляли его от того щеголеватого, стройного комбата, перетянутого в талии так, что и полушубок не полнил его. Ах, как он был красив — фуражечка набекрень, смуглый нежный румянец, наш комбат, насмешливый, молчаливый, бесстрашный.

...Старенький Володин «москвич» вез нас к Пулкову. Зачем я поехал? То, что я помнил про ту зиму, было достаточно. И то, что я помнил про комбата.

Он сидел впереди с Володиёй, степенный, аккуратный, иногда оборачивался к нам, неспешно улыбаясь. Прежние черты проступали в нем как пятна, неуместные,

словно нечто постороннее — узкие калмыцкие глаза его, смуглые длинные кисти рук и плавные жесты ими. Ничего не осталось от легкости, той безоглядной непосредственности, которую мы так любили в нем.

Рязанцев безостановочно говорил, комбат слушал его, терпеливо и холодно шурился, к чему-то примериваясь. Я вспомнил эту манеру, которой мы подражали, завораживающее спокойствие, с каким он мог сидеть под обстрелом, читать, покусывая спичку... Сколько ему было? Двадцать пять? Мальчишка. В голову не приходило, что он мальчишка. Даже Елизарову не приходило, а Елизарову было за сорок.

— Где Елизаров? — спросил я. — Что с ним?

— Какой Елизаров? — спросил Володя.

— Ты что! — воскликнул Рязанцев. — Комиссара забыл?

— Его понизили в звании, послали на пяточок, — сказал комбат. — Кажется, он погиб там.

— А почему его взяли от нас? — спросил Володя.

Комбат рассказал, как однажды, в феврале сорок второго, Елизаров предложил на случай прорыва немцев разбить батальон заранее на несколько отрядов, для ведения уличных боев внутри Ленинграда.

— Мы с ним стали обсуждать, — сказал комбат, — а при этом был Баскаков.

— Ну что с того? — спросил я.

Рязанцев положил мне руку на колено.

— Подумать только, ты был совсем мальчик. Носил кожаные штаны. А где вы теперь работаете?

Он все время путался то «ты», то «вы». Заглядывал в глаза. Что-то в нем было неуверенное, бедственное.

— Ну и что Баскаков? — напомнил я.

— Интересно, где теперь Баскаков, — сказал Рязанцев. — Я многих уже разыскал. Хочу устроить вечер встречи. Шумиловский, начхим наш, помните? Директором трампарка работает. А Костя Сазотов, он агентом на обувной базе.

— Кем? — спросил я.

— Агентом, по части обуви.

Костя был героем батальона. Его взвод закопался в семидесяти метрах от немцев. У нас тогда все измерялось тем, кто ближе к противнику. Начхим, который обитал во втором эшелоне, — он директор, а Костя Сазотов агент по тапочкам и сандалиям. А комбат? Кажется,

он работает учителем. Впрочем, какая разница. Это не имеет никакого отношения к тому, что было. Мы были связаны прошлым, и только прошлым.

— Что же дальше было с Елизаровым?

— Неприятности у него были...— сказал комбат.— Приклеили ему пораженческие настроения.

Вот оно как это все было. А мы-то... Никто толком не знал. Ходил какой-то слушок. Что-то, мол, нехорошее, в чем-то старик замешан, и мы не то чтоб поверили, а как-то примирились, не расспрашивали.

— Какое ж это пораженчество,— сказал я.— Разве мы не боялись, что немцы прорвутся? Боялись. Факт. С января мы совсем от голода доходили. Снарядов не хватало...

Комбат обернулся ко мне. Наверное, я говорил слишком громко, вознаграждая себя за то, что такие вещи мы старались в те времена не произносить вслух, даже думать об этом избегали. Рязанцев, тот поежился, мягко пояснил мне:

— В тех условиях не следовало, особенно политработнику, допускать даже мысли такой... мы должны были укреплять дух. Баскаков обязан был. У него свои правила. Представляешь, если бы мы заранее ориентировали на поражение...

— Сукин сын твой Баскаков,— сказал я.— Ведь он не возражал. Слушал и сообщал. Вот с кем бы встретиться! Спросить его...

Комбат, прищурясь, разглядывал меня.

— Сейчас спрашивать куда как просто,— суховато сказал он, и Рязанцев подхватил удрученно:

— Задним умом многие сейчас крепки стали.

Я заспорил с Рязанцевым. Комбат не вмешивался, он молчал бесстрастно, непроницаемо.

Машина шла по Московскому проспекту, мимо безликих, скучных новых домов с низкими потолками, мимо новых универмагов, тоже одинаковых, с одинаковыми товарами, очередями, духотой, надменными лицами продавщиц... Нет, машина шла мимо огромных светлых домов, выстроенных на пустырях, где стояли халупы, которые в войну разобрали на дрова, мимо высоких современных витрин, где было все, что угодно, и внутри в длинных прилавках-холодильниках было полно пирожных, сыров, вин и еще всякой жратвы, мимо кафе, закусовых, воскресных парней в джинсах, девочек с мо-

роженным, они озабоченно поглядывали вверх, где затягивало плотнее, видимо, собирался дождь.

Остановили перед светофором. Володя проводил глазами рыжую девочку в бархатных брючках,

— Ах, цыпленок!

— Не нравится мне эта мода,— строго сказал комбат.— Вульгарно.

Володя прищелкнул языком.

— При хорошей фигурке... А что, кавалеры, не заземлиться ли нам в ближайшей таверне. Возможны осадки, посидим в тепле. Помянем. Важно что? Что мы встретились,— и он подмигнул мне в зеркальце.

— Тоже идея,— поддержал я. У нас сразу с ним все восстановилось, как будто и не было двадцати лет.

— Дождя испугались? — сказал Рязанцев.— Небось в годы войны...

— Годы войны были суровым испытанием,— сказал Володя.

Комбат опустил стекло, посмотрел на небо.

— А помните, сюда мы в баню ходили,— сказал он.

— Точно, я Сеню Полесьева сюда водил! — и Володя произнес голосом Сени, чуть шепелявя: «Первые шесть месяцев после бани чувствую себя отлично».

Я сразу вспомнил Сеню, его высоко поднятые брови, тонкую заросшую шею, его вспыльчивость и доброту.

— Если б не твой Баскаков, послали бы Полесьева переводчиком,— сказал я Рязанцеву.

— Почему мой? Какой он мой?

— До сих пор его почитаешь.

Рязанцев запыхтел, осторожно ударил себя в грудь.

— Мы делали общее дело. Конечно, отдельные нарушения были...

— Однополчане! — предостерегающе сказал Володя.— Разговорчики! — Ему хотелось вспоминать только веселое.

Он вез нас в ту военную зиму, к нам, молодым, не желая замечать, как мы изменились. А я видел только это, и чем дальше, тем сильнее меня раздражал Рязанцев и особенно комбат. Все в нем было не то. Все казалось в нем скучноватым, никак не соответствовало, не сходилось с тем задуманным нами когда-то. И эта обыденность, вроде бы стертость, запутанная мелкими морщинами от школьных хлопот и обязанностей, домашних забот или не домашних, а служебных, но таких же, как

у всех,— чего-то уладить, добиться чьей-то подписи; эта заурядность неотличимого от всех остальных, конечно, не могла бы меня отвращать, если б он не был нашим комбатом. Но тут начинался иной счет. Наш комбат обязан был оправдать наши надежды. От него ждали блистательного будущего, траектория его жизни из той страшной зимы сорок первого угадывалась вознесенной к славе полководца, командующего армиями, к золотому сиянию маршальских звезд, или что-то в этом роде. На наших глазах он выдержал испытания и стойкостью и мужеством, он стал нашей гордостью, нашим кумиром. Уж ему-то предначертано было достигнуть, и вот подвел, не достиг, и ведь не считает, что не достиг, вот что возмущало. Если б неудача, тогда понятно, было бы сочувствие и жалость, а так ведь на чем утешился... И хотя я понимал, что мое разочарование — глупость, может, он хороший учитель, все равно, никак я не мог соединить того и этого. Ничего героического не оставалось в нынешнем. И никакой романтики.

За двадцать с лишним лет образ комбата выстроился, закаменел, он поднялся великолепным памятником, который я воздвиг на своей военной дороге, он стал для меня символом нашей героической обороны. А теперь появляется этот самозванец в небесном галстучке и заявляет, что он и есть и символ и кумир.

Не изменялись лишь те, кто погибли. Сеня Полесьев остался таким же, он лежал на нарах между мной и Володи́ей и рассказывал о том, какой климат был здесь под Пулковом полмиллиона лет назад. Однажды он нашел немецкие листовки и прочел их нам. Баскаков узнал, заинтересовался, откуда он знает немецкий, да еще так свободно? Может, он его в чем заподозрил, тем более что отец Сени был из дворян. Сеня вспылил: «То, что я знаю немецкий, в этом ничего удивительного, многие знают немецкий. Ленин, например, знал немецкий и Фридрих Энгельс, удивительно, что вы на такой работе не знаете немецкого».

— А ты, оказывается, штучка,— угрожающе сказал ему Баскаков.

Под вечер немцы минами накрыли пулеметный расчет за церковью. Нас вызвали к комбату. Баскаков должен был отправиться туда к пулеметчикам проверить обстановку, и комбат предложил ему взять с собою двоих из нас. Мы стояли перед ним вытянувшись, все трое.

Баскаков указал на меня. Это было понятно, я знал туда дорогу. Затем ему надо было выбрать Володю или Полесьева. Комбат ждал, покусывая спичку, и я помню, как он быстро усмехнулся, когда Баскаков указал на Полесьева.

— А знаете, почему он выбрал Полесьева? — сказал Володя. — Потому что он понимал, что надежней и храбрей Семена нет.

— Баскаков, между прочим, сам был не из трусливых, — вставил комбат.

— Совершенно верно. При всех своих недостатках, — обрадовался Рязанцев.

Неприятно, что комбат напомнил об этом, но это было так. Я полз первым, потом мне надоело ползти, я пошел по мелкому ходу сообщения, который был мне по грудь, пошел быстро, назло Баскакову. Он тоже поднялся и шел за мной, не отставая и еще посвистывая, и оглядывался на Сеню...

— Налево, — сказал комбат Володе.

У рощицы мы остановились и вышли на шоссе. Было тепло и пасмурно.

— Кто-нибудь из вас приезжал сюда? — спросил комбат.

Несколько раз за эти годы я проезжал здесь в Пушкин, однажды в Москву и всегда оглядывался и говорил спутникам: вот тут мы воевали. Как-то мы даже остановились, я хотел показать и ничего не узнал. Шоссе было обсажено липами, вдали выросли большие белые дома. Следовало, конечно, специально разыскать наши землянки, разбитую церковь. Я как-то предложил своим, мне хотелось поводить их по здешним местам. Они согласились. «А потом хорошо бы сходить в Пулковскую обсерваторию, — сказала дочь, — я там никогда не была».

Я не понял — при чем тут обсерватория?

Она смутилась. Она была честным человеком, мы с ней дружили, и она призналась, что, конечно, с удовольствием поедет, поскольку мне это интересно.

Получалось, что я хотел поехать ради них, а они ради меня. Это было нехорошо. Что-то неверное было в моих отношениях с прошлым. Словно с человеком знаменитым и неинтересным, ничего нового от него не ждешь. Словно с родственником, которого — хочешь не

хочешь — надо иногда навещать. Или с человеком, который очень хорошо, слишком хорошо тебя знает и может в чем-то упрекнуть, с человеком, перед которым надо чем-то похвастать, а хвастать-то нечем.

И вот ведь что — одному поехать — в голову мне такой мысли не приходило, то есть приходило, в виде мечтаний — мол, славно было бы поехать, поискать, вспомнить. Но ничего конкретного не думалось. А ведь чего проще приехать сюда: сесть в автобус — и за сорок минут доедешь. И нынче ведь я решился поехать главным образом потому, что Володя уговорил.

— Нет, я ни разу не был, все собирался,— сказал Володя.

Никто из нас не был.

II

Мы пошли за комбатом. Сперва по шоссе, потом свернули вниз по тропке и по каменным ступенькам. За железной оградой стоял мраморный обелиск с надписью: «Здесь похоронены защитники Ленинграда в Великой Отечественной войне 1941—45 г.» У подножия лежали засохшие венки с линялыми лентами. Комбат отворил калитку, она скрипнула пронзительно.

— Узнаете? — спросил комбат.

Мы молчали. Мы виновато оглядывались и молчали.

— Это ведь кладбище наше.

— Точно! — Рязанцев всплеснул руками.— Здесь мы хоронили Ломоносова.

— Есдю Ломоносова! — Я тоже обрадовался, я вспомнил Васю — его только что приняли в комсомол. Его убили ночью, когда немцы вылазку устроили.

— А троих ранили.

— Верно, было дело,— сказал я, благодарный Рязанцеву за то, что он напомнил.— Мы с Володиёй ташили Васю сюда.

— Начисто забыл... Полное затмение,— огорченно сказал Володя.

— Ну, помнишь, Вася дал нам картошку? Они в подвале нашли штук двадцать.

— Картошку? Помню. А его не помню... Ломоносов,— повторил он, еще более огорчаясь,— а вот Климова я тут точно хоронил.

Но Климова мы все забыли. И даже комбат не помнил. Он следил, как мы вспоминали, почти не вмешиваясь.

— За могилой-то ухаживают. Памятник сделали,— удивился Володя.

Тогда была пирамидка, и ту, поскольку она была деревянная, кто-то сломал на дрова. Елизаров нашел каменную плиту, мы притащили ее и масляными красками написали на ней. После прорыва блокады батальон ушел на Кингисепп, там появилось другое кладбище и потом в Прибалтике было еще одно.

«Защитники Ленинграда» — те, кто ставили обелиск, уже понятия не имели про наш батальон. Жаль, что мы не догадались взять с собою цветы. Но кто знал? Комбат? Он держался с укором, как-то отчужденно, словно его дело было — показывать. Да, за могилой следили, красили изгородь, и эти венки, немного казенные на вид. Местные пионеры или еще кто, они ничего не знали о тех, кто здесь лежит. Для них — просто солдаты. Или, как теперь пишут,— воины. Мы припоминали фамилии, комбат писал их на мраморе карандашиком, у него, как и тогда, в кармашке торчал простой карандашик, тогда это было нормально, а теперь все больше ручки носят, и шариковые.

Помнил комбат куда больше, чем мы трое. Занимается воспоминаниями; наверное, больше ему и делать-то нечего. И карандашик этот старомодный.

Черные строчки наращивались столбиком.

Безуглый... Челидзе... Ващенко...

Иногда передо мной всплывало лицо, какая-то картинка, иногда лишь что-то невнятно откликалось в обвалах памяти, я звал, прислушивался, издалека доносились слабые толчки, кто-то пытался пробиться ко мне сквозь толщу лет и не мог.

Кажется, здесь мы похоронили и Сеню Полесьева.

— Его ранило, в первой атаке на «аппендицит», — сообщил Володя, как будто это не знали. — Я даже помню дату — двадцать первого декабря.

— Еще бы, — сказал Рязанцев.

— Почему — еще бы? — поинтересовался я. — Что за дата?

— А ты забыл? — недоверчиво удивился Рязанцев. — Каков? — он обличающе указал на меня.

Комбат слегка хмыкнул.

— Вот как оно бывает,— Рязанцев вздохнул.— День рождения Сталина...

Я молчал.

— Считаешь, что можно не помнить такие вещи? — обиженно сказал Рязанцев.

Странно устроена человеческая память, думалось мне, потому что я помнил совсем другое.

Пошел дождь, мелкий и ровный. Мы стали под березку. Молодая листва плохо держала воду. Комбат достал из авоськи прозрачную накидку, он один запасся дождевиком, мы сдвинулись, накрылись. Сразу гулко забарабанило, мы поняли, что дождь надолго.

— Не вернуться ли,— сказал Володя,— сам бог указывает. Примем антизнобин, посидим, а?

Стекало на спину, пиджак промок, желтые лужи пенились, вскипали вокруг нас. Не было никакого смысла стоять тут.

Рязанцев покосился на молчащего комбата.

— Может, подождем?

— Подождем под дождем,— откликнулся Володя.— Ждать не занятие для воскресных мужчин.

Следовало возвращаться. Оно и лучше. Прошрое было слишком хорошо, и не стоило им рисковать. Когда-нибудь мы приедем сюда вдвоем с Володиёй.

Комбат потрепал меня по плечу:

— Ничего, не сахарные.

— Что у вас за срочность? — спросил я.— Что-нибудь случилось?

Комбат смутился и сразу нахмурился.

— Ничего не случилось.

— Вы-то сюда уже приезжали?

— Приезжал.

— Так в чем же дело? Если ради нас, то не стоит,— сказал я с той заостренной любезностью, какой я научился в последние годы.

Исподлобья комбат обвел меня глазами, мой докровский костюмчик, мою рубашечку дрип-драй.

— Как хотите,— он перевел глаза на Рязанцева.— Ты тоже костюмчик бережешь?

Рязанцев фальшиво засмеялся, вышел под дождь, хлопал себя по бокам.

— А что, в самом деле. Не такое перенесли, не заржавеет,— он запрокинул голову, изображая удовольст-

вие и дождем, и тем, что подчиняется комбату.— Нам терять нечего. Нам цена небольшая.

Мы стояли с Володей и смотрели, как они поднимались по ступенькам. Володя вздохнул, поморщился.

— Чего-то он собирался нам показать.

— Себя,— сказал я со злостью.

— А хоть и себя.— Володя взял меня под руку.— Все же мы его любили...

Да, за тем комбатом мы были готовы идти куда угодно. Если б он сейчас появился, тот, наш молодой комбат...

— А... помнишь, как мы с ним стреляли по «аппендициту»?

Что-то больно повернулось во мне.

— Ладно, черт с ним,— сказал я.— Ради тебя.

Мы догнали их у тропки. Мокрая глина скользила под ногами. Комбат подал мне руку.

— То-то же! Нет ничего выше фронтовой дружбы,— возвестил Рязанцев.

А комбат нисколько не обрадовался.

III

Мы перебежали шоссе, по которому, поднимая буруны воды, неслись автобусные экспрессы, и двинулись, поливаемые дождем, напрямик через поле. Странное это было поле, одичалое, нелюдимое. За железнодорожной насыпью местность стала еще пустынной и заброшенной. Слева белели сады с цветущими яблонями, поблескивали теплицы, впереди виднелся Пушкин, справа — серебристые купола обсерватории, здесь же под боком у города сохранилась нетронутая пустошь, словно отделенная невидимой оградой. Кое-где росли чахлая лоза с изъеденными дырявыми листьями, кривая березка, вылезала колючая проволока; мы перешагивали заросшие окопы, огибали ямы, откуда торчали лохматые разломы гнилых бревен. Землянки в два наката. И сразу — запах махорки, дуранды, сладковатый вкус мороженой картошки, ленивые очереди автоматов, короткие нары, зеленые взлеты ракет... И что еще? Разве только это? А ведь казалось, помнишь все, малейшие подробности, весь наш быт...

Чьи это землянки? А где наша? Где наша землянка? Я озираясь, я прошел вперед, свернул, опять свер-

нул, закрыл глаза, пытаюсь представить ее расположение, то, что окружало меня изо дня в день, неделями, месяцами. «Все заросло,— вдруг угрожающе всплыла чья-то строка,— развалины и память...» Я-то был уверен, что, приехав сюда, сразу узнаю все; даже если бы это поле было перепаханно, застроено, я бы нашел место нашей землянки, каждый метр здесь прожит, исползан на брюхе, был последней минутой, крайней точкой, пределом голода, страха, дружбы.

Володя окликнул меня. Я не хотел признаваться ему, я еще ждал.

— Послушай, а где «аппендицит»? — спросил он.

— Эх ты,— сказал я.

Уж «аппендицит»-то, вклиненный в нашу оборону, проклятый «аппендицит», который торчал перед нами всю зиму... Я посмотрел вперед, посмотрел вправо, влево... Вялая жирная трава вздрагивала под мелким дождем. Валялась разбитая бутылка, откуда-то доносились позывные футбольного матча. Все было съедено ржавчиной времени. Я рыскал глазами по затянутому дождем полю, где вроде ничего не изменилось. Я искал знакомые воронки, замаскированные доты, из-за которых нам не было жизни, даже ночью оттуда били по пристрелянным нашим ходам, мешая носить дрова, несколько раз пробили супной бачок, мы остались без жратвы и ползали вместе со старшиной, собирая снег, куда пролилась положенная нам баланда. Мы без конца штурмовали «аппендицит», сколько раз мы ходили в атаку и откатывались, подбирая раненых. Лучших наших ребят отнял «аппендицит», вся война сосредоточилась на этом выступе, там был Берлин, стоял рейхстаг. Из-за этих дотов мы ходили скрюченные, пригнувшись по мелким нашим замороженным окопам, и в низких землянках нельзя было распрямиться, нигде мы не могли распрямиться, только убитые вытягивали перепрелые обмороженные ноги.

Я искал себя на этом поле и не мог отыскать, не за что было зацепиться, удержаться на его гладко-зеленой беспомысленности. Когда-то насыщенное жизнью и смертью, разделенное на секторы, участки, оно было высмотрено, полно ориентиров, затаенных знаков, выучено наизусть, навечно... Где оно? Может, его и не было? Доказательства утрачены. А если б я приехал сюда со своими,— я со страхом слышал свои беспомощные оправдания...

— Ну что,— приставал Володя.— Где?

Комбат — единственный, кто знал дорогу в ту зиму, кто соединил нас с нашей молодой войной. Мы догнали его. Покаянно, со страхом Володя спросил, и комбат указал на еле заметный холм, который и был «аппендицитом». Вслед за его словами стало что-то проступать, обозначаться. Поле разделилось хотя бы примерно — здесь — мы, там — немцы. Мы шли вдоль линии фронта, не отставая от комбата, и я готов был простить ему все, лишь бы он показал нашу землянку, церковь, участок первой роты, взвод Сазотова, вторую роту...

Развалины церкви сохранились, остатки могучей ее кладки, своды непробиваемых подвалов, лучшее наше убежище, спасение наше.

— Безуглый,— произнес комбат.

И сразу вспомнилось, как сюда ходил молиться Безуглый. Начинался обстрел, Безуглый вынимал крестик, целовал его. В землянке перед сном он шептал молитву. Он ужасался, когда мы притаскивали с кладбища деревянные кресты для печки.

— Неоднократно я с ним беседовал,— сказал Рязанцев.— Из него бы можно было воспитать настоящего солдата.

— Он и без того был хороший солдат,— сказал я.

— Вы что же, религию допускаете?

Тогда мы тоже считали Безуглого темным человеком, одурманенным попами, и в порядке антирелигиозной пропаганды рассказывали при нем похабные истории про попов.

— Ты сам помогал отобрать у него молитвенник,— вдруг уличающе сказал Рязанцев.

— Я?

— Когда обыскивали,— неохотно подсказал мне Володя.

Они все помнили, значит, это было.

— Не обыскивали, а проверяли вещмешки,— поправил Рязанцев,— продовольствие искали.

— Ну, положим, не продовольствие,— сказал Володя,— а наши консервы.

— Это ты напрасно...

— Тогда у Силантьева свинец нашли,— отвлекая их, сказал комбат.

Интересно, как прочно вдавился этот пустяковый случай. Морозище, белое маленькое солнце, вещевые

мешки, вытряхнутые на снег. Силантьев, сивоусый, кривоногий, в онучах, вывернул свой мешок, и комбат заметил что-то в тряпице, вжатое в снег. Поднял, развернул, там был скатанный в шар свинец. «Вы не подумайте, товарищ комбат,— сказал Силантьев,— это я из немецких пуль сбиваю». — «Зачем?» — «Охотники мы». До самой Прибалтики тащил он с собою свинец.

И тут я не то чтобы вспомнил, а скорее, представил, как рядом со мной Безуглый выкладывает из своего мешка обычное наше барахло — бритву с помазком, полотенце, письма, рубаху, и среди этой привычности молитвенник в кожаном переплете с тисненым крестом. Я схватил его, начал читать нараспев: «Господи, дай нам днесь...», гнусавя ради общего смеха, «днесь» — слова-то какие! Что мне тогда были эти слова, — глупость старорежимная. Подошел Рязанцев, перетянутый ремнями, и я торжественно вручил ему молитвенник, тоже, наверное, не без намека, да еще подмигнул ребятам.

Я-то себе лишь представлял, и то это было отвратительно, а они-то в точности помнили, как это было.

— Консервов не нашли, зато немного зерна нашли,— сказал комбат, выручая меня.

Может, не только молитвенник, может, комбат помнил за мной еще кое-что, из того, что я давно забыл и теперь понятия не имею, каким я был и как это выглядит сегодня.

Мы шли, высматривая нашу землянку, раскисшая земля чавкала под ногами.

— Любой из нас натворил немало разных глупостей,— сказал я комбату.— Что мы понимали?..

Он долго молчал, потом сказал неожиданно:

— Ишь, как у тебя просто. Ничего не понимали — значит, все прощается?

— Бывает, конечно, что в молодости понимают больше, чем потом...— Я старался быть как можно язвительней.— Вершина жизни, она располагается по-разному.

— Вершина жизни,— повторил он и усмехнулся странновато, не желая продолжать.

— Между прочим, вы читали мой очерк?

— Читал.

— Ну и как?

— Что как? — Он повел плечом.— Ты не виноват.— И вздохнул с жалостью.— Ты тут ни при чем.

Это было совсем непонятно и даже обидно. Я ждал

признательности, хотя бы благодарности. И что значит — я не виноват? Как это я ни при чем?

— Конечно, я ни при чем.— Я хмыкнул, сообразив, что мой комбат и не мог понравиться ему, слишком они разные, может, он и не узнал себя, тот куда ярче, интереснее. Ему неприятно, потому что ничего не осталось в нем от того комбата. Может, и меня он не узнает?.. Ни в ком из нас ничего не осталось от тех молодых, ни единой клеточки не осталось прежнего, все давно сменилось, мы не то чтоб встретились, мы знакомились заново, только фамилии остались прежние.

— Где-то тут наш солдатский базар шумел! — крикнул Володя.

Комбат огляделся, показал на место, защищенное насыпью.

— А ну давай налетай самосад на портянки,— блаженно запел Володя.— Байковые, угретые.

А портянки... а портянки, вспомнилось мне, на ножки самодельные, а ножки на портсигары, на зажигалки. А зажигалки в два кремешка с фитилем. А портсигары алюминиевые с вырезанными на крышке цветком или парусником.

А откуда алюминий? С самолета разбитого. С нашего? Нет, с немецкого, он упал на нейтралку, ночью мы потащили его к себе, а немцы, видать, тоже трос нацепили и тянут к себе, но тут началось — кто кого... И сейчас, переживая, как мы перетягивали сытых немцев, мы торжествовали, Володя расписывал ловкость, с какой мы до утра обмазали самолет глиной, для камуфляжа, чтобы не блестел, как потом все части пошли в ход...

Откуда у воспоминаний такая власть? Базар был курам на смех, почему же сейчас от этой нахлынувшей пустяковины перехватило горло?

IV

Окопы заплыли, обвалились — еле заметные впадины, канавки, где гуще росла трава, там стояли длинные лужи — все это было перед идущим впереди комбатом, а за ним уже возникали участок второй роты, снежные траншеи с бруствером, амбразурами, грязный снег, серый от золы и желтый от мочи, беленые щитки пулеметов, розовые плевки цинготников. Чьи-то фигуры мелькали — зыбкие, как видения. Звякали котелки. Над муш-

кой в прорези проплывал остов разбитого вокзала, пушкинские дворцы, египетские ворота... У каждого из нас сохранилось свое. Если бы наложить друг на друга наши картины, может, и получилось бы что-то более полное.

Володя выяснял у Рязанцева, откуда начальство узнало про консервы. Тогда это было нам очень важно — кто стукнул. Но и теперь это было интересно.

— Агентура! — сказал Рязанцев.

Сам не знал и не хотел признаться? Или щадил кого-то?

Знаменитые консервы, которые мы притащили из разведки, были сразу съедены, а легенда все плыла, расцвеченная голодухой. Комбат решил с ней покончить, устроив всеобщую проверку. У кого-то нашли зерно, отобрали и роздали перед наступлением.

— Старались как-то подкормить вас, гавриков, — сказал Рязанцев.

По мере того, как мы удалялись в ту зиму, к нему возвращалась уверенность.

— ...чем-то подбодрить вас хотели! — Жесты его становились размахистей, он подтянулся — наган на боку в гранитовой кобуре, планшетка, что-то он такое доказывал, что-то он говорил тогда насчет нашего наступления и еще чего-то...

— Значит, подготавливались? — Я еще сам не понимал, что именно мне нужно вспомнить, — к дате подготавливались?

Я старался говорить без интереса, но Рязанцев почувствовал, насторожился. Может, он и не знал, чего я ищу, скорее всего, он тревожился, ощутив мои усилия вспомнить что-то, касающееся его.

V

«Нас было трое, нас было трое...» — у Володи это звучало как песня, как баллада. Трое молодых, отчаянных разведчиков — Сеня, Володя и я. Неверный свет луны спутал все ориентиры, высмотренные днем. Мы перестали понимать, где наши, где немцы. Ракеты взмыли где-то позади, мы повернули и очутились перед немецким блиндажом. Договорились так: я отползаю чуть влево, перекрываю дорогу к блиндажу и наш отход, Володя — вправо, и, в случае чего, помогает Сене, который подбирается к блиндажу, швыряет туда противотанковую. Залегли.

Тихо. Темная глыба блиндажа, узкий свет проступает из щели. Вдруг дверь распахнулась, фигура Сени во весь рост обозначилась в освещенном проеме. Вот тут-то и произошло невероятное: Сеня не двигался. Он изумленно застыл в светлом прямоугольнике с поднятой гранатой — вроде плаката «Смерть немецким оккупантам!» И тишина, будто оборвалась кинолента. Затем медленно, бесшумно Сеня начал погружаться внутрь блиндажа. Исчез. Тихо.

— Представляете? — смакуя, сказал Володя. — Душа моя ушла в нижние, давно не мытые, конечности. Лежим. Автоматы наизготовку. Не знаем, что подумать. Что происходит в логове врага? Я знал, что Баскаков сцепился с комбатом — возражал, чтобы Сеню отправляли в разведку. У Сени действительно настроение было скверное, любой фортель мог выкинуть. Как он говорил — фронт лучшее место для самоубийства. Итак, мы лежим, светит пустой проем... — Володя передохнул, наслаждаясь нашим нетерпением, зная, что нетерпение это сладостное, оно-то и составляет нерв рассказа. И соответствует правде, ибо и там, в разведке, оно длилось бесконечно долго, измучило, вымотало душу.

— А этот железный хлопец, — Володя показал на меня, — подполз ко мне и шепчет: «Выстудит им Сеня помещение».

Было ли это? Неужели я был таким и все это происходило со мной — первый скрипучий снег, молодая наша игра со смертью, морозный ствол автомата? Володя приседал, выгибался, показывая, какие мы были ловкие, находчивые, как нам везло — мушкетеры! И мне хотелось, чтоб так было, я любовался с собою в рассказе Володи, в этой фантастической истории с немцем, который наконец показался, волоча какой-то узел, за ним Сеня; немец пошел, оглядываясь на нас, и тут Сеня шваркнул гранату в блиндаж, и поднялась стрельба, немец упал, ракеты, крики, немец вопит как сумасшедший, мы пятимся, скатываемся куда-то в низину, Сеня волочит узел, потом вытаскивает из узла бутылку. Отличный был ром. Захмелев, уже ничего не боясь, каким-то чудом пробрались мы через эту проклятую спираль бруно, ввалились к своим. Развязали скатерть, там было мороженое месиво из сардин, сосисок, ананасов. Мы с ребятами — кто там был, вспомнить невозможно — срубали все эти деликатесы со скоростью звука.

— А вы через неделю консервы искали! — победно сказал Володя. — Смеху подобно!

И он не без таланта изобразил, как все произошло, когда Сеня распахнул дверь: посреди блиндажа стоял накрытый стол. Готовились справлять рождество. Всякие сыры и мясо, салфетки. Окончательно же пронзил Сеню зеленый салат, руку у него свело, не мог же он бабахнуть в такую роскошь. Психологически не в состоянии ввиду голода. На его счастье, там всего один фриц вертелся, снаряжал этот стол.

— Сенечка и предложил ему на языке Шиллера и Гете сгрести харч и мотать с нами, — сказал Володя, — а потом свои же и подстрелили этого фрица или ранили.

Мне-то казалось, что все было бестолковей, и консервов было всего несколько банок, и фрица я вроде не видал. Но кому нужна была точность? Так было куда интересней — это была одна из тех легенд, которые бродили по фронту, сохранялись никем не записанные, отшлифовывались из года в год, припоминались в дни Победы, когда всплывают происшествия смешные, невероятные, и прошлое притирается, обретает ловкий овал...

— А ты тоже сомневался в Полесьеве? — спросил комбат, впервые проявляя собственный интерес.

Володя честно задумался, и мне стало ясно, что комбат попал в самую точку, в яблочко, потому что из всего приукрашенного тот момент, когда мы томились, сохранился подлинным, и в этом моменте мы не то чтобы усомнились в Семене, нет, мы убеждали себя, что не сомневаемся в нем, вот это-то и почувствовал комбат.

Непонятно только, почему он сказал «тоже».

Он вытащил какую-то бумагу, похожую на карту, надел очки, сверился, и Володя потащил меня к яме, полной воды, заросшей, как и другие ямы, неотличимой до того, пока комбат не указал на нее, ибо тут она превратилась в совершенно особую. Те же гнилые бревна вытаркивались из осыпи, Володя мягко ступал на них, показывая, где были наши нары, мое место, его место, присел, балансируя на скользком гнилье, вытянул из грязи конец черного шнура. Вернее, плесенно-зеленого, это мы увидели его черным, как он висел поперек землянки и горел в обе стороны, медленно, копотно выгорела изоляция — такое у нас тогда было освещение. На

стене в золотой рамке висела настоящая картина, писанная масляными красками: дама в соломенной шляпе гуляет по набережной. Там светило южное солнце, море было зеленым, небо ярко-голубым, мы лежали на истлевшем бархате, найденном в разбитой церкви, и Володя пел Вертинского...

Вечером, после тошнотного хвойного отвара, когда от голода дурманно колыхались нары, не было ничего трогательнее этих песенок. Я тогда понятия не имел о Вертинском, он считался запретным. И почему так действовали на нас бананово-лимонный Сингапур, сероглазые короли, желтые ангелы...

Мадам, уже падают листья
И осень в смертельном бреду.

Голос у Володи остался такой же, низкий, с щемящей хрипотцой:

Уже виноградные кисти
Темнеют в забытом саду.

Сеня Полесьев лежал в своем углу холодный и твердый, это был уже не Сеня, а предмет, как доски нар, как банка с ружейным маслом. Мы еле дотащили его, раненого в живот. Он умер к вечеру, и через час мы получили за Сеню порцию хлеба, суп и поделили его — сто пятьдесят граммов. Пришла Лида, мы налили ей в кружку и оставили немного супу — закусить. Она легла между нами погреться — как мужчины мы были безопасны.

В дверь заглянул комбат:

— Что за веселье? Что за песни?

— День рождения справляем, — сказала Лида.

— Чей это день рождения?

— Вы разве не в курсе? — сказала Лида. — Может, хотите присоединиться? У нас славная компания.

Никто кроме Лиды не позволял себе так говорить с комбатом.

Пригнувшись в низком проеме, он смотрел на Сеню, прикрытого газеткой. Мы знали, что он любил Сеню и защищал его перед Баскаковым... «Одиннадцатый», — сказал он голосом, обещающим долгий смертный счет, ничего не отразилось на его лице, и я позавидовал его выдержке.

Он ушел, а мы лежали и пели. И если уж откровенно — мы выпили за упокой Сени и потом чокнулись за

здоровье вождя. Мы хотели, чтобы он жил много-много лет. Потом Володя отправился в наряд, а мы с Лидой заснули, прижавшись друг к другу. Проснулся я оттого, что почувствовал ее слезы.

— Не убивайся,— сказал я.— Война.

— Дурачок, я ж не о нем,— и вдруг она стала целовать меня. Спросонок я не сразу понял, гимнастерка ее была расстегнута так, что открылись голубенькие кружева ее сорочки, и я впервые заметил, какие у нее груди, несмотря на голодуху, какие у нее были крепкие груди. Но она ведь знала, что я ничего не мог, никто из нас тогда не мог. И все равно мне было стыдно за свою немощь. Я оттолкнул ее, потом выругал, ударил, скинул ее с нар, вытолкал из землянки. «Сука, сука окопная!» — кричал я ей вслед. Сейчас мне казалось, что потом я тоже заплакал, да, было бы хорошо, если б это было так, но я точно знаю, что я не плакал, я завалился спать, я считал, что я чем-то подражаю комбату, такой же непреклонный и волевой.

Какая подлая штука — прошлое. Ничего, ничего нельзя в ней исправить...

Я жду вас как сна голубого,
Я гибну в любовном бреду...

Вместо Лиды сейчас подпевал Рязанцев фальшиво и упоенно, и взгляд его предлагал мне мир и забвение.

Володя взял у комбата его бумагу и протянул мне.

На ватмане, заботливо прикрытом наклеенной калькой, вычерчены были позиции батальона с черными кружками дотов, пулеметными точками, с пунктиром ложных окопов. Рядом то льнула, то отступала синяя линия противника, с острием «аппендицита», занозой, всаженной в нашу оборону. Наискосок самодельную карту перечеркивала нынешняя ветка электрички, обозначен был и этот новенький домик под красной крышей, на котором растопырилась антенна. На антенне сидела сорока.

— Так восстановить обстановку! Я бы никогда не смог! — Володя изнывал от восторга.— А ты говоришь!

— Сохранились, наверное, старые карты,— сказал я.— Иначе как же...

Комбат засмеялся, махнул рукой:

— Где там, весь отпуск ухлопал.

Сколько раз пришлось ему приезжать сюда, бродить,



выискивая заросшие следы на этих мокрых одичалых полях, вымерять шагами нашу тогдашнюю жизнь, извлекать день за днем, вспоминать каждого из нас.

— Да, работенка. Зачем-то, значит, понадобилось,— сказал я наугад.

— Тебе же и понадобилось,— сказал Володя.— Едь это же здорово! Земляночку нашу определили!

— Наверное, были и другие причины.

— Совершенно верно,— сказал комбат.— Надо было кое-что выяснить.

Что-то опасное слышалось мне в его голосе, но никто ничего не заметил, Рязанцев подмигнул догадливо.

— Мемуары? Сознайся, а? Давно пора. Мы тебе поможем.

Комбат грубовато усмехнулся.

— Ты мне лучше помоги обоим достать приличные. У тебя на комбинате связи сохранились.

— Не мемуары, песни о нас слагать надо,— Володя обвел рукой поле.— Какой участочек обороняли! Сколько всего? — он заглянул в карту.— Три плюс полтора... Четыре с половиной километра! Мамочки! Один батальон держал. И какой батальон! Разве у нас был батальон? Слезы. Сколько у нас было?

— На седьмое февраля,— сообщил комбат,— осталось сто сорок семь человек.

— Слыхали? Полтораста доходяг, дистрофиков,— все больше волнуясь, закричал Володя.— В чем душа держалась. И выстояли. Всю зиму выстояли! Невозможно! Я сам не верю! Один боец на тридцать метров. Сейчас заставь вас от снега тридцать метров траншей очистить — язык высунете. А тут изо дня в день... И это мы... Какие мы были...— Красным вспыхнули скулы его твердого лица, он попробовал улыбнуться.— Никому не объяснишь. И еще стрелять. Наступать! Дрова носили за два километра. Как мы выдержали все это... Ведь никто и не поверит теперь. Неужели это мы...— Губы его вдруг задрожали, расплылись, он пытался справиться с тем, что накатило, и не мог, отвернулся.

Рязанцев судорожно вздохнул, слезы стояли в его глазах:

— Потому что вера была.

— Одной веры мало. Комбат у нас был! С таким комбатом...

— Давай, давай,— сказал комбат.

— И дам! Ваша ирония тут ни к чему,— запальчиво отразил Володя.— Зачем мне подхалимничать? Думаете, я забыл, кто пайкой собственной разведчиков награждал? А каждую ночь все взводы обходил? Кто меня мордой в снег? Я уже вовсе доходягой был. А он меня умыл, по щекам надавал, петь заставил. Может, я вам жизнью обязан.

— Не один ты,— ревниво сказал Рязанцев.

— Кто ж еще? Ты, что ли? Или ты? — комбат ткнул на меня пальцем, непонятно злясь и нервничая. Измятое лицо его дергалось, руки обессиленно отмахивались, только глаза оставались неподвижными — жесткие, сощуренные, как тогда в прицеле над винтовкой, отобранной у меня хреновой моей винтовкой с треснутой ложей. Он выстрелил, и сразу немцы подняли ответную пальбу, взвыли минами. Комбат не спеша передвинулся и опять пострелял. Это было в октябре, впервые он пришел к нам в окоп — фуражечка набекрень, сапожки начищены, — пижон, бобик, начальничек; взводный шел за ним и бубнил про приказ. Был такой приказ — без нужды не стрелять, чтобы не вызывать ответного огня. Ах, раз не стрелять — так не стрелять, нам еще спокойней. Мы, пригибаясь, шли за ними, матеря весь этот шухер, который он поднял. Комбат только посмеивался. «Без нужды, — повторял он, — так у вас же каждый день нужда, и малая и большая. Что же это за война такая — не стрелять?» И все стрелял и дразнил немцев, пока и у нас не появилось злое озорство, то, чего так не хватало в нашей блокадной, угрюмой войне. Нет, он был отличный комбат.

— Да и я тоже вам обязан, — вырвалось у меня. — И может быть, больше других...

Не обращая внимания на его смешок, я что-то выкрикивал, захваченный общим волнением: сейчас прошлое было мне важнее настоящего. Здесь мы стали солдатами, которые дошли до Германии, а эта тщательно вычерченная карта, настойчивость, с какой он тащил нас сюда, может, всего лишь наивный замысел — услышать похвалы своих однополчан, — а теперь он нервничает и стыдится, что затеял все это...

Дождь измелечал, сыпал неслышной пылью. Позади остались залитые водой окопы Сазотова — наш передний край, наша лобовая броня. Мы шли на «аппендицит».

Комбат шагал один впереди, за ним его солдаты, три солдата, и все равно это был батальон. Снова, в который раз, наш батальон вступал на ничейную.

Из травы выпорхнула птица. Рязанцев вздрогнул, нагнулся, поднял серую кость — обломок челюсти. Мы ковырнули землю — обнажился ржавый пулеметный диск и рядом осколки, а глубже позеленелые гильзы, обломок каски, кости, осколки, всюду осколки, земля была полна осколков, ржа работала не так-то уж быстро.

— Великое дело восстановить правду войны,— рассуждал Рязанцев.— Возьмем историю нашего батальона...

Правда войны... восстановить правду — кто бы мог подумать, что это станет проблемой.

Летом наш отдельный батальон, то, что от него осталось, отвели на переформирование, мы не знали, кто, как взял этот «аппендицит»,— так он и остался для нас неприступным.

Зеленый взлоб его медленно приближался.

— И никто не стреляет,— удивился Володя.

Напряженность была в моей улыбке. Нас всегда подпускали поближе и начинали строчить. Наша артиллерия, бедная снарядами, не могла подавить их. Чернели воронки, десять, двадцать, все-таки кое-что, но стоило нам приблизиться — и «аппендицит» взрывался тем же смертно-плотным огнем.

Казалось, до сих пор весь объем этого сырого пространства исчерчен следами пуль. Со временем город продвинется, поглотит это поле, тут построят дома, залиют асфальтом землю, натянут провода. Никто уже не сможет различить за шумом улиц звуков войны, запахов тола, махорки, никому и в голову не придет, только для нас это пространство будет разделено линией фронта. Сеня Полесьев рухнул тут на колени, взвыл, держась за живот. Там упал Безуглый, и где-то тут, между ними, через две недели свалился и я... Все атаки слились в одну, мы шли, бежали и снова ползли в сером позднем рассвете. Память очнула старую боль раненой тогда ноги, дважды меня било в одну ногу, но обычно помнилось второе ранение на прусском шоссе, а сейчас я вспомнил, как полз здесь назад по снегу и ругался.

Травяной склон «аппендицита» был пуст, безмолвен. Комбат шел к нему спокойно, в полный рост. «Ему-то что,— сказал как-то Силантьев,— он заговоренный, а нашего брата сечет без разбора». Никто не ставил в заслугу комбату, когда он шел впереди по этому полю.

Я оглянулся. Позади, держась за сердце, брел Рязанцев. Желтая рубашка мокро облепила его тряские груди, живот, волосы слиплись, обнажив лысину.

Все-таки я вспомнил! «Наш подарок»,— писал Рязанцев в боевых листках. Красным карандашом. Взять «аппендицит» к двадцать первому декабря. Его предложение. Его инициатива.

Рязанцев посмотрел на меня. Почувствовал, замедлил шаг, а я остановился, поджидая его. Деваться ему было некуда. Он заискивающе улыбнулся.

VI

...Не дождь шел, а снег, зеленый снег в пугливом свете ракет. И я вдруг увидел, что меня не ранило, а убило, снег засыпал меня, рядом лежал Безуглый, еще неделю мы лежали на этом поле, потому что у ребят не было сил тащить нас, потом нас все же перетащили. Баскаков вынул у меня партбилет, письма, Лидину карточку (черт меня дернул держать эту карточку в кармане!). Он вынул ее при всех и отдал Лиде, и меня закопали вместе с другими. Так я и не знаю — взяли этот «аппендицит» и что с Ленинградом; для меня навечно продолжается блокада, треск автоматов, ненависть к немцам и наш кумир, величайший, навечно любимый мною, наша слава боевая, нашей юности полет... Но не надо над этим усмехаться — мы умерли с этой верой, мы покинули мир, когда в нем была ясность — там фашисты, здесь мы, во врага можно было стрелять, у меня был автомат, две лимонки, я мог убивать врагов. А умирать было не страшно, смерти было много кругом. Теперь вот умирать будет хуже... А через двадцать с лишним лет пришел на это поле комбат и впервые вспомнил тот бой.

Слишком местного значения был тот бой, даже в батальоне вскоре забыли о нем, наступил еще больший голод и были другие атаки и огорчения. Если бы не комбат... Только комбаты и матери помнят убитых солдат. Мы ожили его памятью и снова шли на «аппендицит».

Рязанцев приближался, хрипло дыша.

— Сердечко... поджимает,— он смотрел на меня, прося пощады.— Инвалид. Совсем разваливаюсь... Последствие...

Оказывается, его тоже контузило здесь, тогда вроде бы легко, а через несколько лет сказалось, и чем дальше, тем хуже. Со службой не ладилось, кто-то его подсиживал, его направили в кадры на обойную фабрику, оттуда в пароходство, а сейчас он ушел на пенсию, доживая остатки своего здоровья. Частые болезни надоели жене, еще молодой и крепкой, у нее завелась своя жизнь, и

дети как чужие, тоже не нуждаются в его опыте. Но он держится,— главное, не отрываться, он дежурит на агитпункте, беседует с нарушителями по линии штаба дружины.

От него несло тоской неудач, суеты малонужных занятий, и непонятно было, как же мы шли с ним по этому полю, и он стрелял, и всю эту зиму проявлял себя и другим помогал, находил силы агитировать... Его тоже могли убить вместе со мной, и тогда он остался бы храбрецом... Откуда же набралось в нем столько страха?

Но какое я право имею, чего это я сужу всех, как будто я так уж правильно прожил эти случайно доставшиеся годы...

Я обнял мягкие обвислые плечи Рязанцева, пытаюсь сказать что-то хорошее, от чего бы он распрямился и перестал робко заглядывать в глаза. Что бы потом ни случилось, он оставался одним из наших — с переднего края, из тех, кто жил среди пуль. Люди делились для меня когда-то: солдат — не солдат. Долго еще после войны мы признавали только своих — фронтовиков. Мы отличали их по нашивкам ранений, по орденам Славы, по фронтовым шинелям. Фронтовую шинель всегда можно было отличить от штабной.

А снег все валил, засыпая ходы сообщения, прежде всего надо было расчистить сектор обстрела, перед пулеметами. Лопатки были малые саперные, а откидывать на бруствер запрещалось, потому что не видно будет немцев. Рязанцев тоже ходил, проверял, требовал замок пулеметный держать в тепле... хоть на груди... Зимняя смазка густела... Замок липкий от мороза... Патроны с желтыми головками, с красными... Я помогал Володе тащить веретенное масло для противооткатных... Он сшил мне из старой шинели наушники... Паленая шинель. Наушники пахли горелым.

Я прижался щекой к мокрой щеке Рязанцева. Володя оглянулся на нас. Никого не было сейчас для меня ближе этих людей. Какие бы они ни были. С тех пор накопились новые друзья, мы собирались, ходили в гости, делились своими бедами, но никого из них я не мог привести в эту зиму. Одна зима, да еще весна — не так уж много, но ведь важно не сколько вместе прожил, а сколько пережито. А с этими... Я знал, что могу завалиться спать и Рязанцев не съест мою пайку хлеба. Это не так уж мало, как кой-кому может сейчас показаться. И они

знали, что я не отстану и не залягу. Никто из моих друзей, там, в городе, не знал меня такого, только эти трое.

Я взял Рязанцева под руку, чтоб ему легче было. Нога моя еще ныла. Володя присоединился к нам. Комбат шел впереди. Травяной подъем «аппендицита» был скользким. На склонах или выше затаились железобетонные доты, непробиваемые, неодолимые, непонятно было, когда немцы успели их соорудить.

Бесшумно пронеслась электричка. Несколько секунд — и она была уже по ту сторону фронта.

Володя хвалился, как раздобыл недавно стенд для лаборатории с помощью гитары. Комбат поднимался по склону, торжественно, как по ступеням. Нам никогда не удавалось дойти до этих мест. Оказалось всего-то метров триста.

Забравшись наверх, мы оглянулись. Отсюда прекрасно видна была наша позиция, темная скученность кустарника отмечала кривую линию окопов. Дальше тянулись поля, сейчас там высились белые дома, а тогда не было ничего — снежная равнина и постоянное наше ощущение пустоты за спиной, никого, кроме нас, до самых Шушар, может, до самого Ленинграда. Мы были последний рубеж, мы не могли ослабеть, убояться, отступить нам было некуда.

Отсюда немцам обнажалась вся наша голодная малолюдная слабость, наша бедная окопная жизнь. Они трусливо ждали, пока мы передохнем, по их подсчетам, мы давно должны были сдаться, околеть, сойти с ума, впасть в людоедство.

— А где же доты? — спросил я.

— Доты! — комбат неспешно вытер лицо платочком, отряхнулся. — Не было дотов. В том-то и фокус-покус! — И хохотнул напряженно.

Он подвел нас к яме. Очертания ее еще сохранили четырехугольность колодца. Комбат стукнул ногой по стене — стены были выложены шпалами. В шпалы лесенкой забиты скобы. Колодец уходил вглубь метра на два с половиной, на три и загибался. Комбат заставил нас спуститься вниз, в заросшую сырую тьму. Всего комбат обнаружил семь таких колодцев. В каждом помещалось по два автоматчика. Он представлял их действия во время атаки: когда начинался обстрел, автоматчики укрывались в отсеки, пережидали, потом поднимались по скобам и встречали нас огнем. Практически они были неуязвимы.

Прямое попадание снаряда в такой колодец исключалось. Между колодцами существовала система взаимодействия огнем. Мы примерились. Я стал в колодце, автомат дрожал в моих руках, я строчил по своим, я расстреливал себя, того, который бежал, проваливаясь в снег, полз сюда, я стоял с полным комфортом, попыхивая сигареткой...

VII

— Вот и вся хитрость,— сказал комбат.— Всего-на-всего...

Рязанцев сплюнул в колодец.

— Не верю я. Как же так. Ведь были же доты. Железобетонные. Может, их снесли?

— Ты что, видел их? Видел? Не было никаких дотов. В том-то и штука,— злорадно сказал комбат.— Чего ты упрямишься?

Мы молчали, избегая смотреть друг на друга. Напрасны, значит, были все наши артподготовки, сэкономили бронебойные, копили, берегли для штурма. Уверены были, что тут железобетонные колпаки. Кто мог предполагать — всего четырнадцать автоматчиков в колодцах.

— Чего другого мы могли? — сказал я.— Какая разница?

Комбат кошачьи прижмурился.

— Извиняюсь. Могли. Надо было минометами их доставать.

Это было так очевидно, что Володя выругался. Мы мучились от досады и стыда.

Володя покачал головой:

— Ай да комбат! Все же раскусил голубчиков, докопался. Ну и археолог.— Он перебирал в своих восторгах, но мы поддерживали его, стараясь найти какое-то утешение. И мне даже пришло в голову, что не так-то уж заплошал наш комбат. Понятно, что тянуло его сюда,— хотел разобраться в неудачах наших, доискаться. Может, просто так, для самого себя. Профессиональный интерес мастера. Приятно, что, значит, осталось в нем кое-что.

Мы пошли дальше в глубь «аппендицита», и я говорил комбату насчет своего очерка. Теперь ясно, что комбат имел в виду. Кто знал, что не было никаких дотов? Но все же мы наступали, это главное, и люди действовали геройски.

— Не торопись,— устало сказал он.

Мысок «аппендицита» кончился. Комбат подвел нас к краю довольно крутого обрыва, где в спуске были выкопаны пещеры. В них, по его словам, размещался немецкий штаб со всеми службами. Судя по всему, жили немцы здесь безопасно и роскошно. Машины могли подъезжать сюда, доставляя из Пушкина горячие обеды, сосиски с гарниром, теплое пиво. Комбат выискал следы мостков — это весной, в грязище, топали они здесь по сухим деревянным мосточкам.

— Паразиты! И сюда минометы бы достали.— Володя стукнул себя кулаком по лбу.— Как это мы не доперли?!

— Ты-то тут при чем? — холодно сказал комбат. Володя обиженно заморгал.

— Ну, а вы? — сказал я.— Вы-то куда смотрели?

-- Не было у нас минометов,— поспешно сказал Рязанцев.— Не было.

Комбат терпеливо вздохнул.

— Минометы можно было раздобыть. Минометы не проблема.

— Так что же?

— Думаешь, нет причины? Причина, она всегда есть. Карта меня подвела. На наших картах обрыв не был обозначен.

— Так я и знал! Топографы, растудыть их,— Рязанцев помахал кулаком, но в голосе его было облегчение.— Дошло?

— Вот оно что,— сказал я.

Дождь кончился. Наверху разгуливалось, светлело. Ни с того ни с сего, где-то срываясь, отчаянно пропел петушок. Мы рассмеялись. Комбат снял накидку, стряхнул. Костюм на нем был сухой и галстучек небесно сиял.

— Прошлый год меня в ГДР командировали,— сказал Володя.— Толковые они приборы делают. И вообще — современные ребята, приятно, когда вместо хенде хох — данке шён.

Комбат прошелся мимо нас, в одну сторону, в другую. Мы следили за ним глазами.

— У меня сын тоже современный,— Рязанцев вздохнул.— Голоданием советует мне лечиться. У тебя, говорит, опыт богатый.

Комбат остановился, приглядываясь к нам как бы издалека, неведь откуда, и вдруг сказал воинственно:

— Карта, между прочим, тоже не оправдывает. Соображать надо было. Где еще, спрашивается, штаб мог разместиться? Достаточно понаблюдать за путями подъезда из Пушкина. Элементарная вещь. Тем более что времени у нас хватало. Слава богу.

Нельзя было понять, куда он клонит. Какого черта он наскакивает, не понимает он, что ли...

— Кто же должен был соображать? — не утерпел Володя.

— Я! — отрубил комбат, как на поверке, а потом добавил: — Кто же еще?

— Какого же черта...

Но Рязанцев перебил меня:

— Чего ты городишь, да разве мы днем могли наблюдать? Высунуться не давали, — и он переглянулся с Володи́дей, что-то сигнали́я ему. Володя тотчас поднял руку.

— Свидетельствую. Правду, и только правду. Вы же во взводы лишь ночью могли добраться. С фонариком. Проверочка — все ли в пижамах. Помните песенку: «К нам приходят только ночью, а не днем на огонек»?

Комбат слушал его и не слушал, все поглядывал вправо от нас, в сторону пологого склона, начинающегося за крайним колодцем. Что-то ему не давало покоя. Он сверился со своей схемкой и уставился на пустой склон. Взгляд его застывал сосредоточенно-отсутствующим, словно комбат прислушивался к себе.

— ...Славная была песенка. Ловко ты ее сочинил.

— Я? Неужели я умел сочинять песни?

— Эх ты, растерял свои способности, — продолжал Володя. — Из тебя мог выйти Лебедев-Кумач или Окуджава.

Лицо комбата скривилось.

— Так и есть... — Он, как лунатик, сделал несколько шагов вслед неизвестной нам мысли, показывая на мелкие буераки, что рукавами стекали со склона, сливаясь в длинный, расширяющийся книзу овраг. Русло его в глинистых осыпях наискосок тянулось, сходя на нет, к нашим позициям, почти у правого фланга.

— Перебежками... Скапливаться... Проверим... в полный рост... — Он бормотал, ничего толком не объясняя, и вдруг попросил Володю и меня спуститься, пройти к нашим окопам и затем вернуться сюда, следуя по дну овра-

га. Рязанцев, тот посидит на обрыве, служа нам ориентиром.

— А в чем идея? — спросил я. — Что это еще за игра в казаки-разбойники?

— Надо проверить, — нетерпеливо повторил комбат. Он насильно улыбнулся. — Пробежитесь малость, согреетесь.

— Не пора ли нам, ребята, — Володя сладко потянулся. — Все было прекрасно. Насчет согрева есть другое предложение.

Я уселся на камешек, вытянул ноги.

— Проголосуем?

Рязанцев незаметно кивнул мне. Никто из нас не хотел участвовать в этой подозрительной затее.

Комбат растерялся. Он не мог гаркнуть, приказать нам. Он не думал, что мы взбунтуемся. Искательно улыбаясь, он совал мне плащ. — Там в кустах мокро... Берите, берите. Чего вы, в самом деле. Вам же самим интересно. Ведь все равно... Пожалуйста. Имею я право...

Мне стало жалко его, так не шел ему этот просящий тон, но я не двинулся с места.

— Ах, эти штатские, гражданка-гражданочка, — напевал Володя. — Не поставить по стойке, не отправить в штрафную. Я сам в первые годы мучился. — Он посмотрел на комбата и вдруг сменил тон: — Послушай, может, не стоит?

Рука комбата больно стиснула мне плечо, бледнея лицом, он затряс меня.

— Вам-то что за дело!

Я поднялся, сунув руки в карманы, покачался на носках: «Не забываетесь ли вы, бывший наш начальник, раньше выяснять надо было, раньше, опоздали...» Но вместо всех фраз, которые вертелись у меня на языке, я театрально поклонился. Ладно, мы пойдем. Мы проверим. Только не пеняйте на нас, вы сами этого хотели.

VIII

Кусты приходилось сначала отряхивать, потом раздвигать. В овраге, впрочем, это был не овраг, а скорее лощинка, чисто пахло мокрой зеленью, воздух лежал теплый, грибной, цвели высокие розовые иван-чаи и желтенькие мать-и-мачехи; уголок этот, слабо тронутый войной, и чувствовался, и виделся иначе. Я подумал, что дав-

но не был в деревне, так чтобы были поля, коричневая вода в речке, большое небо.

— Чего он добивается? — расстроенно спросил Володя. — Чудик, Галилей Галилеич.

— Мы его предупреждали. И вообще — наше дело солдатское. Распрекрасное дело быть солдатом.

— Пардон, — сказал Володя. — Я больше люблю генералом.

Нет, я имел в виду другое — распрекраснейшее наше солдатское состояние — бесквартирное, безмебельное, свободное от покупок, моды, барахла, семейных смет и ночных объяснений. И наше солдатское дело — выполняй приказ, и никаких сомнений, психологических глубин, держись поближе к кухне, подальше от начальства, старшина обеспечит. Все мое со мной, все умещалось в вещмешке. Танки наши шли по Восточной Пруссии, через опустелые фермы, городишки. Мы ночевали в роскошных особняках, полных диковинного для нас шмотья, но нам ничего не надо было, мы шли вперед, оставляя за собой свободу, Германию, где никогда не будет фашизма, — и каждый из нас чувствовал себя всесильным судьей, творящим высший и праведный суд.

— Тебе снится война? — спросил Володя.

— Давно не снилась.

— И мне давно.

— Тебе должны сниться научные сны, — сказал я. — Штатные расписания, фонды, приборы. Зачем тебе военные сны?

— Нужно, — сказал он. — Иногда нужно.

Далеко наверху темнела сгорбленная фигура Рязанцева: комбата мы не видели.

— В колодце сидит, — сказал Володя. — Проверяет.

— Чего проверяет?

— Что было бы, если бы кабы... Пойдем на всякий случай повыше.

— Нехорошо. Ему ж надо знать...

— И что мы будем с этого иметь? Нет, отец, расстройств мне хватает в рабочее время, а тут в кои веки встретились...

Он взял меня за руку, потащил, забирая все выше по скосу, пока над уступом не показались голова и плечи комбата. Он что-то закричал нам, но мы продолжали идти, не теряя его из виду. Черный силуэт его вырастал над землей, поднимался сперва по грудь, потом по пояс,

он вставал из земли, словно один из тех, кто полег здесь.

— Неужели мы с тобой когда-то тут ползли и все это было? — спросил я. — Если бы прокрутить на экране, представляешь, мы сидим в зале и смотрим.

— Кошмар. Просто чудо, что мы с тобой живы, старик. Для меня нынешняя жизнь — как бесплатное приложение.

С условленного места, где овраг разветвлялся сухими вымоинами, мы круто свернули на Рязанцева.

Володя закричал:

— Даешь «аппендицит»? Вперед! Нарушителей к ответу!

Мы хватались за кусты, карабкались наперегонки.

Мы выскочили прямо на Рязанцева.

— Сдавайся!

При нашем появлении они замолчали. Рязанцев пустыми глазами посмотрел на нас и отвернулся. Комбат вылез из колодца перепачканный в глине, растрепанный, галстучек его сбился, пуговица на пиджаке болталась. Он вытер руки о траву, спросил:

— Смуклевали?

— Да как можно, вы ж нашего брата насквозь, — затараторил Володя.

На мгновение комбат поверил, посветлел, видно было, как хотелось ему обмануться, но тут же вздохнул, расставаясь с несбыточным, нахмурился, снял зачем-то шляпу, повертел ее, рассматривая.

— Вот какая история... Так я и думал... Ах ты боже мой, что же выходит? Вы понимаете, как повернулось все... нет, не понимаете вы...

Он недоверчиво, как-то удивленно осматривал каждого из нас, словно не желая верить, что ничего исправить нельзя.

— Значит, что же? — тупо повторил он и задумался.

Мы почему-то успокоились, Володя вынул расческу, причесался, но вдруг комбат с какой-то отчаянностью и упорством, как бы наперекор себе, погрозил кулаком:

— Нет, раз уж так, я покажу! Я вам все покажу!

Зеленый рельеф, несмело высвеченный солнцем, лежал перед нами, как наглядное пособие в классе военного училища. Скомкав шляпу, комбат яростно тыкал ею в пространство, объяснял торопясь, словно боясь за свою решимость. Теперь, когда он убедился, что даже из край-

него колодца овражек не простреливается, ясно, что наступать надо было так, как мы шли с Володи́й, прижимаясь к другому склону, в мертвом пространстве, не доступном автоматчикам, и, круто свернув, выскочить сюда. Вот в чем слабость немецкой позиции. Тут у них и была слабина. И он знал, знал об этом.

— Откуда ты знал? — спросил Володя.

— Полесьев мне говорил. Ведь вы же по этому оврагу и отходили в ту ночь. Вспоминаете?

Володя изобразил удивление.

— Совсем в другом месте мы отходили. Никакого оврага там не было. Верно?

Он посмотрел на меня, я закивал головой и сказал:

— Может быть, немцы все же как-то подстраховались, перекрыли овраг.

— Не было у них тут ничего. Да и где тут что поставить? Разве что проволокой загородились. А я не поверил Полесьеву.

Рязанцев не вытерпел, нарушил свое оскорбленное молчание:

— Немцы могли заминировать овраг.

— Когда? — спросил комбат. — Они вообще наши участки не минировали.

Мы и так и эдак разглядывали чертов этот овраг, и путь через него становился все более очевидным. Мы ничего не могли с собой поделаться, ужасно было подумать, как же мы не догадались использовать местность и перлись в лоб под прицельный огонь автоматчиков.

— Сейчас, в летний период, другой обзор, — не сдавался Рязанцев, — зимой овраг был скрыт снежным покровом.

— А от нас вообще ничего не разобрать, — убежденно сказал Володя. — Увидеть мы могли лишь сверху. С позиции господ бога. На том свете они, конечно, все видели.

— Снежный покров... — повторил комбат с надеждой, потом задумался. — Вряд ли. В декабре снегу было немного. Посдувало ветром. Это к Новому году навалило.

Он подождал наших вопросов, но мы молчали. Мы стали осторожными, своими вопросами мы только глубже залезали в эту трясину.

— Если не поверил я Полесьеву, тогда надо было разведку послать, — сказал он, — Так нет же! Торопился. Дата подпирала.

— Вы тут ни при чем, в такое вас положение поставили...— И я бросил взгляд на Рязанцева.

— Намекаешь,— сказал тот, тяжело краснея.— Мое дело было предложить.

— Зачем? Никто с тебя не требовал. Сам усердствовал.

— А ты другую сторону учел? Моральный подъем какой получился. У тебя был моральный подъем? Был? Если по-честному?

— То-то и оно, что был. Вот в чем сложность. И мне следовало помалкивать, потому что я ничем не лучше его и не имею никакого права...

— Бросьте вы,— сказал Володя.— Главное, что каждый действовал вполне честно.

— Нет, погоди, я по команде обратился,— добивался своего Рязанцев,— Елизаров был против, а потом он позвонил, что комбат — «за».

— Его заставили,— неуверенно сказал я.

— Никто меня не заставлял,— сказал комбат.— Я сам...— Он взмахнул стиснутой в кулаке шляпой, остановить его уже было невозможно.— Первый раз пошли — ладно, легкомыслие, ладно, торопился, а второй, а третий? При чем тут дата? Восемнадцать убитых, тридцать раненых.

Мы не желали этого слушать, мы еще сохраняли ему верность, но перед нами лежали буераки, по которым можно было бежать, карабкаться, не вжимаясь в землю, не обмирая перед свинцовым присвистом, не птясь распластанно.

Облачность совсем истоньшала, порвалась, открывая высокое синее небо. Солнечные просветы ползли по траве, никак не отзываясь в нас. Я шел по этому оврагу вместе с Безуглым, с Сеней и Володей, пальцы обнимали тяжелую лимонку, пули свистели где-то наверху, мы выскакивали прямо сюда...

— А может, и не было раньше этого оврага... То есть не то что вовсе...— поправился Володя.— Размыло его за эти годы. Вот у Виктора шевелюру выветрило. У меня зубы... Да и у тебя, комбат...— Его нелегкое веселье приглашало покончить на этом, забыть, уехать в город, выпить, спеть.

И я тоже старался помочь ему, что было — то было, уж кто-кто, а мы-то честно воевали, мало ли что может выясниться, важно, что тогда комбат делал все, что мог,

не щадил себя, и сколько других героических дел мы совершили.

Комбат рассеянно кивал, и все смотрели на овраг.

— По кустам видно,— сказал он.— Овраг-то старый.— Он помотал головой, сморщился, как от сильной боли.— Как я мог... Как я мог... Что ж теперь делать? — спросил он вполне серьезно, как будто можно было что-то исправить.

Он недоуменно потер лоб, оглядел нас.

— Вот вам и комбат.

Морщины все сильнее ветвились на его темном, ореховом лице. Он стоял перед нами, стареющий, седеющий человек, и невозможно было понять, с какой стати он должен отвечать за того — лихого, с фуражечкой набекрень. Где-то там был и я, в кожаных штанах, стянутых с убитого старшины, нахальный... Выходит, и я должен отвечать за поступки того парня? С какой стати? Он жил в другое время и по другим законам, я не имею права его судить.

— Послушай, чего ты добиваешься? — в ярости произнес Володя.

— Может, я рассчитывал: поскольку доты, овраг перекроют? Так ведь не было дотов,— бормотал комбат.

— Ох ты господи! Объясните вы мне, что надо этому человеку!

Глаза комбата сузились в опасном прищуре.

— Не нравится? Вы уж простите, если испортил вам приятные воспоминания. Но давно меня это мучило. Да, да, профукал. Такую возможность упустил! Представьте, если б мы их вышибли отсюда...— Он зажмурился, мечтательно покачал головой из стороны в сторону.— Как я мог! Думаете, почему сюда тянуло? Я, когда эти колодцы нашел, ахнул... Смеюсь и чуть не плачу от обиды. А теперь еще и это. Одно к одному.— Он зябко поежился.— Чего ж молчите? Ошибки надо анализировать. Не стесняться...— Взгляд его вдруг смягчился, что-то в нем появилось прежнее: сочувствие, забота о нас? — Вы что же — выгораживаете меня! Вот тебе и на! А зачем? Вы поймите: не было никаких броневых плит, и колпаков не было. Не утешайте меня и себя. Я понимаю: боевые заслуги, атаки, активная оборона. А тут нате, преподнес — дотов нет, операции разведкой не подготовлены... Неграмотность. Сейчас любому комбату дайте эту задачу... Да, не сумели разгадать. Это мы потом научились.

В Прибалтике целый полк провел у них под носом, сквозь щелку. И ахнуть не успели. А тут... Перехитрили нас. Да какие могут быть оправдания? Вы что хотите — чтобы я вроде Баскакова?

— А что Баскаков? При чем Баскаков? — уцепились мы.

— Ему хоть бы хны. Встретил его в Крыму. Кругленький, в белой панамке. Вспоминает всех с гордостью. Прослезился: как, говорит, все было прекрасно... — Он озадаченно повертел шеей, словно высвобождаясь из тесного воротничка. — Что ж, по-вашему, и я должен... Конечно, переделать нельзя, но передумать-то можно...

Действительно, что же ему — делать вид, что ничего не было? Отмахнуться? Хуже нет этих проклятых вопросов. Сколько раз за последние годы они появлялись передо мной: «Что я должен делать?» И сразу же: «А что я могу?» И затем: «Ну выступлю, ну скажу, а что от этого изменится?» Удобно. Вся штука в том, что, пока сам спрашиваешь себя, отвечать не обязательно. А когда тебя спрашивает другой? Нельзя эти вопросы произносить вслух. Что-то еще можно уладить, пока не сказано вслух. «Вот чего ты не любишь, — подумал я, — не любишь, когда вслух. С самим собой ладить ты умеешь, этому ты научился: жить, не ссорясь с собой». Но что изменится от того, что комбат будет рвать на себе рубаху? Ничего не изменится. Попробовал бы он признаться не нам, а ребятам, которые легли здесь... Извините, не учел неоправданные потери, ошибочка вышла. Что бы ему ответил Вася Ломоносов? Или Семен? Нет, бессмысленно, никому не нужна эта горечь. Говори не говори, ничего теперь не поправишь. Пусть все остается как было. Ну, конечно, пусть все остается гладенько и красиво, как в твоём очерке. А в моем очерке не было неправды, — откуда я мог знать, как оно обстояло на самом деле. А если б ты знал? Вот теперь ты знаешь — и что? Тебе и не нужна правда, в том-то и вся твоя хитрость. Тебе вполне хватает полуправды. Нет, если так рассуждать — любого можно обвинить. Нет, так не пойдет.

— Как в Библии, — сказал я вслух. — Пусть кинет камень тот, кто без греха.

Володя меня сразу понял.

— И тем, кто без греха, не разрешу кидать. Известно, как они сумели оказаться без греха.

Почему-то меня не обрадовала его поддержка. Что-то

получалось у нас не то. Разговор иссяк. Снова промчалась электричка назад, к городу, освещенному сиянием. На горизонте тонко поблескивали шпили, синеватый знакомый профиль города струился в нагретом воздухе, как мираж. Таким он мечтался нам из окопов, а теперь он на самом деле такой. В конце концов это же мы его отстояли. При всех наших промахах и неумелости. Мы. Ради этого все остальное можно простить.

Мне вдруг захотелось домой. Я вспомнил, что к жене приехала Инна, а к вечеру должны были подъехать Матвеевы, рассказать о симпозиуме в Обнинске. Мы будем сидеть за столом, пить чай, и среди разговора я, наверное, вспомню эту минуту под Пулковом и пожму плечами — стоило ли так переживать, кому это интересно...

— Пошли? — сказал я.

Рязанцев вздрогнул, очнулся, схватил меня за рукав:

— Минуточку. Что же получается? А я? — Голос его сорвался вскриком. — Кто ему право дал? Я не согласен.

— А мне зачем твое согласие... Если б я на тебя сваливал.

— Ты подожди, ты мне сперва ответь: мы для тебя — кто? Свидетели? Между прочим, я тоже участник. Пусть я пенсионер, инвалид. Может, у меня больше и нет ничего. Инвалид Великой Отечественной. Боевое ранение. Я воевал, в атаки ходил. Что, я был плохой политрук?

— Ты был хороший политрук, — сказал комбат.

— Что ж ты сделал со мной? Кто я теперь? Чего я инвалид? Твоей халатности? Да? На кой, извиняюсь за выражение, ты мне тут раскрывал. Я-то гордился — бывший политрук знаменитого батальона, какой у нас комбат был — полководец! Я с воспоминаниями выступал. Допустим, после войны у меня все кувырком, никаких особых достижений. Не имею заслуг. Но война у меня настоящий пункт биографии, никаких сомнений. Полное идейное оправдание жизни. Ты, значит, обнаружил, признался, очистился. А мне что прикажешь? Ты обо мне подумал? Ты мой командир, обязан ты... подумал, что ты у меня отобрал? Может, самое дорогое... Под конец жизни. Что у меня впереди? У меня позади все. Выходит, и позади под сомнением, наперекосяк...

Крупная дрожь сотрясала его рыхлое тело. Он защищался, как мог. Он защищал и меня, и Володю, наше общее прошлое. Покушались на нашу навоеванную славу, которая не должна была зависеть от времени, оши-

бок и всяких пересмотров. Она была навечно замурована в ледяной толще блокадной зимы, там мы оставались всегда молодыми, мы совершали бессмертные прекраснейшие дела нашей жизни, и все наши подвиги принадлежали легендам. Такой, какой была эта война тогда для нас, такой она и должна оставаться. С героическими атаками, с лохмотьями обмороженных щек, с иступленной нашей верой, с клятвами и проклятиями...

Наше прошлое казалось недоступным и надежным, зачем же комбат портил его. Лучший из всех комбатов, умелый, бесстрашный, как Чапай, герой моего очерка, а выставил себя лопухом, не разобрался, угробил напрасно столько ребят, каких ребят! Совсем по-другому я видел, как мы поднимались под пулями, бежали вперед, проваливались в снег, кричали, подбадривали друг друга. Смелость наша поглупела, мы уже знали, что надо не так, и продолжали переть под автоматные очереди. Мы уже знали про овраг, и комбат знал и по-прежнему вел нас напрямую, в лоб, меня, и Сеню, и Рязанцева в желтой рубашке, потного, задыхающегося...

Шея Рязанцева багрово раздулась, на него страшно было смотреть, мы успокаивали его, он шарил рукой, не попадал в прорезь кармана. Володя помог ему, достал валидол.

Рязанцев закрыл глаза. Мы не глядели на комбата.

К машине возвращались медленно, Володя придерживал Рязанцева под руку, комбат шел сзади. Не доходя до шоссе, остановились передохнуть. Рязанцев сконфуженно извинился:

— Нервы... нельзя мне... Ничего, вы не обращайтесь...

— Нехорошо получилось,— сказал Володя.

Комбат стоял в мелком ручье и морщась смотрел, как вода билась у его ботинок.

— Что ж вы так? Я считал, что вам следует знать. Нам всем. А выходит, вам ни к чему.

— И тебе ни к чему,— твердо сказал Володя.— Если бы да кабы, так многое можно пересмотреть. И что это меняет? Мы шли под пулями, не трусили, ты впереди...

— Да разве в этом дело? Разобраться надо, чего вы боитесь...— В тихом голосе его было удивление.

Володя строго смотрел на него:

— Жалеть надо друг друга. Свои ведь... А ты, Виктор, не переживай. Тут тысячи вариантов. Гадать можно

по-всякому. Про колодцы — и то нельзя наверняка. Верно, комбат?

Комбат молчал, глядя под ноги.

— И овраг, возможно, у них артиллерией был прикрыт. Дальнобойной. Вполне возможно.

Комбат поднял было голову и снова пригнул ее.

— А что? Абсолютно реальный шанс, — настаивал Володя. — Согласен?

— Может быть, — выдавил комбат.

— Видите. Так что ты, Витя, выше нос! Никто пути пройденного у нас не отберет!

Рязанцев пригладил волосы, он держался кротко, всепрощающе.

— Обидно, конечно. Ведь себя не щадили... Тем более — раз достоверно нельзя считать...

— По нулям, — сказал Володя. — Инцидент исчерпан. Забыть и растереть.

Я ждал, что ответит комбат. Не могло же так кончиться. Мы сели в машину, Рязанцев впереди, рядом с Володей, затем комбат; мы следили, как он садится, словно конвойные или почетный эскорт. Он уселся послушно, пряменько, машина тронулась, и он все молчал и потирал лоб, как будто не понимая, что произошло.

У Пулкова шоссе свернуло к городу, участок нашего батальона остался позади, деревья, дома, заборы торопливо прикрывали его. Я понял, что все, больше уже ничего не будет, можно не беспокоиться, комбат наш останется на пьедестале, и мы у подножия, вокруг него, как на памятнике Екатерины, верные его сподвижники. Он останется хотя бы ради нас, не можем же мы сидеть, если наверху никого не будет. То, что было, — священно, никакие колодцы не меняют главного, и никто ни в чем не виноват. Нельзя разрешать, чтобы кто-то был виноват, в крайнем случае мы разделим вину по-братски, все немножко виноваты. Когда виноваты все, некого судить.

Мы сидели раздвинувшись, и я ощущал свой висок под его взглядом. Каким он видел меня сейчас? Что у меня на лице? Я пытался представить себя со стороны — ничего не получалось. И так всю жизнь, никогда не можешь увидеть себя самого, движение лица, походку, жесты. Впрочем, иногда ты появляешься перед собой. Да так бывало, и отчетливо, в момент какого-то поступка. А если нет поступков? Если одни рассуждения и размышления. И наблюдения. И потом оценки и переоценки...

Приближался город. Машина, покачивая, уносила нас прочь от того одичалого поля, которое давно пора застроить, колодцы завалить, засыпать окопы,— не надо нам этих укоров, нам достаточно памятников, могил и действительно хороших воспоминаний. Какого черта, когда мы можем рассказать друг другу о том, как мы громили фашистов, какие мы устраивали окружения, клещи, освобождали Прагу, про то, как мы входили в Восточную Пруссию.

Сонно урчал мотор, в машине было тепло, мы двигались навстречу нашим женам, квартирам, работе и нашему расставанию с приятными словами и обещаниями.

«А поезд уходит,— вспомнилось мне.— Ты слышишь, уходит поезд, сегодня и ежедневно».

Это были слова из одной славной песни; очевидно, никто не знал ее, даже Володя не знал, но мне кажется, что они сразу поняли, что это за поезд, потому что все промолчали. Впрочем, я не уверен, что сказал про поезд вслух, я только слышал, как мы все молчим и машина набирает скорость после перекрестков. Каждый из нас мог сойти в любую секунду. Машина одолевала краткий промежуток между прошлым и будущим, и я вдруг почувствовал, что это тот миг, который дается для выбора. Или — или. Ничто, никакие оценки потом не заменят мне ни упущенного, ни совершенного. То, что есть сейчас, не повторится никогда. Поезд уйдет, это не страница рукописи, которую можно переписать.

— Артиллерия,— я откашлялся,— по оврагу артиллерия никогда не стреляла. Овраг не был пристрелян. Мы все это знаем. Чего же притворяться?

— Кстати, насчет обоев,— сказал Володя.— Мы тоже собрались ремонт делать.

— Устроим,— сказал Рязанцев.— И тебе, и комбату. Чего другого, а тут я могу.

— Звуконепроницаемые,— громче сказал я,— кислотоупорные, прозрачные, ароматные. Послушай, Рязанцев, говорят, ложь бывает гуманной, но если человек знает, что ему врут, тогда как, ему все же легче? Пора же о боге думать. Бога нет, но все равно дело идет к отчету. Чего вы испугались? Правды? Но ты-то, Володя, когда мы с тобой тут ползали, ты ж ни черта не боялся...

— Помолчи! — скомандовал Володя не оборачиваясь, и в зеркальце отразились его глаза; я не знал, что у него могут быть такие металлические глаза. А он, по законам

оптики, видел в том же зеркальце мои глаза и, может, тоже не узнавал их.

— Нет, не буду молчать! — с наслаждением сказал я. — Прикидываешься, что ты остался таким же! — Я чувствовал, что иду вразнос, безоглядный, блаженный разнос. — Нет, ты другой. И комбат другой. Только теперь ты боишься идти за комбатом. Потому что сейчас нужна другая смелость. По-твоему, комбат замахнулся на наше прошлое? Эх, ты! Да разве правда может напортить. Зачем нам украшать! Да, в тот раз мы промахнулись, не сообразили, не умели и все же выстояли, и ничего у немца не вышло. Без иллюзий еще прекрасней все остается, зря вы стухнули, забеспокоились. Факт, мы виноваты, мы прошляпили этот овраг. «Аппендицит» можно было взять. Не сообразили мы — что к чему. Мы проскочили бы по оврагу, и тебя, Рязанцев, может, и не контузило... Но это же надо знать. Ведь если снова идти на «аппендицит»... А ведь нам придется. Ну, может, не в смысле военном, но все равно...

Володя нервно крутанул баранку, выругался, сбоку грузовик взвизгнул тормозами.

— Из-за тебя, псих... чего ты несешь? Тоже мне обвинитель! Хочешь, я тебя сейчас — наповал? Тогда в декабре, или нет, в январе, в марте, если бы ты узнал то же самое, стал бы ты вопить об этом? Нет. Чтобы комбата не подвести. Так что заткнись.

— А я лично не реагирую на подобные выпады, — с высоты небесной сообщил Рязанцев. — Но комбата мы не позволим дискредитировать. Это никому не удастся.

— Особенно после такого очерка, — едко заключил Володя.

Они говорили не оборачиваясь, два затылка, две спины, уверенные в наводимом позади порядке.

— Да, тогда, в январе, я бы промолчал. Ну и что? И очерк мой дерьмо, — не так-то легко мне было произнести эти слова. Я вспомнил, сколько я переписывал этот очерк и сколько он мне потом доставил радости. — Дерьмовый очерк, — повторил я. — Потому что не понимал, что комбат может ошибаться.

— У нас был отличный комбат, — с силой сказал Володя.

Я посмотрел на комбата — морщины проступали на его темном лице, как немая карта. Видно было, до чего ему сейчас трудно. Может, труднее, чем в ту зиму. Сам

он мог говорить о себе что угодно, он один мог судить себя. Одного из тех, которые талантом своим творили победу. Снова он полз по дну оврага, седеющая голова его была в снегу, пули нежно насвистывали где-то в вышине, он оглядывался, а мы залегли, мы оставили его одного, но он все равно карабкался, волоча автомат и авоську с плащом.

Я положил ему руку на колено:

— Вы были вовсе не такой хороший комбат. Только теперь вы стали настоящим комбатом. Вы все же взяли «аппендицит». Пусть через двадцать лет.

Нога его отстранилась, и он сказал с неожиданной злостью:

— Опять я хорош. Виноват — хорош, не виноват — хорош. Выгодно, выходит, признаваться.

Слова его поразили меня, а Володя расхохотался:

— Получил? — Ему очень хотелось обернуться, посмотреть на нас.

Я откинулся на спинку сиденья. Незаслуженная обида вспухла во мне. Володя и Рязанцев беззвучно ликовали и потешались, но я чувствовал, что это больше над комбатом, чем надо мной. Что-то неуловимо изменилось, он перестал быть опасным, они отнеслись к нему покровительственно — наивный человек — отказаться от помощи, оттолкнуть единственного союзника, все себе испортить. А я, они считали, вынужден теперь присоединиться к ним, куда ж мне еще деваться?

Один комбат ничего не замечал. Он близоруко согнулся над своей измятой схемой, водил по бумаге пальцем, допытываясь и обличая. Он был сейчас и подсудимый и судья, он учитывал на своем суде и Володю, и Рязанцева, и меня, и обоих комбатов — того, молоденького, в фуражечке, и этого, в галстучке, с авоськой, и, может, других комбатов, которые существовали когда-то между этими двумя.

У Казанского собора Рязанцев сошел, долго примиренно прощался, просил не забывать его. Он обещал комбату сообщить про обои, утешающе похлопал его по плечу, потом отвел меня в сторону:

— Ты как считаешь, на вечере встречи, он тоже... все это...

Я посмотрел на комбата. Он распрямился, мне показалось, он стал выше и лицо у него было другое, каждая черточка прорисована четко, со значением, как на ста-

ринных портретах, и костюм его перестал выглядеть старомодным, просто это был костюм из другой эпохи, так же привлекательный, как доспехи, ментики, камзолы. И осанка чем-то напоминала фигуру Барклая де Толли, памятник на фоне колоннады, твердое темное лицо его, и плащ, и русских офицеров, их нелегкие законы чести, безгласный суд, которым они сами судили себя, приговаривая себя...

Я позавидовал его одиночеству. Давно я не оставался в таком одиночестве. Отвык я от его неуютных правил — делать свое дело по совести, не объясняя своей правоты, не ища сочувствия.

— Да, он, конечно, может... — сказал я Рязанцеву.

— Как же быть тогда? — озабоченно спросил Рязанцев.

...Машина шла по Невскому, где-то позади остался встревоженный Рязанцев, скоро и мне надо было выходить. Я не знал, что сказать комбату на прощанье. Он тоже сидел озабоченный, ему тоже предстояло что-то решать и делать. И в себе я чувствовал эту озабоченность. Если бы мы служили в армии, тогда все было бы проще. На предстоящих учениях учтем. Научим курсантов. Или если бы мы писали военную историю. Комбату, пожалуй, легче, он учитель, а кроме того, он остается комбатом, вот в чем штука...

У Владимирского я увидел свою жену вместе с Инной, они возвращались с рынка. Мы остановились и вышли из машины.

— Как вы съездили? — спросила жена.

— Отлично, — сказал Володя. — Все было о'кей!

— Бедняжки, вы ж промокли, — сказала Инна.

— Не считается, — Володя засмеялся, щурясь на ее золотые волосы, и она тоже засмеялась.

— А это наш комбат, — сказал я.

Он неловко и безразлично улыбался, держа свою авоську с плащом, голубенький галстук топорщился, грязные широкие брюки мокро обвисли, вид у него был истерзанный, как после схватки, и никто не знал, что он победитель.

— Я представляла вас совсем другим, — разочарование прорвалось в голосе моей жены, но она ловко вышла из положения. — Знаменитых людей всегда представляешь иначе. — Она поискала, что бы еще добавить при-

ятное, и, не найдя, обратилась к Володе, заговорила про его песни,— она давно хотела его послушать.

Комбат посмотрел на меня.

— Обиделся?

Я кивнул и понял, как глупо было обижаться. Пока женщины и Володя разговаривали, мы с комбатом смотрели друг на друга.

Забытая, явно не медицинская, боль сдавила мне сердце. Откуда-то возник жаркий августовский день, лесная заросшая узкоколейка, отец, еще крепкий, шагающий рядом по шпалам, желтый складной метр в кармане его холщовой куртки. Дорога свернула, и мы вошли в березовую рощу. Огромные белые березы обступили нас. Воздух сквозил легкий и пятнистый. Я замер, пораженный этой доверчивой, нетронутой белизной. Сколько мне тогда было? — лет четырнадцать. Я никак не мог понять, почему красота способна причинять такую боль, сладкую неразбериху, мучительную до стыдных слез.

— Обязательно приду,— сказал Володя.— Готовьте коньяк.

Комбат протянул мне руку. Левой рукой он снял шляпу, густые волосы его поднялись, серебристый отсвет упал на лицо. Рука его была сильной и твердой. Он сжал мои пальцы, и я ответно пожал его руку, так, чтобы он знал, что я все понял... Губы его дрогнули, но усмешка не получилась, и он чуть заметно поклонился мне.

Они сели в машину. Володя помахал женщинам, отдельно Инне, и они уехали.

— Ты жалеешь, что съездил? — спросила жена.— Но ты ведь был готов. Ты и не ждал ничего хорошего.

— Зато твой Володя прелесть,— сказала Инна.— А этот, представляю, наверно, все о своих заслугах. Хотя видно, что был красивый мужчина.

— Не огорчайся,— сказала жена.— Мало ли как люди меняются с годами. Что тебе, впервой?

— Господи, да если б я мог стать таким, как комбат,— сказал я.— Если б мне хватило сил...

Я взял у жены сумку, и мы пошли домой. На Владимирском и на Невском, всюду стояли высокие белые березы, прохладные березовые рощи. Звуки города исчезали, было тихо, только наверху, в кронах, тревожно по-свистывали пули.

ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ

I

Вернулся я из Кислиц расстроенный, сказал Андриану, что ужинать не пойду, ничего не хочу, а отправлюсь — ка я в дом Федора Михайловича Достоевского.

— Его там нет, — остроумно заметил Андриан. — Уже поздно, сейчас там никого нет, и вообще только сытый человек ценит одиночество.

Я знал его гостеприимство плюс уютное гостеприимство его жены, покой его просторной квартиры, знал, вздохнул и отказался. Я представлялся себе кротким и смиренным, но Андриан сказал:

— О, если бы люди могли видеть себя не только изнутри, но и снаружи! Иди, но помни, пожалуйста, что судьба каждого человека — это невыполненное обещание. Никому еще не удавалось сделать все, что он хотел или к чему был предназначен.

Из голубеньких глаз Андриана смотрел не сам Андриан, а какой-то другой человек, и этот человек, что бы там Андриан ни говорил, смотрел в эти щелки и посмеивался. Причем посмеивался он над собеседником и одновременно над самим Андрианом и как бы вместе с ним над чем-то еще. И от этого смысл слов Андриана двоился, раздражал неуловимостью — не то сказано в шутку, а может, и всерьез.

По набережной Перерытицы я отправился к дому Достоевского. Мне хотелось побыть одному, хотелось посидеть именно у этого дома, одного из немногих, какие остались на белом свете от прежней моей детской жизни.

Итак, край моего детства был уничтожен. Детство мое погибло. Я-то думал, что оно живет там, в Кислицах, на голоногих тропках вдоль малой и путаной речушки с заводями, полными головастика, с висячими стрекозами, с коричневыми омутами, где взблескивает уклейка, что оно дожидается меня среди путей к лесобирже, заваленных толстым слоем серебристо-серой щепы.

Для Андриана дорога в Кислицы в сто двадцать километров показалась долгой. Пыльная, местами вязко-песчаная, местами вымощенная камнем еще во времена министра путей сообщения графа Клейнмихеля, а затем графов Бобринских, дорога эта ныряла в деревушки, на-

звания которых отдавались толчком в сердце,— Хахили, Висючий Бор, Лазенки. Прочтешь и вдруг услышишь, как где-то там, в заброшенных подземельях памяти, куда давно не спускался, где, казалось, все истлело, что-то в ответ шевельнется слабо, еле-еле вздохнет, подавая знак жизни.

От этого шевеления становится почему-то больно душе. О чем она, эта боль? И как уцелела память на эти места, за счет чего она там, под спудом, живет, ничем не питаемая память тех детских лет? Даже не память, потому что не помню начисто, как мы с отцом бывали здесь, но все же, значит, проезжали, тряслись на телеге по отцовским лесным делам, иначе бы не щемило от этих названий — Цеменка, Селище, Беглово...

II

Я подумал о своем внуке. До сих пор я полагал, что наши с ним игры и походы в лес, путешествия по болотам за жуками — все это с годами вовсе сотрется из памяти трех-, четырехлетнего ребенка. Ведь даже от шести-, семилетнего возраста у меня самого сохранились лишь отдельные картинки, неподвижные кадры без начала и конца. Так было у моих детей, я проверял, так, значит, будет и у внука. Так происходит со всеми поколениями. А жаль. Хотелось, чтобы в памяти внука навсегда остались наши грибные походы, первая поездка на велосипедах, сказки, которые я сочинял этому маленькому человеку. Чтобы веселая эта, счастливая пора вспоминалась в его взрослой жизни. И, конечно, чтобы через это вспоминался и я. Ибо, как сказал Андриан: «Мы стремимся прежде всего остаться в памяти наших детей, когда они были маленькими, беспомощными, так нуждались в нас, а мы без конца возились с ними. Хочется таким образом продлить себя. Причем в наилучшем виде, поскольку с ними мы делаемся куда лучше, чем со всеми... Для них мы в ту пору сильные, мудрые, честные, мы все умеем. Маленькими они не видят и не знают наших недостатков».

Но в том-то и хитрость природы, что в детской памяти она ничего этого не оставляет. Куда ж она все это девает? Может, закладывает в подсознание, перерабатывает в тот фундамент натуры, то есть характер, который как раз до пяти лет и складывается? Я утешал себя тем, что первые годы жизни остаются в ребенке чем-то более

важным, чем просто воспоминания о бабушках и дедушках. В будущей его жизни беспмятные эти, вроде совсем забытые годы участвуют незримо, сказываются неожиданно — добротой, чуткостью к слову, к красоте. И наши походы останутся и откликнутся когда-нибудь вздохом перед чудом цветка, жалостью к больному псу.

Это было утешение скудное, но другого не было.

Первые годы моей жизни, казалось бы, бесследно стерты.

У младенца в утробе, у того вообще нет своей памяти, он живет памятью матери, в нем — память природы, ее инстинкты, ее законы, он как бы часть неотделенной природы. Его рождение — это рождение «я». Появляется окружающий мир, и появляется свое, отдельное, никогда не бывшее ни с кем другим. С той минуты, как открываются глаза, как уши начинают слышать, как раздается крик, с того момента, как младенец ощущает грудь матери, вкус, запах ее молока, начинает складываться личность. Пока что все эти ощущения проваливаются куда-то в подсознание, наполняя его пустые соты. Потом, спустя время, в какой-то непонятный момент кое-что начинает задерживаться в памяти, уже той памяти, которой мы можем пользоваться, перебирать, листать, как страницы старой книги. На первых же листах ее — картинки без подписи, без объяснения, еще вне сюжета.

И вот тряская эта пыльная дорога в Кислицы показала, что из того раннего что-то осталось — какие-то звуки, касания, названия деревень... Еле заметные прерывистые следы вели куда-то в самую рань, в пяти-, четырех-летнюю рассветность. Где-то там пребывали, я это чувствовал, рассказы моего отца, наши с ним хождения к смолокурам, лесные ночевки... Если бы знать, как устроена память, чтобы извлечь, вытащить из ее сундуков погребенное имущество! Там за семью печатями наверняка хранилось и как отец учил меня азбуке, и то, что он мне говорил, нашептывал, когда мы лежали с ним на печи под щекотной овчиной. Существует какой-то пустяк — звук, картинка, слово, — натолкнешься на него — и он может стронуть с места, подтолкнуть — и память очнется. Сезам откроется.

Машина везла меня в страну моего детства, где я надеялся, что все так и произойдет и одна за другой станут проступать забытые подробности...

Когда-то я пытался изучать проблемы памяти, убеж-

денный, что с памятью связан секрет становления человеческой личности, что человеческое «я» не может существовать без памяти.

Теории памяти оказались слишком противоречивы. Механизм ее — один из самых таинственных, малопонятных в человеческой психике.

Из кирпичиков памяти складывается индивидуальность. Обращение к памяти, к своему прошлому — это восстановление своего «я», проявление его. И чем дальше уходишь во мглу прошлого, туда, к детству, тем лучше ощущаешь себя. В этом смысле удивительный опыт над собою проделал Михаил Михайлович Зощенко в своих повестях «Перед восходом солнца» и «Повесть о разуме». Он работой воли, ума вызвал из своей детской памяти картины своего самого раннего детства, восстановил, извлек то, что обычно так и остается скрытым за горизонтом воспоминаний. Это была чрезвычайно поучительная работа. Осознавая свою собственную историю, человек понимает себя, свой характер, свою душу и других, значит, тоже понимает лучше.

Вот и сейчас на подъезде к околице припомнилось, что тут стояли ворота... Как-то они назывались, было какое-то здешнее словцо, я спросил у Андриана, но и он забыл. Поскотин перед деревней давно уж не было, ворот тоже. А я вспомнил нудную свою мальчишечью обязанность соскакивать с телеги, бежать открывать те жердяные ворота на лыковых петлях, затем закладывать их деревянной щеколдой или подтыкать колом, догонять телегу, вскакивать и то же самое повторять при выезде. Так всю дорогу, через все большие и малые деревни, опоясанные жердяной городьбой. Раньше, когда я был поменьше, открывали мальчишки, привлеченные колокольцем, и отец кидал им медяк.

Куда мы ехали? На лесосеку, к сплавщикам, к лычникам... Я то и дело вспоминаю себя на телеге, на санях, реже на рессорной бричке, на возу...

Андриан так и не вспомнил названия тех ворот.

— Наименования исчезают вместе с вещами, — рассуждал он. — Сколько их кануло из нашей жизни! Гуменка, таратайка, буржуйка. Что такое ренсковый погреб? А ведь у нас на улице, говорят, их было два!

Мы ехали и ворошили осевшие на дно памяти умершие слова. При виде желтеющего льняного поля я вспомнил — «коколоколится», так говорили про лен. Высушен-

ный, он бренчит семенами в коричневой головке — колоколится.

— Белая смола,— произнес Андриан, а что это такое, белая смола, не пояснил.

Дорога была не в сто двадцать километров, а в целую жизнь. Меня отделяло от Кислиц несколько десятков лет, а ехал я сюда уже лет двенадцать. Не уследил, с чего началось, но стали сниться мне эти места. Настоячиво, тревожно. Потянуло. Несколько раз собирался. Отпугивало расстояние, оттягивали дела. Андриан тоже высмеивал.

— Поездка в родные места,— говорил он.— Неужели нет у тебя темы посвежее? Пусть об этом пишут литературные молодцы, которым больше нечего сказать. Они лелеют тоску по деревне, поскольку выбили себе шикарные городские квартиры и теперь вынуждены ездить на лифте и мыться в ванне. Бедняги, они приезжают в родимые места повздыхать! — Нарушая свою философскую невозмутимость, он материл таких литературных шулеров, таких лицедеев.— Ходят в сауну, но воспевают баню по-черному, с кваском, воспевают старух — носительниц трудолюбия и нравственности, а сами небось на уборочную не едут. И ты к ним пристраиваешься?

Но год от году независимо от этих повестей меня тянуло в Кислицы. Мне упорно снился омут, один берег высокий, с которого мы ныряли, с которого отец меня впервые столкнул в воду, и я выплыл, второй берег низкий, топкий, а дальше — залив, поросший рогозой с черными бархатными шишками. Я просыпался, продолжая вспоминать жизнь нашего разъезда, бедную и веселую, дощатую платформу, на которой за час до прихода вечернего скорого собирались и гуляли все местные: мастера с лесопилки, десятники с лесобиржи, станционные служащие, леспромхозовцы в галстуках, вышитых косоворотках, приходила из чайной высокая красивая буфетчица, стриженная, с челкой, и ее муж, бывший циркач, в шляпе с пером, с улыбкой клоуна и печальными глазами помешанного, он раздавал нам звездочки красного постного сахара, которые сам готовил, приходили какие-то девицы с парнями, мой отец с матерью, главный бухгалтер, толстый, в белом пиджаке из чесучи. Все чинно прогуливались по дощатому высокому перрону, мужчины курили, пользуясь мундштуками, из кармашков у них торчали карандаши с железными наконечниками, у отца

был красно-синий карандаш, на нем наконец... мом. Женщины ходили в баретках. Каблуки звонко стучали по доскам, вечернее небо горело над головами, далеко-далеко блестели рельсы, рассекая темную стену леса. Все лужгали семечки, смеялись, пели. Обсуждали погоду, план заготовок, вывозку, погрузку. Потом проходил скорый. Поезд останавливался на минуту. Начальник разъезда отдавал жезл машинисту, из почтового вагона кидали мешок с письмами и газетами, паровоз пускал белый пар и рвался дальше. Редко кто сходил с поезда, редко кто выглядывал из окон. Обычно двери вагонов оставались закрытыми. На разъезде нашем не было колокола, не было и торговли: не успели бы, да и нечем было торговать — разве земляникой, семечками?

И все не спеша расходились по домам. Это было в те допотопные времена, когда не существовало телевизоров, радиоприемники стоили дорого и были редкостью, делали их со стеклянными лампами, а были и детекторные, в те времена людям приходилось общаться друг с другом, разговаривать, парни вели беседу с девушками — придумывали частушки, говорили всякие слова, вместо того чтобы включить электронику.

Поселок со всех сторон был окружен лесами. Когда поезд уходил, клочья дыма еще долго плавали меж деревьев и запах паровозного дыма был запахом путешествий, дальних городов.

Вот какие идиллические картины проплывали передо мною в ночной тиши. Несмотря на Андриановы насмешки, мне мечталось приехать на наш разъезд и пойти на речку, окунуться в тот коричневый омут. Я слышал, что в Кислицах многое изменилось. Слышал, что чайной, напротив которой мы жили, нет, что дом Петряковых сгорел еще перед войной. Были там в войну немцы или нет, я в точности не знал, линия фронта петляла, а маленькие Кислицы ни в каких сводках Информбюро не отражались.

Тянуло, тянуло — и вот нынче приспичило. Какое мне дело до писательской моды, до чужих повестей, до чьих-то удач и просчетов? У меня были своя речка, свой разъезд, и жизнь у меня шла своя, единственная, коротенькая: если я не поеду в свое детство, никто другой его не посетит, никому, кроме меня, нет до него дела, даже самым близким людям было неинтересно слушать про этот разъезд. Андриан взялся меня провожать из Старой Рус-

сы единственно по нашей дружбе. Я был рад, что он рядом, все же не так было боязно.

Родных у меня в Кислицах не было. Место это было одно из тех, где приходилось работать отцу, которого переводили время от времени из леспромхоза в леспромхоз: то в Новгородчину, то на Псковщину, то отправляли куда-то в Бийск, в Невьянск, в Вятку, затем опять под Кингисепп. Не знаю, почему так получалось. Был он человек счастливой мягкости и доброты, счастливой, потому что не страдал от своей мягкости, не считал ее слабостью. Всего, чего он добивался в спорах своих с начальниками, с настырными лесозаготовителями, он добивался добротой. Доброта была его слабостью и силой. Его старались не обижать. Может, скитания наши происходили из-за его покладистого характера? Дети мало что знают про работу своих отцов.

Леспромхозовцы связаны друг с другом. После войны вплоть до смерти отца к нам наезжали, останавливались лесовики, рассказывали новости, и Кислицы продолжали жить для меня в том же детском виде, хотя что-то и менялось. Боярцев — лесоруб — стал главным инженером, вырубка в Залучье пошла сплошняком, были и другие сведения, но в том-то и штука, что тогда это меня никак не интересовало.

Мы ехали, и я пытался вспомнить те давние новости.

Деревни, не обвязанные изгородями, расползались по зеленой земле, машины неслись сквозь них навывлет, придерживаемые лишь колдобинами тракторных следов.

Красноземные поля, красноземные косогоры сменялись бедным серым суглинком, позолоченным стерней.

В Лычкове все так изменилось, что я ничего не узнал. Лычково в мои годы было райцентром. Мы ходили туда пешком по шпалам. На откосах железной дороги росла земляника. Почему-то земляники тогда было много.

— И волос было много. И зубов,— сказал Андриан.— Цветы как пахли! А какие были высокие люди! И какое вкусное молоко!..

Теперь Лычково было просто поселком. Демянск, тот выставил на дороге горделивую надпись: «Основан в 1406 году». Был знаменитый демянский котел в эту войну, из-за которого Демянск упоминался в книгах по истории войны. А у Лычкова ничего такого не было, хотя появилось оно тоже давным-давно. В нем ничего не сохранилось от минувших веков, даже от довоенных лет

ничего не было. Что-то, конечно, осталось, но запрятано было слишком глубоко.

Я приготовился к тому, что и в Кислицах все должно измениться. Единственное, на что я надеялся,— на речку. Речка-то должна была остаться, значит, и омут остался, а может, и тропка к нему. Посидеть на том высоком берегу,—ничего больше и не требуется. А там уж нахлынет, вспомнятся и отец, и друзья его, послушатся слова, воскреснут и другие знаки ушедшего; пусть одна часть минувшего фильма, но все же прокрутится перед глазами.

III

Не несколько домиков, а большой поселок стоял перед нами. Там было много магазинов, универсам, Дом культуры, асфальт — вот какими стали Кислицы. Все, все было неузнаваемое, не мое. Дома, нарядные, обшитые вагонкой, свежеокрашенные, стояли тесно, длинными улицами. Где была лесопилка, никто в точности не помнил. Одни показывали за железную дорогу, другие за шоссе. «И праха от нее не осталось»,— как пояснил один местный. А местными считались те, кто приехал сюда после войны.

Большая контора леспромхоза была совсем новая. Но что-то в ней чувствовалось от прежних барачков и от всех прежних лесоконтор, какие были и сорок, и тридцать лет назад. Над крыльцом кумач, такой висел и при моем отце; стояла знакомо крашенная багровым фанерина с именами лучших и цифрами плана и голубая фанерина с пунктами обязательств. Кубы, заготовка, вывозка. Все узнавалось, несмотря на то, что в кабинетах стучали электрические пишущие машинки, звонили телефоны и вместо щелкания деревянных костяшек счетов потрескивали арифмометры и даже электронные калькуляторы.

В коридоре витал памятный запах, составленный из запахов дегтя, сырых полов, подметенных вениками, запахов бумаг, бензина и здешнего леса. Все вместе это и было запахом отца.

Запахи неизменны. Есть запахи, которые не меняются из века в век,— запахи печей, дорог, хлеба. Повсюду пахнут одинаково столовые, общежития, во всем мире одинаково пахнут гостиницы, отели — и в Японии, и в Архангельске. То же и с людьми. Лесорубы на Сахалине па-

хли как и здесь, в Кислицах, как и давным-давно, когда отец приезжал из леса, а я сидел у него на коленях, уткнувшись ему в жилетку.

И эти конторы, самые разные (сколько я их повидал!) — и маленькие конторы сплавщиков с керосиновыми лампами, и лесные, и районные, — хранили тот же запах: бумаг, железных ящиков, клея.

Память на запахи — особый раздел или аппарат памяти. Они помнятся десятилетиями — запахи тола, горелой брони, запахи шинели, госпиталя, землянки, их не определить никакими словами, таблицами, приборами. Запахи прошлого.

А ведь, казалось бы, — вместо лошадок, саврасых и чалых, ревели огромные трактора, были бензопилы «Урал», в лесу стояли рации, а в чистой просторной столовой высился заграничный автомат по изготовлению мороженого: никелированный куб, который, пробурчав, выдавливал из себя спиральный завиток бело-желтого пломбира. Таких роскошных автоматов не было еще ни в Москве, ни в Ленинграде. А местный Дом культуры! Стены его были разрисованы абстрактными панно. А в универсаме стояли лучшие коньяки, шампанское, токай, вермут и прочие вина заморских стран. Кислицы вышли на передний край благополучия. Но это были не мои Кислицы.

Омута не было.

Я бродил по улицам и переулкам, ничего не узнавая. Я прошел к вокзалу, чтобы искать от него, но и вокзал вызывал сомнения. Он стоял не с той стороны путей. Платформа была не деревянная, а бетонная, асфальтированная. Здание было не то. Дороги были не те. Лесосклад не там. Я пошел вдоль ручья, вдоль какого-то усохшего вялого водотока, зашел в болотистый кривой лесок, там была зацветшая ряской не то промоинка, не то мочага, пахнувшая гнилью. Вернулся в поселок. В центре, у промтоварного магазина, раскинулась мутно-желтая запруда. Я постоял у нее, сличая и не соглашаясь с тем, что это и есть мой омут. Один из местных сказал, что послевоенные Кислицы, кажется, сдвинуты немного в сторону, это можно уточнить. Как уточнить? И для чего мне надо было это уточнять? «Не знаете ли вы, куда делся омут, который был до войны?»

Я посмотрел на себя в зеркальное стекло витрины. Тоже не узнать — не тот, никаких следов того мальчишки.

Слева от входа в Дом культуры висела мраморная доска: «На этом рубеже 12 сентября 1941 года воины 202-й стрелковой дивизии остановили наступление немецко-фашистских войск».

— Да,— сказал Андриан,— только нам, знающим язык тех лет, понятно, что немцы вошли в Кислицы двенадцатого сентября сорок первого года. Тут, стало быть, их удалось задержать и дальше уж не пустили.

12 сентября... В этот день мы дрались на подступах к Пушкину, отходя к Александровке, а потом и в самый Пушкин, в парк, ко дворцу. Я запомнил эти дни с 1 по 17 сентября 1941 года, потому что тогда ранило полковника Лебединского и я остался в штабе нашего полка, поскольку никого из офицеров не было, и начальник политотдела дивизии Саша Михайлов сказал мне по телефону: «Побудь там за старшего, пока мы не подошлем кого-нибудь». Они никого не подослали. Почти сразу штаб дивизии отрезали, и я так и остался за старшего. И оставался три или четыре дня, о которых не хочется вспоминать.

В эти самые часы здесь наши тоже отходили, оставляя Кислицы, мой дом, мой омут, мою платформу.

По другую сторону от входа на ДOME культуры висела доска: «19 февраля 1943 года воины 202-й стрелковой дивизии освободили поселок Кислицы от немецко-фашистских захватчиков».

Вскоре я нашел старика, который утверждал, что он все помнит — и лесопилку, и отца, и даже меня. Он был в черной шелковой рубаше, на которой лежала белая борода. Он вспоминал медленно и ровно, сведения выползали из него, как телеграфная лента. Может, я его и знал, но вспомнить не мог — слишком велика была мутная толща времени. Встреча с ним ничему не помогла. Кислицы гибли, таяли, и от его слов тоже. Омут мой исчезал. Теперь кругом него будут стоять дома, промтоварный магазин, будут идти ребята с завитками сливочного мороженого.

— Банальная история,— сказал Андриан.— Не случайно в процессе эволюции человек приобрел аппарат забывания. Нечего над ним насильничать. Забывание — это здоровье памяти. То, что забыл, то и следовало за-

быть. Если ты слишком много помнишь, значит, память у тебя не здорова, надо лечить ее не поездкой в минувшее. О чем, собственно, ты скорбишь? Что Кислицы не остались такими же? Но они ведь стали лучше. Я никогда здесь не был, однако для нашей области это отличный, благоустроенный поселок. Чего ты требуешь? Какие у тебя претензии? Не ради ж этого твоего посещения должны были оставить все, как было? Тебе следует радоваться за свой паршивый разъезд — такой прогресс.

IV

А может, он прав, великий философ Андриан? Почему мне грустно? Почему мне плохо, если жителям этих залитых асфальтом Кислиц хорошо? Разве отец не обрадовался бы, увидев нынешние Кислицы? Почему, наконец, мне так приятны те несколько примет знакомого прошлого, что уцелели и тихо доживали среди нового быта? Это упругие деревянные мостки на улицах, мостки, которые тянулись вдоль домов, заменяя панели. Дощатые, уложенные на высоких лагах — из-за осенней распутицы и весноводья, что стоит здесь подолгу. С них такие же дощатые сходни во двор. Осталась и серая блестящая щепка, осыпанная вдоль узкоколейки, остался лес, запущенный, нечищенный, заваленный гнилым жердовником... однако узнаваемый по белым березовым скопищам среди осин, лип и особых здешних елей. Августовский его запах напомнил мне летние лесные дороги-лежневки, по которым вывозили лес с глубинных лесосек.

Мы сажались на высокие вагонетки и катились на далекие делянки. Отец всячески спорил, изворачивался, торговался с заготовителями, подрядчиками, защищал ближний лес, стараясь всучить им лесосеки подальше от железной дороги, чтобы рубить все же выборочно, а не сплошняком. Лесорубы за это тоже сердились на него, предприятия жаловались, особенно экспортные. Экспортлес — был такой толстый дядя в жилете с манишкой. Все были против отца, не пойму, как он держался.

Больше помнились не люди, а сама лежневка, ее разлохмаченные деревянные рельсы, чалые лошади, впряженные в вагонетки. Еще ручная дрезина, на которой мы неслись по главной магистрали — железной узкоколейке. И сами переводили стрелки...

А теперь я еду на «Волге». Куда ж я еду? Возвра-

щаюсь из Кислиц? Но из каких? Или возвращаюсь в те, уже не существующие Кислицы?

Что будет теперь с моим детским омутом? Сохранится ли он в памяти? Вряд ли. Скорее всего его заслонит эта мутная запруда с промтоварным магазином.

Если бы я попал в старые Кислицы, мне бы взгрустнулось, припечалилось. За тем ведь и ехал. И ведь как странно устроен человек. Прodelать такой путь, чтобы погрустить. И теперь досадовать оттого, что грусти не получилось.

Где-то в лесу, наверное, стояли деревья, сохраненные отцом. Уже здоровенные деревья.

— Не надейся. Порублены, все они порублены,— сказал Андриан.— Ничего не осталось, рубят без пощады. Пока что лучший лесоруб дороже самого лучшего лесника. Все еще покоряем природу, побеждаем ее. Доказываем могущество человека. Ты знаешь, я иногда ненавижу природу за ее безропотность и беззащитность. Она сопротивляется самоубийством. Надеется она на наше милосердие. А мы-то... Мальчишка-сопляк сидит на оранжевой громадине трактора и чувствует свое превосходство над лесом. Как же — все падает, трещит под ним. Его убедили, что он властвует над природой. Вот он и крушит, и похваляется. Но ведь властвовать — еще не значит понимать природу. Да и кто нам дал такое право — властвовать? По праву сильного, да? Какое же это право!

— А что такое — понимать природу?

— Не знаешь? — Андриан покачал головой.— Понимать — значит сочувствовать.

— Кому, лягушке?

— Да, лягушке. И зяблику. И дереву. Ты думаешь, прогресс — это универсам? Прогресс к тому направлен, чтобы заполнить пропасть между природой и человеком. До сих пор мы пропасть создавали, теперь начинаем заполнять ее, и это и есть начало прогресса. Понимать все живое, осознать наше родство со всем живым: с зябликом, с волком, с ольхой. Понимать — значит любить. В этом наше будущее. В этом, если хочешь, я вижу коммунистическую жизнь.

— Похоже на библейский рай.

— Примерно. Только не получим мы его в награду от господ бога, а придется устраивать самим.

На шоссе от свертыша донесся кислый запах моче-вил. Выкопанные вдоль дороги ямы заполняла стоячая пенномутная вода. В ней мокли липы. Месяцами лежали они там на березовых плахах. Запах я узнал сразу. Мы остановились, и я спустился туда, где женщины снимали лыко с липовых стволов. Я смотрел, как они это делали, движения вспоминались, отгадывались, и я не заметил, как руки мои непроизвольно подхватили содранное лыко; ничего не объясняя, я понес лыко на подводу, чувствуя, что я уже когда-то это делал, вот так носил, кожа моя узнавала мыльную скользкость лычин, этого размокшего, разодранного луба.

Когда-нибудь изобретут способы оживлять детские воспоминания. Приложат электроды к вискам, включат поля — и в мозгу медленно, как на понтонах, начнут всплывать картины детства, голоса родных, их лица, слова, прикосновения. Я услышал бы, как пела мать, где-то здесь она ходила и пела. Голос у нее был сильный, чистый, помню, она упрекала отца: если б не его лесная жизнь, она могла стать певицей.

Способа этого еще нет. Надо самому каким-то образом стараться сдвинуть слежавшиеся пласты памяти, спуститься поглубже, в те годы, когда мы еще жили в Старой Руссе и мама была совсем молоденькой. Пожалуй, два или три места всего я и помню из всей скитальческой работы отца — Кислицы, Старую Руссу и, может, еще Рогавку. Видимо, там он работал подольше.

Река потекла вспять, холмы побежали вниз.

Обратная дорога не возбуждала воспоминаний.

Стоило ли ехать сюда, разрушать то небольшое, что каким-то чудом я сохранил, пронес сквозь годы, фронты и всю нынешнюю жизнь, которая никак, ничем, совсем ничем не связана была с этими местами?

...А в лесу было тихо, жужжали, гудели мухи и еще какие-то насекомые. Березы не шелохнулись. Сперва — как войдешь в лес — прохладно, а потом и тут своя духота настигает. Лесная жара не то что полевая. В поле жара потная, с пылью. Здесь же, в лесу, доходишь, как в духовке.

Кто-то окорил березку. Испод у нее гладко-бордовый,

с шелковым блеском, она и в изувеченности своей прекрасна.

Это даже не лес, а роща, белоколонная аркада среди клеверных полей.

Красиво — холмы, поля, вдали синий-синий, там-то уж, конечно, прохладный лес. Красиво, а не волнует, не томит, как в молодости. Знаю, что это прекрасно, но знаю это больше памятью молодых, мучительных до слез любований. И за то спасибо. Слава богу, что страдал от этой непередаваемой красоты в молодости и теперь могу понимать и помнить разумом. Так с годами то, что было в сердце, переходит в ум. А ум этим не волнуется, он знает лишь, что *это волнует*.

Кислица — потому, что кругом много кислицы — «заячьей капусты». И сосняки называются кисличные, а есть еще брусничные, а есть черничные, есть багульниковые.

А кроме кислицы с ее тройчатыми листьями, в лесу всегда ландыш, золотая розга, другие травки, позабыл, как звать, но помню эти кожистые листья и вот эту — таволга, что ли, а это, кажется, росянка с волосяными листьями, куда мы сажали каких-нибудь козявок, и лист сворачивался, схватывая эту козявку.

Раньше много было дубов в здешних лесах. Варили желудевый кофе. Ель, дуб да липа, какой они дружной компанией росли, и лес этот был весело пахучий, шумный, от листвы мягкий.

Петр Великий строго-настрого запретил в здешних местах пустую порубку дуба. Велел его использовать для кораблей. Но давно уж корабельные нужды изменились, и дубов почти не стало, как будто не для чего беречь их.

А ива, ива-то корзиночная, из которой плели и корзины, и мебель.

Еще заготавливали иву козью для кожевенных заводов. Корье в связках складывали под навесы у нашего дома — совершенно бесполезные некрасивые кипы, непригодные ни для игр, ни для каких забав.

Не знаю, много ли есть сейчас в этих местах «лесных людей». Раньше было их много. Они жили лесом и жили в лесу. Отличались они знанием леса или чутьем его, затрудняюсь, как правильнее назвать, наверное, все-таки чутьем. Потому что знания такого, о котором пойдет

речь, еще не существует. Лес, он образуется из великого множества факторов. Их насчитывается не меньше пяти-сот, как рассказывал Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский, один из крупнейших наших биофизиков, и невозможно сейчас определить взаимодействие и соотношение всех этих величин. А «лесные люди» определяли, например,— зарастет луг лесом или же нет. Они по кочкам, по цветам прикидывали, то ли луг уже переродился, от покосов, от выпасов, то ли еще зарастет, восстановит свой древостой. Пробовали на язык травины, мхи, решали: можно нарастить здесь дубраву или уже так и пойдет суходольным лугом. Правда, решения их мало влияли на местные власти, так что постепенно колдовство это прикончилось, но я еще повидал этот ритуал. Он вспомнился вместе со сладким запахом багульника и заросшими лицами лесовиков...

В повале лежали свежеспиленные бревна. Комлястая осина торчала распилом вверх. Была она на диво крепкая. По четко видимым кольцам ее прикинул я, что мы однолетки. Я стал отсчитывать кольцо за кольцом, годы назад, туда, к войне и в довоенность. Попадались кольца темные, припомнилось, что такие бывают от долгих пойменных вод. А самые внутренние ее кольца, детские, были прибыльно-толстые, круглые, обнимали сердцевинку, ту жердиночку, вернее даже тростиночку, какой она появилась на свет, и быстро росла здесь в первые свои годы, тоненькая, гибкая, в серебристой коре, с листьями, которые тогда были покрыты шелковистым пушком. С годами пушок исчезает, и листья становятся голыми, блеклыми.

У древнего китайского философа есть рассуждение о том, что молодое деревцо легко гнется от ветра, поэтому и сильная буря ему не страшна. А большое дерево, куда более крепкое, не гнется,— именно поэтому его буря ломает.

Древесные кольца были и моими прожитыми годами. Внутри меня были такие же кольца, я тоже, как дерево, хранил в себе слои отжитого, где-то в самой глубине детство, ясные, четкие круги его, и дальше, нарастая и нарастая, откладывалась юность, зрелость, круг за кругом, делая меня как бы крепче, избавляя от слабости, податливости и в то же время делая все более уязвимым и сухим.

Каждый новый круг обнимал все прошлое, прикрывал

его, расходился вширь, и казалось бы, и жизнь расширялась, захватывая все новые пространства. Словно волна, которая разбегалась во все стороны, все дальше от сердцевины.

Только в отличие от дерева, от этой осины, отпечатки лет не сохранялись с такой четкостью, годы сливались, иные и вовсе были неразличимы.

Жизнь дерева казалась завидно цельной, каждый год неукоснительно менялась листва, наращивалось новое кольцо ствола — немножко толще, немножко тоньше, — но и корни, и листва делали свое дело, и дело это откладывалось зримым слоем.

В дереве не было впустую прожитых лет. Все эти годы, что я шатался по свету, мечтал, воевал, пил водку, ссорился, кому-то завидовал, ревновал, искал славы, отчаивался, ленился, писал не то, что хотел, — оно неустанно изготавливало из солнца кислород, листву, древесину. Оно тоже страдало — от жары, от жучков, от ранних морозов, но оно никогда не отчаивалось.

Кольца были как рассказ о прожитом. Автобиография.

Я разглядывал этот срез, словно картину, испытывая смутную тоску по своей жизни, далекой от такой ясности, от простых и тихих радостей земли, невозможной уже дойти до такого совершенства.

Вот кольцо последнего года войны, последнего боя, последних смертей, последнего марша на танках.

Еще отсчитал — это, с кривизной, кольцо огромного, долгого года той бестолковой любви, метаний...

VI

В Лазенках мы остановились у старого знакомого Андриана. Изба была полна детей. Хозяин нянчил младшего своего внука, седьмого. Мы сидели, пили молоко. Андриан так расспрашивал Василия Ивановича, что вскоре и я знал, что здесь, в этой деревне, Василий Иванович учительствует почти сорок лет. В сущности, он никуда отсюда не выезжал, кроме как на учебу в институт. В этой деревне, в этой школе, в этом доме прошла его жизнь. И дочери его тоже учительствуют.

Василий Иванович был худенький, застенчивый, и отвечал он больше мимикой, чем голосом. Невозможно было представить его на трибуне, в кабинете начальни-

ка, руководителем. Вот с детьми или в поле, на речке — тут он вписывался.

Когда-то мне казалось: чем больше я езжу, тем больше вижу; чем больше стран вижу, тем больше узнаю мир. Казалось, что путешествия обогащают ум, сердце, что новые города — это новые впечатления, новые мысли, что никогда не живешь так полно, как путешествуя.

Поначалу так и было. Преимущества жизни подвижной казались мне бесспорными. Я жалел людей, которые не были в Сибири, не видели Курилы. И они жалели себя и завидовали мне. Однако, слушая Василия Ивановича, я думал о преимуществах его жизни. Мысль эта явилась не впервые. Я думал об этом в Японии, в саду камней. Неподвижность — тоже способ познания мира. Японец, сидящий в саду камней, среди неподвижного, неизменного сада, погружается в глубины своей души, может ощутить ее. Смена впечатлений происходит не только от меняющегося пейзажа. Неподвижность окружающего, постоянство позволяет пристально взглядеться в него. Через камень можно увидеть горы, целые хребты.

В огороде Василий Иванович угостил нас яблоками. Яблоня стояла тяжелая, обвислая от урожая. Лето было засушливое, и яблоня, по словам Василия Ивановича, сдвинулась поближе к колодцу. Яблони двигаются, чуть-чуть, но двигаются, и кусты смородины у него тоже двигались, корни их неизвестно как узнавали, где выкопана яма с компостом, и направлялись туда. Корни под землей рыщут...

Я завидовал его умению видеть эти незаметные движения. Он жил вглубь, а не вширь. В своей деревне он мог чувствовать всю страну, на огородных грядках ему открывалась Природа. В том, что окружило его, в этих нескольких сотках огорода, среди нескольких десятков школьников, содержалось, оказывается, все многообразие мира, бесконечно малое становилось бесконечно большим. Становилось не само по себе, а раскрывалось его трудом и наблюдательностью. При такой сосредоточенной жизни человек ближе к себе и ко всему человечеству. Он меньше истребляет и больше дает. «Истребители» — это термин Андриана, замечательного, но никому не известного философа нашего времени. С ним интересно не спорить, а интересно слушать его заблуждения. Потому что самое ценное у него не правота, а заблуждения.

— Мы, брат, не столько потребляем, сколько истреб-

ляем. Истребители жратвы, питья, промтоваров. Истребляем больше, чем нашему организму положено: ведь только человек, единственное существо в природе, страдает ожирением... У человека, единственного в Природе,— нет меры. Мы единственные — безвкусны. Мы — истребители живого, природы, времени, часто безо всякого следа в смысле полезных результатов. Возьмем книги, ведь часто мы читаем их не для того, чтобы возбудить свою мысль, а для того, чтобы не думать, следовательно, истребляем и время, и саму книгу, да еще мысль. Отвлечься! Слышал такое словечко? Ты, писатель, должен вдумываться в слова. От чего, спрашивается, отвлечься? От себя! От своих переживаний, мыслей! Будто уж так много у нас этих мыслей. Фактически только и делаем, что отвлекаемся. Мыслей давно нет, а все отвлекаемся. Боимся, как бы не начать думать. Одно слово — истребители...

Действительно, подумал я, мы как-то стараемся избегать переживаний — внутренних, идущих от недовольства собою, от тоски неведь по чему. Мы натренировались избавляться от них, считая это блажью, мутью, результатом высокого давления, плохой погоды, усталости. Что угодно, только не томление души! Придавить так называемую душу каблуком, чтобы не дымила, ее вообще нет, не существует, а если есть, то лучше, чтоб ее не было...

VII

А если не искать утешения, думал я, не бежать от тоски и мучений? Может, это оживит воспоминания? Человеку нужно все — и тоска, и страх, и скука. Вообще все, что есть в природе, все это нужно. И любые животные нужны, и гроза, и василек, и даже вечная мерзлота.

Отец показывал мне, как нужны лесу пни, старые, трухлявые пни, где живут всякие жучки и букашки.

Понимал ли он лес? Не знаю, слишком мало я вникал в его жизнь. Но пользоваться лесом он старался очень осторожно. Живицу, например, гнать, он считал, надо бережно, как корову доить. Отношение у него было не к дереву, а к лесу целиком. Были леса, которые он любил, а были нелюбимые...

Между прочим, почему-то любил он совершенно неделовую, нетоварную осину. Самое легкое дерево в наших

лесах и самое дешевое, что и на дрова не шло. Зато делали из осины лучшую дранку, я помню, с каким трудом отец налаживал драночные станки в колхозе, да еще хотел наладить рогожное производство из молодой осины.

Дранка, щепа, клепка... И сразу посыпались вразнобой отцовские слова: накат, баланс, еловый, слипер, рейка, швырок, подтоварник, грядки. Слова означали разные сорта леса, никогда и нигде больше ни по какому поводу я не слышал их, они сохранились как бы в том, детском виде: баланс — обструганная, окоренная коротышка, розоватая, с нежно-пленочными остатками кожицы; пропс — вот этого не помню, зато помню горбыли, удобные для наших мальчишечьих построек, и рейки — длинные, ломкие, которыми мы сражались. Кряжи, шпалы, крючки, капбалка. Эти удивительные слова, то красивые, то некрасивые, произносились на лесобирже, где отец ходил с деревянным метром в руке, а в лесу он был с рулеткой, и там были другие слова — живица, сеянцы, делянка, бонитет. Были волшебные слова, которыми он заставлял деревья расти быстрее или же лечил их: он шел и выстукивал и выслушивал их на ходу, как врач, а иногда останавливался и слушал, как они дышат. Он по срезу рассказывал жизнь дерева, когда была сушь, когда угнетали соседи, казалось, он знал все, что творилось в этом лесу давно, еще до революции и до его рождения. А каким он был сам? О чем мечтал, чего добивался, что думал? Воспитывал меня, а как, каким образом? Ведь помню, что не бил и не задаривал. Что-то говорил, находил какие-то слова, больше же всего показывал работу. В лес брал, на лесосеки и дома работал, графил ведомости, вычислял прирост леса, кубатуру.

Вот линейку его помню, лиловые копирки, карандаши, резинку — незначачие эти мелочи, они зачем-то сохранились и пребывают во мне.

Внешнюю сторону жизни я запомнил лучше — не потому ли, что на нее больше внимания обращал? А состояние души, внутренний мир проходили как-то мимо меня, не вызывали интереса — почему?

Мальчик Алеша Пешков в «Детстве» Горького рассказывает о множестве людей, их десятки и десятки, и каждый запомнился ему и словечками, и философией своей, единственностью своей натуры. Алеша с ребячьей точностью помнит красильные чаны и запахи краски, но это попутно. И у Толстого в «Детстве» главное тоже — духов-

ное наполнение, образы людские во всех особенностях их внутреннего мира. Все это не сочиненное, а сохраненное. В моей же памяти осталось от каждого мало — чисто внешнее. Люди различались главным образом внешне, служебно — один прораб, другой пильщик, — говорили они на разные голоса, но одними и теми же словами, и, может, от этого казалось мне, что и в душе у этих людей все устроено одинаково и отец мой хотя и добрее остальных, но, наверное, с той же начинкой. Как в анатомическом атласе, который был у моей старшей сестры и который мне иногда позволяли смотреть. Там был изображен человек, его можно было разъять, отгибая сперва кожные покровы, тогда обнажались мышцы, потом отогнуть мышцы, открывался желудок, кишки, сердце, легкие. Все это хоть и бумажное, но было раскрашено, извивы лиловых кишок можно было приподнять, открыть сердце, почки... С трудом, неохотно, но я все же усвоил, что так, одинаково, устроен внутри каждый человек. Разнятся люди лишь ростом, походкой, цветом волос и глаз, то есть снаружи. Почему-то люди не запоминались мне своими идеями, необычными дерзкими мыслями. Они слились в неразличимую массу, прикрытая разница увиделась куда позже.

Иногда мне кажется, что человек — как песочные часы. Природа ставит нас, чтобы отмерить какие-то миги истории. Сам я состою из тех же песчинок, которые струятся, падают через меня. Бывает — и с годами все чаще, — что я слышу этот шуршащий ток времени, уносящий мою жизнь, мое «я», ощущаю временное, быстро тающее свое состояние, краткость пребывания на земле.

Вообразите фильм, где вся жизнь от рождения до смерти прокручивается за сеанс. Полтора часа. Значительные, но краткие миги проскакивают, видно лишь наиболее длительное, долгодействующее в жизни: рост, работа, болезни, сон... Фильм, подобный научно-популярным лентам о росте хлебного колоса или о превращении личинки.

Можно вообразить фильм с еще большим захватом времени, снятый несколькими — многими — поколениями операторов, скажем, о судьбе маленького российского городка: как появляются, ветшают и рушатся его дома, как городок растет, меняется, вокруг него тают и вновь появляются леса. Жизнь отдельных людей в этом масштабе вспыхивает и гаснет сигнальными огнями, смысл

которых неясен, хотя может и обнаружиться при таком взгляде издалека.

Возьмите, к примеру, ту же Старую Руссу. Допустим, с десятого или одиннадцатого веков. И представьте этот фильм. Как нападали на город то половцы, то литовцы да ливонцы, то свои — соседние удельные князья. Город этот всегда был мал, малочисленны были его дружины, они защищались, как могли, и гибли под напором тысячных ратей пришельцев. Наводнения разоряли город, нападала моровая язва, уничтожая всех подряд без различия звания и возраста, уцелевшие разбегались, так что город пустел на много лет и «там жили и плодились дикие звери». Доставалось городу от пожаров, от засухи. Голод обрушивался часто и страшно, выкашивая одним махом тысячи горожан. Посвист этой косы не различить в мелькании кадров, разве что увиделось бы на минуту голодное десятилетие с 1446 по 1456 год, когда люди питались чем попало, дичали, продавали себя в рабство.

Впрочем, историю той жизни мы знаем больше по войнам и всяческим катастрофам. Историки упоминали о Руссе лишь попутно, в связи с историей Новгорода или московских походов и завоеваний. Сама по себе трудовая жизнь как бы утекала сквозь сита исторических летописей.

Разоренный, сожженный, выморочный город снова возрождался, начинал варить соль на своих соленых озерах, дубить, выделывать кожи, строить ладьи и корабли. И снова приходят воины: приходят литовские воеводы, польские, шведские, снова жгут, грабят, убивают. То Русса оказывалась на пути к Новгороду, то на пути врагов в Москву, она защищалась, она защищала. Войны, эпидемии и пожары воспринимались как бедствия стихийные, наиболее же тяжелый след в народной душе оставляли события иные, покушавшиеся изменить естественный характер жизни, такие события, как устройство аракчеевских поселений. Зверское самодурство, насильственность, лицемерие, лживость вызвали в тридцатые годы прошлого века бунты, слепые и яростные.

Может, оттого Октябрь пришел в Старую Руссу так естественно и Советская власть укрепилась сразу и прочно.

Однако если представить себе фильм в масштабе времени десять веков (тысяча лет) за полтора часа, то мы увидели бы не пожары, не войны, а упорный, постоянный

труд быстро сменяющихся поколений, которые строили все быстрее и ловче дома, прокладывали дороги, мотыжили землю, растили яблони, делали машины, обставляли свою жизнь разумнее, спасая своих детей от голода и мора. Звон мечей заглушался непрерывным стуком молотков, топоров, цепов, скрипом колес. Неизменным оказывался труд. Он составлял основу жизни. Что бы ни происходило, а каменщик брался снова месить глину и разводить в яме известь.

Песчинка песочных часов остается такой же. Человек тоже состоит из таких вечных частиц материи, в которых словно была заложена самой природой потребность труда и счастья.

Казалось, частицы эти передаются из века в век, до нас они составляли других людей, и, может, поэтому иногда странное чувство охватывает нас: как будто все это было уже когда-то с нами, что-то похожее, какой-то древний опыт, то, что называют зовом предков или голо-сом крови.

Где находится память — неизвестно. Если она не сосредоточена в каком-то специальном органе памяти, а разлита по всему мозгу, а может, и по всему организму, то, значит, каждый орган как бы помнит. Есть память мышц, ног, память обоняния и вкуса. А может, есть память и у частиц? Не знаю, на каком уровне существует память, но ведь что, если есть память клеток, или молекул, или атомов? Что, если наша память складывается из их памяти, наше «я» складывается из неповторимого сочетания их бесчисленных «я»?

Не торопясь я шел по набережной.

От Перерытицы исходило тепло перегретой воды. На крутых травяных берегах редко стояли рыболовы, а чаще одевались и раздевались купальщики. Кто спешил окунуться по дороге с работы, кто, уже отдохнув, захватив полотенце, выбирал местечко и не торопясь, со вкусом входил в воду. Дневной тяжелый зной спал. Наступал блаженный в это жаркое лето вечерний промежуток, когда цветы раскрывались, оживала листва, люди показывались на улице. Из тени появлялись собаки, кошки, куры, всякая живность спешила насладиться короткими часами предзакатной свежести. Собаки бежали по тенистой аллее, тормозя для сбора информации у подножия каж-

дой из старых лип, обмоченных многими поколениями дворняг.

Голые люди стояли посредине Перерытицы по пояс в коричневой воде, неподвижно, как белые статуи.

Все отдыхало. Замерло, словно задумалось о главном в своей жизни. Передышка после потной долгой дневной жары была наполнена покоем, такой легкостью воздуха, что собственная голова казалась воздушным шаром, легко плывущим в небе. Человек растворялся, он становился частью реки, земли, зелени. Ничего другого и не надо было, так мудры и полноценны были эти минуты. Чтобы их ощутить, не требовалось ни шезлонгов, ни красивых купальников, ни махровых халатов.

Набережная была полна утихшего солнца, теплого, как сено. Камни мостовой остывали. Косые лучи подпирали деревья, высвечивали сквозь окна дальние углы комнат.

Деревянные дома с мезонинами, с фальшивыми балкончиками (все послевоенной постройки) выглядели примерно так же, как и до войны. Здесь всегда стояли такие дома, одно- и двухэтажные, но нынче во дворах блестели «Жигули», мотоциклы, на крышах высились телевизионные антенны. Это не мешало мне, я вполне мог представить, что иду на довоенный курорт, где у эстрады сидит мать, слушая оркестр. Воскресенский собор уцелел, все так же величаво возвышаясь над излучиной реки. В городе, даже разрушенном так, как Старая Русса, каким-то необъяснимым образом сохраняются его прежние черты, особый дух, природная физиономия, которая складывается из расположения его площадей, вокзалов, набережных и еще каких-то неизвестных составляющих. Так было в Минске, Пскове, Ленинграде.

Дом, где мы жили, на улице Володарского, сгорел, сгорело и лесничество с большим запущенным садом, местом наших игр. Вся улица была разрушена. Осталось в целости на весь город несколько домов, всего четыре, как утверждает Георгий Иванович, в том числе и дом Достоевского.

Когда я приехал сюда в середине пятидесятых годов, я побывал у этого дома. Там помещалась школа и, кажется, библиотека. Пришел я вот так же, под вечер, на лавке у дома сидели старухи. В платках, в кофтах со сборочками на груди. Кофты считались тогда старушечьими, а нынче такие же стали наимоднейшими. Старухи

помнили Анну Григорьевну Достоевскую, рассказали мне, как она приезжала после смерти мужа, хлопотала вместе с тамошним священником Румянцевым насчет ремонта дома. Слушал я их вполуха. Я понимал, что, во-первых, дело это не мое, на то есть литературоведы, специалисты, они запишут, во-вторых, успеется. Две эти самые злобредные отговорки подводили меня много раз. Так я недоговорил с Андреем Платоновым, с Олешей, с Шульгиным, с человеком, который знал Плеханова, Ленина, Мартова. Не записал своих встреч с Пителимом Сорокиным, Фадеевым, Сарьяном, Борисом Пастернаком, дядей Сашей, монтером Второй ГЭС. Успеется, думал я, когда-нибудь посидим, договорим, специально запишем.

У отца от Старой Руссы сохранилась хрустальная пирамидка. Внутри нее изображена была белая громада Воскресенского собора, река, розовеющее закатное небо, все это, выложенное перламутром, радужно переливалось, особенно если слегка повертеть пирамидку в руках. Изготовлена она была, кажется, к семисотпятидесятилетию города, несколько экземпляров, и каким-то чудом уцелела до наших дней, несмотря на войну, на наши семейные скитания и на мои мальчишеские руки, переломавшие бог знает сколько прекрасных вещей.

После смерти отца я поставил ее себе на стол и часто смотрел в эту хрустальную глубину. А потом однажды под наплывом непонятного ныне чувства подарил ее старорусскому музею. Его создавал тогда Георгий Иванович Смирнов, и вместе с этой пирамидкой я преподнес, тоже отцовскую, хорошо сохранившуюся толстую книгу М. И. Полянского «Историко-статистический очерк г. Старой Руссы», изданную в 1885 году. Староруссцы еще помнят автора, Марка Ивановича, инженера-строителя. Писатель Владислав Михайлович Глинка рассказывал мне, как слушал его на технических курсах в Троицкой школе в 1919 году. На Полянском был перешитый мундир генерал-майора инженерных войск, в чине которого он вышел в отставку в 1912 году. Книга его — уникальное и занятное произведение — одно из чудес российской статистики, из нее можно узнать о Старой Руссе все: про скот, про дома, про эпидемии, про купцов, сектантов, какие улицы в городе были мощеными, когда какая вымощена, на какую ширину и длину, какие были лавки, чем

торговали, как менялось число жителей по сословиям. Там есть история всех церквей, монастырей, есть общественная жизнь города. Колонки бесстрастных цифр прерываются иногда горькими размышлениями автора:

«Прочие периодические издания, считая вместе ежемесячные журналы и газеты, в течение 1884 года были получены в количестве 100 655 номеров, или немногим более 275 экземпляров в день. Цифра эта может быть довольно точным масштабом для составления понятия о современной жизни города. В городе живет 60 чиновников, 60 офицеров, до 40 духовных лиц и 15 учителей, таким образом на 12-тысячное коренное население остается не более 100 экземпляров периодических изданий¹. Словом, город живет своими торговыми, желудочными, эротическими и всякими другими интересами, кроме умственных. Исключение представляет самая ничтожная часть населения.

Расходятся деньги на обстановку, мебель, на наряды, но расход на книги, журналы и газеты составляет совершенно случайную часть бюджета. Очевидно, что умственная пища для большей части жителей не более как дилетантизм и непозволительная роскошь. Книжного магазина в городе не имеется: необходимые для детей учебные книги продаются там же, где и скипидар».

Я шел и вспоминал эту книгу, хрустальную пирамидку, вспоминал гостиный двор, которого уже нет, старорусских ребят на площади. Вспоминались потери. Есть дни потерь, так же как дни удач, дни обретений. Дни, когда прожитое открывается разом, с ошибками самыми нелепейшими, видно, как собственная жизнь двумя своими краями касается небытия, точно шаткий мосток между вечностью, что была до рождения, и той вечностью, что протянется после смерти. Выпадают неизвестно зачем дни такой удручающей видимости.

¹ Полянский считает, что лица указанных сословий выписывали хотя бы по одному экземпляру журналов и газет на человека.

Окна в доме Достоевского были занавешены. На всякий случай я толкнул калитку. Лязгнув щеколдой, она отворилась. Я вошел в чисто подметенный дворик. Вдоль забора росли цветы. Дверь в музей была закрыта. Рядом я увидел другую дверь. Потянул, вошел в сени. В доме было тихо.

— Есть кто? — крикнул я.

Никто не ответил. Деревянная лестница вела на второй этаж. Там, наверху, висели написанные маслом портреты. Они изображали четырех братьев Карамазовых, Федора Павловича Карамазова и самого Достоевского. Наверху было светло от вечернего солнца. Что-то поскрипывало, дом устраивался, укладывался на ночь. Я не заметил, как на верхней площадке лестницы появился человек и тотчас, не всматриваясь в сумрак прихожей, а лишь убедясь, что я тут, *уже тут*, сверлящим голосом назвал меня по имени-отчеству и нетерпеливо позвал наверх, к себе.

Чудом было и то, что появился именно он, Георгий Иванович, может, единственный, кто мне был сейчас кстати, и то, что он не удивился моему приходу в неурочный час, да еще после двухлетнего отсутствия. Ни о чем меня не расспрашивая, ничего не показывая, он с ходу стал доказывать мне, что религиозность Достоевского совсем особая, что ему удалось установить связи Достоевского с творчеством Данте, что вопрос вопросов — церковность Достоевского.

— Почему Христос ничего не ответил Великому инквизитору, а поцеловал его? И заметьте — тихо поцеловал? А? Что этим хотел Достоевский сказать? А сколько мальчиков слушало речь Алеши? Не знаете. Неудивительно, мне на это никто из специалистов не ответил. Цифирку эту Достоевский упомянул вроде бы мимоходом, так, бросил словечко, только у него ничего не говорится зря, все имеет глубочайший смысл. Вникнуть надо! Да-с!

Мы сидели в комнате, где сто лет назад Федор Михайлович писал «Братьев Карамазовых». Пока, до реконструкции музея, в этом кабинете все собиралось, сюда все сносились, здесь обитал Георгий Иванович. От кабинета Достоевского не сохранилось здесь никаких предметов. Комната была большая, с маленьким стареньким

письменным столом, с кушеткой. На стене висел портрет Михаила Михайловича Бахтина — любимца Георгия Ивановича, наилучшего литературоведа из всех, писавших о Достоевском. Лежали старые книги, среди них «Четьи-Минеи» — толстые книги с житиями святых. Я впервые видел их, святые шли в том порядке, в каком праздновали их память. Николин день, петров день, ильин день... После ильина запрещали купаться...

Георгий Иванович говорил быстро-быстро, словно опасаясь, что я его прерву или уйду, прикуривал от окурка следующую папиросу, бегал взад-вперед по просторной, уютной от солнца комнате. Иногда он поднимал правую руку, и голос его взмывал:

— Нет, инквизитор — это соприкосновение миров! Он в Севилье сжигал еретиков. А Митеньку Карамазова судили в Скотопригоньевске!

Он наклонился ко мне, кричал, призывая архистратига Михаила против хулителей Федора Михайловича, тех, кто спекулирует на его имени, на его романах, кто уродует их в кинофильмах. Он клялся не допустить извратителей на порог этого дома.

— Не кровью пойдут мальчики за Алешей обновлять мир, а совестью! — яростно спорил он с кем-то неизвестным мне. — Христос — это же не бог, это истина!

Голос его гремел, отдавался в объемах пустынного дома. Клубы дыма вырывались из его рта вместе с гневными и восторженными возгласами. Вельзевул, жилистый, коричнево-облупленный, он кипел, ярился от переполнявших его чувств. Мысль его прыгала, я не успевал следить за ней, лишь иногда ухватывал неожиданную логику отрывочных фраз.

За время нашей разлуки он крепко поднаторел, оснастился не только в литературе о Достоевском, но и в том, что у нас знают плохо, — в религиозной литературе. Он изучил множество апокрифов, сказаний, трудов по истории церкви, нужных для понимания взглядов Достоевского. Тут еще сошлось и то, что он, как никто другой, знал историю Старой Руссы, недаром он организовал в свое время и краеведческий музей, и музей истории старорусского курорта. Он показывал мне экспонаты нового, пока еще бедного музея Достоевского, где самым ценным экспонатом был этот дом, в котором Достоевский прожил семь лет, может наиболее счастливых в своей жизни. За время житья в Петербурге Достоевский сме-

нил около двадцати квартир. А сколько было квартир казенных — на каторге, в ссылке, в Петропавловской крепости. За границей тоже почему-то переезжал из отеля в отель, снимал комнаты, пансионаты. Вел жизнь скитальца. Нигде у него не было дома, дома оседло-постоянного, своего. Впервые в Старой Руссе такой дом образовался. Достоевскому понравился этот уездный городок, особый, со своей физиономией — с курортом, солеными озерами, со своей тишиной и бойкостью, один из самых живописных уездных городков России.

Все близлежащие улицы, переулки стали ныне тоже частью музея-мемориала. Георгий Иванович рассказывал о своих захватнических хлопотах и выкрикивал попреки в адрес московского музея, не желающего отдать принадлежащие старорусскому дому экспонаты; гордился тем, что владеет архивом внука Достоевского, Андрея Федоровича. И еще кое-что имеет!

Я любовался его пылкостью. Роговые очки его горячо взблескивали, черные глаза пронизывали меня испытующе — не грешен ли я чем перед памятью Достоевского? Он не пощадил бы меня и нашу старую дружбу. Недавний insult нисколько не испугал его, а сделал еще страшнее.

После сдержанно-расчетливых молодых наших научных чиновников, которые равнодушны ко всему, кроме своих дел, после уютно-дозволенных отдушин-хобби в виде охоты или рыбалки, после благоразумных литературоведов, подсчитывающих печатные работы и оплачиваемые листы, после огородников, любителей-садоводов, подписчиков на собрания сочинений, болельщиков футбола, туристов с роскошными цветными палатками, автомобилистов, филателистов, городошников он производил впечатление нездешнего и счастливого безумца. Я завидовал ему, его возвышенной страсти, которая не уживалась ни с каким хобби. Жить ему осталось немного, как он считал, но, во всяком случае, он должен дожить до столетия со дня смерти Достоевского. Такой срок он поставил себе.

IX

Темнело, когда мы очутились на Дмитриевской улице. Дома у меня было несколько дореволюционных открыток с этой Дмитриевской. Ее почему-то любили снимать

на почтовые открытки. Старой Руссе вообще повезло на открытки: черно-белые, цветные, их десятки, а может, и сотни — с видами курорта, пожарного депо, монастыря, Введенской церкви, площади, но больше всего Дмитриевской улицы.

Ничего примечательного в ней не было. Но Георгий Иванович показал мне на нее, как показывали в Лондоне на Пикадилли или Даунинг-стрит или в Нью-Йорке на Уолл-стрит. Эта улица была связана с действием романа «Братья Карамазовы». Он показывал забор сада, через который перелезла Лизавета, улицы, по которым бежал Митя в день убийства отца. Мы прошли по этому маршруту, оказывается, точно указанному в романе, сделали петлю, какую сделал Митя, прежде чем перебежал по мосту речку Смердящую, или нынешнюю Малашку. Показал двухэтажный гайдебуровский дом, который тоже участвует в романе, и объяснил, почему он участвует в виде одноэтажного домишки. А здесь место, где сидел в засаде Митя Карамазов, высматривая Грушеньку, вот здесь и сама Грушенька, то есть Грушенька Меншова, шла по набережной навстречу Достоевскому. Начальник же коммунального отдела товарищ Л. снес мостик через Малашку. Товарищу Л. было безразлично, какой из братьев Карамазовых и зачем бежал по этому мостику, тем более что все это выдумки писателя, хотя он и состоит классиком. Товарищ Л. был реалист: роман — это сочинение, следовательно, не факт, а фантазия. Если бы сам Достоевский или любой другой классик ценил этот мостик, бывал на нем, встречался со своими единомышленниками, что было бы подтверждено документами, тогда и спору нет, мостик стал бы исторической ценностью, поддерживался и охранялся. Без этого мостик как таковой не представляет ныне пешеходной необходимости, и незачем из-за него поднимать шум-гам.

Чем мог Георгий Иванович, директор едва народившегося музея, воздействовать на городского начальника? Бумаги, докладные? Писал. К ним притерпелись. В конце пути они попадали к Л. с надписями неуверенными, озадаченными: «Надо помочь», «Разберитесь», «Внести в план». У товарища Л. хватало и без этого мостика горящих точек. Он не был ни рутинером, ни мракобесом, наоборот, именно потому, что он пекся о городских нуждах, он не хотел тратить скудные коммунальные средства на

эту непонятную ему работу, невыигрышную, ненасущную...

Однако Георгий Иванович был не только директором, по совместительству он был еще и экскурсоводом, а эта совсем уже маленькая должность, оказалось, обладает некой возможностью: Георгий Иванович стал рассказывать группам, которые он водил по памятным местам Достоевского, что вот здесь был мостик, по которому бежал Митя Карамазов, к сожалению, мостик сломан товарищем Л., не желающим его восстановить... В каждой группе находились возмущенные, из них один-два доводили свое возмущение до дела — писали жалобы на товарища Л. Письма шли во все инстанции. Вскоре Л. взмолился: «За что ты меня позоришь перед людьми?» Мостик был восстановлен. При этом вполне возможно, что товарищ Л. так и не понял до конца смысла стараний Георгия Ивановича, ибо не так-то просто поверить в такую реальность жизни героев романа.

Несколько лет Георгий Иванович потратил, составляя карту происходящего в романе «Братья Карамазовы», разыскивая места, упомянутые в тексте, сличал и устанавливал, где кто жил, какой именно дом описан. Он располагал действие романа в городе тех лет, расшифровывал, выяснял по архивным источникам, уверенный, что все должно сойтись. С трудом нашел дом Катерины Ивановны на Большой улице, сорок лет он искал дом Хохлаковой, почти разыскал, то есть определил, какой из домов это был, поскольку домов этих давно нет, нашел его фотографию. Сколько он бился с Михайловской улицей: почему Достоевский назвал ее Михайловской, когда на самом-то деле речь шла о Пятницкой улице...

Стоили ли подобные розыски таких усилий? Разве так существенно, где когда-то стоял тот или иной дом? Да ведь возможно, что Старая Русса выбрана под место действия романа «Братья Карамазовы» случайно. Жил бы Достоевский в Боровичах, может, действие происходило бы в Боровичах. Мне трудно было судить о доказательности некоторых открытий Георгия Ивановича. Так, с точки зрения научной, история о том, почему Пятницкая была названа Достоевским Михайловской, показалась мне слабо подкрепленной. Но лично для меня вся эта кропотливейшая, вроде бы ничего не определяющая работа Георгия Ивановича схожа с тем, что делал ранее и тоже по своему почину инженер Л. М. Рейнус, написав иссле-

дование «Достоевский в Старой Руссе», а в Ленинграде внук Достоевского Андрей Федорович Достоевский, определяя место действия романа «Преступление и наказание». Андрей Федорович водил меня в каморку Раскольниковова, показывал место, где Раскольников запрятал драгоценности, мы поднимались по узкой лестнице в участок к Порфирию Петровичу. С тех пор я не раз показывал найденные им дома и приезжим друзьям, и ленинградцам и даже написал про это. Так что отчасти я был подготовлен, тем более что во всех книгах о Достоевском всегда говорилось про Старую Руссу, как про место действия романа.

Владимирская церковь в Старой Руссе давно разрушена. На месте ее стоят жилые дома. Она была рубленой, деревянной, крестообразной в плане. Построена она была в начале XVII века. Во всяком случае, в 1625 году она уже значилась как церковь Владимирской божьей матери, что у реки Порусьи. Стояла она до самой войны, Георгий Иванович ее помнит. От нее до дома штабс-капитана Снегирева должно было быть, согласно роману, триста шагов. По просьбе Георгия Ивановича я шел и считал шаги и верил, и не верил, хотел, чтобы было триста, и не хотел. Уже стемнело. Свет падал из освещенных окон. Улица была без фонарей, исчезла трава, панель, улица состояла из шагов. Точно так же меня вел Андрей Федорович по Подъяческой улице в Ленинграде и мы считали шаги от дома Раскольниковова до дома его жертвы — старухи процентщицы, их должно было быть семьсот пятьдесят. Станный это был писательский прием — точно вымерять расстояния между роковыми точками, когда из этих шагов складывается самый, может, najważнейший жизненный шаг героев. Вот и сейчас навстречу мне мальчики на руках несли гроб Илюшечки...

Быстрый голос Георгия Ивановича доносился из тьмы, то взлетая, то куда-то теряясь, как будто он там отбивался от множества спорщиков. Беспорядочность его речи имела свой смысл — он свободно тасовал десятилетия, мимолетное и вечное. Выдумка и реальность сплетались в тугую косу. Звездный свет вечности падал на мелкие подробности жизни, и от этого размеры и смысл вещей смещались. Время, казалось, ничего не могло поделаться с человеческими страстями. Литература поселялась в здеш-

них кварталах, дома обретали хозяев, которые на самом-то деле никогда в них не жили и не были занесены ни в какие списки и тем не менее были куда реальнее, чем те, давно умершие, исчезнувшие из памяти обыватели уездного городка.

«Наконец он разыскал в Озерной улице дом мещанки Калмыковой, ветхий домишко, перекосившийся, всего в три окна на улицу, с грязным двором...» Там живет штабс-капитан Снегирев. Кто жил там в действительности, неизвестно, литературоведов не занимают фактические жильцы... И получалось, что спустя сто лет для нас реальными стали не те люди, что здесь жили, а те, что были рождены фантазией писателя, мы знаем о них куда больше, представляем во всех подробностях их быта. Придуманное стало явью, имеющей плоть, историю, адреса. Чего стоила одна только фраза, прозвучавшая сейчас над моим ухом: «Здесь стоял дом, где снимал квартиру штабс-капитан Снегирев».

Ровно триста шагов. Мы стояли на перекрестке. Сюда пришел Алеша с деньгами возместить бесчестие, причиненное его братом Митей.

Что же это такое — природа, реальность жизни, думал я, если гений может создать человека более реального, чем натуральный человек, вдохнуть в него жизнь, наделить его бессмертием? Да что там человека, — целый мир может создать, потому что те же «Братья Карамазовы» — это целый мир, эпос России.

Сегодня утром Андриан говорил мне:

— Дай ученым задание — создать василек, обыкновенный цветочек василек. Пусть организуют для этого целый институт. Десять лет будут работать и не смогут создать. Миллиарды потратят и не то что цветок — лопух, крапиву не создадут. А художник напишет — и будет василек. Нет, брат, искусство сильнее науки!

Х

Переулок, где спала Лизавета, прямо в крапиве спала и лопушнике, тоже имеется в полной сохранности, с той же крапивой и большими лопухами.

Однажды мэр города услышал на симпозиуме, как цитируют из романа описание этого переулка: «По обе стороны переулка шел плетень, за которым тянулись огороды прилежащих домов; переулок же выходил на мо-

можно сказать, исторический, но не менее естественным был и гнев Георгия Ивановича, грудью вставшего на защиту своих лопушков. Надо отдать должное мэру: человек умный, он вскоре поднял руки вверх, уяснив, что переулок этот ценен именно в таком неблагоустроенном, натуральном виде, что, между прочим, для психологии любого мэра принять не так-то легко.

Бурьян яростно рос по переулку, поощряемый отныне городскими властями. Мне вдруг вспомнился Мельбурн, университет, преподаватели-слависты, наш разговор о Достоевском: они знали про Старую Руссу, изучали места действия, значит, и этот переулок представляли, где, может, был зачат Смердяков. Вспомнились разговоры о Достоевском в университетах Стокгольма, Токио, Глазго. Всюду изучали Достоевского, как, может, никого из любых других писателей, во всем мире читали и читают про этот лопух вдоль плетня, пишут исследования про роман, исследования, в которых есть и про этот город, и про эти места. И будут еще долго после нас писать и предлагать свои толкования, решать загадки, поставленные романом. Я вдруг ощутил как бы всемирную историчность этого переулочка и набережной этой маленькой, нигде не обозначенной речки Перерытицы. Места, известные всем читателям Достоевского. Не тем, что он жил тут, а прежде всего через героев романа. Отчасти я даже был смущен нахальством этой своей мысли, не так-то легко было свыкнуться с тем, что кружение этих деревянных улочек, мостиков, скрипучих ворот, зацветших ряской канав, привычных мне с детства, пользуется славой подобно лондонской Беккер-стрит, где жил Шерлок Холмс, или набережной Невы, где гулял Евгений Онегин. И мемориал этот единственный в своем роде, поразительный, как если бы, допустим, в Испании сохранились бы ветряная мельница, трактир и прочие места скитаний Дон Кихота.

Как будто ни война, ни время не были властны над этими местами, словно бы гений Достоевского охранил их, вызвал вновь из небытия. Они, не в пример моим Кислицам, существовали независимо от обстоятельств жизни. Конечно, это было не совсем так, я как бы вывел за скобки и энтузиазм Георгия Ивановича, и все, что делали городские власти, чтобы восстановить этот мемориал. Но ведь и усилия этих людей были тоже воспламенены силою романов Достоевского, удивительным воз-

действием, какое оказывает его творчество на каждого, кто так или иначе соприкасается с ним.

Не раз я замечал странности этого влияния. Именно странности. Мы недолюбливаем это понятие, стараемся объяснить странное, растворить его научными реактивами, изгнать из обихода — примерно так, как в старину изгоняли бесов, — мы заменяем его «стечением обстоятельств», заклиная теорией вероятности, интуицией. Вместо «судьбы» мы говорим «случайность», «склонность». И тем не менее... Георгий Иванович родился ровно через сто лет после рождения Достоевского в доме Гайдебуровых, напротив дома Достоевского. И в школе, где он преподавал историю, и на войне, командуя батареей, он мечтал заняться Достоевским. Всякий раз возникали то более срочные, то более нужные дела, но он настойчиво готовил себя, верил, что рано или поздно придет в дом Достоевского. Он как бы все примечал впрок для будущей работы. Так заметил он камень возле жилища Снегирева, оказывается, это не выдумка Достоевского, лежал здесь такой камень, у которого Алеша обратился с речью к мальчикам. Несколько лет назад еще лежал, так ведь очередные начальники подкопали и уволокли в порядке благоустройства, недоглядел; но ничего, он вызнал, куда именно свезли, и добился, чтобы вернули его на место. Ему нужен был тот самый камень, никакой другой. Если б это был не камень, а гора, он гору вернул бы, вера его, убежденность действительно могут двигать горами.

XI

Где живут герои моих книг, в каких домах, на каких улицах? Мне никогда не приходило в голову подыскивать им адреса, поселять их в реальных квартирах, проследить маршруты их прогулок, находить в городе места их встреч. Разве что случайно, попутно выпадало упомянуть, допустим, Петропавловскую крепость или Литейный проспект.

У Достоевского же тщательность описания касается не только города, но и обстановки жилья, описание позволяет прямо-таки воссоздать ее в точности, как на рисунке, со всеми подробностями расположения и качества предметов. Вот, допустим, жилье того же штабс-капитана Снегирева:

«Алеша отворил тогда дверь и шагнул через порог. Он очутился в избе хотя и довольно просторной, но чрезвычайно загроможденной и людьми, и всяким домашним скарбом. Налево была большая русская печь. От печи к левому окну через всю комнату была протянута веревка, на которой было развешано разное тряпье. По обеим стенам налево и направо помещалось по кровати, покрытых вязаными одеялами. На одной из них, на левой, была воздвигнута горка из четырех ситцевых подушек, одна другой меньше. На другой же кровати, справа, виднелась лишь одна, очень маленькая подушечка. Далее в переднем углу было небольшое место, отгороженное занавеской или простыней, тоже перекинутою через веревку, протянутую поперек угла. За этой занавеской тоже примечалась сбоку устроенная на лавке и на приставленном к ней стуле постель. Простой деревянный четырехугольный мужицкий стол был отодвинут из переднего угла к срединному окошку. Все три окна, каждое в четыре мелкие, зеленые, заплесневевшие стекла, были очень тусклы и наглухо заперты, так что в комнате было довольно душно и не так светло. На столе стояла сковорода с остатками глазной яичницы, лежал недоеденный ломоть хлеба и сверх того находился полуштоф со слабыми остатками земных благ лишь на донышке».

Согласно этому описанию можно изготовить макет, декорацию, план, картину. Больше ничего и не надо, все сведения имеются. Достоевский не часто прибегает к столь подробному изображению. Здесь оно подготовлено ходом событий, состоянием Алеши, его пристальный взгляд должен замечать и фиксировать все эти вещи, и, в свою очередь, то, что он видит бедность, многое определяет в его состоянии, действиях.

С бесстрашием фотообъектива отмечают бытовые детали, казалось бы заурядные для того времени, примелькавшиеся, незамечаемые: «...горка из четырех ситцевых подушек, одна другой меньше». Все равно что в нынешней квартире упомянуть электрический счетчик, стены, оклеенные бумажными обоями. В том-то и дело, что не совсем так. Достоевский производит тщательный отбор — и ситцевые подушки, и окна в четыре стекла нужны ему для социальной, для семейной характеристики. Перед нами бедность типичная, но и бедность индивидуальная — семьи отставного штабс-капитана, Полвека

назад детали эти прочитывались, вероятно, иначе, чем нынешними читателями. Сегодня они обрели еще ценность историческую. И в нашем быту вещи меняются, они отмечают конкретное время, уровень жизни, среду, поколение, моду... Мы почему-то неохотно и редко изображаем предметность нашего бытия. Пренебрегаем описанием современных гастрономов, столовых, вида денег, посуды, обуви, мебели, тех же кроватей. Сегодняшние герои большей частью живут среди вещей обезличенных, едят за неким столом некий суп из некой тарелки, носят вообще спецовку, вешают ее в абстрактный шкаф, стоящий в абстрактной квартире. В русской литературе предметность описания была свойственна и Пушкину, и Гоголю, и Тургеневу. По «Евгению Онегину» можно представить, как одевались, что было модно, что вышло из моды, какие пили вина, какие книги читали в разных кругах общества, как выглядели альбомы уездных барышень, что за лошади были упряжные, верховые и как заряжали пистолеты:

... Гремит о шомпол молоток.
В граненый ствол уходят пули,
И щелкнул в первый раз курок.
Вот порох струйкой сероватой
На полку сыплется. Зубчатый,
Надежно ввинченный кремень
Взведен еще...

Или мельканье московских улиц перед глазами Татьяны, когда ее везут в Москву:

... вот уж по Тверской
Возок несется чрез ухабы,
Мелькают мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах.

ХII

Я вспомнил улицу Пестеля, где мы жили, когда приезжали в Ленинград. Улица Пестеля, бывшая Пантелеймоновская, как спрашивали ее еще не привыкшие к переименованиям питерцы, замкнутая двумя церквями:

в начале — Пантелеймоновской и в конце — Спасо-Преображенским собором.

Магазин братьев Чещуриных — молочный магазин, выложенный белым кафелем, там в деревянных кадках стояла сметана разных сортов, творог, молоко в бидонах, масла, сыры. Сами братья-нэпманы орудовали в белых фартуках с черными клеенчатыми нарукавниками. А на углу Литейного, там, где теперь кондитерская, была тоже кондитерская «Ландрин», уж не помню, частная или же кооперативная. В конце улицы, у Соляного, была булочная Филиппова. Утром я бежал туда за горячими булочками, мать посылала меня. Был еще какой-то магазин Лора. Шли по Литейному трамваи с колбасой — резиновым шлангом на задней стенке (для пневматики, что ли?). Мы за него цеплялись и ехали бесплатно. «Колбасники!» — кричали нам кондукторы. Мостовые были вымощены деревянными шашками, тротуары — плитками, ворота на ночь запирались, парадные тоже, дежурные дворники сидели у ворот, а поздно ночью уходили в свои дворничьи. У нас дворничья была в подворотне, туда был проведен звонок, дворники открывали, и отец давал за это двугривенный, а один раз у него мелочи не было, и он дал дворнику бумажку, то ли рубль, то ли червонец, и стал извиняться перед ним.

У Спасского собора стояли пушки. На самом деле собор этот назывался Преображенский всей гвардии собор, но местные прихожане звали его Спасским собором. Вокруг собора на каменных плитах высились трофейные турецкие пушки с турецкими надписями — главная радость наших детских игр. Ни у кого не было таких роскошных игрушек. Двенадцать старинных орудий на лафетах, с ядрами. Ограда тоже была сделана из пушечных стволов и цепей, на которых было так удобно качаться. У каждого двора была своя пушка, обтертая нашими штанами до бронзового блеска. Какие там гремели сражения, битвы, какие полководцы там действовали!

В вербное воскресенье на площади перед церковью устраивалась ярмарка. Крутилась обитая черным бархатом карусель. Играла шарманка. Китайцы продавали скрипучки, веера, чертиков, «тещины языки», «уйди-уйди» и «чемберленов». В других ларьках продавали пряники, длинные конфеты, обкрученные по спирали ленточками, моченые яблоки, конечно семечки, причем разных сортов — семечки жареные, сырые, тыквенные, чище-

ные. Семечки — главное удовольствие всех сборищ конца двадцатых — тридцатых годов, бедствие клубов и кино-театров. Полы, закиданные лузгой, наши непрестанно щелкающие, сплевывающие рты.

На лотках торговали маковками — асфальтового цвета ромбиками, сваренными на сахаре из мака, — постным сахаром всех цветов, мягким, вкусным, тянучками, помадками...

Куда-то они исчезли после войны, начисто исчезли все лакомства нашего детства, даже не проверишь теперь — действительно ли так это вкусно, как помнится?

А может, и хорошо, что не проверишь.

Громыхали по улице ломовые извозчики, под телегой моталось ведро, позади прикреплен номер. Ехали грузовики АМО, легковые машины «линкольн», пролетки, катились ручные тележки, шли татары — «халатники» с мешками, почему-то обязательно полосатыми, в них собирали тряпье, бутылки, кости, шли точильщики со своими точилами из разных кругов, розовых и серых, шли стеккольщики с ящиком поблескивающего зеленоватого стекла, трубочисты с черными щетками и ложками, пильщики дров — за кушаком топор, лудильщики...

Сколько их было, разного рода мастеровых! Маляры с кистями и ведерками, полотеры, измазанные коричневой своей мастикой, обойщики, печники. Я застал уже самый конец, раньше улица, наверное, была еще пестрее, но и то — как пестро и разно, красиво помнится уличная толпа 1927, даже 1930 годов, когда еще сохранялся ручной труд со всеми его невзгодами, низкой производительностью, но и с его искусностью.

Чистильщики сапог сидели на углах. Зимой они ваксили сапоги, ботинки, летом мазали белые парусиновые туфли разведенным мелом. Многие в городе зимой ходили в валенках. А по Неве мы катались на лыжах. Нева замерзала прочно и ровно, без торосов. На Неве рубили лед и возили его на санях в холодильники большими зеленовато-голубыми кубами. Зимой по городу шли лошади с санками.

А в нашем доме была часовая мастерская. За витринным стеклом сидели часовщики, вставив лупы в глаза. Помню лысоватые их головы, всегда склоненные над рассыпанными шестеренками, и рядом, в портняжной, склоненные головы женщин над швейными машинками: плиссе, гофре, закрутка...

На углу Моховой был закрытый распределитель «Красная звезда», были магазины ЛСПО, ЗРК, ОРСы, к магазинам «прикреплялись»: на «заборной книжке» ставился штамп магазина, и только там можно было «отovarиваться». Все это были слова тех лет, не собранные ни в один словарь. Заборные книжки выдавали в конторах жактов по бумажкам, которые назывались несгибайками. За квартиру платили по так называемым жировкам — жиро-приказам.

В нашем доме доживали «бывшие». Наверху жила баронесса Шталь, ниже граф Татищев, ставший у нас управдомом. Когда его называли бывшим графом, он обижался: граф — это не должность, говорил он, а порода. Не может быть — бывший доберман-пинчер. Он, кажется, был хорошим управдомом, он все знал: все подвалы, водопровод, чердаки.

Население было самое смешанное. Поселился веселый курчавый парень из Чека, звали его Илья; жил директор фабрики чернильных приборов; жили две работницы папиросной фабрики. В большие квартиры подселяли заводских. Квартиры становились коммунальными, шумными, но сохранялся еще старый уклад домовой жизни. По черной лестнице дворники таскали дрова вязанками. Платили им с вязанки. Для вязанки была мерка. По черному ходу выносили помойные ведра, ходили на чердак вешать белье, по черному в квартиры приходили цыганки гадать, появлялись печники, трубочисты, прачки... Да, ведь были прачки, одна жила у нас в доме, была во дворе прачечная, где мать сама стирала, а иногда отдавала прачке. Во дворе выбивали ковры, кололи дрова, обойщики потрошили матрасы, собирались квартуполномоченные. Во двор приходили шарманщики, певцы, цыгане, скрипачи, а то и целые ансамбли — трио, квартеты. Жильцы высовывались в окна, слушали представление, кидали завернутые в бумажку монеты. Мы бегали, подбирали, отдавали музыкантам. Какой-нибудь пятак завалится за поленницу, бросивший кричит из окна, показывает, мы носимся — кто скорей найдет. Двор был сложным организмом со своими страстями и правилами. Двор имел своих лидеров, свои компании. У нас главой была дворничиха Шура с сыном Степой, дочерью Аськой и множеством быстро сменяющихся мужей.

Во дворе была огромная, с чугунной крышкой на блоках помойка. Она находилась в темной нише, там бегали

крысы, рылись старьевщики. Я теперь плохо представляю, каким образом в ней умещались все отходы огромного дома, когда и как успевали ее опоражнивать.

Мужчины ходили в желтых кожаных крагах, в калошах, а женщины в фетровых высоких ботиках или тоже в калошах с каблуками. Появились макинтоши. Все больше было велосипедистов. По улице ездили конные милиционеры в белых гимнастерках, а зимой в шинелях с башлыками. Ездили похоронные дроги, белые, но были и черные, с резными колоннами, высокими колесами. Существовали керосиновые лавки, мы ходили туда с бидонами и брали отдельно в бутылочку бензин для разжигания примусов или денатурат.

Всю еду готовили главным образом на примусах. Плиту топили редко, все реже. На кухнях гудели примуса по три, четыре сразу. Примуса составили целую эпоху городского быта, это была целая отрасль, система, стиль.

Примуса взрывались, возникали пожары. Примус требовал наблюдения, чистки, была сеть мастерских по ремонту примусов. Были еще тихие керосинки, были духовые утюги, доживали самовары, их растапливали на черном ходу. Были угары от печей, от угаров спасались нашатырным спиртом. Вся эта бытовая техника ныне вспоминается с жалостью. Как трудно, мучительно приходилось нашим матерям, сколько сил требовалось, чтобы готовить, истопить, постирать, выгладить!

Сколько разных предметов исчезло из нашей жизни! Одни разом, другие постепенно, вроде крынок, горшков и прочих гончарных изделий. Не стало щипцов для завивки, стеклянных чернильниц, мужчин-почтальонов, вставочек, жестяных разрисованных вывесок на магазинах. Перестали продавать землянику. Ее, первую летнюю ягоду, продавали стаканчиками на улицах, потом только на рынках, потом она вообще как-то исчезла.

Лошадям подвязывали к морде торбу с овсом, лошадь стояла и хрупала, время от времени встряхивая этой холщовой торбой.

Долго еще частными оставались на нашей улице парикмахерские — «Поль», «Борис», в одной из них красовался большой раскрашенный фотопортрет Евы Бандровской-Турской, польской певицы, которая приезжала к нам на гастроли.

Появились торгсины. Это уже было на Литейном. Там был центр по сравнению с нашей улицей. Там царили бу-

кинисты и продавались коллекционные марки, там было кино, там ходила другая публика: студенты, инженеры, на некоторых еще были форменные фуражки с молоточками, там шли с портфелями, папками, нищих там гоняли.

По Литейному шли демонстрации, вывешивали флаги: на 21 января с черной каймой, 7 Ноября, 1 Мая — красные. В витринах выставляли портреты вождей, обвитые шелком и цветами. Карикатуры на империалистов. Над воротами вешали знаки Осоавиахима с пропеллером, знаки МОПРа, срывая старые жестянки страховых компаний.

Все эти приметы прошлого сейчас видятся куда лучше примет нынешней жизни, тоже ведь интереснейших и неповторимых. Мы их не замечаем, вернее, не обращаем на них внимания, как на само собою разумеющееся, а ведь они тоже временны и сроки их кратки.

ХІІІ

Митя Карамазов, схватив медный пестик, мчится к отцу, но, вместо того чтобы бежать напрямую, делает петлю:

«Он обежал большим крюком, через переулок, дом Федора Павловича, пробежал Дмитриевскую улицу, пробежал потом мостик и прямо попал в уединенный переулок на задах, пустой и необитаемый, отгороженный с одной стороны плетнем соседского огорода, а с другой крепким высоким забором, обходившим кругом сада Федора Павловича».

Нам все равно, какую улицу пробежал Митя — Дмитриевскую или Петровскую, были ли эти улицы в Старой Руссе или автор придумал их. Вроде бы для нас ничего это не меняет. А вот для Достоевского, значит, нужда была, и настоящая, в таком точном соответствии. Специально выбирал улицы, размещал, расставлял своих героев как режиссер, чтобы наглядно увидеть, *как это было*. Или же знакомые улицы, места бессознательно подвертывались ему в ходе повествования?..

Про «Преступление и наказание» я уже пробовал высказать, для чего понадобилась Достоевскому такая метода. И здесь, в Старой Руссе, про «Братьев Карамазовых» ничего нового я не придумал. Был, видимо, во всем этом реализм в высшем смысле, какой имеет в виду До-

стоевский, говоря о своей работе. Подлинность места действия, может, освобождала фантазию писателя, может, придавала ей опору действительной жизни. Как бы там ни было, топографическая точность описаний, пусть неизвестная читателю, существует, как подводная часть айсберга.

Мы шли мимо темных домов, чувствовалось, что они жилые, населенные. Тепло спящих людей каким-то образом доходило к нам. Так и у Достоевского — конкретность Старой Руссы действует на наше читательское сознание, вернее — подсознание.

Настоятельная потребность определенности окружающей обстановки, ее точности, жесткой привязки, то есть однозначности, сочетается у Достоевского, как ни у кого другого, с многозначностью поступков, характеров, идей его героев.

В каждом серьезном исследовании романы Достоевского понимаются по-своему. Существует немало толкований легенды о Великом инквизиторе, и ни одно из них не стало исчерпывающим. Разно трактуют поведение каждого из братьев Карамазовых, образы Ивана, и Мити, и Смердякова, причины убийства Федора Павловича, самоубийство Смердякова, идею Алеши, его религиозность.

Действия героев часто необъяснимы, вызывают множество вопросов. Мы догадываемся, что толкает их на те или иные поступки, и в то же время не можем до конца быть уверены, что все обстоит именно так. Хотя, казалось бы, сами герои предлагают нам объяснения правдоподобные, искренние, и все же мы им не всегда верим. В чем же тут дело? Откуда исходит эта поразительная, может единственная в литературе, множественность пониманий, этот постоянно ускользающий от нас смысл, эта загадочность авторского замысла, который многие годы еще будет открываться и открываться новыми своими сторонами? Знал ли сам Достоевский тайну своих героев? А что как он, создатель, и сам не знал этой тайны? «Человек — это тайна», — неоднократно писал он и относился к человеку, как к существу, которое нельзя измерить разумом и логикой, разложить на составные элементы. Он рассматривал своих героев отстраненно, пытался объяснить их поведение, анализировал, предлагал те или иные версии, пытался угадать мотивы, причины. Иногда ему удавалось подойти к истине, иногда и не

получалось. Сами герои не могли помочь ему. Собственные их объяснения не сходились с их действиями, как это бывает у живых людей, даже мысли их не отражали до конца внутренних побуждений, того подсознательного, в чем человек не признается и себе. Но разве мы всегда способны уяснить неожиданные внутренние толчки, смены своих настроений? Человек и для себя бывает тайной.

Иван Карамазов во время разговора со Смердяковым поступает все время вопреки своим намерениям:

«...«Прочь, негодяй, какая я тебе компания, дурак!» — полетело было с языка его, но, к величайшему удивлению его, слетело с языка совсем другое:

— Что батюшка, спит или проснулся? — тихо и смиренно проговорил он, себе самому неожиданно, и вдруг, тоже совсем неожиданно, сел на скамейку».

«Припоминая потом, долго спустя, эту ночь, Иван Федорович с особенным отвращением вспоминал, как он вдруг, бывало, вставал с дивана и тихонько, как бы страшно боясь, чтобы не подглядели за ним, отворял двери, выходил на лестницу и слушал вниз, в нижние комнаты, как шевелился и похаживал там внизу Федор Павлович, слушал — подолгу, минут по пяти со странным каким-то любопытством, затаив дух, и с биением сердца, а для чего он все это проделывал, для чего слушал — конечно, и сам не знал».

Любопытно тут словечко «конечно». В том-то и дело, что на каждом шагу его герои ведут себя непредвиденно, противоречиво. Собственное «я» для них непостижимо и чужое «я» также, хотя его-то они пытаются все время объяснить. И только автор, даже не автор, а тот неуловимый рассказчик, который ведет повествование в «Братьях Карамазовых», позволяет признаться себе в непостижимости иных моментов жизни героев. Вот, например, про внезапный уход Алеши из монастыря: «Тем не менее признаюсь откровенно, что самому мне очень было бы трудно теперь передать ясно точный смысл этой странной и неопределенной минуты в жизни столь излюбленного мною и столь еще юного героя моего рассказа».

Кто это говорит? Чьи это слова? Автор? Нет, автор не может так признаваться в своей беспомощности, это выглядело бы позой, претензией, похвальбой, а вот рассказчик, некое третье лицо, он может, через него-то автор как бы получает право показать непостижимость чужого «я». Из романа в какой-то мере удаляется всезна-

ющий наблюдатель, божественная персона автора, которому известны и мысли, и мотивы, и все связи между движениями души и тела героев, и все вихри, проходящие сквозь их сердца. Рассказчик освобождает автора, снимает с него ответственность, позволяет отойти в сторонку и увидеть этот мир с какого-то иного поворота.

XIV

Густая темная теплынь несла нас от фонаря к фонарю, мимо шумных компаний с гитарами, мимо безмолвных парочек и одиноких пьяных.

...А в Старой Руссе пышные канавы,
И в садиках подгнившие беседки.
И стекла окон так черны, как прорубь...

Старая Русса времен Достоевского, погруженная в провинциальную спячку... Но об этом достаточно написано специалистами, хотя бы М. М. Бахтиным.

О его блестящих исследованиях и говорил мне сейчас Георгий Иванович, выводя из них с запалом и категоричностью превосходство Достоевского над всеми писателями мира, разве только с Данте и Гомером сопоставляя его гений. Среди самых верных поклонников Достоевского я не встречал более восторженного и деятельного. В своей любви к Достоевскому он как бы обезличивал себя, не оставляя времени даже для публикации своих скромных работ, никак и ничем не утверждая себя, а все только своего Федора Михайловича, имея в виду только интересы его памяти, его славы, его мемориала.

Он занялся этим музеем, вроде бы воплощая свою мечту, проверяя себя как личность, и в этом, как и многие страстные натуры, дошел до отказа от себя, полностью растворяя себя в служении своему кумиру. Как это сочеталось в нем? Откуда он черпал свой пылающий энтузиазм и чем поддерживал его? В его воспаленной отзывчивости временами появлялась сверхчувствительность. Как будто он воспринимал неслышные обычному уху частоты. Я знал его давно, но только сейчас начал ощущать, сколько в нем непонятого. Так же как и в Андриане Савельеве, неустанном философе, который успел осмыслить все, кроме собственной жизни. Его ум не помогал ему, его размышлениям всегда что-то мешало превратиться в убеждения. Философия расплавляла его

характер. Этим летом он отдал свой садовый домик малоизвестной женщине с больным ребенком, а сыну своему пожалел дать лодку на отпуск. Он каждым поступком противоречил себе, делал как бы себе наперекор. Я знал его и не понимал его. Да что Андриан — дочь моя, которая выросла у меня на глазах, у которой я знал каждую родинку, — разве я знал, почему она сменила свои увлечения? Она была мне непонятнее, может, всех других людей. Я огляделся и обнаружил, что самые близкие мне люди часто таинственны в своих действиях и я не понимаю, что ими движет. Словно это «черные ящики»; я знаю только, что они говорят, что делают, но не знаю, почему. А я сам для себя разве не бываю тоже «черным ящиком»? Почему, например, таким важным показался мне этот мемориал?

Город выделил целый район с набережной до Первомайского моста и несколькими улицами вокруг дома Достоевского, там все будет оставлено как есть. Восстановят старые фонари, тумбы. Никаких новшеств не будет. Даже бетонные столбы, какими хотели укрепить откосы набережной, и те решили заменить деревянными. Прошлое получит свою жилплощадь.

Почему меня вдруг так утешил этот мемориал, где все равно подлинного будет немного? При чем тут мои Кислицы? Какое возмещение мне тут почуялось? Ведь и связей никаких прямых не было, а отчего-то тоска и злость утихли.

У моста, в «Голубом Дунае», пиво кончилось, мужчины допивали дрянное «плодоягодное» — «бормотуху». Седой, хорошо выбритый мужчина с отвислыми щеками жадно посмотрел на меня. Он томился без собеседника. Он был из тех, кто любил пить под беседу.

— За ваше здоровье, — поднял он стакан. — Извиняюсь, вы, видно, приезжий. Насчет Достоевского? Раз вы с Георгием Ивановичем тут прощались, значит, не иначе как Достоевский. Я ведь живу поблизости от музея, у нас домик, вот мы и попали в мемориал. Гараж железный собирался ставить. Запрещают. Георгий Иванович. Мол, гараж нарушает картину. Асфальтировать улицу тоже не дают. Ровно крепостные мы... у этого писателя. Вы не подумайте, что жалуюсь. Я человек грамотный. У меня сын майор. Я вот, извините, конечно, хочу вас спросить. Вы не подумайте, я к вам с полной симпатией. Это бывает, один человек не понравится, другой наоборот. Не-

знакомые, а откуда-то возникает. Если никаких данных нет, то откуда — это тоже вопрос. Но я не про это. Прочел я в целом роман «Братья Карамазовы». С точки зрения культурно-исторических ценностей города, поскольку тут живем, на месте происшествия, экскурсии мимо ходят, специально люди приезжают. Весь отпуск читал. В целом заверчено умно, выходит — все виноваты, все способствовали убийству отца. Чувствуете? Я, как отец, очень понимаю. Но это ладно, это, умеючи, можно, а вы другое скажите: вот черт Ивану говорит, что если в пространство подальше запустить топор, то он примется летать вокруг Земли в виде спутника. Так и написано: в виде спутника. Сто лет назад. Это я точно посмотрел дату. Какие, спрашивается, спутники были тогда? Откуда он это взял? И ведь, обратите внимание — запустите топор! Символ-то какой выбрал! Вы мне сошлетесь, что это черт говорит, мол, чертовщина, сказки. Но ведь черт тоже что-то обозначает. Я же понимаю. Нет, вы окиньте мыслью — появится спутник! Вы, извиняюсь, это место помните? Вот как вы можете это объяснить? Разве допустимо представить такое точное предсказание?

Он спрашивал громко, так что все смотрели на нас. Торжествуя, он напирал на меня с какой-то неподвижностью во взгляде, как бы застряв на этой мысли и приходя во все большее возбуждение.

— Я все проверил, мало ли, думаю, подновили, взял нарочно издание, напечатанное еще до революции. Совпадает. Буква в букву. Как вы расцениваете? Вот я вас спрашиваю, каким образом ему стало известно про космические достижения? Ведь что же тогда получается? Может, ему еще что-нибудь известно?

— Конечно.

— То есть как это?

— Ничего удивительного, — сказал я. — Английский писатель Свифт написал про спутники Марса, а их открыли через сто пятьдесят лет. Это среди хороших писателей принято.

— Да что вы говорите! Что принято? — почти закричал он и с лязгом распустил «молнию» своей нейлоновой куртки. — Ведь это никто не разрешит. Это нарушение всех научных законов. Вы объясните.

— Пожалуйста. — Я наклонился к нему и сказал тихо: — Достоевский был заброшен к нам из будущего, из двухтысячного года.

Глаза его округлились, рот приоткрылся, отвислые щеки втянулись, порозовели, и я вдруг увидел мальчика с ворохом желтых волос, щербатым ртом, увидел Петьку-хромого, нашего коновода в Кислицах.

— Нет, дорогой товарищ, уж раз вы начали, вы нам растолкуйте: что значит заброшен, с какой целью заброшен? Такими вещами не шутят.

— Машина времени,— сказал я.— Слыхали? Уэллс, Жюль Верн про Луну предсказали. Пушкин — «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа», Откуда он знал? Писатели и поэты откуда-то знают, у них есть какая-то связь с будущим. Простите, не знаю вашего имени-отчества.

— Петр Сергеевич.

— Вы, Петр Сергеевич, совершенно справедливо заметили, что Достоевскому, вероятно, еще кое-что известно. Беда наша, что обнаружить это в его книгах мы пока не в состоянии. Не видим мы еще, не дожили...

Заглянув мне в глаза, он тоненько рассмеялся, опрокинул в рот остатки вина, сморщился.

— Кто же разрешит? Предвидение у выдающихся классиков бывает. Согласен. Но в пределах! Разве же такое расхождение с наукой разрешат? От этого в физике может расстройство получиться. Напрасно вы поддерживаете, с такими факторами далеко можно зайти, ой далеко. Я лично полагаю, что специалисты должны изучить это явление. Так оставлять нельзя.— Он ударил стаканом о прилавок, вот так-то, мол, и что-то еще сказал, но я не слышал, я разглядывал его со всех сторон.— Вы человек образованный, верно? Вот вы и навели бы специалистов изучить это явление. Потому что так оставлять нельзя.

Прихрамывая он отправился к продавцу наполнить стакан. Вернулся он со стаканом и круглым маленьким узколицым человеком, похожим на ежа, назвавшимся Сашей Дмитриевым. Пиджак на нем был с толстыми ватными плечами, короткий, давно вышедший из моды, однако неношенный, из синего бостона, прочнейшего материала.

— Хочу вас спросить,— без предисловий обратился ко мне этот еж,— будут у нас со временем памятник Достоевскому ставить?

— Возможно.

— Так. А тогда следующий вопрос: за что? В чем его

заслуга? Он ведь что хотел, то и писал. Что ему, так сказать, муза диктовала.

— Не хотите, так и не ставьте,— уклонился я.

— Вот говорят, прославил наш город, а нам что с этого? Я понимаю — полководец Суворов или, например, Жуков. Отечество спасали. А ставят все больше писателям, художникам. За какие заслуги? Они ж в свое удовольствие работали.— Он вежливо подождал, не возражу ли я, затем победно продолжал: — Вы спросите, что же я предлагаю? А, например, увековечить Василия Ивановича, который набережную благоустроил. Или, например, был у нас главврач, добился, чтобы больницу расширили. Инфаркт на этом схлопотал. Вот ему бюст и надо поставить. А если Достоевскому, так ведь это мы себя прославляем, а не его.

Он пытел совсем как еж, я вспомнил, как мы ловили их. За омутом, по дороге к заболотью жили целые селения ежей.

Я спросил Петра Сергеевича, жил ли он до войны в Кислицах. Оказалось, жил.

— Значит, вы лесников сын? — сказал он недоверчиво. Отца он помнил, а меня не признал.

— Как же так, Петя? — спросил я. Он был у нас старший, был строг, отчаян, учил нас ложиться под поезд. Обидно было, что меня он начисто забыл.

— Это что, у вас стекло зажигательное было? — спросил он.

— Нет, это у Шурки Конюхова.

— А у тебя чего было?

Я пожал плечами:

— Ничего.

— Вот видишь,— сказал он.

Шурка был сын садовника. Зажигательным стеклом мы на всех стенах выжигали похабщину. А у меня ничего не было, и запомнить меня было трудно.

— У вас там свои есть? — спросил он, так и не взяв в толк, зачем это я ездил в Кислицы. Он слушал меня с подозрением.

— А как мы под поезд ложились,— тормозил я его.

— Ну и что? — насторожился он. Глупую ту игру вспомнил он неохотно: — Безобразничали, потому что присмотру не было.

Про омут он ничего сказать не мог, в Кислицах он после войны не был ни разу. А чего туда ездить, все свои



переселились, кто в Новгород, кто в Питер, а больше сюда, в Руссу. Кто в Кислицы вернулся, те к пятидесятым годам растеклись, разбежались.

— Чего я там не видел,— сказал Петр Сергеевич неприязненно.

— Все-таки родные места.

— Кому родные, а кому постылые. Я оттуда еле вырвался. Сколько водки спойл, пока упросил. Лучшие годы там ухлопал. Кем? Бондарем. В городе я бы за это время

ого... У меня ко всем наукам способности были. Да чего там говорить! — Он с отвращением посмотрел на чернильную жидкость в стакане.

— Брось ты, Петь, память надрывать, — сказал Дмитриев. — Им не понять. У них другое назначение. А нам, как поется, прошлого не жаль. Да и чего тебе жаловаться, дом у тебя дай боже, должность завидная.

— Должность... Она разве по человеку дается? А что я без должности? Есть у меня своя пружина или нет — вот в чем проблема! Куда я направлен, я и сам не знаю. Чего я хочу? Мы здесь живем — ни город, ни деревня. В городе все нацелено на подъем личности. А у нас тут сад и куры...

Он говорил рассудительно, так же, как говорил о Достоевском, до чего-то допытываясь и куда-то выводя свою мысль. Никак не докопаться в нем было до того Петьки-хромого.

— Все же странно, — протянул я.

— Что странно?

— Многое. Например, что под поездом лежали.

— Не понимаю, чего тут такого. Хулиганство. Вспоминать совестно.

Я улыбнулся ему, но он никак не принял этой улыбки.

Затаясь, мы лежали в траве недалеко от семафора. Маневровый паровозик толкал состав, сортируя платформы. Подкатывался хвостовой вагон тамбуром вперед, и тут надо было выскочить на пути, залечь между рельсами. Медленно, гроыхая сцепкой, вагоны прокатывались над головой. Самое страшное было, когда наезжал паровоз. Издали обдавало дымным жаром. Запахи масла, горячего железа, угля — все это охватывало, вжимало в землю, в липкие, пропитанные дегтем, креозотом шпалы.

Машинисты ругались, грозили высыпать на нас горящий шлак из топки.

— Между прочим, и Коля Красоткин ложился под поезд, — сказал я, — помните, наверное, раз вы «Братьев Карамазовых» читали?

— Красоткин? Николай? — Он выпил и, морщась, подождал, прислушиваясь к себе. Лиловый туман заволок его взгляд. — Гимназист? А как же, его на вы назы-

вали. Их всех, мальчишек, на вы называли, уважение оказывали. А меня, между прочим, начальство тыкает до сих пор.

Дмитриев расхохотался.

— Это тебе расположение выказывают. Или уважение, или расположение. Выбирай. Я лично считаю, что тебе расположение выгоднее.

— Ты мою выгоду не подсчитывай. Уважение, оно от моих трудов, а не от ихних настроений. Оно положено. Оно на твоих хахоньках да анекдотах не вырастет. Человек первым делом должен себя уважать. К себе на вы обращаться. Тогда все и остальное... Ты погоди, я про этого Красоткина хочу.— Он пробивался ко мне сквозь туман.— Значит, он тоже под поезд? Как же так?.. А ведь точно, на спор лег. Вспоминаю. Лег этот Красоткин. Это же полное соответствие нашим безобразиям. Аттракцион. Каким образом такая стыковка получается? — Взгляд его, и лицо, и вся фигура застыли.— Сошлось, да?

Сошлось, да не совсем. По-видимому, такая игра в наших местах тянулась давно и дотянулась до нашего детства. Может, и на других полустанках и разъездах этой дороги играли в ту же игру, не знаю, но у нас точно, и любопытно, что первую заметку о новом романе Достоевский начинает так: «Узнать, можно ли пролежать между рельсами под вагоном, когда он пройдет во весь карьер». Слышал он об этом озорстве, будучи в Старой Руссе или в других местах? Линия железной дороги была та же самая.

Туман в глазах Петра Сергеевича растаял, и там на минуту все очистилось, заблестало молодо.

— Если Достоевский про спутники знал, так он и про наше ребячество мог, это ему семечки. А что, если он про нас написал? — сказав это, Петр Сергеевич сам застыл на какое-то мгновение, округлив рот.— Нас имел в виду? Указывал? Николай Красоткин и есть Петр Хохряков. Понимаете, какая тут мертвая петля, а?

— Во дает! — с восторгом болельщика подхватил Дмитриев.— Куда завернул! В экспонаты! К нему экскурсантов водить будут. Красоткин!

Но Петр Сергеевич досадливо отмахнулся, спеша за своей новой идеей, она волновала его все сильнее, щербатый рот его дышал винно и жарко.

— Может, и я... А что, ведь как складывается — одно к одному. То-то я эту книгу угрыз! Чувствовал! А между

прочим, на этого Красоткина большие надежды возлагал сам Алеша Карамазов. Он хоть и религиозный, но для того времени передовой человек. Возьмите, к примеру, как он от этого Красоткина и его товарищей потребовал торжественное обещание. И не просто так, дисциплинка и отметки. Совсем другой подход, Вы, извиняюсь, как специалист, конечно, помните.

— Призывал их к доброте.

— Далеко не конкретно,— торжествующе сказал он.— Разрешите, я вам наизусть передам.— Он скромно поднял глаза к низкому дощатому потолку с голой лампочкой и заговорил нараспев: — «Всегда помните эту минуту, когда были такими чистыми, добрыми, любящими». Вот он к чему призывал ребятишек.— Петр Сергеевич притянул меня за плечо, наклонился.— Помнить! Так? Вы думаете, помнили они?

— Не знаю,— сказал я.

— Позабыли! Я по себе сужу. Я-то не помню. Почему? Из ранней своей жизни я мало чего помню. То есть помню, но не вспоминаю. Не желаю. Должен был бы, согласно Достоевскому. У меня ведь тоже была такая минута. Обязательно. Каждый в детские годы имел... Почему же я не помню такого момента? — настойчиво допытывался он и вдруг замер, задумавшись.

— Головы наши заняты. Текучка. План,— бормотал Дмитриев.— Все через сознательность происходит.

Петр же Сергеевич молчал, прикрыв глаза, и глубокие морщины вокруг его рта стали еще жестче.

Я ждал. Что-то затронул он во мне своими словами, но ухватить неоконченную мысль я никак не мог. В последнюю минуту она выскальзывала, кружила, дразня своей близостью.

Дмитриев что-то шептал ему. Петр Сергеевич лениво засмеялся, стал отходить от него, подмигивая не то мне, не то кому-то за моей спиной.

— Чего там отмечать... Какой из него мальчик! Да и ты... Все вы ничего не помните.

Потом слышно было, как он там, у прилавка, похихатывая, сообщил:

— Про меня, оказывается, это написано. Достоевский писал, как я под поезд ложился! — Чувствовалось, что он ёрничит.

Сходство того Петьки с Петром Сергеевичем исчезло. Да и не хотелось их совмещать. А может, и мне, нынеш-

нему, тоже лучше существовать отдельно от моего детства, юности, от военной моей жизни? Все это были словно бы другие люди, которые жили когда-то, и только узкие шаткие мостки памяти соединяли их.

Я-то думал, что мы обнимемся, станем припоминать всякую милую всячину: как ловили уклейку, какой вкусный хлеб тогда был и что лес стал не тот и снег не тот.

Маленький округлый Дмитриев подкатился ко мне, примиряюще взял под руку, разъяснил ситуацию. Нескладуха происходит оттого, что нечем отметить встречу, купить сейчас негде, вот Петя и злится. Пригласить к себе домой и не поставить как следует — невозможно (о том, чтобы просто на чай пригласить, такое, конечно, в голову не приходило, и заикаться об этом было неприлично). Один шанс есть — выпросить у буфетчицы бутылку белого. Но отношения тут сложные, для меня если, под встречу с друзьями детства, она отпустит, ну, придется отблагодарить, как положено.

Так все и произошло, механизм сработал безупречно, разве что буфетчица несколько странно посмотрела на меня, не то с любопытством, не то со смешком.

Они нагнали меня на площади, сияющие, веселые. План у них был разработан, словно ритуал. Распить, не откладывая, в саду, и скамейка была определенная, в кустах, и тут же появилась, словно скатерть-самобранка, газетка, на ней луковичка, сморщенный огурчик и стаканчики бумажные.

— Бормотуха и есть бормотуха, — приговаривал Дмитриев. — Бормочешь от нее что ни попадя. Нет от нее полета. Вот белое — оно ум возбуждает. А еще лучше сухое. Я у грузин на стройке привык, расчухал. Виноградность, если в нее впиться, она душу веселит. Я думаю, что в старину русская медовуха тоже вверх по течению поднимала.

Восседа на скамейке, они оба преобразились. Стоило им сесть — и в них открылось домовитое веселье, появилась застольная учтивость.

— Вот ты считал, Петя, что нам вспоминать нечего, — мягко, со вкусом говорил Дмитриев. — А у меня, например, четыре Почетных грамоты. Значок есть заслуженного строителя. Напоминание? Это тебе не полька-бабочка.

— Не уловил ты, — Петр Сергеевич вздохнул, покачал головой. — Как бы это выразить. Внутри, пока не го-

ворю, все понятно, начинаю передавать — слов нет.— Он снял шляпу, обмахнулся ею.— Грамоту дают за что? За работу. Отмечают нас за хорошую работу. Это же другое дело.— Лицо его сморщилось, покраснело от напряжения.— Вот если бы мне отметили что-то такое...— Он рукой изобразил нечто облачное.— Душевное достижение! Допустим, у меня взлетела такая сердечная минута. Найди ее теперь — была и сплыла, сбилась с памяти начисто. То есть я хочу выяснить — почему?

— Законно. Давай копай.

— А потому что никто мне ее не отметил! — В голосе его пропал хмель, он возвысился, чистый и звонкий.— Не надо мне награды. Мне показали бы ее, чтобы я глаза на эту минуту свои протер. Увидел бы ее. Чтобы ее в рамочку выделили, я бы ее повесил перед собою.

Мысль его была та самая, какую я искал.

— Точно! — Я даже взмахнул кулаком.— Абсолютно точно. Именно подчеркнуть необходимо в детстве, фиксировать.

Дмитриев был счастлив.

— Хорошо сидим! Петр Хохряков у нас талант! Будь у него время, он бы книги писал не хуже лауреатов.

— А мне что в рамку выделяли? — не отвлекаясь, продолжал Петр Сергеевич.— Страхи! Вот помню, как тетку судили за опоздание. Как за драку на празднике наших парней забрали. Мне родители одну сторону подчеркивали — того нельзя, это плохо, за это ремнем. И в школе тоже. Хоть бы разочек кто поднял, показал — вот какую ты доброту совершил.

— Согласен. Душе тоже поощрения и грамоты нужны,— с грустью и в то же время с восхищением согласился Дмитриев.— От ласки всякий человек хорошеет.

Но Петр Сергеевич сморщился, замотал головой.

— Опять ты, Сашка, вбок отклоняешься. Не прошу я благодарностей. Ты мне в детстве покажи, что запомнить в себе самом. Не чужого мальчонку ставь в пример, а меня, меня самого, понимаешь? А нас... да что нас, мы своих детей все тем же страхом воспитываем.

Мы пили по очереди из бумажного стаканчика, занюхивали луком, и трезвая отцовская печаль соединяла нас. Дмитриев пытался вспомнить что-либо выдающееся из своего детства. И все получалось либо драка, либо озорство.

— Отцы,— сказал я прочувствованно,— вот мы отцы, так? А в то же время мы сыновья. Сейчас у нас тот возраст наступает, когда оба эти чувства одинаково сильны... Но не в этом суть,— сказал я, чуть запутавшись.— Отцы наши мечтали про нас. И вот, допустим, твой отец увидел бы тебя сейчас.— Я повернулся к Дмитриеву.— Как бы он оценил тебя? Таким он хотел тебя видеть?

Острое лицо Дмитриева заиграло было ухмылочкой и тут же помрачнело.

— Подумаешь,— сказал он и сплюнул.— Не в дипломе дело... Слушай, брось ты мораль наводить,— беззлобно отклонил он разговор.— У детей своя жизнь, у нас, например, своя.

— Между прочим, никакого это касательства к нашему разговору не имеет,— строго поддержал его Петр Сергеевич.

Почувствовав что-то или из упрямства, я заладил свое:

— Весьма даже имеет. Мы со своих детей спрашиваем, и отцы с нас могут... Взять, к примеру, твоего отца.

Но тут щербатый рот Петра Сергеевича оскалился, глаза неприятно похолодели.

— А вы не берите его, вы своим папашей занимайтесь...

— Пе-еть! — предостерегающе сказал Дмитриев.

— Надоело! Чуть что — за отца хватаются. Надоели мне эти проверщики — вот как!.. Я заполнил сполна все анкеты, так нет, чуть что, опять выясняют... — Непонятная злость рвалась из него, кривила лицо.— С отца за сына — это спросу нет, а вот сын за отца — это пожалуйста, сколько угодно. Нет уж, хватит...

Он передохнул. Дмитриев тотчас подsunул ему стаканчик, белое колечко луковицы, и Петр Сергеевич, по-лошадиному мотнув головой, выпил и с усилием, не сразу, раздвинул губы в улыбочке: — А вообще-то, фактически говоря, папаша был бы доволен. Он не рассчитывал... — Петр Сергеевич пожевал, и улыбочка его очистилась, стала как бы естественной.— Советская власть, если так считать, по-божески ко мне отнеслась. Со всей заботой. А действительно: мне зерно доверяли распределять по трем районам. Сын майор. Дочь у меня как-никак историю партии преподает. Это заработать надо. Конечно, всякое было. Сейчас больше по справедливости пошло. Незаметно, незаметно, а если по годам сравнить, так

справедливость прибывает. И это тоже вопрос. Справедливости больше, а людишки худо работают. Каждый свои права изучает. Взять трудовую дисциплину...

XV

В речи Алеши Карамазова были слова, на которые я раньше внимания не обращал, а теперь, после слов Петра Сергеевича, задумался над ними:

«Знайте же, что ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание и особенно вынесенное еще из детства, из родительского дома. Вам много говорят про воспитание ваше, а вот какое-нибудь этакое прекрасное святое воспоминание, сохраненное с детства, может быть, самое лучшее воспоминание и есть».

Он призывает мальчиков помнить вот эту минуту, когда они соединились в любви к Илюше, когда чувствовали себя хорошими. Потому что это воспоминание всегда будет помогать им, как бы жизнь ни ожесточила, ни озлобила их. Алеша Карамазов считает, что одно такое воспоминание может удержать человека от дурного.

При этом Алеша ничего не требует, ничего не проповедует, значит, и спорить в этом смысле с ним не о чем; высмеивать его уверенность — сколько угодно, занятие соблазнительное для некоторых умов и легкое, поскольку Алеша пользуется тут выражениями беззащитно-высокими, торжественными, умиленными, все так, но совершает он при всем при этом великое с точки зрения педагогики дело — он душевную, возвышенную минуту *называет*, очерчивает, выделяет, закрепляет в памяти, превращает для мальчиков в воспоминание. И не просто в воспоминание о чем-то приятном, а в нравственно-сформулированное, определенное напоминание: вот каким ты был прекрасным...

— Не наворачиваешь ли ты тут? — Андриан подмигнул мне. — Совершил когда-то хорошее, похвалили тебя, с тех пор и тешишь себя: ах какой я был замечательный! И на этом основании все себе прощаешь.

Нет, не могло такое доброе воспоминание идти во вред, лучше было иметь его, чем перебирать в своем прошлом лишь запреты, стыд, раскаянье. То счастье и удов-

летворение собой, о котором говорил Достоевский, оно обязывает душу. Оно возбуждает ощущение счастья от хорошего поступка во имя людей или отдельного человека, и это ощущение хочется повторить, оно придает силы, наполняет смыслом жизнь и именно *обязывает душу*.

Для меня, человека несведущего в педагогике, это было открытием. И я стал проверять его, прикладывая к своей жизни и к жизни близких людей.

...Оказалось, что Андриан Савельев знал Петра Сергеевича. В маленьком районном городке все так или иначе знают друг друга. По словам Андриана, эти Хохряков с Дмитриевым «выставили меня на пол-литра» — и вся игра. Дмитриев просто ханурик, а Хохряков хоть и «делаш» и трепач, но человек занятный, с фантазиями и зигзагами. Я спросил про его отца. Андриан вспомнил не сразу, но вспомнил, поскольку когда-то работал в исполкоме, а Хохряков привлекался по одному делу.

— Подробности я позабыл, но существо в том, что отца Хохрякова выслали по кулацкой линии, а он с эшелона сбежал, в лесу прятался. Потом ночью пришел к своим, стал уговаривать, чтобы сын Петька, значит, общил на него. Петьке от этого все дороги откроются. Будущее ему обеспечивал. Все равно, решил он, к зиме объявляться надо. Однако мать не позволила, сказала: не дам душу ребенка портить. Петр Хохряков меня донимал насчет души, вот, значит, его душа в чести осталась, оправдано ли это и есть ли душа, если человек не признает ее?.. погоди, все это ведь в твоих Кислицах было?

Но я ничего про это не знал. Может, это даже при мне происходило, таким же августом, ночью, в соседнем доме.

— Возились потом мы с ним, когда весной музыкальную школу затопило, — вспоминал Андриан. — Это он с ребятами самочинно унес инструменты и пианино к себе в контору, спасал от воды, занял кабинет начальника...

Я тонул. На берегу стоял отец, сухонький, жилистый, белотелый, и смеялся. Он уговаривал меня вместе прыгнуть с обрыва, а потом поднял меня и швырнул в омут. Я не ожидал такого предательства, я кричал, захлебыва-

вался, колотил руками, ногами и плакал, Обида и злость ошпарили меня.

Страх прочно отпечатал омут в моей памяти. Закрыв глаза, я могу рассматривать его. По нынешней, взрослой мерке обрыв невысок, это травянистый уступ, крутость, подмытая снизу, скрепленная корнями полегшей ивы. Сам омут тоже шириной три-четыре хороших гребка, река отдыхала в этой размоине, берега тут чуть расступились, особенно другой берег, низкий глинистый.

Какой это был красивый округлый омут, в котором я тонул.

С конца июля, в межень, посреди омута возникали водовороты, появлялась вороночка, маленькая безобидная вдавлинка, она чуть двигалась, играла, вода вокруг нее была туго натянута. Зимой место это замерзало последним, покрывалось почему-то особо прозрачным льдом. Получалось ледяное окошко. Мы заглядывали туда, в подледную темь. Солнечными днями туда подплывали рыбины, спины их тускло проблескивали за толщей льда. Крики и наши постукивания не пугали рыб, они толпились, поглядывая на нас, может думая, что у нас лето. Около омута был пляжик, песчаный сход, который мелко тянулся под воду. На этой шершавой мелкоте отец меня учил плавать долго и без успеха. Сам он плавал хорошо — саженками, лягушкой, обгоняя молодых. Речка была узкая, плыли они против течения далеко, до мельничной запруды.

...Я тонул. Я чувствовал, что отец не двинется с места. Все на берегу смеялись, наверное, я был нелеп с выпученными от ужаса глазами, отчаянно бьющий руками по воде. Если бы я действительно тонул, меня сразу бы вытащили, поэтому-то мой ужас и был смешон. А я ничего не соображал, я ненавидел их всех, и больше всего отца, и бил по воде, задыхаясь, теряя голос. И тут вдруг я почувствовал, что плыву. Ощущение это было незнакомо, но я понял, что не касаюсь дна. Я плыву, плыву! Вода не тянула меня в свою коричневую глубину, а держала, поддерживала меня снизу, как до этого широкая отцовская ладонь.

Тело осознало это раньше разума, плавучесть появилась как бы толчком, вошла раз и навсегда, я ощутил ее как новое свое умение, даже не умение, а качество, неотъемлемое, как способность ходить. Потом годами я учился плавать стильно, на время, изучал в бассейне разные тон-

кости, но плавучесть, она пришла тогда, плотное тело воды стало дружеским и больше не внушало страха.

Когда я вылез, отец подхватил меня, всхлипывающего, на руки, прижал и сказал: «Молодец, теперь поплывешь». Руки его дрожали, он продолжал смеяться. Я понял, что смеялся он не надо мною, а от радости, он раньше меня увидел, что я плыву. Если б не это, не веснушчатые дрожащие его руки, то ненависть, гнев, отвращение к предательству остались бы во мне травмой, и как знать, что вырастает из детских ран.

«Ничем я тебе больше не могу помочь, сынок», — сказал он. На самом деле он сказал это через несколько лет по другому поводу, но почему-то потом все это слилось, соединилось в тот день.

С тех пор, заплывая далеко в море, даже в волну, я не боялся воды. Любовь к плаванию выручила меня в войну на Лужской переправе, когда пришлось всю ночь провести в воде. Могли ранить, убить, но утонуть я не мог. Что-то отцовское было для меня в воде, в самые трудные минуты вода напоминала об этом словно отцовским прикосновением.

И помнится все это прежде всего потому, что отец *определил* этот момент моей жизни.

Почему он в других случаях не делал этого? Никто не учит родителей, как «работать» родителями. Самая ответственная из всех работ, а делает ее кто как может, руководствуясь лишь опасными советами любви.

Я, как Петр Сергеевич, вспоминал и не мог вспомнить взрослых, которые остановили бы меня и сказали: запомни, вот как хорошо ты сделал, какой ты был добрый и честный.

То, что было на омуте, никак не причислишь к таким нравственным воспоминаниям. Нет тут проявления моей доброты, любви. Действие это было практическое, и отец учил меня чисто деловому, нужному для жизни, как учат все отцы.

Однако в этом воспоминании есть какое-то тепло, нужное для души. Возможно, оттого, что я сумел сам увидеть ту отцовскую любовь к себе, которую он никогда не высказывал вслух. А может, тут совсем другое...

С годами из чужих случайных рассказов я узнавал об отце самое разное. Он представлял не только работающим и добрым, но и беспутным и шальным. Оказывается,

был он и картежником, азартно резался в карты, гулял; потом вдруг развелся с первой женой, оставил ей все, а сам поехал за девушкой, в которую влюбился, повенчался с ней и увез ее с собою в лесничество. Был он в летах, а мать моя была девчонка, а оставлял он налаженную семью с детьми, в те времена все это было куда как не просто. Подробностей этой предыстории теперь уж не раскопать, иногда из обрывков полузабытых рассказов я складываю картины, домысливая первые, медовые, месяцы их новой жизни. Мать — тоненькая горожанка, модница, певунья, и отец — на двадцать лет старше ее, кряжистый, медвежастый, какое-то лесничество под Кингисеппом, покинутая помещичья усадьба, где они обосновались, дальние лесные дачи, банды зеленых, пожары, напуганные буржуи, которых привозили на заготовки дров для Питера, сплошной лесоповал для железных дорог, митинги, неразбериха лесного хозяйства тех лет, когда одни требовали национализации, другие — отдать леса народу, то бишь местному населению, самовольные порубки, начальники уездные, питерские, комбедовские, армейские; и они двое — молодожены, влюбленные, то верхами, то на санях, по пустынным дорогам вскачь...

Это все до меня, в ту непостижимую пору, когда меня еще не было, диковинная пора, чудная, вроде бы совсем чужая мне...

Мы никогда не ведаем, от какой любви мы рождаемся, какие слова, надежды витали над нашим зачатием.

Одна старая акушерка говорила мне, что почти всегда можно отличить младенца, рожденного по любви, от младенца нежеланного или зачатого случайно. Если человечество до сих пор развивается, творит, становится все же несколько умнее, милосерднее, то это лишь за счет детей, рожденных в любви. Их большинство. Любовь, прежде всего любовь улучшает человеческий род.

XVI

Если бы не река, заречная часть города выглядела бы заброшенной, печальной пустошью. Река придавала смысл этому пейзажу, она вселяла в него жизнь.

Река лежала как украшение города, свободно и даже горделиво, словно сознавая, что ею-то и создавалась физиономия Руссы. Небо погасло, одна река не спала, ма-

лейшее движение, рыбий всплеск — на все она чутко отзывалась.

От полированной ее глади шел свет, не сильный, но единственный, уходящий далеко в поля по всей вихлявой речной долине.

Перед мостом река изгибалась, лениво-чувственно обнимая город; в сущности, этим изгибом, этим скрещением притоков, впадений и определилось, наверное, местоположение города. Сколько раз дымилось здесь пепелище, оставались руины, сколько раз город мог исчезнуть, как исчезали другие порушенные города, но река заставляла город возрождаться на этом единственном месте, обозначенном сплетением вод.

Мне всегда казалось, что именно река возвращает этот город, она играла с ним, ластилась к новым его набережным, а иногда вдруг злилась, затопляла его, разливалась по улицам высокой вешней водой.

Туловище реки уходило в глубины земли, связанные с подземными озерами, соляными источниками, слепые корни реки расползались далеко по всей округе.

Река мало менялась. Она надежно берегла воспоминание о том, как на самодельных плоскодонках мы плыли до Взвада. Река сохранила и берега, и цвет, и запахи. То желтая, то бурая, она ширилась, становилась теплой, легкой. Обрывистые берега были приятно безлюдны. Над одичалой некошеной травой носились ласточки, порхали огромные бабочки.

Взвад издавна был деревней рыбаков. Когда мы с отцом заезжали сюда, здесь было сытно, домовито, а ныне стало и вовсе богато. Я ходил по Взваду, сравнивал его с Кислицами. Что значит неродное — чужая эта новизна не вызывала особых размышлений. Так и положено было строиться, богатеть, ставить каменные дома, крытые бетонно-серым шифером.

Мы плыли и плыли по реке до старой насыпи, до островов, до утиных гнездовий. Река была отдельной страной со своим населением: бакенщиками, инспекторами рыбнадзора, рыбаками. Люди на реке узнавали друг друга издали. Они отличались неторопливостью. Речные люди были мыслителями, наблюдателями. Даже Евгений Калистратов, давний мой приятель, человек кипучий, быстрый, на реке мечтательно стихал, задумывался, его тянуло на лирику и историю.

Каждый вечер он гулял по набережной со своей зна-

менитой охотничьей собакой, и я впадал в их прогулку. От всех известных мне людей Калистратов отличался талантом восхищения. Чем больше он жил, тем больше ценил красоту окружающего мира — перелеты птиц, осенний листопад, какую-нибудь козявку, песчаный откос, закаты, своих учеников, новую дорогу... Окна его дома выходили на реку, и он не уставал каждодневно восторгаться ею.

— Смотри, смотри, — призывал он, — только посмотри на эти лодки!

Лодки лежали на розовом теле реки вдоль берега, как ожерелье. Поля терялись в сумерках, густеющих по краям, и только река блестела прозрачно и сильно.

В присутствии Калистратова все как-то усиливалось — и вкус огурцов, и высота звезд, и люди виделись интереснее. Рыбы, которых мы с ним вылавливали, были всегда самые большие и самые вкусные. Училище, которым он руководил, было самым трудным и самым замечательным из всех училищ страны.

— Помнишь Бутыкина? — спросил Калистратов. — Здесь мы с ним распрощались.

Я помнил Бутыкина, директора МТС, маленького, с железными пальцами, которыми он отвинчивал гайки и вдавливал в доску гвозди. Рядом жила Лида, у нее были рыжие косы; когда она распускала их, рыжий золотистый плащ закрывал ее до колен, матово-белое лицо ее выглядывало, мерцая глазами, узкими, как ивовый лист. Это не из прозы, а из стихов, бесконечных плохих стихов, которые я слагал о ней.

Много умерших моих друзей живет со мною. Некоторые навещают меня, вдруг появляются со своими словечками, привычками, что-то подсказывают. Других навещаю я сам. Подхожу к их домам, к тем перекресткам, где мы встречались. Они стоят там, поджидая меня годами. Вот сейчас лето, а мы с Лидой идем заснеженные, на бровях снег, изо рта пар, хохочем, к кому-то забегаем. С ними со всеми, и с Бутыкиным и с Юрой Константиновым, я молодею. Среди них нет подлецов. Подлецы умерли. А эти живы. Все хорошие, честные — живы. Чем лучше они, тем чаще мы встречаемся.

На набережной выросли дома, какие стоят по всей стране, — с паровым отоплением, большими окнами, в которых голубым светом горели телевизоры. Во дворах цвели клумбы и скрипели качели. Все было как везде, и

только река связывала, соединяла эту часть города со Старой Руссой, река была единственной в мире, неповторимой, как лицо человека.

Под тенью акации на скамейке сидел Андриан, поджидал меня. Я опустился рядом, вытянул ноги. В акации верещали воробьи. Сотни их слетались сюда каждый вечер и примерно с полчасца неистово вопили, обсуждая итоги дня. Затем разлетались, и акация стояла тихая, пустая, и долго еще темно-зеленые ее ветки дрожали в полном безветрии. Чего не хватало в городе, так это живности — шипения гусей, кряканья уток, цоканья копыт, всех звуков живого. До войны даже на новгородских улицах ходили козы, а в Руссе и тем более.

Андриан уверял меня, что вскоре в малых городах заведут животных. Люди понимают, что животные нужны человеку не только для еды — они помогают человеку быть человеком.

Зимою будут прибегать в городской парк к кормушкам зайцы, лоси, лисицы, весной на реке под мостом будут отдыхать дикие утки, по городу будут расхаживать журавли, ежи, барсуки, дикие козы.

Маленькие города ближе к природе, в них много неба, земли, в них камень не удручает, а радует. Они уютны, они соразмерны человеку. Такой город можно обойти ногами, добраться пешком в любой конец, в нем не испытываешь чувства ничтожности, заброшенности, которое появляется у человека среди бесчисленной толпы, текущей между железобетонных громад, уходящих вверх и вдаль.

Слушая Андриана, я думал о том, что в маленьком городе легче быть философом. Наверное, и легче *стать*. Меньше всякого рода искушений, отвлечений. Мысли в голове, они заводятся от скуки, как говорил Андриан.

Мемориал Достоевского — это всего лишь несколько улочек и переулков, это участок с квадратный километр, окруженный быстро растущим городом с современными, известными в стране заводами, с новыми благоустроенными корпусами курорта. Это город со всеми его благами — с канализацией, водопроводом, газом, паровым отоплением, От сонного захолустья почти ничего не оста-

лось, да и мемориал тоже, если судить строго, несхож с тем, что было при Достоевском.

Но прошлое хоть как-то можно здесь представить. Хотя бы довоенное, знакомое мне; оно еле слышной мелодией возникало в этих проулках.

...Каждый вечер с курорта неслась музыка. Приезжал оркестр Ленинградской филармонии, и летние вечера были пронизаны музыкой. Русса разделилась на курорт и город. Курорт — это был парк, неторопливое кружение взрослых, шум фонтанов, купальни, а город — это рыночная площадь, базар, стук пролетов, редкие автомобили...

Центр — это каменные дома, а подальше, к Ильинской улице, двухэтажные деревянные. Но не деревенские, нет, это дома-дачи с парадными, башенками, балкончиками, изукрашенные, в тени деревьев, обязательно с садом, а в саду беседка.

Во времена нэпа открылись рестораны, знаменитый тогда ресторан «Вена» с цыганами, множество лавочек, магазинчиков, лотков, павильонов, а Андриан тогда вместе с Георгием Ивановичем бегали в школу до поздней осени босиком. В тридцатые годы заработал как следует литейно-механический завод в центре города, куда поступил отец Андриана.

Были бандиты-гастролеры из Ленинграда, и был их гроза — знаменитый на весь город милиционер Козловский.

В каждом доме было зальце, крашеные дощатые полы, устланные ткаными полосатыми половиками. Варили варенье в медных тазах, мололи ячменный кофе, зачитывались Пантелеймоном Романовым, Малашкиным, Мариенгофом. Пели граммофоны: Изабелла Юрьева, Козин, молодой Утесов. На вечеринках еще распевали «Кирпичики», «У самовара», «Караван», на демонстрациях пели «Все выше», «Смело, товарищи...», в клубе заезжие ленинградцы показывали модные танцы: вальс-бостон, румбу. Пионеры шагали по главным улицам под барабан, красный галстук был нашей заветной мечтой, а комсомольцы в юнгштурмовках, с ремнем через плечо казались недостижимо прекрасными. К дальним улицам тянули электроосвещение, стояли очереди за керосином, за калошами, за мылом.

Выносили на чердаки и в чуланы комплекты старых журналов.

Приемники были редкостью, телефоны стояли только в учреждениях, в кино ходили не часто. Что же делали по вечерам? Теперь это непонятно...

У гостиного двора Георгий Иванович, тогда мальчонка, торговал пирожками.

Среда, пятница, воскресенье — базарные дни. На площади визжат, орут поросята, кудахчут куры, всякая птица, тут же телеги с мешками, возы с сеном, гончары со своими горшками, всякие разносолы, живая рыба. А рядом шелковые ряды, ювелирные магазины с зеркальными витринами, электрические лампы — роскошь того времени. Нищие, юродивые, беспризорники, богомолки-кликуши.

А за мостом райком комсомола, где Саша Сафонов вручал комсомольские билеты Андриану, а затем и Георгию Ивановичу Смирнову.

А напротив большой дом, где жил известный врач Деметьев, с белой вывеской на парадной. Особенно же чтили врача Михаила Павловича Глинку, маленького старичка с бородкой; когда он шел по улице, с ним раскланивались все...

— Вот это осталось до сих пор: здесь тебя знают все и ты всех, — сказал Андриан. — У вас там в Москве, в Ленинграде ты никого не знаешь на своей улице. И нет такого понятия — «с нашей улицы». Нет понятия «соседи». А у нас это сохраняется. Соседи, чистый воздух, тишина...

И он принялся описывать со вкусом и с вызовом преимущества провинциальной жизни, лишенной суеты, внимательной к движению времени и истории, чувствующей свою связь с прошлым. Ему, Андриану, ничего не стоило восстановить, например, свою связь с Федором Михайловичем Достоевским: его знакомый Иван Павлович Чикин, директор первого старорусского рабфака, старейший деятель народного образования, работал когда-то вместе с Марком Ивановичем Полянским, автором упомянутой книги о Старой Руссе, а М. И. Полянский молодым бывал в доме Достоевских, беседовал с Федором Михайловичем и впоследствии неоднократно виделся с Анной Григорьевной во время приездов ее в Старую Руссу.

Война, казалось бы, уничтожила город начисто. Но стоило городу возродиться — и слои его истории начали

отстаиваться, обозначаться. В больших городах история упрятана в музей, отделена, выгорожена. Здесь же она — под фундаментом дома, в огородной земле, она всюду. Вся земля этого древнейшего русского города сложена из праха мостовых, домов, печей, погребов, она хранит берестяные грамоты, обломки мечей и горшков, стекла и камня, обрывки кож и знамен, останки особняков, соборов, кузниц, дозорных башен, шлагбаумов, солеварен, острогов, аракчеевских казарм.

XVII

Как быстро и прочно стирается жизнь целых поколений. А уж что и говорить про отдельного человека. Через десять, двадцать лет не узнать: какой он был, чем он жил? В чем же смысл этой жизни, если забвение сомкнется над ушедшим, как вода? В чем был смысл всех хлопот отца насчет леса, его забот, его лесного отшельничества, его беспорядочной доброты?

Была ли у отца какая-то своя философия жизни? О чем думал он долгими одинокими вечерами, когда жил без нас? Сохранилось только несколько его писем тех лет. Скучал, беспокоился, справлялся... И мать, и мы тоже скучали по нему, но в Ленинграде все это скрадывалось, заглушалось городским шумом... А там, в тишине сугробов, вокруг чего витала его мысль? Я пытался вообразить — и не мог. Конечно, я знаю, что философия жизни занимает далеко не всех, но отец, вполне возможно, задумывался — во имя чего, зачем он живет, какова цель его стремлений и хлопот, что он оставит после себя?

Это были вековые, старомодные вопросы, и Андриан имел право высмеять меня, тем не менее он ответил сразу, словно заранее приготовился:

— Лес — вполне достойный смысл его жизни. Лес — это тебе не книжка.

— Но того леса нет, те леса давно порубили.

— Лес тот же самый. Откуда ж он взялся? Тот же биоценоз. Слыхал? Чтобы лес на новом месте принялся, надо лет пятьсот. Так что лес хранителей своих долго помнит. Лес — вот его заказник!

— Заказник, заповедник, мемориал, — сказал я.

— Заповедник — заповедь... Сколько тебе известно заповедей?

— Чти отца и мать свою...

Слабые, робкие попытки отца приохотить меня к лесному делу... В то время модны были другие специальности, я перебирал самые, как мне казалось, нужные, перспективные: электротехника, автоматизация, гидростанции. Нас пленяли цифры, размах, термины: верхний бьеф, пиковые нагрузки, кавитация, разрывная мощность, сети и системы. Двести двадцать тысяч, пятьсот тысяч вольт! А мощности генераторов, а размеры турбин! Нам предстояло затопить сотни, тысячи квадратных километров земли под водохранилища, затопить деревни, леса, поселки, перенести их на новые места, мы меняли лик Земли, мы создавали моря, перегораживали реки тысячами, сотнями тысяч кубометров бетона. Готовы были расчистить просеки на сотни километров для линий передачи. Ажурные высоковольтные опоры — это было сложно, — анкерные опоры, несущие, переходные; деревья же были просты, однообразны и ничего не стоили. Реки надо было покорить, обуздать, усмирить, запрячь. У реки, у леса был один-единственный смысл: служить человеку. Ни о каком другом смысле мы не догадывались, в расчет не брали. И наш седоголовый высокообразованный профессор, красавец и меломан, учил нас не принимать в расчет всю эту бесплатную природу, учитывать надо было лишь весенние паводки, всякие козни стихии. Мы, инженеры, — благодетели человечества, наше дело осветить мир, обеспечить его энергией. И мы это совершили, взрывая и кроша, превращая реки в тихие, ленивые запруды. Иначе было нельзя. Неправильно было только то, что мы ничего не жалели... Печально, что никакого другого смысла не имел для нас лес, разве мог у него быть свой смысл, своя цель?

— У природы нет цели, — сказал Андриан. — Но неужели тебе не приходило в голову, что природа существует не для человека, что она сама создала человека?

Нынче ему все было ясно, а где он был тогда?

— Для чего ж она создала человека?

Андриан сладко потянулся, зевнул и отвечал, не задумываясь:

— Одно из трех: либо для того, чтобы увидеть себя через человека, сознание для природы — как зеркало, она с помощью человека любит свою красоту и гармонией, слушает себе гимны, наслаждается своим совершенством, изучает свои законы; либо второе — природа создала человека, чтобы остановить эволюцию: все,

вершина, дальше идти некуда, человек — конец, всему делу венец; либо еще один вариант: сознание — это дряхлость природы, ее болезнь, может, способ самоубийства.

Больше всего он любил отвечать на вечные вопросы, всегда мучившие человечество. Откровения его проигрывали оттого, что он, стесняясь, произносил их небрежно, как давно известное, само собой разумеющееся. Когда-то он был деятелем. Карьера его шла быстро. А потом вдруг взял и ушел. Никто не знал, в чем дело. Говорили, что ушел сам, по своей воле, но это-то и вызывало удивление. Сам он объяснял туманно, выходило, что начальник его не терпел умников. У Андриана, конечно, хватало ума прикидываться бурбоном. Но, спрашивается, какой же толк в уме, если скрывать его? То он говорил, что карьера мешает размышлять. Лицо его оставалось скорбным, а голубенькие глазки веселились.

— Послушай, а что ты хотел от своих Кислиц? — спросил Андриан.

— Хотел понять, как это все было.

— А ты сочиняй. Когда много знаешь, трудно сочинять.

— Ты, наверное, очень одинок, — сказал я, — ты такой умник.

— Что делать, — сказал Андриан. — Диогену тоже было тоскливо. — Он задумался и вдруг спросил, подбрав: — Ты хочешь, чтобы все было как было?

Оказывается, все это очень просто дслагается, стоит попросить этого пожилого волшебника — и он по старой дружбе вернет в Кислицы дощатый перрон, визг пилы на лесопилке...

Хотел ли я этого?

Мир стал податлив, пластилиново-мягок. Можно было оживить старые фотографии. Можно было все вернуть. Бондарную мастерскую, горы клепки, вернуть старорусский базар с телегами, полными мелких сочных яблок — чулановки, табуны лошадей... И старую улицу Пестеля? Но зачем же я после войны прокладывал по этой улице кабели, ставил трансформаторы, зачем мы строили подстанции, давали мощности? Мы ведь хотели перестроить дома, осветить переулки, дворы, соорудить лифты, преобразить жизнь людей, чтобы хватило всем энергии, света,

тепла, газа, чтобы без всяких лимитов, воровства, ограничений. И все же я любил старую улицу Пестеля. В ней была своя душевность.

— Вот машина времени. Садись,— сказал Андриан.— Куда поедем? В какой год?

На шкале были помечены: 1800-й, 1825-й, 1837-й, 1890-й, 1914-й, 1917-й, 1929-й, 1940-й... А можно было и за красную черту, в 1985-й, 2000-й...

— Большинство пассажиров любят прошвырнуться в прошлое,— сказал Андриан.— Непонятный феномен. Особенно стремятся во времена Пушкина. Спросом пользуется также конец прошлого века.

Ночь жгуче почернела. Это была вспышка темноты. Все налилось кромешной тьмой, и оттуда, из теплой бездны, дохнуло приятным детским страхом. Там бесшумно скользили мохнатые хищники, кто-то притаился в засаде. В высокой траве за углом замерли приключения. Звезды приблизились, налитые спелым светом. Акация стала огромным деревом, на нее хотелось залезть, прыгать вниз, раскачиваться на скрученных ветвях, заглядывать в окна. Можно было свистеть, вопить во всю глотку, какое чудо была эта ночь, запахи трав, земли, тепло Андрианова плеча. А еще большим чудом было, что я жив, до сих пор жив. Столько пуль летело в меня, столько снарядов. А сколько раз я болел, и сколько смертельных недугов и разных вирусов подстерегало мои почки, кости, сосуды, ткани, все эти сложнейшие системы нейронов, гормонов, нервных импульсов, кроветворных органов. Разве не чудо, что сердце мое бьется, легкие расширяются? Я шевелил пальцами, чувствуя послушность каждой мышцы, вытягивая шею, я водил глазами, я облизывал губы, ощущая их вкус, от всего этого можно было получать наслаждение.

Я любовался мгновением. Оно, как драгоценность, сверкало отшлифованными гранями, переливалось алмазной чистотой.

Андриан сидел все в той же позе, как будто ничего не произошло. Детство не интересовало его. Там нечему было научиться, оно не содержало никакой информации. Детство — малограмотная пора, когда человек лишь учится мыслить и понимать, период подготовки. Андриан не признавал мудрости детства, способности чувствовать такое, что утрачивается в зрелости, чего никакие знания не могут возместить.

Детство вернулось на миг и погасло.

Но кое-что я успел увидеть в этой вспышке.

— Ты знаешь, отец оставил на земле не лес, а меня,— сказал я.— Лес — это в общем, поскольку от каждого остается его труд. А вот меня он действительно оставил после себя.

То, что родители продолжают в детях, в этом тоже не было никакого открытия, другое тут поразило меня — ощутимость этого родительского пребывания в нас.

Мне вспомнилось четвёростишие Вознесенского:

С иными мирами связывая,
глядят глазами отцов
дети —
 широкоглазые
перископы мертвецов.

Отец моими глазами рассматривал свои леса, реку, этот город. А я как бы его зрением видел Кислицы, новый леспромхоз, молодые березы. Поехал сюда я не только по любви к этому краю, но и уступая тем отцовским просьбам, которые я ощущал. Отец жил во мне. И интерес к прошлому вызвался, вероятно, им, его присутствием внутри меня, он продолжал существовать, и сказывалось это в необъяснимых наплывах тоски, в снах, а то и в запоздалом стыде.

По разным поводам он пытался напомнить о себе, но как-то не хотелось прислушиваться к этим сигналам души. Это было не так трудно — не прислушиваться. Они гасли, не находя ответа. Думалось, что так и надо, что сила воли в том, чтобы не поддаваться ненужным томлениям, не обращать внимания на душевные тревоги. Андриан считал, что это полезно для душевного здоровья. Лучше, когда ничто неразумное не вмешивается в нашу жизнь. Не появляется непрошенная тоска, скука. Разве нормально, когда без видимой причины в разгар успеха, почета все вдруг опостылеет, потеряет цену?

Дорогой ты мой философ, а что, если это твое «душевное здоровье», душевная неуязвимость,— отсутствие души, атрофия ее?

— Что значит: отец оставил на земле тебя? — спросил Андриан.— Какой смысл стоит за этим? Ты же не занимаешься делами отца, не отвечаешь за него. Отец за

сына отвечает. Он обязан сделать сына порядочным человеком, трудовым, добрым. Это ответственность. А у сына есть перед отцом долг. Ясно? Как, например, у Гамлета. Долг помогать, не уронить имени, соблюдать честь.

Петр Сергеевич тоже говорил, что сын за отца не отвечает. Так ли это? А если ответственность эта не перед другими, а перед собой?

Я попробовал представить, что останется у детей и внуков от моего мира. Многое исчезнет навсегда. Вот они встретятся с внуками Калистратова и понятия не будут иметь, что деды их дружили, вместе охотились, рыбачили. Они будут стоять на этом берегу и знать не будут, что когда-то мы сидели здесь с Андрианом и говорили о них. А может, и отец мой сидел здесь с отцом того же Дмитриева.

— Станный вопрос пришел мне в голову, Андриан. Почему Достоевский назвал старого Карамазова Федором? Этого сластолюбца, распутника, мерзавца?

— Как-то не обращал на это внимания, — сказал Андриан. — Может, случайность?

— Наделить своим собственным именем подлеца — какая ж тут случайность? Любой человек охраняет свое имя от всего плохого. Представь себе, что ты описываешь некоего Андриана и представляешь его обжорой, болтуном, всезнайкой, рассказываешь, как он по любому поводу поучает, какое у него темное прошлое, какой он лентяй...

— Хватит, — сказал Андриан. — Невозможно представить. Все вышло бы фальшиво, надуманно. Если по Фрейду... нет, все равно...

Впервые он не нашелся с ответом.

А вот Георгий Иванович, тот ухватился за этот вопрос со всем пылом и стал предлагать разные варианты, пока не утвердился на том, что имя свое Достоевский отдал Карамазову умышленно, в этом, если угодно, подвиг писателя, который принял вину за грехи отца своего на себя. И все это Георгий Иванович увязал с идеями философа Федорова, которым Достоевский в те времена увлекался. Принять вину отца на себя, на свое имя — для этого Федор Михайлович и поселил Федора Павловича Карамазова в свой старорусский дом.

— И это тоже не случайно, ничего случайного у Достоевского нет, — настаивал Георгий Иванович. — Всем, чем мог, хотел взять на себя вины отца. Совесть его осо-

бенно чувствительна, недаром Горький называл его нашей больной совестью.

— Значит, Достоевский чувствовал ответственность за отца?

— Еще как! Удивительного устройства была его душа!

Андриан слушал нас хмуро, потом сказал:

— Неужели лет через тридцать дети будут тоже вот так разглядывать... наши жизни? Выяснять всякие обстоятельства... Не нравится мне это. Судить нас они не имеют права!

— Ты же судишь,— сказал я.

Он разом насупился, потяжелел, зло засопел.

— Кого это я сужу? — И изготовился, как перед прыжком.

Я не ответил.

— Что ты знаешь? Чего ты суешься? Эта паршивая привычка копать... Мне, может, родители всю жизнь сбили,— он повернулся к Георгию Ивановичу,— я ведь хотел быть гуманитарием, на философский хотел, а они навалились: нужна профессия, нужна специальность! Ну что они понимали? Отцу лишь бы план гнать. Все на штурм! Вперед! Аврал! Для него человек — кто перевыполняет. А все антимонии он презирал. Он все это вытоптал во мне, высмеял. Перед всеми задразнил. Философ! Философия, говорил он, для бездельников, для захребетников. Выпьет и кричит, бывало, на всю улицу: вырастил, мол, паразита...

Пальцы его сжались в кулак. Прищурясь, он смотрел через меня насквозь, в те ненавистные дали, где ломалась его юность, где был самодур отец, который запустил его в постылый этот планово-экономический техникум, как в машину, которая покатила, понесла...

— Лучшие годы ухлопал впустую,— сказал Андриан.— А ты будешь тут меня уличать!

— Не знаю, ох не знаю,— сказал я.— Родители, они тоже кое-что понимали. Разве мы ничего не понимаем, когда сейчас советуем своим детям?

— Тьфу, противно, как ты все переворачиваешь! — возмутился Андриан и ушел.

Отец и сын переливались в нем, сразу меняя все мировидение, два эти состояния не умели сосуществовать, од-

но начисто исключало другое. Сам Андриан не замечал этого, не слышал, как тут же, переходя от отца к сыну, он говорил совершенно обратное, противореча себе.

Да и мы были немногим лучше. Мы все начинаем понимать обиды наших родителей, ценить их терпение, вспоминать их бессловесное ожидание, когда сами становимся отцами. Проходя путь отцовства, мы замечаем следы и знаки, когда-то оставленные на этой дороге нашими отцами и дедами. К концу пути следов все больше... Родителей нет, и когда ничего уже нельзя исправить, мы начинаем понимать их. Зачем же нужна столь поздняя наука? Ее некому передать, раскаяние не в силах ничего изменить...

Таков закон природы, доказывал Андриан, закон мудрый, как все, что устроила природа. Но так ли она мудра, природа? И так ли она совершенна? Вот это позднее чувство к своим ушедшим родителям, когда они становятся нам ближе и понятней, чем наши взрослые дети, когда мы проходим, проживаем год за годом их чувства к нам,— было ли это предусмотрено природой?

Андриан прохаживался у гостиницы, поджидая меня. Он не извинился. Он никогда не извинялся, ибо считал, что нас ничто не может посорить.

— Знаешь, я вспомнил, как мать отговаривала меня. Совсем иначе, чем отец. Она боялась. Общественных наук боялась. И философии. Ей казалось, что все это опасно. А объяснять мне она, наверное, не хотела. Помоему, она остерегалась заронить в мою душу сомнения. Интересно, как это было на самом деле? Да разве узнаешь...

— А может, и отец твой того же боялся? Может, они с матерью советовались между собою и все думали, как бы тебе сказать половчее, как бы на тебя подействовать? Может, отец стеснялся признаться в своих страхах, поэтому кричал, грозился?

— Может, может...— передразнил Андриан, но как-то нсуверенно, удивленно, ожидая, не продолжу ли я.

И я продолжал, не жалея его.

Выкроив несколько отгульных дней, отец приезжал в город повидать нас. Поезд приходил рано, отец подни-

мался по лестнице, стучал в стенку. Он тащил на спине мешок, в руках корзины, бог знает какую тяжесть — бруснику, грибы, творог, деревянные миски, яблоки, ржаные кокорки. Долго сидел не раздеваясь, потный, было жалко его, гостинцы казались ненужными.

Сколько упрашивали его переехать в город, он так и не мог решиться, уверял, что без леса ему нельзя.

Была тетя Даша, жесткая и резкая старуха, которая сажала меня с собою у печки и внушала, помахивая коcherгой:

— Ты отца не мучай, ты расти пряменько, шагай в ногу со своими товарищами и не оглядывайся. Считай, что у тебя отец отсталый.

Отсталость родителей успокаивала и вроде бы все объясняла. И отцу тетя Даша говорила:

— Ты детям расти не мешай. У них своя жизнь. Не путай их своим дегтем и шишками.

Зеленые купы ив закрывали улицу, из окна дома Достоевского был виден чисто подметенный пустой дворик музея, заросший сад. Из окна все выглядело как когда-то и все двигалось, было живым. Когда-нибудь люди смогут попадать в свое детство, возвращаться туда хоть ненадолго, хоть на несколько часов, чтобы у каждого детства был свой мемориал, где бы все было, как было. Те же деревья, те же дома, речка, те же запахи трав, те же книги на полке.

Среди старых изданий «Братьев Карамазовых» я нашел у Георгия Ивановича затрепанный томик с иллюстрациями. Последняя картинка изображала Алешу Карамазова, окруженного мальчиками. Алеша стоял у камня и держал речь. Нарисован он был безлико, иконописным монашком. Впереди стоял Коля Красоткин, этот сразу напомнил мне Петра Сергеевича. Непохож был, но все равно напомнил. Один из мальчиков, с краю, тот похож был на моего отца, была в доме когда-то такая фотография — молоденький отец в форменной фуражке набекрень, курчавый, круглолицый. Старинная фотография на толстом картоне, четкая, коричневая, из тех, что вставляли в обтянутые бархатом тяжелые альбомы — они заменяли собой галереи, увешанные портретами предков-аристократов. Альбомы лежали на столиках. После войны фотографии вместе с альбомами незаметно и стыдли-

во исчезли. Почему-то их заклеили, как приметы мещанства, вместе с фикусами и комодами.

Верили этому, сколько раз ошибались и все же верили и с верой избавлялись от фикусов, от альбомов, от того, что связывало с прошлым, со своим происхождением.

...По датам, конечно, не сходилось, не мог отец быть среди тех мальчиков, не было его еще на свете, но какое это имело значение?

Мне приходили на ум и другие люди, которые умудрялись, несмотря на все удары жизни, оставаться человечными, стойкими в своей доброте. Больше, чем других, настигали их разочарования, обиды, несправедливости. И все же они не поддавались злобе, цинизму, унынию. Что помогало им, что поддерживало их дух? Что обязывало их душу сохранять доброту, когда казалось это так невыгодно, когда все было против? Я никогда до конца не мог разобраться в том, как это происходит. И вот теперь я стал думать, что, может, им помогало какое-то воспоминание, принесенное из детства? Может, они посещали свое детство и оно прибавляло им силы? Может, там хранятся наши запасы безошибочной любви, доброты, радости, веры в будущее?..

1976

ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ

Вечерами внизу, где сидела дежурная, собирались командировочные, или гости, как они тут именовались. Там урчал кипятильник, за длинным столом стучали в домино, гоняли чай и трепались. Что еще делать командировочным людям осенними вечерами в таком городке, как Лыково?..

Кира заходила в дежурство Ганны Денисовны. Подруги они были. Поначалу Чижегов ничего особенного в ней не приметил. Если б ему сказали, что вскоре он будет страдать и мучиться из-за этой женщины, он посмеялся бы, такая она была невидная. И ведь если бы ему так сказали, то наверняка ничего и не было бы. Потому что Чижегов давно перестал помышлять о чем-либо таком, обстоятельная и серьезная его натура с годами целиком приспособилась для работы и домови-

тости. И сам он привык, что женщины, с которыми у него бывали короткие командировочные романы, смотрели на него как на семейного человека, никаких планов им и в голову не приходило.

С ее появлением разговор за столом не то чтобы менялся, а перестраивался, в том смысле, что большей частью начинали обращаться к ней. Она из тех людей была — в каждой компании есть такие, — которые неизвестно отчего становятся центром. Кто бы что ни говорил, посматривал на нее, ожидая от нее одобрения или какого-нибудь слова.

Потом уже, когда они выясняли, с чего же у них началось, Кира призналась, что до той истории с иностранцами она ничем не выделяла Чижегова.

Иностранцы, два инженера из ГДР, приехали на лесобиржу по закупке леса. Поместили их в единственный люкс с телефоном и радиоприемником. В лыковской гостинице иностранцы останавливались впервые. Накануне из райисполкома проверяли, инструктировали, но, конечно, предусмотреть всего не могли; поздним вечером обнаружилось, что приезжие, ничего не объяснив, выставили в коридор у дверей свои туфли и легли спать. К тому времени, когда Чижегов спустился вниз попить чаю, нашелся специалист по заграничной жизни, который разъяснил, что по тамошним порядкам обувь выставляют, чтобы ее чистили. Ганна Денисовна чистить наотрез отказалась — с какой стати, она собственному мужу сапог не чистила, да и не ее это обязанность. И нет у нее ни крема, ни щеток. За столом обсуждали ситуацию, кто посмеиваясь, кто всерьез. Что получится, если иностранцы найдут утром свои штиблеты нечищенными, как отзовется это на престиже гостиницы и какого мнения будут о Лыкове в Европе. Тут кто-то заметил, что хорошо, если туфли достоят до утра, очень свободно за ночь они могут исчезнуть, за всех не поручишься. Смешки смешками, а Ганна Денисовна разнервничалась, и директор гостиницы, вызванный несмотря на поздний час, тоже зачертыхался. Не пост же выставлять к этой обуви. Директор был однорукий инвалид Отечественной войны, и Чижегов, глядя на него, вдруг рассердился, встал, подошел к дверям люкса, громко постучал и вошел.

Он по-немецки сказал, что у нас не принято выставлять ботинки на ночь, каждый сам себе чистит, нет у нас такого обслуживания, рабочих рук не хватает... Сер-

дясь, он выпалил это залпом, чем напрасно смутил немцев, они оказались простыми ребятами, долго извинялись, и на завтра вечером пили со всеми чай и играли в шашки.

Но в тот вечер Чижегов стал героем. Конфузясь от внимания, он ушел на крыльцо покурить. Вскоре вышла, собираясь домой, Кира Андреевна, спросила его, откуда он так знает немецкий. Надо сказать, что он и сам не понимал, откуда что у него взялось, специально язык он не изучал, наслушался, когда служил в армии под Берлином. Кира Андреевна позавидовала ему — великое дело способности к языкам, она, например, полностью неспособна и дочери передала свою бесталанность. За разговором не заметили, как Чижегов пошел ее проводить. Насчет дочери он вызвался помочь, у него самого было двое сыновей, он любил возиться с ребятами.

Один раз он и в самом деле позанимался с ее дочкой, шестнадцатилетней модницей, пообещал еще как-нибудь заглянуть, потом на заводе началась горячка, и Чижегов так и не выбрался. Отладив регуляторы, он вернулся в Ленинград, и снова вызвали его на лыковский завод только в июне. В первое воскресенье, взяв у начальника энерголаборатории Аристархова снасти, Чижегов отправился порыбачить. Рыбак он был небольшой, нравилось ему бездумно нежиться с удочкой на берегу, энергичной его натуре для отдыха нужна была хотя бы видимость занятия. На этот раз не успел он закинуть, как потянуло, и сильно, и Чижегов, чтобы не сорвалось, сошел в воду и, чертыхаясь, проваливаясь по колено и выше, повел вдоль берега. Рыбина тащила его долго; он продирался за ней по камышам, молясь лишь, чтобы жилка выдержала. Прошел под мостом, с которого ему свистели ребяташки, миновал купальни. На его счастье, речушка разделилась, и в омут рыба не пошла, а вильнула в протоку за песчаным островом. С хлопом и треском, ломаясь сквозь ивняк, Чижегов выскочил на травянистый спуск, на этакую замкнутую кустами прогалину. Посреди нее лежала женщина. Она лежала совсем голая, раскинувшись на безветренном солнцепеке. Это была Кира Андреевна. Ему показалось, что она спит, но в это время она подняла голову. И что его поразило — нисколько не испугалась. В первый момент, правда, она дернулась, собираясь прикрыться, а потом, словно передумав, разmoreнно так повернулась на бок

и, подперев голову, стала смотреть на Чижегова, очевидно не признав его в этом залепленном черно-зеленой тиной, всклокоченном рыбаке. Вид у него и впрямь был дикий. Он остановился, выпучив глаза, пораженный бесстыдным спокойствием, с каким она продолжала лежать, покраснел, попробовал отвернуться.

Рыба, не считаясь с его переживаниями, рванула со всей отчаянностью, леска лопнула. Чижегов поскользнулся на камне и шлепнулся в воду. Он поднимался, ругаясь от боли и досады. Кира Андреевна засмеялась. Она села, обхватив колени руками, и смеялась. Чижегов выбрался на берег, по-собачьи отряхнулся, избегая смотреть на нее, а все равно видел ее слабо загорелые груди, прижатые к коленям, складки ее живота. Он поздоровался, назвав ее по имени-отчеству, надеясь, что она смутится, но она вгляделась и, узнав его, еще пуще захохотала.

Так и началось у них. Все произошло со смехом, само собой, как бы нечаянно, и вечером, засыпая, Чижегов подумал о ней, как думают о гулящих бабах, довольный главным образом собой.

Впоследствии он не раз пытал ее: так ли она вела бы себя, если бы появился не он, а кто другой. Кира все уклонялась, убеждая, что узнала его; в конце концов он добился: она сказала, что женщина она одинокая, свободная и может позволить себе. Странно, что это ее откровенное рассуждение и обидело его, и чем-то понравилось. Он подумал, что так лучше, никаких у него не будет обязательств.

Приезжал Степан Чижегов на лыковский завод примерно раз в два-три месяца отлаживать автоматические регуляторы. Почему они разлаживались, неизвестно, всякие были предположения, однако с того раза, как заporоли партию готовых деталей из-за неправильного режима, дирекция настояла, чтобы институт регулярно присылал человека для проверки. Летом и осенью командировки эти устраивали Чижегова — из Лыкова он привозил домой яблоки, вяленую рыбу, грибы. Зимой было хуже. Единственное, что как-то примиряло, это Кира. Нравились ей тем, что не докучала и ничего не требовала. Придет Чижегов, и хорошо; что есть, то и праздник. Никаких планов не строила, не загадывала, не было в ней ни прилипчивости, ни бабьего желания обязательно власть забирать.

И постепенно Чижегов доверился ей. Семью свою он ценил и гордился и детьми, и женой, которая вела все хозяйство и успевала работать в ателье. Она была веселой и умной женщиной, и Чижегов старался не доставлять ей никаких огорчений. После армии он, случалось, запивал и погуливал, в последние же годы не то что угомонился, а стал беречь жену и перед сыновьями не хотел показывать себя плохо.

Отношения свои с Кирой Андреевной Чижегов считал баловством, ничего более. Прошел год с лишним с того июньского дня, и Чижегову казалось, что ничего не изменилось. В Ленинграде он почти не вспоминал о Кире Андреевне. Появлялась она для него, когда он приезжал в Лыково. Уже в поезде, подъезжая, он представлял, как позвонит к ней в контору и она, узнав его голос, притворно деловым голосом условится... И тут он вспоминал, что надо было бы привезти ей что-нибудь, какой-нибудь пустяк: чулки, кофе, шариковую ручку,— было неловко, что опять он забыл, но тут же он успокаивал себя тем, что, может, и ни к чему приучать ее.

А может, и ей самой странным показался бы такой подарок. Она скучала по Чижегову, но он понимал, что говорит она так, чтобы доставлять ему удовольствие. Видимо, ее тоже устраивали их нечастые встречи, которые пока что не вызывали никаких толков. В Лыкове его мало кто знал. Заводские жили большей частью в поселке в трех километрах от города, да и среди заводских общался он главным образом с лаборантами и Аристарховым.

В самом Лыкове они никуда вдвоем не показывались, встречались с предосторожностями. Приходя в гостиницу, Кира держалась свободно, Чижегова даже озадачивало ее искусство. За столом она заигрывала с Чижеговым, подтрунивала над ним, никак не выделяя его; нахальное это актерство вгоняло его в краску.

Кира же объясняла ему, что так оно лучше, безопаснее.

При всей своей осторожности, она ничего не боялась и ничего не стыдилась. Летом, когда они забирались вверх по реке, она купалась при нем голая, не пряча чуть отвисающего своего живота с большим белым шрамом. В ласках она тоже была бесцеремонной, жадной и нисколько не щадила Чижегова.

Утомившись, они лежали, не касаясь друг друга. Ки-

ра рассказывала о себе, о погибшем муже-летчике, о дочери, о делах своего леспромхоза, и хотя Чижегов никак не участвовал в этой ее жизни, было интересно ее слушать. Как-то она показала ему старые фотографии. На велосипедах с какими-то спортсменами; у самолета в летном шлеме; на юге в купальнике. Толстоногая курносая девчонка — сходство с дочкой было, но в пользу Киры, она была куда ярче, озорнее. Это совпадало с ее рассказами, как она охотилась с отцом и как с мужем, тогда еще женихом, вытащила из проруби маленького цыганенка...

Чижегову становилось грустно оттого, что он не знал ее в ту пору. То была нелепая, хотя и обычная ревность мужчины к тому, что молодость ее досталась другим и в этом бурном веселом прошлом его не было.

Кира, утешая, терлась холодной своей курносостью о его шею. Если бы они встретились лет пять назад, то все бы уже давно кончилось. Да и не нравились ей тогда такие серьезные, семейные, занятые важными делами, ей нужны были красавцы, весельчаки. Жесткая ладошка, загрубелая от домашних стирок, от огородной лопаты, гладила, ворошила его волосы, и Чижегов чувствовал жалость к отцветающей ее женской судьбе. В такие минуты старался не смотреть на нее...

Зимой Кира часто задерживалась на работе. Однажды перед отъездом Чижегов, не дозвонясь, зашел в контору попрощаться. В комнате ее сидели пришедшие лесники, заготовители. Из раскрытых дверей тянуло дымом, парной теплыней. Стоя в сенях, Чижегов различал в шумном споре быстрый, хозяйский ее голос. Шла какая-то распря с заготовителями, и она мирила и тут же совестила, отчитывала. В сени вышел парень в шикарной нейлоновой куртке, прикурил у Чижегова и в сердцах выругал Киру: цепляется по пустякам, берется судить бабьим своим умом, ничего не смысля. Руганул ее скорее с досады и, отведя душу, вернулся, с ходу встряв в разговор. Кира наперекор всем честила какого-то инспектора. Воровать не мешает — вот и вся его заслуга. Кто не мешает, тот им и хорош. А Грекова выжили за то, что спуску не давал. На нее закричали — жить надо, мол, давать людям, тысячи кубометров на дно идут, а тут из-за десятка кражей жизнь человеку портят. И без того у лесников нет условий. На это она им сказала, что все они получают больше, чем в любой стране, о такой

зарплате канадцы, например, и мечтать не смеют. Вот тут-то и вклинился парень в куртке — откуда ей знать, тоже, мол, международный экономист; у канадцев, при их капитализме и прибавочной стоимости, жизненный уровень будь здоров... Но она с ходу подсекла его — какая с него прибавочная стоимость, при его работе он любого капиталиста по миру пустит. Ему бы там в Канаде и на кусок хлеба не заработать...

И так это у нее складно повернулось, что все загрохотали, а Чижегов, радуясь за нее, с обидой подумал, почему с ним у нее нет серьезных разговоров, а вот у всех этих мужиков был к ней, оказывается, и другой интерес, не такой, как у него.

На улице кружила метель. Кира провожала его до моста. У Троицкой церкви постояли в каменной нише под облупленной фреской божьей матери. Было за полночь. Городок спал. Ветер колотил оторванным железным листом. Сухой снег не падал, а поднимался в черное небо. Чижегову странно было: взрослые люди, а ведут себя будто старшеклассники; стоят обнявшись, молчат — и не скучно. Почему-то вспомнилась ему девушка из офицерской столовой в Потсдаме, как они гуляли и он угощал ее орехами. Надя ее звали. От нее вкусно пахло земляничным мылом, она тянула Чижегова за мочки и говорила: «Ох ты, человек, два уха». Чепуха, а не забывается. И ей, Наде, может, помнится это, и она рассказывает мужу или кто там у ней теперь есть, и тот ревнует ее к Чижегову и к давней берлинской ее службе.

Ему захотелось сказать Кире что-нибудь хорошее, чтобы в одинокой своей жизни, когда у них все закончится, ей было бы что вспомнить. Но на ум приходили шутки и приговорки, которые он когда-то уже говорил жене или совсем чужие, из кинокартин...

Сразу после майских праздников Чижегова вызвали в Лыково: забарахлили потенциометры. Первые два дня он возился до вечера и не позволил Кире. То одно, то другое, он не спешил, даже приятно было оттягивать встречу. На третий день в обед телефон не ответил. Вечером он пошел к ее дому, окна были темные. Повертелся, подождал, вернулся в гостиницу. Дежурила Ганна Денисовна. Чижегов поболтал о том о сем, наконец как

бы между прочим осведомился, почему давно не видать Киры. Он догадывался, что Ганне про них кое-что известно, хотя виду она не подавала. На его притворное равнодушие, не подняв головы от вязания, обронила, что позавчера Кира уехала в Новгород. Немного потомив его, нельзя же без этого, добавила, что Кира скопила отгульные дни и решила погостить у своих.

Чижегов сел за шашки. Рядом стучали в домино, пили чай из толстых граненых стаканов, и все это привычное вечернее житье показалось Чижегову нестерпимо скучным. Он вышел на улицу, гулять не хотелось, и спать было рано. «Как же так, как же она уехала?» — тупо и обиженно повторял он, не находя объяснения. Впервые он не застал ее. Он привык к тому, что она всегда здесь, стоит ему приехать — и они увидятся, как только ему захочется. Что ж это она делает...

Назавтра его пригласил к себе на день рождения начальник энерголаборатории Костя Аристархов. Собиралась приятная компания. Аристархов был холостяк, и лаборантки взялись приготовить стол и советовались с Чижеговым, вовлекая его в свои планы. Будь Кира в городе, он бы пошел, позвонил ей, сказал, что нельзя ему не идти, и пошел, и веселился бы, вот в чем парадокс. А теперь у него всякая охота пропала. Отговорился нездоровьем и вечером кружил у ее дома, не зная, куда себя деть. Ни с кем разговаривать не хотелось. Ничего не хотелось. Такая пустота, такая тоска его забрала, что представить не мог, как еще четыре-пять дней маяться до отъезда без нее. Городок этот, Лыково, с его перекопанными улицами, которые ремонтировали много лет, с редкими фонарями, палисадниками, старым заколоченным под склад гостиным двором, стал дырой, глухоманью, непонятно было, чего ради он, Чижегов, торчит здесь. Он долго не мог заснуть. Ему вдруг подумалось: неужели и Кира вот так же томится без него, когда он в Ленинграде. Никогда раньше ему это в голову не приходило. Она-то ведь месяцами ждет, да и когда он здесь, то тоже не каждый вечер они видятся. Неужели ей тоже бывает так пусто без него, и некуда деваться, и все в неохоту? Уже почти два года так, да это ж страшно подумать, если примерить к себе. Нет, такого быть не может, успокоил он себя, у нее дом, дочь, друзья-приятели, она ж ни разу ему не пожаловалась. Но тут в памяти его возник один осенний прошлогодний день, когда они

гуляли по лесу перед его отъездом, потом распрощались, и он, как всегда, пошел к железнодорожному мосту в обход, а она мимо мукомольни. Что-то Чижегов позабыл, журнал, что ли, вернулся и издала увидел, как она сидит на поваленном бревне, где он оставил ее, опустив голову, руки сцеплены... Он подходить не стал, чувствуя, что лучше не вникать, осторожно попятился и ушел,— черт с ним, с журналом. И еще кое-что было, чего он старался не замечать.

Чтобы отвлечься, он стал думать о работе. Тонкий механизм потенциометра двигался перед его глазами, все увеличиваясь в размерах. Латунные контакты величиной с бульдозер, скрежеща, ползли по медному шоссе, надвигались на Чижегова, можно было различить неровный их ход, они подпрыгивали, круглые, твердые, чем-то знакомые, а вот чем именно, он понять не успел.

То ли это привиделось во сне, то ли сообразил засыпая, но наутро он мысленно повторил, чтобы не забыть. И в автобусе, и на работе картина эта не выходила у него из головы. Он чувствовал, что это чем-то похоже на то, что творится в регуляторах. Постепенно что-то накапливается в их электронном организме и разлагивает его. Следовало бы сесть и додумать до конца. Но сейчас он не хотел ни на что подобное отвлекаться. Хоть какое открытие — не его это обязанность исследовать, искать причину. Его дело отрегулировать и сдать, и до свидания. По инструкции следовало отключать плечо за плечом, замеряя каждую цепь в определенной последовательности. Чижегов решил рискнуть. Выбрать наугад. Не совсем, конечно, наугад, а полагаясь, так сказать, на чутье. В случае удачи он выигрывал почти двое суток от положенного времени. Существовал один шанс из четырнадцати. Не повезет, тогда придется начинать сызнова, и целый день насмарку.

Старшая лаборантка Анна Петровна, подключая приборы, вопросительно посмотрела на него, Чижегов молча кивнул. Перед тем как замкнуть цепь гальванометра, Чижегов взглянул в окно. За частым переплетом синело пустое небо. В душе его замерло.

Не то чтобы он молился. Древнее чувство, переданное поколениями предков, неведомых ему, безотчетно заставляло его делать то же, что делала его бабушка, когда вот так же в крайние минуты жизни, подняв глаза к маленькому городскому небу, истово шептала. Давно

позабыл он ее изначальные, всегда одни и те же слова, похожие на стих, да и саму бабушку почти не помнил, а вот это осталось: не молитва, не бог, а мольба, к судьбе своей, что ли...

Стрелку гальванометра отбросило к нужному делению. Чижегов обнял Анну Петровну. За четыре часа все было исправлено, собрано, запломбировано.

Он сдал работу и попросил Аристархова отметить командировку вперед на два дня, поскольку ему хочется заехать к приятелю под Новгород.

Сперва он сходил посмотреть Кремль, восстановленные заново башни, белую громаду Софийского собора, купил билет в Грановитую палату, но дожидаться впуска терпения не хватило. План у него был такой — встретиться с Киной как бы невзначай: надо же, повезло, не то чтобы специально искал, заехал город посмотреть — и нате вам, кого вижу. Пусть не поверит, зато самолюбие не ущемляло.

Сдерживая себя, походил вокруг бронзовой махины памятника тысячелетию России, где не убывали экскурсанты, толпились, разглядывали, спрашивали про бесчисленные эти фигуры. Князья, патриархи, полководцы, композиторы неразличимой каруселью мчались перед Чижевым. В другое время и он по книжечке опознал бы каждую историческую личность, кто есть кто, а тут на ум ничего не шло.

...Прошел час, второй, как он сидел, укрывшись за ларьком перед домом ее тетки. Ждать было приятно, как бы что-то доказывал, квитался, потом уже сидел по-упрямому, без чувств. И когда она вышла, даже не обрадовался. Может, еще потому, что была она не одна, с целой компанией, шесть человек, трое на трое.

Ресторан «Детинец» помещался в Кремлевской башне. Под кирпичными сводами горели свечи, была удобная полутень. Чижегов сел поодаль от Киры, пристроился к компании студентов-узбеков.

Одета Кира была нарядно, впервые он видел на ней полосатое синее с белым платье, крупные металлические бусы или ожерелье, бог его знает, как это называется, и браслет. Губы ее были накрашены грубо-вызывающе. Справляли, судя по всему, какое-то семейное торжество, чокались. Кира что-то произносила, и с ней целовались.

Чижегов заказал графинчик, угостил студентов, он быстро захмелел и все просил не обращать на него внимания. Спина его вспотела, словно оттуда, от Киры, через весь зал дышало на него жаром. Впервые он видел ее в такой обстановке, на людях; у нее шла какая-то своя жизнь, неизвестная ему, были родные, друзья. Ему то казалось, что, когда он уезжает, ничего не происходит, все останавливается и оживает лишь при его появлении. Выходит, и без него она живет. Почти не оборачиваясь, краем глаза он видел, как ее сосед, черноусый, в вязанке, с кожаной блестящей грудью, обнял Киру.

— Вы, папаша, местный? — спросил Чижегова узбек. Чижегов обиделся — рано таких сыновей иметь, что еще за обращение. Но тут же подумал, — а как, кроме папаша, называть: студент — он «молодой человек», а Чижегов — какой он человек? Сколько есть разных слов — и не хватает. Вот и ему подойти сейчас к Кире, сказать — какими словами? Тоже нет таких слов. Мысли эти были непривычные. Он смотрел на длинные ресницы молоденького узбека, на нежные красивые его щеки и чувствовал себя старым. Папаша. Неловко извинился, распрощался.

Наверху, на балкончике заиграли гусли, ряженные в расшитые рубахи. Один гуслир был в роговых очках, другой с длинными модными баками.

Чижегов, кривя губы, подошел к ее столу, поздоровался, назвав по имени-отчеству. Ради этого мгновения все и было, оно все искупало, все ради того, чтобы увидеть, как изменяется ее лицо, эти переходы радости, испуга, растерянности. Конечно, она пригласила его к столу, хотела познакомить, разве что на миг замешкалась, и микросекунды эти обостренным чутьем своим он уловил, поняв, что он тут чужой, непрошенный. Поймал напряженную улыбку ее тетки, лицом похожей на Киру, любопытство розовой толстухи с накладными волосами. Мужчины, те ничего не заметили, приняли его, должно быть, за сослуживца, усач гостеприимно, по-хозяйски велел потесниться. Почему-то это особенно уязвило Чижегова. Не скрывая усмешечки, он отказался, поскольку уже откусывал и не желал нарушать приятной компании, все это ерничая: где нам, дуракам, чай пить, — и поклонился слишком низко, и, прямо держась, пошел, спустился вниз, надел пальто, взял чемоданчик.

Медлил, ожидая, выйдет ли она. Ему надо было проверить, может ли она бросить всех ради него. Для этого и говорил таким тоном, стоя у стола. Доказать, доказать всем и самому себе. А если не выйдет, что тогда?

Надо было уходить, он понимал, что самое лучшее — уйти, и не уходил. И когда она сбежала вниз, Чижегов, придушив свою радость, пьяно потребовал, чтобы она оделась и пошла с ним. Не то чтоб он был пьян, у него было как бы равновесное состояние — он мог быть пьяным, а мог держать себя в руках. Ему не терпелось проверить свою власть. И этого, он чувствовал, тоже не следовало делать. Кира не перечила, вздохнула, подчинилась с охотой, уже на улице рассказала, что праздновали они серебряную свадьбу тетки, тот мужчина с усами — племянник мужа тетки, только что приехал из Финляндии.

Чижегов почувствовал себя виноватым и еще сильнее озлился. Вместо того чтобы вернуть ее назад, он молчал и быстро вел ее через мост, в новые скучные кварталы железобетонных домов, все дальше от Кремля. Начался редкий дождь. Кира спросила, зачем он приехал в Новгород. Он услышал надежду в ее голосе и назло с усмешкой сочинил про дела на заводе, и так сочинил, чтобы не оставить ей ни малейшей надежды. Дождь полил сильнее, надо было бы переждать, но Чижегов шагал все так же размашисто, словно была у него какая-то цель. Он слышал, как она задыхалась, и ведь жалел ее, а не останавливался. Ему было бы легче, если б она плюнула и оставила его здесь, так ведь нет, она послушно спешила за ним, как бы нарочно, чтобы доконать его, чтобы он признался, прощения попросил. Ну что ж, раз она так, и он так, и посмотрим, кто кого перетакает.

Наконец она остановилась, сняла платок с головы, вытерла мокрое лицо, прическа ее развалилась, волосы обвисли. За что он мучил ее? Она так и спросила. Он стоял стиснув губы. Она посмотрела на его лицо, в котором не было ни жалости, ни любви, и заплакала.

На этом они и расстались. У Чижегова было противно и муторно на душе. Утром, подъезжая к Ленинграду, он думал о вчерашнем, о том, как хорошо ему было, когда он ждал ее, сидя на лавочке за ларьком, и как потом почему-то все получилось скверно. Он все старался понять, отчего так произошло, зачем он испортил ей

праздник. Он представлял, как они могли бы вместе погулять по Кремлю в Новгороде, благо никто их не знал, могли бы ходить под руку, не таясь.

Выходя из поезда, он твердо решил позвонить ей в Лыково.

Дня через два после работы он заскочил на переговорную. Дежурная сказала, что Лыково дадут в течение часа. Чижегов подсчитал: к тому времени Кира уйдет из конторы. Да и сидеть, ожидая вызова, тоже не хотелось. Он подумал — не написать ли. Купил нарядную открытку, но словами писать такие вещи было невозможно.

В начале августа, согласно расписанию, Чижегов собрался ехать в Лыково. Перед самым отъездом он загрипповал и пролежал неделю. Как-то днем раздался частый междугородный звонок. Дома был младший сын. Слышно было, как он сказал, что папа болен. Чижегов крикнул ему, прошлепал в коридор, взял трубку. Он думал, что это Аристархов, но это была Кира. Сын стоял рядом. Чижегов откашлялся и сказал, что выздоравливает, ничего опасного, скоро приедет; он ничем не выдал себя, в такие минуты он умел найтись. «Не беспокойтесь, Анна Петровна», — повторял он, вспомнив старшую прибористку. И тут он услышал, как Кира заплакала: «Я не Анна Петровна, не хочу быть Анной Петровной, не хочу». «Да, да, привет Аристархову», — ответил он и повесил трубку.

Отчаянный ее голос продолжал звучать в его ушах.

Перед отъездом он купил духи за шесть рублей и коробку конфет. Пришлось сказать дома, что это просили девушки из энерголаборатории. Он иногда прихватывал в командировку кое-какие мелочи, потому что волей-неволей надо чем-то одалживаться у лаборанток.

Жена ничего не ответила, усмехнулась грустновато. Чижегов вспомнил, что с некоторых пор она перестала расспрашивать его про Лыково и больше не просила взять с собой ребят. Усмешка ее была слишком заметна, и он знал, что она знает, что он обратил внимание на эту усмешку, так что промолчать было нельзя. С привычной заботливостью она укладывала в чемодан носки, белье, но ему казалось, что делает она это еще старательней, чем обычно, как бы с укором. Руки ее, гибкие, туго обтянутые кожей, совсем молодые руки, были красивы, давно он не замечал, какие они красивые.

Чтобы как-то ответить, он сказал, что нынче собирается провести испытание, есть у него одна мыслишка, потребуется помощь Аристархова и Анны Петровны, и если получится... Слушая себя, он мельком удивился, как правдиво у него выходит, даже с упреком, и все более заводился, выкладывая вслух свои мысли. Похоже было, что он убедил Валю. От ее поцелуя ему стало не по себе. Никогда раньше эти две женщины не существовали для него одновременно, никогда он не сравнивал их и не выбирал между ними, да и сейчас он не то чтобы выбирал, но впервые обнаружил, что у него есть и та, и другая и что он должен обманывать, врать, и никак не мог понять, почему, что заставляет его... Почему кроме жены, с которой ему так хорошо и спокойно и которая красива и дороже ему всех остальных, почему появилась в его жизни другая женщина, и появилась не мимоходом, не так, как бывало раньше... Зачем она так нужна ему, и что же было вместо нее, когда ее не было?

Тут заключалось много непонятного, но вместо того чтобы разобраться в этом, он в поезде опять вернулся к своему разговору с женой и обнаружил, что идея его была не отговоркой, действительно можно что-то сделать с регуляторами. Та смутная, неоформленная мысль, что тлела у него с прошлой поездки, разгорелась теперь: медное шоссе, контакты, и за ними он явственно видел тоненькую струйку тока, как след, она так и представлялась ему водяной перевитой струйкой, утекающей помимо фильтров сквозь какую-то дырку; где эта дырка, то есть утечка, он догадывался, хотя определенно не знал, но иначе быть не могло, он ощутил это с полной определенностью. Больше всего он боялся, что виновато тут статическое электричество, штука неуловимая, которую он скорее чувствовал, чем понимал, и знать не знал, как за нее ухватиться.

В лесу у них была недалеко от просеки со столбом «234» старая, заросшая кустами бомбовая воронка. Там они встречались, если дочка была дома.

На этот раз он позвонил ей сразу. Автоматов в Лыкове не было, говорил он с завода, в цеховой конторе толпился народ, но, к счастью, Кира сама взяла трубку. Голос ее был ровный, спокойный, пожалуй слишком спо-

койный. Чижегов сперва обиделся, однако тут же вспомнил последний их разговор, ее плач и понял, что она все еще не может ему простить.

Он сделал вид, что ничего не заметил. Странное дело, ожидая ее в лесу, он волновался и, волнуясь и опасаясь, как она встретит, он в то же время продолжал думать об этой утечке тока, и мысли эти, совсем посторонние, почему-то не мешали ему, даже как-то прочно сплетались с мыслями о Кире.

Она сильно загорела. Каждое лето она рано и быстро загорала, хотя загар не шел ей, делал ее похожей на цыганку. Подарки обрадовали ее и чем-то огорчили. Она поцеловала Чижегова. Обычно она почти никогда не целовалась просто так, она признавалась Чижегову, что боится целоваться, особенно с ним, потому что слабеет и начинается нетерпение, нетерпение это передавалось и ему. Все, о чем они потом говорили, было уже как сквозь шум... Но в этот раз она поцеловала его спокойно, губы ее оставались мягкими. Он решил, что она не может забыть ему Анны Петровны. Он спросил, она пожала плечами и стала рассказывать, как ездила в совхоз на сеноуборку, работала на косилке, метала стога, и видно, что там было ей хорошо, потому что она развеселилась, руки ее напряглись, вспоминая эту работу, а потом без всякого перехода, с тем же оживлением, словно с разбегу, она сказала, что получила предложение выйти замуж.

Пересохший мох потрескивал под ногами. В редком чистом лесу освещены были вершины сосен. Блестела хвоя, наверху золотились стволы, особенно много света было в макушках берез, желто-густого, переходящего в огненный, словно верховой пожар полыхал. Внизу все было пронизано косыми длинными лучами. Отсветы скользили по блестящей обтянутой кофточке Киры, с крупными цветами, по синей ее короткой юбке, по ее гладким волосам. Чижегову запомнилась каждая подробность этой картины.

Вот и все, думал он, вот и все... Оживленный голос Киры медленно снижал, словно выдыхаясь на подъеме. Оказывается, она затем и звонила в Ленинград, посоветоваться. То есть не то чтобы посоветоваться, глупое это слово, хотела услышать от него, что он скажет.

— Ты что же, любишь его? — недоверчиво спросил Чижегов.

— При чем тут любовь,— сказала Кира.— Надоело мне одной жить. Тебя ждать надоело. Пора... Сколько можно. Надо жизнь как-то устраивать. Будет в доме мужик. Плохо ведь без мужика.

— Значит, не любишь...— обрадовался Чижегов.

— Любишь — не любишь, не тот у меня возраст,— огрызнулась она и вдруг встала перед Чижеговым.— Ну что ты пытаешь? Зачем? Сам все знаешь. Можешь ты сказать: выходить мне или нет? Как скажешь, так и сделаю.

Глаза ее потемнели, и в самой глубине их металлически заблестело. Чижегов понял, что так она и сделает, так и будет, как он скажет. Сейчас все от него зависело. А что ему сказать? Не выходи! И что тогда? Он точно представил, как у них потянется дальше. Сказать такое — все равно что заставить ее чего-то ждать. А чего ей ждать? И он уже будет как привязанный. А рано или поздно, как ни тяни резину, придется кончать, расставаться. Вот тогда-то Кира напомнит ему, да если и не напомнит, разве может он брать на себя такую ответственность? Лишить человека, может, последнего шанса, и что взамен? Что он, Чижегов, может дать ей? Ничего больше того, что есть, не будет. А если согласиться, то есть подтолкнуть? Он посмотрел на нее: нет, такого она не простит, никому женщина этого не простит. И черт с ним, с прощением, подумал он, есть удачный повод покончить разом, отрубить. Когда-то ведь надо рубить — повторил он себе. И по-человечески если, по совести, то он обязан это сделать. Зачем же калечить ей жизнь?

— Еще года два-три — и кому я буду нужна? — сказала Кира, как бы помогая ему.— Отпусти меня, Степа. Мне твое слово нужно.

То, что она произносила, совпадало с тем, что он думал, но когда он услышал это от нее, его охватила тоска и чувство утраты, которое было невыносимо.

— Ты что же хочешь, чтоб я сам... Нет, я тебе не помощник... Да ты пойми,— с жаром перебил он себя, мучаясь от жалости к ней и жалости к себе.— Что я могу посоветовать? Что бы я ни сказал, все плохо.

Неподалеку, впереди детский голос заукал, ему отозвались взрослые. Грибники или ягодники. Не сговариваясь, Чижегов, за ним Кира зашли в глубь высокого малинника и сразу же сообразили, что зря, сюда-то и

идут ягодники, но выходить уже было поздно. Они стояли, прижимаясь друг к другу.

— Вот видишь,— тихо сказала Кира.— Надоело мне это. Не хочу.

Чижегов молча виновато погладил ее руку. Пробежала белка. Где-то треснула ветка. Голоса приблизились, а потом свернули, отдалились.

— Кто он? — спросил Чижегов.

— Не все ли равно... Тебе-то что... Да и мне...

— Что ж, и тебе все равно?

— И мне... Человек он добрый. Будем жить как люди. Пойти ведь в кино не с кем. Да нет, ты этого не знаешь.

Чижегов почему-то представил себе того усатого, что сидел с Кирой в ресторане.

— Господи, свободная, здоровая, чего тебе еще надо. Предложению обрадовалась. Выходит, ты себя все время неравноправной считала. Из-за того, что не замужем? «Пойти в кино...» — передразнил он.— Да разве ради кино замуж выходят? Хомут такой наденешь и в кино не захочешь. Зачем тебе это? Живешь в свое удовольствие, что может быть лучше?

— А я хочу этот хомут, хочу! — выкрикнула Кира.— Мне заботиться не о ком. Галка, ну что она, она уже взрослая. Надоело мне в свое удовольствие. Если я нужна кому...— она вдруг успокоилась, ласково, как бы уговаривая, взяла Чижегова под руку, прижалась.— Миленький ты мой, тебе этого не понять... не на кого мне себя расходовать. Пропадаю я впустую. Помнишь, ты голодный пришел в прошлый раз, для меня такое удовольствие было накормить тебя, запеканка тебе моя понравилась.

Чижегов кивал, хотя не помнил никакой запеканки и лишь ночью, засыпая, вспомнил не запеканку, а как он проснулся у Кире на кровати и увидел, как она ходит босиком по комнате, моет посуду, прибирает, и лицо у нее счастливое и чем-то гордое.

Он тогда не понял, отчего так, но сквозь полузакрытые веки любовался ее лицом и босыми ногами, которые оставляли на линолеуме маленькие матовые быстротающие следы. И сейчас в лице ее слабо промелькнуло то самое счастливое выражение. Чижегов почувствовал, что относилось оно уже не к нему. Мысль о том, что Кира может так же целовать другого, произносить те же сло-

ва, называть «тяпкой» и тот, другой, будет видеть, как она шлепает маленькими босыми ногами,— мысль эта иглой прошила его.

Смеркалось. Они вышли к железной дороге. Тропка вдоль насыпи была узкой. Чижегов шел позади, перед ним покачивались ее плечи, под кофточкой переливалась спина.

— Чем мне возражать, нечем мне возражать,— сказал Чижегов ей в спину.— Нет у меня аргументов. Благословение тебе надо? Получай. Не бойся, я ему не проговорюсь.

— Зачем ты так...

— А что ты ожидала? Чтоб я вприсядку пустился?

Он с ненавистью смотрел на ее шею, затылок, ему хотелось ударить раз, другой, с маху, чтоб она пошатнулась, застонала, закричала, заплакала. Счастье ее, что она была спиной к нему, бить сзади он не мог — с мальчишества это твердо усвоил,— а будь она лицом, может, и не удержался бы.

Внутри у него пекло все сильнее. Они вышли на опушку. За овсяным вздувшимся полем виднелись крыши, торчала водокачка, открылся догорающий, в полнеба, закат. Тут они обычно расходились, разными дорогами возвращались в Лыково.

— Что ты за человек,— сказала Кира со злой тоской.

— А всякий,— так же зло ответил Чижегов.— Всякий я человек.

И вдруг словно сошел туман и все прояснилось перед ним. Он увидел, как они сейчас расстанутся, все кончится и наступит другая жизнь, для него другая, уже без Кире. Он понял, что теряет ее. И эта другая жизнь будет уже не жизнью. Только сейчас он открыл, как наполнены были эти два года. Впереди же теперь простиралась пустыня, мучительные часы, как тогда, в Лыкове, без нее, отныне будут длиться без конца, не часы, а месяцы, может, годы...

Что-то он произнес... С недоверием, потом со страхом он слышал слова, которые внезапно захлеб забили, рвались, обгоняя одно другое, никогда он не произносил таких слов, а тем паче фраз, и все про любовь... Это были не его слова, откуда они брались — разные, нежные, ласкательные.

Ничего он не просил у Кире, ни о чем не договаривался, просто рассказывал, как любит ее. Он не мог за-

ставить себя замолчать. Было стыдно, и пусть стыдно, он радовался тому, что стыдно. Зачем, ради чего нужно было это объяснение — теперь, когда все решено, — он не знал. Он произносил слова, какие вырываются в минуты, когда не слышишь, что произносится, когда они ничего не означают и предназначены для той единственной минуты и дальше не существуют. А сейчас он говорил их отчетливо, полным голосом, слышал их и ужасался этому.

Оттого, что происходящее виделось с необыкновенной четкостью, от этого казалось, что прежняя жизнь его проходила в смутности чувств. Сыновей своих он любил, но никогда не думал об этом, он помнил, как они болели, как пошли в школу, а своих чувств не помнил. Да и были ли они? Волновался ли он, когда Валя рожала? Наверное, но он не мог вспомнить — как, — все прошедшие события казались приглушенными, неосознанными. Острым было только нынешнее, хриплый звук его голоса, выкрикивающий эти невероятные слова.

Впервые он понимал, как важно то, что происходит. Странно: чем острее он чувствовал эти минуты, тем больше его поражало, как же он жил до сих пор не видя, не страдая, не жил, а словно дремал, словно все последние годы прошли в полудреме. Что-то он отвечал, ходил на работу, развлекался, но самого его при этом почти не было. И вот сейчас — разбудили, проснулся...

И это он тоже сказал, хотя выразить это было трудно, но откуда-то набегали нужные слова, а может, Кира понимала больше, чем он говорил.

— Зачем ты мне говоришь это... — сказала она. — Не нужно. Нехорошо это, — и заплакала.

Она прижала кулаки к глазам и плакала тихо, для себя, заглатывая горечь беды, ведомой только ей.

А почему нехорошо, поразился он, чего ж тут нехорошего; хотя той свежей чувствительностью, какая появилась в нем, догадывался почему, и все же не желал признаваться, а желал говорить и говорить, ведь это же были самые наилучшие слова, и среди них главное, которого он никогда не понимал так, как сейчас. От повторения сладость этого слова возрастала.

Кира уткнулась в кулаки, сжатые до белых косточек. Выставилась прямоугольность ее широких плеч, жилы, косо натянутые по шее. Фигура ее была хороша в дви-



жении, когда все ладно соединялось, играя силой и ловкостью. Сейчас же, застыв, она стала нескладной, грубой.

— Сам приучал меня не загадывать нас обоих наперед, — она отняла кулаки, без стеснения открыв мокрое, в красных пятнах лицо. — Приучил. Оба мы привыкли... Что ж ты делаешь, Степа? Затягиваешь меня петель. Теперь выходит, иначе надо жить, а мы не можем иначе, ты ведь не можешь переменить.

Он поспешно согласился, поймал себя в этой трусливой поспешности, и Кира тоже уловила это. Голос ее дрогнул от обиды. Никогда еще она не выглядела такой жалкой и незащищенной. словно несчастье пришибло ее, и виноват был Чижегов; жили и жили, мало ли что бывает, сошлись, разошлись, по-доброму, не портя той радости, какая была, зачем же надо было волю давать своим чувствам?..

Чижегов удрученно молчал. Ругал себя, а через час, в гостинице, не вытерпел и выложил все соседу по комнате, приезжему инструктору по вольной борьбе. Удовольствие было произносить это слово: люблю. Без насмешки, всерьез. «Понимаешь, вдруг оказалось, люблю ее...» На всякий случай поселил ее в Новгороде и все настаивал, что некрасивая, ничего в ней нет особенного. Раньше она казалась интереснее, и ничего такого не было, а теперь... И удивленно ругался.

— Хуже всего в некрасивых влюбляться,— опытно сказал инструктор.— Они в душу впиваются, как клещи. Мордашечку, ту можно променять на другую мордашечку. У меня тоже в прошлом году... Представляешь: в очках, да еще конопатая...

Чижегов оглушенно улыбался, глядя в потолок.

Назавтра, после обеденного перерыва, Аристархов, зайдя как обычно в щитовую, увидел вместо отладочной схемы путаницу проводов, батарей, гальванометры и главное — разобранные, выпотрошенные регуляторы. Чижегов, блаженно улыбаясь, пытался показать ему, как накапливается заряд на пластинках. Стрелки гальванометра едва заметно вздрагивали. Они могли вздрагивать по любым причинам, но Чижегов убеждал, что это и есть то самое, та электростатика, от которой происходят все неполадки. Никаких доказательств у него не было, чутье и неясные соображения, которые Аристархов разбил с легкостью. Однако Чижегов не сдавался. Возражения не интересовали его. А может, он вообще ничего не слышал. Глаза его смотрели ласково и неподвижно, как нарисованные. Когда Аристархов исчерпал свои доводы, Чижегов неожиданно сообщил каким-то механическим голосом, что просит отключить все регуляторы на двое суток, то есть остановить печь. Это была уж явно безумная затея. Обращаться с таким предложением

к директору было безнадежно. Аристархов руками зама-
хал, раскричался, но вдруг, посмотрев на отрешенно сча-
стливое лицо Чижегова, сам не понимая почему, согла-
сился отправиться с ним к директору. По дороге он
опомнился. Утешала лишь надежда, что директор пой-
мет, что он, Аристархов, отпихивается, не желая портить
отношений с кураторами.

Поначалу директор нетерпеливо, подгоняюще бара-
банил пальцами по столу. Беспорядочная речь Чижего-
ва, если изложить ее в записи, отдельно от него самого,
вызвала бы недоумение. Аристархову стало ясно, что
сейчас их выгонят. Молодой директор был известен
вспыльчивой нетерпимостью ко всякой мастеровщине:
на глазок, на авось, на шармачка. Вместо этого, по-
смотрев на Чижегова, а потом на Аристархова, он вдруг
вдохнул: если, мол, они ручаются, что причина найдена,
то имеет смысл. Однако под личную ответственность и
при условии, и при гарантии...— но смысл его угроз ни-
как не соответствовал сочувственному тону.

Чижегов рассеянно заулыбался, и стало слышно, как
он напевает про себя.

— Что это с вами? — спросил директор, однако не
у Чижегова, а у Аристархова.

— Перемагничивание происходит, — туманно ответил
Аристархов.

Если бы Чижегов находился в другом состоянии, он,
конечно, заметил бы, что и с Аристарховым что-то тво-
рится.

Всю субботу и воскресенье Чижегов не выходил из
цеха. Окажись у него достаточно чувствительные прибо-
ры, он мог бы построить кривую накопления заряда в
зависимости от самых разных штук, бывших у него на
подозрении. Наверняка получилась бы неплохая науч-
ная работа. Впоследствии, когда приехала специальная
комиссия утверждать изменения, введенные в схему, у
Чижегова допытывались, почему да отчего, откуда из-
вестно, что нужно здесь сопротивление, а не здесь. Ни-
каких замеров не мог представить и объяснить тоже тол-
ком ничего не сумел.

Просто пришел день, когда он почувствовал, что и где
надо, — так понял его председатель комиссии, старый
конструктор, с которым тоже когда-то случалось по-
добное.

Под утро, в воскресенье, Чижегов вздремнул на ди-

ванчике в щитовой. Проснулся он от печали. Он сел, не понимая, откуда эта печаль, потому что ничего ему не снилось и работа шла хорошо. Часы показывали шесть утра. Вскоре должны были прийти лаборанты и Анна Петровна. Надо было успеть подготовить схемы для пайки. Руки его задвигались, ноги осторожно переступали через провода, приборы, он делал все, что полагалось. Но тоска его не проходила. В окно он увидел идущих по двору лаборанток. И тут он подумал — что же это будет? Через два дня регуляторы заработают по новой схеме — и, значит, поездки в Лыково прекратятся. Незачем будет ему ездить сюда, не надо будет ничего отлаживать, поскольку он нашел и устранил причину разладки. Сам, своими руками.

Он потрогал беззащитно обнаженную подвеску датчика. Легкий ротор послушно качнулся. Вот и все, добился, подумал Чижегов, а для чего, зачем это надо было? Ездил бы и ездил. Кому мешали его приезды, подумаешь, какую техническую революцию произвел... Раза два он, конечно, еще сумеет напроситься — проверить новую схему. Но не больше.

Еще не поздно было взять и отменить всю эту затею. Так, мол, и так, номер не проходит. Ошибся. Прокол. Стоило чуть царапнуть сопротивление, подменить конденсатор — и концы в воду. Да и хитрить не к чему: скажет — не вышло и все, он хозяин, хотел — придумал, хотел — раздумал... Никто не заставлял его, какого ж черта...

Никак было не разобраться — что мешает ему?

Нет ведь у него такого самолюбия или амбиции, чтобы обязательно стать новатором. Дело свое он знал, авторитета хватало ему и без этого творчества. Вообще странно — чего его привело, что заставило?

Рыженькая Лида паяла. Анна Петровна выгибала проводнички. Безошибочно разбиралась в корявых набросках Чижегова. Подварили заземление. Жестянщики принесли новые экраны. Монтаж подвигался уже независимо от его воли, и чем больше волновался Аристархов, тем Чижегову все становилось безразличней. В середине дня он позвал Аристархова в конторку и предложил оформить по БРИЗу всю эту бодягу на двоих. Пусть Аристархов сам доведет, испытает, а с него хватит. Он уходит. Выдохся.

Костя Аристархов, чистая душа, слышать не хотел о соавторстве: довести — доведет, то, что надо, проверит, только по дружбе, чужие лавры ему ни к чему.

— А свои мне тоже — как корове венок, — равнодушно сказал Чижегов.

Кроме лавров еще деньги будут, упорствовал Аристархов. И немалые, как он прикинул. Исходя из простоев за регулировку, плюс оплата каждого приезда Чижегова, согласно договору с их управлением, — словом, процент набегал солидный.

— Вот процент за мои приезды и возьмешь, — сказал Чижегов. — Или тебе денег девать некуда?

— Мне сейчас как раз кстати, у меня теперь обстоятельства... — Аристархов слабо покраснел и засмеялся. — Может, ты слыхал? Но если ты специально для меня, то я категорически возражаю!

Однако Чижегову было не до того, чтобы вникать в его обстоятельства. Он накричал на Аристархова и тут же заставил его подписать заявку, отнес в БРИЗ, оформил и, не заходя на пульт, уехал в гостиницу.

Скинув туфли, он зарылся головой в подушку и заснул, мертво, без сновидений. Разбудила его Ганна Денисовна. Вызывали к телефону. За окнами смеркалось. Голова у Чижегова была тяжелая, словно с перепоя. Звонил Аристархов, сообщил, что все готово к испытаниям.

— Ни пуха, — сказал Чижегов.

— А ты что ж, не придешь?

— Обойдется.

— Неужели не интересно, твое ведь это.

— Было мое... Вот что, Костя, я с тобой не задаром уговаривался. Я свою часть отработал вроде бы сполна?.. — Чижегов почувствовал, что хватил лишку, и, смягчая, поправился: — Лучше тебе без меня, я сам в своем деле не судья.

Может, прозмеилась у него тайная мыслишка, что Аристархов напутает и все сорвется.

Он вышел на улицу, постоял у автобусной остановки. Мимо прошли трое длинноволосых парней. Они шагали в обнимку и тихо пели. Получалось у них душевно, и одеты они были красиво — в джинсах, рубашки с цветочками, только черные очки выглядели нелепо.

А что мне видно из окна —
За крыши прячется луна.

От песни щемило. От этого теплого вечера, от заночевавших в переулке машин, груженных капустой, от пыльной дороги, от дремлющих на остановке баб с корзинами брусники — от всего этого почему-то щемило, и было грустно и жалко утлую свою судьбу.

Впервые в жизни Чижегов не знал, чего он хочет. Чтобы все получилось там, у Аристархова, или, наоборот, чтобы все сорвалось. И с Кирой тоже не знал, чего он добивается. Если б его спросили еще вчера, он бы сказал, что лучше всего оставить как было. А теперь он и сам не знал. Что-то вдруг изменилось в его жизни. Он старался не думать о будущем. Раньше будущее означало только хорошее... В будущем всегда помещались удачи, премии, отпуск, поездки, встречи с Кирой... Это Будущее кончилось. Оно перестало существовать. Признание Кире сделало все безвыходным. Чижегов вспомнил, как его младший сын недавно расплакался: «Не хочу расти...»

Он дошел до кинотеатра и повернул назад.

Как-то Кира уговорила его сходить посмотреть «Даму с собачкой». Некоторые сцены ему понравились, особенно в гостинице и в театре. Было даже неловко — он представил, как Кира, глядя на это, думала про него и примеривала к этому Гурову. После сеанса на выходе одна девушка говорила: «Взяли бы да развелись, характеру им не хватает... когда настоящая любовь, ничего не страшно». Чижегов только усмехнулся. Не над ней, а над тем, что и он недавно точно так же рассуждал. Ему захотелось прочесть этот рассказ. В школе он читал Чехова «Каштанку» и еще что-то смешное. Вообще же классиков он не читал, тем более рассказов. Он любил мемуары, про войну, детективы, и если рассказы, то когда попадался под руку «Огонек» или «Неделя». Начав читать «Даму с собачкой», он увидел, что там было не совсем так, как в кино. Не было старинных сюртуков, швейцаров и извозчиков, а был Гуров и эта женщина, которая неизвестно чем нарушила его жизнь. Куда больше оказалось сходства с тем, что творилось у него с Кирой. Положение Гурова было даже потруднее. Чижегов хоть имел причину ездить в Лыково. А этим-то приходилось изворачиваться; ох как он их понимал... Жаль было, что писатель, в сущности, не кончил рассказ, оборвал на самом жизненном моменте. Как полюбили, как сошлись — это известно, так сказать популярное явление, можно

представить. Проблема в другом — выход найти из положения, в которое люди попали. Вот тут бы великому писателю и подсказать. Что же с ними дальше было. Самое актуальное тут и заключается. Ведь как-то они независимо от писателя выкарабкались, что-то придумали. Кира, выслушав его рассуждения, сказала: «Надеешься, что разлюбишь...» Говорила она и другое, а запомнилось вот это, вроде некстати сказанное.

Тогда, когда он читал, жаль было обоих, особенно Гурова он жалел, теперь самому Чижегову повернулось куда солонее.

Он вернулся в гостиницу. Внизу за столом компания заготовителей распивала пиво. Пиво было чешское, в маленьких коричневых бутылках. Чижегова усадили. Он пил и прислушивался к телефонным звонкам. Думать он ни о чем не мог, было только томление, высасывающее все мысли и чувства.

— ...Псих этот говорит: «Я торшер, выключите меня, пожалуйста», — услышал он свой голос и смех кругом и удивился: такие с ним происходят события, можно сказать катастрофы, а он рассказывает байки, и никто не замечает, что с ним творится. И как это в нем сосуществует, не смешиваясь, точно масло с водой. Ему пришло в голову: а что, если и с другими происходит то же самое? Вспомнил своего начальника отдела Рукавишникова, умершего от рака. Наверняка знал про свою болезнь и до последнего дня держался молодцом, скрывая от всех. Вспомнил, что Кира рассказывала про Ганку — муж ее два раза уходил, да и сейчас гуляет с одной врачихой. По Ганке разве узнаешь: сидит вяжет, всегда вежливо-приветливая. У многих, может, есть своя тайная беда. Мужество людей, продолжающих жить и работать, несмотря ни на что, вдруг поразило его...

— Чижегов! — позвал кто-то.

Голос Аристархова гудел в трубке победной медью оркестра. И Анна Петровна кричала в микрофон «Поздравляю!», и девушки-лаборантки.

— А ты боялся. Ну сознайся, боялся? — кричал Аристархов. — Мы тебя раскусили... Имей в виду, завтра устраиваю вспрыск... всех приглашаю... — и снова взалхлеб расписывал, как шло испытание, какие результаты, где чего пришлось подкрутить... С какой-то хитрой добротой он выворачивал так, что все это Чижегов предусмотрел, знал заранее, а грубил ему оттого, что волно-

вался, сам же из гостиницы не выходил: сидел ждал звонка...

Чижегов положил липкую горячую трубку. Все-таки было приятно за Аристархова и остальных. Лично он словно не имел отношения к этому. Или перестал иметь отношение. Было такое чувство, как будто отвязался, освободился...

Он еще постоял в застекленной кабине администратора.

Одним вопросом стало меньше, как-никак облегчение. Отныне он будет автор, передовик, новатор. Творческая личность. Это с одной стороны. А с другой — прохвост, предал женщину, которую любит. Он мог гордиться собой, а мог стыдиться. На выбор. Как повернуть. И ведь что смешно — если бы он ради Киры задробил всю свою затею с регуляторами, тоже плохо было бы, тоже устыдился бы, по-другому, но устыдился бы.

Когда он повернулся к столу, там сидела Кира. Заготовители наперебой ухаживали за ней. Особенно старался рыжий добродушный толстяк, которого тоже звали Степаном.

Чижегов покраснел и не поздоровался. Все эти дни он не звонил и не решался зайти к ней; когда все свершилось, он тем более был не готов встретить ее здесь.

Кира сделала вид, что увлечена общим разговором, слегка покосилась на Чижегова, не больше чем на любого другого входящего. Он сел напротив нее, к своему недопитому стакану.

— Мы не должны ждать милости от природы,— говорил толстый заготовитель,— но пусть и она от нас не ждет милости,— и первый захохотал, намекаяще подмигивая Кире.

Она тоже засмеялась, хотя шутку эту Чижегов когда-то слышал от нее. Потом, улучив момент, негромко спросила Чижегова, все ли в порядке? Сочувственный ее голос растворил все мучения и страхи. Что ему мешает? Как просто — надо взять и уехать с ней, поплыть паромом, гулять по палубе, спускаться в каюту, сидеть на белых скамейках, любуясь на берега, слушать ее восторги. Отправиться на Урал, в Нижний Тагил, где у него друзья на комбинате; взяли бы там катер. Нет, сперва он показал бы ей огромный термический с новенькой автоматикой, отлаженный им, потом уже на катере, до порогов. А можно в Алма-Ату, погостить у старика Родченко,

в его саду, где висят огромные яблоки... Не то чтобы жить, как он живет с Вале́й, а именно ехать куда-то, плыть, смотреть...

— Поздравляю вас, Степан Никитич,— Кира подняла стакан, и ровный голос ее легко выделился среди шума.— Большое дело, говорят, вы сделали.

Он мельком удивился: откуда это ей известно, да и казенная эта торжественность никак не подходила Кире, но принял все за чистую монету и по-идиотски заулыбался, замахал руками, мол, ах, что вы, ах, не надо.

Была Кира в том самом белом в синюю полоску платье, красиво-праздничная, с медными бусами, он даже подумал, что это специально ради него. Не понимает она, что ли, недоумевал он, растроганный ее наивным прямодушием.

И когда он, как полный слюнтяй, размяк, она небрежно выдала ему, выбирая, куда бы побольнее:

— Не скромничайте, Степан Никитич, от своих рук накла́ду нет. Да и то пора. Третий год как мотаетесь в нашу Тмутаракань. С такой докуки что угодно изобретешь... Дома-то уж, поди, проклинаят Лыково... Так что с освобождением. Приходится с вас, Степан Никитич, жаль, что час поздний, а то бы выставили вас на коньячок с закуской.

Голос ее чуть сорвался, в сухих глазах полыхнуло, и все почувствовали, что происходит что-то не то. Но она откашлялась, прикрывшись платочком, улыбнулась, и сразу все заулыбались, заговорили, что коньячок кусается, хватит и белого, а Кира неуступчиво мотала головой: не жмитесь, у Чижегова премии хватит; и получилось, что премия тоже не последняя причина в этой истории, что Ки́ру на деньги променял.

От явной этой несправедливости Чижегов побагровел, никак не мог найтись, словно стукнули его по голове. Лица размазанно плыли перед глазами. Единственное, что он видел — отчетливо пульсирующую улыбку Киры. То маленькую в острых углах рта, то широкую, с блеском стиснутых зубов.

Так ему и надо было. По чести — следовало смолчать, пусть думает что хочет. И ведь чувствовал, что промолчать лучше, умнее, но, глядя на ее усмешку, уже не мог сдержаться.

— За отвальной, Кира Андреевна, мы не постоим, раз уж так вас волнует технический прогресс. А вот насчет

Лыкова это напрасно, городок ваш с развлечениями, не хуже других,— сладостная злость несла его бог весть куда, да он и не оглядывался.— Жалко расставаться, да что поделаешь, Кира Андреевна, интересы производства превыше всего.

— Государственный человек,— сказал толстый заготовитель. Кира прижалась к нему, что-то шепнув, и они оба рассмеялись. С этой минуты она больше не обращала внимания на Чижегова, словно его не было. Раз, другой пробовал он вмешаться в разговор, она презрительно кривила губы, и слова его безответно пропадали.

И без того она умела быть в центре внимания, нынче же она пустила в ход все свое искусство. С каждым из мужчин она вела свою игру, каждому что-то обещала глазами, улыбкой, позволяла держать себя за руку, обнимать.

Соперничая, мужчины изощрялись кто во что горазд. Хвастались, остряли, кто-то гадал ей по ладони... Стародавние, дешевые эти приемчики были хорошо известны Чижегову, и он не понимал, неужто на Киру они могли действовать. Не замечала она, что ли, как распаленно посматривают на ее обтянутые груди. Она будто нарочно поводила ими, наклоняясь, открывая глубокий вырез. Не сразу он понял обдуманную ее игру. Все, все было у нее обдумано, вплоть да завитых пружинок волос, что приманчиво дрожали на висках. Хотелось взять ее за эти кудельки и оттащить. Чижегов мысленно раздевал ее так, чтобы показать немолодое ее тело и вислость грудей, но почему-то эта Кира была желанней, чем та накрашенная кукла, что сидела перед ним, и было непонятно, что они все нашли в ней — разбитная, вызывающая бабенка, не больше.

Ганна Денисовна подсела к Чижегову, посетовала на разлуку. Все же привыкла она к регулярным его приездам, и в гостинице должно быть что-то постоянное...

Нехитрым своим сожалением как могла утешала его, защищая от Киры. И хотя Чижегов понимал это, ему и впрямь жаль стало навсегда расставаться с этим деревянным городком, со здешними страстями лесозаготовок, льноуборки.

Ганна Денисовна не осуждала Чижегова, у мужчин другое устройство, мужчина привязывается не к месту, а к работе. Нельзя ревновать его к работе. Женская при-

рода иная. Женщина, особенно одинокая, она незащищенная. Ее узнать потруднее, чем прибор...

— Откуда мне их знать,— рассеянно сказал Чижегов, следя за Кирой.— Уж так сложилось, что я ни разу не был одинокой женщиной.

Он вышел, стал прохаживаться за углом.

Только что прошел дождь. Дранка на крышах блестела рыбьей чешуей. Воздух посвежел.

Хлопнула дверь, потом на перекрестке показались трое. Кира была в белом плаще, в высоких сапожках. Она громко сказала:

— ...По такой грязюке... Спасибо, уж меня Степочка проводит. Как, Степочка, не откажете быть кавалером?

От этого «Степочки» Чижегова передернуло.

— Кавалеры, кавалеры, никакой нам нету веры,— придуриваясь, пропел Степочка.

Поодаль, крадучись, Чижегов следовал за этой парочкой. Стыдился самого себя. Желал, чтобы она пригласила этого толстяка к себе домой. Тогда все станет ясно. И молился, чтобы этого не было. Чтобы оставила у себя до утра. Чтобы захлопнула перед носом дверь...

У Троицкой церкви он потерял их из виду. Заметался в темноте, шлепая по лужам. Услыхал позади смех и шепот. Застыл и, осторожно прижимаясь к стене, направился к ним. Обогнул заколоченный вход, и опять позади засмеялись. Из черноты отовсюду виделись ему глаза — темные, сухие, без блеска, они следили за каждым его движением. Шелестело, шуршало, потрескивало. Казалось, где-то совсем рядом целуются, прижимаются, скрытые этой проклятой тьмой.

...Сделав круг, Чижегов вышел к железнодорожной ветке. При свете прожекторов там грузили яблоки. Узнал несколько заводских парней. Энергетик из термического помахал ему рукой, поздравил с удачным испытанием. Чижегов взвалил на спину ящик и понес по упругому мосту в густо пахнущую яблоками глубь вагона.

Прошел час, а может, и больше, он таскал и таскал, злость медленно отпускала его, смывалась потной усталостью, приятной от этой разумной очевидной работы, от чистого доброго запаха яблок. Он подумал, что, возможно, Кира хотела успеть бросить его первой. Так ей, наверно, легче. Она имела полное на это право, решил он сочувственно и даже к толстому Степану не осталось ничего злого. Тот-то вообще был не виноват. И своей вины

Чижегов тоже не мог углядеть. Все, что он делал, он должен был делать, все по отдельности было правильно, никаких ошибок, и не в чем раскаиваться, а почему-то в результате получилось плохо, каждому из них плохо...

Два дня ушло на оформление документации. Только на третий удалось собраться, отпраздновать. Строго говоря, работа могла считаться принятой после специальной комиссии, месяца через три. Фактически и Чижегову, и всем остальным было ясно, что причина неполадок найдена и устранена. Бог знает откуда возникает это отчетливое ощущение удачи. По правилам и теориям месяцами надо проверять, не выявится ли что-нибудь, а им, мастерам, почему-то безошибочно известно: все в порядке, вскочило, в самый раз. Поэтому, суеверно сплюнув через левое плечо, Чижегов согласился не откладывать ресторанное застолье.

Новенький ресторан в заводском поселке оформляли молодые столичные художники. Заметно, что никто не стеснял их выдумки. Столики были разгорожены то кактусами, то канатами, то обожженными березовыми плахами, и вместо общего застекленного зала получились уютные закутки, уголки, беседки, и длинный стол у стены, заказанный Аристарховым, тоже был отделен свисающими коваными цепями.

Аристархов был за тамаду. Вызывал по очереди на тосты. Почти в каждом хвалили Чижегова. Во-первых, сделал чуть ли не открытие. Во-вторых, за двое суток провернул невероятный объем работы. Анна Петровна привела в пример своего мужа — однажды при пожаре он вытащил бухгалтерский сейф, потом сам не мог его с места сдвинуть. Слова ее как бы намекали на особое состояние Чижегова, вызванное тайными счастливыми причинами. При этом многие заулыбались, но Анна Петровна обернула все на талант, вдохновение и процитировала стихи Пушкина.

Энергетик термического смешно изобразил Аристархова с его конфузливymi приговорками «я вас, Лидочка, боготворю, а вы жгете прибор за прибором, это же неаккуратно». И Анну Петровну, яростно защищающую Аристархова. А потом дико сверкнул глазами, засопел, разглядывая огурец, и посветлел, блаженно хихикая, и получился Чижегов. Общий хохот подтвердил, что похож,

а Чижегов удивился, потому что никогда не видел себя.

Смеялся Чижегов громче всех, стараясь сбросить странную напряженность, которая держала его. Что это было — предчувствие? Он никогда не понимал и не верил в эти предчувствия. Не существовало никаких причин, чтобы что-то предчувствовать. Наоборот, чем дальше, тем становилось веселее, непринужденней.

Лаборантки Лида и Зоя в ярких цветастых мини выглядели не хуже столичных модниц. Мужчины чувствовали себя в смокингах, предупредительно подкладывали дамам в тарелки и старались не говорить о производстве. Аристархов как тамада был в ударе. Малиново-рыхлое лицо его источало доброту. Он смотрел на Чижегова с обожанием. Было ясно, что и вечер, и этот стол были устроены ради Чижегова. Он был героем, женщины разглядывали его с интересом, словно впервые увидели. Никогда еще не оказывали ему такого внимания и таких слов о себе не слышал. Мужественный Победитель, не убоявшийся риска. Щедрый Талант, Наш Парень... И звуки скрипки нежно увивали его чело.

Чижегов добросовестно выпивал за каждый тост. Он не пьянел. Нисколько. Он трезвел. Водка смывала горечь последних дней. Вся эта накипь мутными хлопьями оседала туда, где хранится то, о чем лучше позабыть.

Окружающее становилось звонко чистым и добрым, как выпуклые глаза Аристархова. В них отражался мир, в котором Чижегов не сумел бы жить, но которым он любовался. Наверное, не было на заводе человека, обиженного Аристарховым. «Позвольте заметить, что вы нерасторопны». Или: «Вы неаккуратны», — вот наибольшее, на что он был способен. Он не умел наказывать и тем более ругать, он предпочитал страдать от чужой недобросовестности, делать за других, получать самому выговоры. На многих это действовало сильнее наказания. Как ни странно, порядок в лаборатории держался на беззащитности Аристархова. Анна Петровна и техники совестили тех, кто пользовался его кротостью. Женщины пеклись о нем особо, поскольку Аристархов пребывал в холостяках. Первая жена, красавица, москвичка, уехала от него через год после свадьбы. Причины никто не знал. Аристархов признался как-то Чижегову, что и для него это загадка. Честно ждала его из армии, а через год бросила. Перед уходом сделала аборт. Не то чтоб к другому ушла. От него ушла. Несколько лет спустя у него произошел

роман с местной учительницей. Все шло прекрасно, и вдруг она вернулась из отпуска вместе с синоптиком и так и осталась у него. С тех пор у Аристархова образовался «брачный шок», как он называл. Напрасно обхаживали его местные девицы — он уклонялся, как мог...

Предстояло сказать ответный тост. Чижегов встал. Все зашикали. Он вдруг представил, как они готовились к этому вечеру, продумывали, обговаривали любые мелочи. Они понимали, что прощаются, хотя никто не говорил об этом. Лыковская жизнь его кончалась. Кроме Киры были в ней и эти люди, они любили его. До этого вечера он как-то не думал об этом. Он лишается их, он расстанется с друзьями, и, кто знает, стоит ли вся его придумка с регулятором этой потери. Что из того, что несколько регуляторов станут работать надежно. Что термообработка пойдет бесперебойно. Если за все это, оказывается, надо платить. Да еще так дорого. Никогда заранее не знаешь цену, которую придется платить.

Вместо этого он сказал, что не видит своей большой заслуги, мало ли что идея, идей много, а вот воплотить ее можно было только благодаря тому, что каждый... и он пошел вокруг стола, пожимал каждому руку, а с Анной Петровной расцеловался, и с Аристарховым трижды.

Потом он поднял стопку.

— Я хочу за Аристархова Константина Акимовича, — и расписал его авторство, чтобы не было никаких кривотолков. В заключение пожелал Аристархову новых творческих успехов и счастья в личной жизни.

Последняя фраза вызвала оживление.

— В самый раз! — выкрикнула Лида.

С Аристарховым чокались, многозначительно подмигивая.

— На выданье он у нас, — пояснила Чижегову Анна Петровна. — А вы не в курсе?

— Почему же, — сказал Чижегов, что-то припоминая. — А кто невеста?

— Да Семичева, Кира Семичева. В леспромхозе работает.

— А-а-а, — протянул Чижегов, — Надо же...

Но тут грянул оркестр, начались танцы. Стол опустел. Аристархов придвинулся к Чижегову. Был он не пьян, а разнеженно доверчив.

— Знаешь, Степа, — говорил он затуманенным голо-

сом.— Я решил, потому что подошел предел. Мне сорок стукнуло. Детей хочу. А их надо успеть на ноги поставить. Фамилия наша древняя... Боюсь, конечно, как бы опять не сорвалось. Какой-то порок во мне.

— Ты это выкинь из головы,— бесчувственно сказал Чижегов.— Не в тебе тут дело.

— ...Наследников хочу. Ведь я тоже наследник. Во мне отец мой живет. И дед-переплетчик. И пращур. Я должен быть продолжением, а не окончанием. Сто, двести лет назад они жили — и все они живы. Во мне. А я умру, и что? Поздно, скажешь, спохватился? Так не поздно еще. Страх мне мешал, Степа... Духовное наследство, если угодно, оно самое...

Чижегов перестал слушать, тупо смотрел, как движутся толстые его мокрые губы.

Оркестр умолк. Анна Петровна под села к ним, обмахиваясь платочком.

— Чего ты их боишься, баб...— Чижегов бросил кулаки на стол.— Их держать не надо... Пусть она за тебя держится. А мы-то... Душу открываем. Думаешь, ей душа твоя нужна, ей нужно, чтобы ты мучился...

— Глупости,— сказала Анна Петровна.— Домострой какой-то. Уж Кире Семичевой это совсем не подходит.

— Да, да,— подхватил Аристархов.— Ты понятия не имеешь, вот познакомлю тебя. Она, брат, в жизни тоже навидалась, ей покой пужен, гавань нужна.

— Она навидалась...— Чижегов усмехнулся одной половиной лица.

Анна Петровна посмотрела на него:

— Вы что, знаете ее?

— Кира... значит... Андреевна... Семичева...— Чижегов аккуратно налил себе стопку.

Официантки разносили кофе. Энергетик Илченко предлагал женщинам конфеты. Женщины отказывались, они берегли талии. У скрипача не было талии. У скрипки была талия. За соседним столом справляли именины. Земля не изменила своего вращения. Солнце не изменило угловой скорости. Ничего не изменилось. Нигде и ничего, а ведь должно же было хоть что-то измениться.

Чижегову стало весело.

— Ай да Костя, надо же так угадать. В самое яблочко,— пустой и гулкий голос звучал как со сцены. И ничтожная эта стопка впервые за вечер обожгла, разлилась жаром по рукам.

— Реагируешь ты... не пойму,— в растерянности сказал Аристархов.

Анна Петровна повернула Чижегова к себе.

— Закусите апельсинчиком. И кофеечку.

Илченко с другого конца спросил — о чем спор?

— О Кире Андреевне,— откликнулся Чижегов.— Понимаешь, спорная кандидатура. Есть такое мнение...

— Не надо, Степа. Нехорошо. Ты ведь ее не знаешь,— как можно тверже остановил Аристархов, но тут же сконфузился, испуганно заулыбался.

— Почему же не знаю,— заулыбался Чижегов.

Стало тихо. Чижегов попробовал поймать чей-нибудь взгляд, все глаза избегали его.

— Знаю я ее,— оправдываясь, сказал он. Махнул рукой перед глазами, словно отгонял муху.— Вся гостиница знает. Она же у нас постоянная посетительница. Третьего дня, например. Навестила.— Он подождал. Никто не остановил его. Он пригнулся, ловя взгляд Аристархова.— Ты когда звонил мне, она пиво распивала. С заготовителями. У нее теперь заготовители.

Аристархов со страхом отодвинулся, даже как-то слабо оттолкнул его. Чижегов поймал его руку, стиснул ее.

— Заготовители... Эти коблы. Понимаешь? Заготовки у нее. Новый сезон.

— Ты в каком это смысле? — тихо сказал Аристархов.— Ты зачем так...

— Святой ты человек. Не любит она тебя.

— А ты откуда знаешь? — еле слышно, одними губами прошептал Аристархов и стал вырывать свою руку, но Чижегов не отпускал ее.

— Спроси ее. Про заготовителя. Степочка, мол. Тезка мой,— все более ожесточаясь, спешил Чижегов.— Последний выпуск, то есть последний впуск. А ты... Эх ты, не знаешь, что на проходной дороге и трава не растет.

Анна Петровна в сердцах постучала ложечкой.

— Фу, кончайте, Степан Никитич. Не по-мужски это. Гадости всякие повторять... Сплетни.

— Да, да, зачем вам-то встrevать, Степан Никитич,— морщась, подтвердил энергетик.— Неделикатно это. Вы человек посторонний.

Аристархов очнулся, шумно задышал, складки на шее потно заблестели.

— Нет, это недоразумение, товарищи, вы не так поняли. Степан Никитич из лучших побуждений. От забо-

ты. Пожалуйста, не обращайтесь внимания, я прошу вас... Верно, Степа? Я же тебя знаю. Ты потому, что добра мне хочешь. Ты так понимаешь добро, а я по-другому. И ничего тут плохого. Может, ему что показалось, вот он и расстроился. Мы же все тут друзья. Я знаю, вы мне только хорошего... И ты, Степа. Ты все же не знаешь ее. Ты меня прости, но это голословно все, что ты... Извини, конечно,— умоляющая, заискивающая улыбка позабыто дрожала на его губах.

— Да что ты все извиняешься! — крикнул Чижегов. Он вскочил, отшвырнул кресло.— Что ты все замазывать хочешь. Неприятно тебе, да? Испугался. Все вы испугались... Потаскуха она. Слышите? И ты не придумывай себе. Потаскуха,— в расстановку, не оставляя сомнений, с яростью повторял он.

Затылок ему сдавило. Он чувствовал, как раздувается у него шея, голова. Больше всего ему хотелось сейчас что-нибудь разбить, кого-то ударить.

Он ждал, рыская глазами, но никто не шевельнулся. Тогда Чижегов повернулся и пошел. Он старался идти легким своим пружинистым шагом, сунув руки в карманы, но на этом скользком паркете не получалось, огромная тяжелая голова придавливала его, он чуть не упал и шел неловко, шаркаяще.

И на улице он никак не мог вернуть твердого, упругого шага, прекрасной своей походки и выправки, которой он отличался еще в армии, на гимнастических соревнованиях.

Слышно было, как в ресторане оркестр грянул полечку, посмеиваясь вдогонку длинными блестящими трубами.

От ветра в черном небе покачивались звезды, и Чижегова мотало из стороны в сторону, как лодку на широкой реке. Город со своими домами, витринами расступался перед ним, огибал его, словно все было лишь отражением в воде.

— Степа! Степан!

Его догнал Аристархов. Запыхавшись, остановил, держась за сердце.

— погоди. Ты объясни... нельзя же так... сбежать... Может, я чего напутал... Ты посиди, проветришься...

— Не пьян я,— сказал Чижегов— Не надейся.

— Что же с тобой? Так меня перед всеми... Ты уедешь, а мне с ними... Ты понимаешь, что ты наделал?..— он

вцепился Чижегову в плечи, белое сырое лицо его стало еще больше.— У тебя с ней было... что-то?

— Что-то... что-то...— передразнил Чижегов.— Эх, ты, недопеченный.

— Позволь... Тогда это совсем... это непорядочно. Даже если у тебя всерьез. Как ты мог такие слова... Она женщина. Какое право ты имел. Она человек! Да и я!.. Совесть у тебя есть? — голос его сорвался, пискнул. Пальцы вцепились в плечи.

Чижегов ударил его по рукам и, от сопротивления войдя в ярость, ударил еще раз, по-настоящему, снизу вверх.

Хватая воздух ртом, Аристархов покачнулся, но устоял.

— Ты драться... Ты меня. За что... Ах, подлость, подлость какая,— он зажмурился, поднял перед собой кулаки.

Чижегов стоял, опустив руки.

— Не умею...— простонал Аристархов.— Стыдно. Никогда не умел. Стыдно-то как...— большое лицо его задрожало, он всхлипывал, пытался унять этот всхлип и не мог.— Боже мой, только что целовал, слова говорил такие!

Они стояли под фонарем, у газетного киоска, и прохожие почему-то не обращали на них внимания.

— Что ж ты, ударь,— сказал Чижегов.— Давай, давай, не бойся.

Аристархов помотал головой.

— Не могу,— и вымученная умоляющая улыбка задергала его губы.— Не могу...

Жалкая эта улыбка неотступно прыгала перед Чижеговым, когда он шел дорогой, затем проселком через выгон. Ночь была светлая, и он все хорошо видел, каждую выбоинку, коровьи лепешки и черное, выжженное пятно костровища. На опушке, у черемуховых кустов, он сел в мокрую росяную траву. Мысль о том, чтобы убить себя, появилась сразу, как только он отдышался, и несколько не ужаснула его. Наоборот, был страх и отвращение к необходимости жить, а значит, искать выход, изворачиваться.

Когда-то все было просто — он садился в поезд, и Лыково пропадало. Появлялся другой Чижегов, которому было наплевать на здешние страсти, для которого существовали свой дом, семья, работа... Сейчас же эти двое,

жившие независимо, отдельно, соединились, замкнулись, и больше некуда было укрыться. Было холодно и мокро. Чижегов думал, как легко, в сущности, расстаться с жизнью. Казалось бы, такой здоровый человек, и столько у него дел, и дети, и все время занят, и вот, оказывается, ничто не держит. Куда все делось? И Валя тоже почему-то стала связана с Кирой... Как же так получилось, что людям, которых он любил, он же испортил жизнь, сделал их несчастными? Он ведь не хотел этого и сделал это. Случайность? Но он знал, что это не случайность, что это вышло из его жизни и вся прошлая его жизнь стала лишь причиной того, что случилось, и в ней не осталось ничего, что могло бы его оправдать и чем можно было бы гордиться.

Он спокойно прикинул, как он повесится и что написать в записке; чтобы не стали тягать Аристархова или Киру. Перед глазами всплыла дрожащая улыбка Аристархова, и Чижегов подумал, что независимо от записки Аристархов все равно угрызет себя, а то и руки наложит. Не то чтобы ему было жаль Аристархова, ему никого не было жаль. Но глупо, если поймут так, что он, Чижегов, испугался скандала, что из-за ревности, спьяна... Можно было уехать. Исчезнуть. Скрыться от всех. Начать где-то жизнь сызнова, и это всех бы устроило, и никому ничем не грозило. Но в голову сразу полезло насчет прописки, военного билета, трудовой книжки, разных прицепок, без которых невозможно обойтись. Он понял, что это тоже неосуществимо, да и в чем будет состоять смысл этой жизни на другом месте. Как будто все дело в том, чтобы обмануть окружающих и скрыться. От кого скрыться? И кого он боится! Он никогда никого не боялся...

Сырость пробирала до костей. Тело его дрожало, требуя движения. Он не заметил, как пошел, потом побежал. Где-то расцарапался о сук, потерял кепку. Сквозь тонкие ветки неохотно занималась заря. Он торопился, словно что-то увидел в этом бедном рассвете. Постучал монеткой о стекло. В блестящей тьме шевельнулись занавески.

...Только это, ничего больше ему не нужно было — уткнуться в ее колени, почувствовать ее. Он не слышал, что и как он рассказывал, помнил лишь, что повторял, что жить ему больше нельзя, невозможно, незачем, и слышал, как она говорила:

— Будет тебе... Ну, что с тебя взять... это ж ты от любви.

— Все равно подлость... Зачем ты выгораживаешь меня... Оба вы. И ты, и он. А я не хочу! Не надо мне...

Его колотило. Кира держала его голову. За перегородкой спала дочь. Они говорили шепотом.

— Это я виновата. Разревновала тебя. Ну, перестань. Подумаешь, обозвал меня. Да что я, девушка? Молва — что волна...— И другие легкие слова, от которых знобящая его дрожь уходила, высвобождалась из глубины тела.

Кричали петухи. Вместе с розовым светом открывалось перед Чижеговым в полной непоправимости все, что случилось. Но это уже не касалось его. По существу, его как бы уже не было. Он как бы умер, отделился от всего этого. Он все хотел объяснить ей, почему он еще не окончательно лишил себя жизни; не от боязни, а оттого, что ему надо понять смысл, и это неважно, что он еще жив, все равно он уже как бы покончен или покончит, что-то умерло в нем, и тоже не в этом дело...

— Поговорят обо мне, да надоест,— не слушая, продолжала Кира, ловко снимая с него пиджак, туфли.— Да что это за человек, о котором не говорят. Неизвестно, был он или не было его. Аристархов, тот, конечно, примет к сердцу. Сердца в нем много. Я думала, ты про нас знаешь... Ах, поди ж ты, как схлестнулось, как нарочно. Ну да ладно, все зарастет. Уговорю я его, это не твоя забота.

Ни на одну минуту он не верил ей. Не понимал, откуда в ней такое спокойствие. На что она надеялась? Как будто она что-то знала такое, что позволяло ей жить самой, не подчиняясь общей жизни.

— Для чего, для чего ты утешаешь? — допытывался он.— Ты думаешь, я поверю. Во что? Не хочу. Мне, может, так легче. Ничего не осталось, и черт с ним.

Она подняла за волосы его голову, посмотрела внимательно.

— У тебя лоб разбит.

Ловко промыла царапину, уложила на диванчик. Чижегов лежал, скрестив руки. Запавшие глаза смотрели в потолок.

— Спи,— сказала Кира и села рядом.

Он почувствовал, как засыпает, и подумал — хорошо, чтобы вот так и кончилось, и не проснуться.

...Валя была полегче и стройнее, особенно в талии. Он сравнивал их не выбирая. Они сидели перед ним, положив руки на колени. Впервые он видел их вместе и понимал, что и ту, и другую любит, но почему-то любит уже меньше, чем любил, когда они были врозь. Если б он остался жить, ему больше было бы жаль Киру. А если он умрет, то хуже придется Вале. В груди у него вертелся моторчик и горели лампы. Женщины неумело вытаскивали эти лампы, он пытался им объяснить, что делать этого нельзя, они не слышали его. Они думали, что это регулятор, и понятия не имели, что он регулирует. Ни той, ни другой не нужен был этот регулятор. Где-то внутри регулятора находился Чижегов, и они выкидывали деталь за деталью, чтобы извлечь его, освободить, не понимая, что, когда они это сделают, его, Чижегова, уже не будет...

Он открыл глаза. Светило солнце. На столе был накрыт завтрак. Кира сидела в той же позе, одетая в коричневое платье, причесанная. На плечи накинута кофточка. Руки лежали на сдвинутых коленях. Она видела, что он проснулся, и оцепенело продолжала смотреть на него. Под красными веками ее свисали темные обводы. Чижегов подумал, что вот так сидят перед покойниками.

— Ты что... — сказал он.

Слабая улыбка появилась отдельно от ее неподвижного лица. Чижегов потянулся. Подушка и диванчик пахли Кирой. Он вспомнил, как хорошо бывало им здесь, и на миг ему представилось, что они в одном из тех прошлых счастливых утренников. Почему нельзя было снова начать с этого места? Как на репетиции: «Начнем с этого места». Просто надо окончательно проснуться. Чтобы и это все осталось во сне.

Он поискал отклик в усталом лице Киры и не нашел. Что-то произошло за те часы, пока он спал.

Расспрашивать Чижегов не стал. Ополоснулся под краном, оделся. На столе среди чашек стояла непечатая бутылка чешского пива.

— А все-таки зачем ты с этим бугаем, со Степочкой? — спросил он.

Кира ответила не сразу, она как бы ждала, пока лицо ее застынет в недоброй враждебности, и наконец, еще осторожно шевеля губами, сказала:

— С ним весело.

— Веселее, да? Животик не надорвала?

— Тяжело с тобой.

Он подошел к зеркалу. Вид у него был почему-то свежий, здоровый. Румянец со сна на обе щеки. Хорош покойничек. Поскреб черную щетину на прямоугольном подбородке. Увидел в зеркале, как за спиной Кира нехорошо усмехнулась.

— Попей чайку,— сказала она.— А хочешь — кофею.

Чижегов сел к столу. Обжигаясь, пил черный кофе. Глаз не поднимал. Он чувствовал, как воздух становится горячим, грозovým.

— Ну что же дальше,— сказал Чижегов, разглядывая клеенку.— Давай дальше.

— Дальше было раньше. Осточертело мне. Вот и весь сказ,— грубость ее слов никак не вязалась с тем, как руки ее подливали кофе, придвигали ему колбасу.— Нет в тебе легкости. Какой из тебя любовник. Твоя профессия мужем быть. Все у тебя по расписанию, все по делу. Осторожный ты...

— Любовник! — слово это поразило его.— Вот куда ты меня определила... Спасибо. У меня, может, жизнь сдвинулась, все треснуло, а ты... я чуть...

— «Чуть» не считается. А «может быть» в кармане лежит,— не повышая голоса, оборвала она.— Что может быть? Ничего уже не может быть. Может быть, ты жениться собирался на мне? — и она откинулась, тихо посмеялась.— Опоздал. Всякому овощу свое время. Пересмотрела я. Не отвечаешь ты нынешнему моему стандарту. Было времечко, могла я... Между прочим, думаешь, не сумела бы тебя перетянуть? Эх, Степа, Степа, перетянуть ведь легче, чем удержать. Но... Рассчитала я, прикинула,— невыгодно. Ты свой проект рассчитывал, а я свой. Зачем мне тебя любить... Не хочу! Мне ведь муж с квартирой нужен, с должностью, не те у меня годы, чтобы заново начинать. Разбивать чужую семью, так уж было бы ради чего.

— Придумываешь... Кого ты обманываешь? — Чижегов отмахнулся с нарочитой уверенностью.— Да никогда ты это и в мыслях не держала.

— Видишь, как ты себя любишь. Нет, миленький, я правду говорю, все как есть,— торопясь подтвердила

Кира.— Выяснила я тебя до конца, до доньшка. Неинтересно... Ты зачем сегодня явился ко мне? Ведь если я при тебе, при всех — с другим пошла, мог ты понять. Тебе лишь бы выиграть. А что со мной будет, наплевать. Ты-то сам ничем поступиться не хочешь. Хоть бы раз чем поступился для меня. Лестно тебе было, когда в ресторане нахваливали тебя? Жаль, не пришла. Звал меня Аристархов. Праздник тебе не хотела портить... Представляю, каким ты сидел благодетелем. Еще бы, Костю Аристархова соавтором сделал, от своих щедрот.— Жестяно-звонящий ее голос завораживал Чижегова; он все ждал слез, но в глазах ее не было ни грусти, ни гнева, они пусто блестели, как пузыри на воде.— Подкинул молодым на обзаведение. В порядке, так сказать, компенсации... за амортизацию невесты. Не вскидывайся. Известно, что не знал. Это я про себя. А что, скажешь, от щедрости подарил ему? Нет, ты совесть свою хотел умаслить. Ты, Степа, ведь от меня откупался. Думаешь, я злость накопила? Когда любишь, все можно стерпеть... Ты когда шел ко мне, думал, что мне тяжелее станет? Ты меня не жалел, тебе моя жалость нужна...— Руки ее зябко легли на чайник.— Степа, скажи — ты зачем в Новгород приезжал?

Замерла, не поднимая глаз. Чижегов маленькими глотками допил вторую чашку кофе.

— В Новгород? А-а-а... На завод ездил. Детали доставал.

Кира кивнула, вернее голову наклонила, с каким-то удовлетворением принимая его слова.

Чижегов встал, прошелся по комнате.

— Ничего не попишешь... Рад бы в рай...— само собой получался у него упругий шаг, молодцеватая походочка, и плечи расправились, все мышцы его заиграли. Небритая щетина, ссадина на лбу — все годилось сейчас, и наглая ухмылка — чем похабнее, тем лучше.

— Хотела цацку себе на память оставить? Не будет тебе цацки. Других проси...— он изгибался, чтобы не сорваться в тоску, в крик, в ругань.— Способен был ради тебя поехать. Не стану отпираться. Но не поехал. А тебе охота самолюбие свое защитить? Эх, напридумывала ты себе. Ну что ты тут плела насчет женитьбы? У меня,

к твоему сведению, и мысли такой не возникало — развестись. Ни разу. Честно говорю. Женщина ты, прошу прощения, не первой молодости, — он оглядел ее выразительно. — И в остальном... Если между нами, так я Аристархову правду сказал. Выразился сгоряча, это да, а по существу так и есть, точно... — все более воодушевляясь, подтвердил он. — Гулена ты. В жены таких не берут. Со мной тебе тяжело? Зато с тобой легко...

Зайдя с боку, он увидел, как на шее у нее дергается, дрожит какая-то жилка, и медное ожерелье в этом месте чуть слышно позвякивает. Несчастливое это было ожерелье. Всякий раз приносило оно Чижегову беду. А профиль у Киры был неподвижен. Профиль не изменился, как и прежде — легкий, красивый. И Чижегов вдруг ужаснулся тому, что происходит. Зачем, почему он говорит такие слова.

— Вот и хорошо, — сказала Кира твердо.

Каменная ее незыблемость помогла ему.

— И слава богу... И выяснили. А Костю ты за соавторство не трави, он тут ни при чем. Свою половину он честно отработал. В этом вопросе я... ты правильно подчеркнула мои мотивы. Признаю. Но тут, если хочешь, в основе другой пункт. Я знал, что сук рублю... А ты, Кирочка, задумывалась, почему я это делал? Потому что не мог иначе. Работа мне дороже, чем всякие шуры-муры. Покрутили и хватит.

Так они и разговаривали, уже ничего не жалея, ничего не сохраняя. Чижегов стремился лишь доказать, что он сильнее и плевать он хотел на то, что было, все это чушь, труха, обычные шуры-муры, повторял он на все лады.

Вышли они вместе и до моста шли рядом, не таясь, по солнечному людному Лыкову. С Кирой здоровались. На Чижегова же никто не любопытствовал, не оборачивался им вслед. Казалось, все эти два с лишним года можно было вот так же ходить вдвоем.

По мосту Чижегов шел один. Все тянуло оглянуться, узнать, смотрит ли Кира или тоже идет по берегу, не оборачиваясь. Конца и края не было этому мосту.

Нежданно-негаданно история с лыковскими регуляторами заинтересовала ленинградское начальство. Главный конструктор вызвал Чижегова, долго пытал его: от-

куда то, откуда это, да с чего он взял, что такие фильтры снижают заряды, как теоретически это можно вывести. Дело в том, что новый тип регулятора, назначенный для ответственных объектов, капризничал. Главный конструктор подозревал, что виновато тут статическое электричество. Доказательств у него не было, и Чижегов, смекнув это, сослался на свою интуицию; если главный — лауреат, доктор и прочая — вместо формул держится за интуицию, то рядовому инженеру сам бог велел. Прозвучало довольно-таки нахально, но изобразить на бумаге распределение зарядов Чижегов не сумел бы, в теории он был не силен, а кроме того, терять ему было нечего, рядовое его инженерство давало приятную независимость. На его счастье, высоконаучные консультанты с их гипотезами до того заморочили главного, что кичливое, как он выразился, знахарство Чижегова пришлось ему по душе. Решено было поехать в Лыково, пощупать, увидеть, что получилось, и нельзя ли изменения, внесенные Чижеговым, использовать для новой серии. Не слушая никаких отговорок Чижегова, главный включил его в состав комиссии, и в начале декабря они поехали в Лыково.

На вокзале их встретил молодой незнакомый Чижегову инженер. Он представился начальником энерголаборатории, потряс руку Чижегова, не скрывая любопытства, что выглядело вполне естественно, тем не менее Чижегов тотчас замкнулся. Ни о чем не расспрашивал, отвечал односложно, держался позади. Впрочем, новый начальник сам словоохотливо сообщил, что Аристархов уволился месяц назад, завербовался на Север, якобы врачи рекомендовали сменить климат. Но это «якобы» прошло впустую, члены комиссии Аристархова не знали, а Чижегов промолчал.

Городскую гостиницу ремонтировали. Комиссию поселили при заводе, в доме приезжих. Работали до упора, ужинать отправлялись в ресторан. Главному конструктору, как нарочно, понравился тот длинный стол за железными цепями... Чижегов сидел спиной к входу. Играл тот же оркестр, подавали тот же квас с хреном и пеклеванный хлеб.

Кира уехала не то в Новгород, не то в Москву. Новости сами упрямо настигали Чижегова. То кто-нибудь из лаборанток, то гостиничный знакомец завсегдатай-толкач обязательно выдадут про Киру: уехала на год,

нет, насовсем, к жениху, нет, к мужу, да-да, был у нее муж-летчик, думала, что погиб, а он не погиб...

Толком никто не знал, ходили слухи, что Аристархов стрелялся или стрелял — словом, была какая-то волнующая любовь...

Затем Чижегов на рынке встретил Ганну Денисовну. В Лыкове трудно было не встретиться. Она сказала, что Кира действительно вышла замуж за бывшего летчика, приятеля первого мужа, уехала к нему в Москву, на авиазавод. Дочь ее пока живет в Новгороде. Квартиру свою Кира отдала дальним родным, оставила со всей обстановкой. Ганна Денисовна и осуждала Киру, и скупчалась по ней, и тревожилась. Она искала сочувствия у Чижегова, но его невозмутимость сбила ее с толку. Он не удивился, не расстроился скоропалительному этому замужеству. Присвистнул, будто вслед, и даже повеселел.

• — Устойчивый ты мужик, — сказала Ганна Денисовна. — Тебя не сшибешь. Правду говорят: в любви добро не живет.

Чижегов засмеялся:

— Какая тут любовь. Утром был мил, вечером постыл.

— Да ты что, всерьез? Ну и ну. Ничего, я вижу, ты не понял.

— А чего тут понимать, все как на ладони, — сказал Чижегов.

Все эти месяцы он прожил в обиде; если вспоминал Киру, то сразу натыкался на свою обиду, незаслуженную, несправедливую, и вместо тоски получалась злость, которая помогала ни о чем не жалеть. Теперь, узнав, как просто и легко все решилось у Киры, он торжествовал, он уличил ее. Совесть его успокоилась. Больше того: вышло, что в некотором роде он способствовал налаживанию ее судьбы.

Довольный его вид, руки в карманах новой выворотки, купленной с премии, раздражали Ганну Денисовну. Она переложила в другую руку тяжелую сумку с картошкой, поправила платок на голове. Высокий лоб осветил ее лицо, большие глаза. Она была еще приятна. Чижегов вспомнил гуляку ее мужа, Кира видеть его не могла, поэтому и ходила к Ганне в гостиницу. Он мысленно пожалел загубленную ее жизнь, обреченную так и сойти на нет, без счастья и любви.

— Все-то ты прохлопал... Изобретатель. Может, ты в чем другом умник, а тут ты дурень,— Ганна смотрела на него с жалостью.— Из-за тебя, может, она сердце порвала. А ты не заметил. Живешь ты, чувствуя как убогий,— разве это жизнь? Глаза есть, уши есть, а душа слепая и глухая.

— А-а, понятно,— протянул Чижегов.— Только информация у тебя, Ганночка Денисовна, односторонняя. Третьему тут не разобраться. Так что давайте не будем. Я ведь тоже мог бы...

Она вздохнула разочарованно.

— Боишься ты... Ладно. Как-нибудь сам дойдешь.

Простился с ней Чижегов сердито, однако с этого дня он почувствовал себя свободнее. Заснеженный этот городок с водозаборными колонками, обросшими наледью, с дымом из печных труб, стал уютным и безопасным. Чижегов больше не сторонился знакомых, не обращал внимания на поджатые губы Анны Петровны, на козье, вытянутое ее лицо. Работа завершалась как нельзя удачно. С ходу, без подсчетов и проб Чижегову удалось кое-что уточнить в схеме, и последние претензии комиссии и завода отпали. Главный конструктор разводил руками: ну медиум, ну виртуоз, откуда что берется...

Дирекция наградила Чижегова грамотой. Про его соавтора никто не вспоминал. Чижегову было неловко, но энергетик Илченко посоветовал не вмешиваться, поскольку директор не мог простить Аристархову внезапный, беспричинный его уход с завода.

— Костя Аристархов, между прочим, поступил рационально,— сказал Илченко.— Ему полезно климат сменить. Бабочки наши кисель из него сделали... Верить, конечно, можно всему. Ты, Степан Никитич, тоже... не ушам, так глазам веришь. А ведь есть и другое,— добавил он непонятно, но Чижегов не стал выяснять. И про Аристархова ничего не спросил.

Перед отъездом Чижегов отправился погулять. Незаметно, по морозцу, дошел он до Троицкого собора, спустился к причалу. Лед на реке был еще слабый. Жидко светила луна. Наверху по набережной шли машины, а здесь было тихо. Чижегов взял камешек, швырнул и долго слушал, как он скользил по ледяной глади, оставляя за собой длинный замирающий звон. Будто дрожащая струна натянулась над рекой. Будто длинный провод по-

вис, соединяя Чижегова с тем, прошлым годом... В такую же пору гуляли они с Кирой, вот здесь же. Оставив ее на берегу, Чижегов сбежал на лед. Подальше от берега тонкий лед гнулся, слышно было, как хлюпала внизу вода, потом треснуло. Чижегов побежал быстрее, но не назад, а вдоль берега. Звонящий треск гнался за ним. Кира вскрикнула и затихла... Чудом, по мерзлым бревнам, он добрался до мостков. Кира выговаривала ему за глупое удалство, и Чижегову было приятно ее волнение. «Лучше бы ты любовался, красота-то какая,— говорила она.— Лес вот одинокий, луга замёрзли, первый снег, а почему-то такая печаль... Отчего? Каждое утро хожу тут и ничего этого не вижу. Вижу вот гонки прихватило, лес сплавить не успели... А сейчас хоть на колени становись». Она закрыла лицо руками, Чижегов гладил ее по голове и смеялся.

— Ничего ты не понимаешь,— сказала она.

Геперь он отчетливо услышал тоску в том прошлым годом ее голосе и подумал, что никогда как следует не знал Кире, знал лишь наружность, видимость, а не тот секрет, который и составлял ее саму, который и толкал ее на поступки необъяснимые. Он воспринимал ее, так сказать, в масштабе один к одному. С чего она вдруг от всего открестилась, растоптала... То утешала его, то избидела, оскорбила. И это замужество. И бросить кому попало квартиру... С чего? Что значит — разлюбила? Может ли так быть, что в душе ее что-то накапливалось. Вроде статического электричества. Черта с два теперь узнаешь, что там произошло. Какая-то слабая догадка мельтешила, но Чижегов отгонял ее, уверенный, что не могла Кира нарочно разыграть. Ради чего, спрашивается? Зачем ей было истязать себя так?

Припомнилось, как он наврал Кире про Новгород, про цацку, наврал назло, лишь бы дать сдачи. И про свою работу — «это тебе не шуры-муры вертеть...»

Он вдруг подумал — неужели все дело в том, что он не понимал ее. А если оттого и любил, что не понимал и никак не мог разгадать. Но тут он вспомнил Ганну Денисовну. Она была права: оттого, что он не понял, он многое потерял. И вообще он многое, наверное, упустил. Однако если бы он все понимал и ничего не упустил, то Кира перестала бы его интересовать, потому что человек всегда интересен, пока есть в нем секрет... Тут

заключалось противоречие, в котором он не мог разобраться.

Странно, откуда появилась грусть. О чем ему было грустить? Никого у него здесь не оставалось, дела завершились как нельзя лучше. Было жаль, что Кира никогда не узнает, как он сидел на этих мостках и думал о ней, и чувствовал печаль этой замерзшей реки. Про все догадался и перетолковал к лучшему то, чего и не было. Потому что никаких доказательств не существовало, все игра воображения. Ему вспомнился ее жестяной голос, глаза пустые, как пузыри на воде. Чижегов вскочил, прошелся по морозно-скрипучим мосткам, глубоко вдыхая холодный воздух. От жгучей этой студености здоровый его организм наполнился чувством бодрости. И все стало выглядеть просто, Чижегов даже удивился — какие могли быть сомнения. Кто первый начал? Факт, что он явился к ней со всей душой, а она оттолкнула его. Пусть нарочно, тогда, значит, обидные упреки ее не соответствуют действительности. Перед кем угодно Чижегов мог бы оправдаться. Факты были на его стороне. Что касается психологии, то ведь можно допустить, что Чижегов наговорил на себя из лучших побуждений, выставил себя в невыгодном свете, взвалил напраслину, поскольку он мужчина...

Позднее ему стало казаться, что так оно и было.

В сущности, у него не осталось никаких поводов возвращаться к этой истории. Тем более что в судьбе его с этого времени начали происходить счастливые перемены. После лыковского успеха Чижегова назначили руководителем группы. На новой должности неожиданно для всех обнаружилась в нем деловая хватка, самостоятельность суждений. По-видимому, долгие годы командировочных заданий, где приходилось полагаться лишь на собственное чутье, не прошли даром. До сих пор его дело было регулировать, отлаживать эти созданные другими приборы. Сейчас он с наслаждением хозяйничал над схемами. Так что лыковские неприятности в итоге, можно считать, пошли на пользу Чижегову. Однако когда главный конструктор, похвалив очередное его решение, обронил, что все, мол, началось с Лыкова, Чижегов взорвался: «При чем тут Лыково,— закричал он,— хватит меня попрекать Лыковым!..» Потом он опо-

мнил, извинился, но вспышка эта его самого испугала. Он всегда мог управлять собой, если он знал, отчего ему тяжело, тут же он обнаружил в себе тоску, глухую, прочную, неизвестно о чем. Она тлела в глубине без мыслей и воспоминаний. Иногда она вырывалась, и на Чижегова нападало полное безразличие ко всему, как будто внутри у него все было выжжено. О Кире он не думал, тоска грызла его сама по себе, беспричинная и слепая.

Единственным лекарством оставалась работа. Вместе с работой возвращалось ощущение силы, он наваливал на себя все новые заказы, и, хочешь не хочешь, надо было тащить эту ношу. Раньше он жил по правилу: чем меньше делаешь, тем меньше надо делать. Теперь чем больше он работал, тем больше у него набегало работы, и это его устраивало. Тоска была недостойной слабостью. Он презирал себя за то, что не мог справиться с ней. Он упрямо учился одолевать ее, но, может, ему помогало время, которое всегда помогает незаметно.

Первый год он не брал отпуска, только на следующее лето выбрался вместе с женой и младшим сыном на юг.

В Ростове самолет задержали из-за непогоды. Чижегов сидел в павильоне, читал газету, наслаждаясь покоем начинающегося долгого отпуска. Изучая таблицу футбольных игр, он вдруг поднял голову и увидел за стеклянной стеной Киру, она шла с высоким седым мужчиной, он держал ее под руку. Короткая стрижка с челочкой молодила ее, большая вышитая сумка висела через плечо, белая маечка туго обтягивала располневшую грудь. Сыпал мелкий дождь. Голые плечи ее мокро блестели. Чижегов встал, и Кира посмотрела на него, она как-то сразу выделила его среди множества людей в павильоне. Она сделала движение вперед и тотчас отпрянула, глаза ее расширились. Мужчина что-то спросил ее, за толщей стекла сцена происходила безмолвно. Чижегов увидал ее испуг, она сделала какой-то жест, неконченный, не то растерянный, не то умоляющий. Пока Чижегов миновал путаницу скамеек и выскочил наружу, ни Киры, ни ее спутника уже не было.

В толпе у камеры хранения мелькнула белая маечка и эта яркая расшитая сумка, но Чижегов не стал дого-

нять. Некоторое время он, однако, еще стоял, как бы ожидая — не броситься ли за ней. Нет, не бросился. Он мог быть доволен собой. Но как же он дожид до этого? Когда-то он мечтал встретить ее и пройти мимо, а сейчас испытывал лишь разочарование и неловкость.

Он вернулся, Валя посмотрела на него вопросительно.

— Знакомая, еще лыковская, Кира Андреевна.— Он произнес ее имя без всякой запинки.

— Чего же это она убежала? — спросила Валя.

— Сам не знаю,— искренне ответил Чижегов.— Чудачка. Поцапались мы с ней перед отъездом, ну и что?

Он говорил с такой досадой, что Вале и в голову не могли прийти какие-либо подозрения. Да и сам он недоумевал — с чего Кира так испугалась. Обоим приятно было бы поговорить, узнать друг про друга. Что было, то сплыло, но ведь не враги же они...

В самолете, посасывая карамельку, Чижегов не торопясь словно бы рассматривал моментальный снимок Кире: бледнеющее ее чужое лицо, тяжелую фигуру. Неужели когда-то он готов был лишиться себя жизни из-за этой женщины? С удивлением он вспоминал ту ночь, не понимая себя, не веря тому, что это происходило с ним. Почему тогда все казалось таким безвыходным? И как же, каким образом все улеглось, образовалось? Выходит, все, что было тогда, все его страдания были наваждением, глупостью?

Было грустно, что все это, отдаляясь, становится забавной, а в сущности, обычной историей.

Самолет пробился сквозь облака, стало солнечно и сине. Сплошная пелена облаков опускалась вниз, с изнанки они лежали красиво и мягко белым каракулем. Ничто уже не напоминало о дождливой хмари внизу. И вдруг Чижегов позавидовал тому прошлому своему безумию. Нет, он не хотел бы снова это повторить и понимал, что жизнь, которую он ведет, правильная, честная, полезная. Но чем-то она напоминала эту солнечность и невозмутимую ясность, которая царила здесь, в вышине, в любую погоду. Странно, думал он: тогда было так плохо, столько горя и стыдных поступков,— как же можно завидовать этому?..

ОДНОФАМИЛЕЦ

I

Можно доказать совершенно точно, что все произошло случайно. Кузьмин остановился только для того, чтобы пропустить людей, запрудивших дорогу. Они выпрыгивали из автобусов, которые подходили один за другим, бежали наперерез через тротуар. Они торопились под бетонный козырек подъезда. Падал крупный тяжелый снег, и многие из них были одеты легко и были без шапок.

Если бы Кузьмин шел по другой стороне улицы, ничего не случилось бы. Конечно, событие, которое должно было произойти, когда-нибудь дошло, добралось бы до него в виде слуха, забавной истории...

Итак, он стоял, безучастно провожая глазами этих людей, поскольку ему предстояло идти еще изрядный кусок до станции метро, и лишняя минута, хоть и под мокрым снегом, ничего не значила.

Вот тут-то, находясь в этом устало-тупом состоянии, он почувствовал, что на него смотрят. Почувствовал не сразу, а так, будто его окликнули, сперва тихо, потом громче. Он оглянулся, поискал глазами и увидел наверху, на ступенях подъезда, среди спин и затылков, повернутое к нему женское лицо. Сквозь снежную кисею можно было различить только накрашенные губы на белом лице, черты без подробностей, так сказать общий вид. Женщина кивнула ему, успокоенная тем, что он заметил ее, кто-то заслонил ее, и еще кто-то, и она неразличимо слилась с толпой, текущей в стеклянную светлую глубину дверей.

Некоторое время Кузьмин еще стоял, зябко упрятав голову в плечи. Не то чтобы он взволновался,— в его годы, да еще после тяжелого рабочего дня, подобные штучки мало действуют, просто он пытался сообразить, кто бы это мог быть. Что-то полузабытое, *возможное* угадывалось в ее лице. Не стертый годами остаток, слишком малый для узнавания, и все же чем-то беспокойный.

Вскинув руку, он посмотрел на часы, скорее всего даже не уяснив себе, который час. Что-то мешало ему двигаться дальше. Неожиданно для себя он вдруг повернулся, поднялся по ступеням, вместе с другими прошел в гардероб, разделся и направился в холл,

У барьера, перед двумя мужчинами с зелеными повязками на рукавах, он очнулся, удивляясь себе, остановился, нарушая течение беспрепятственно входящих, и естественно, что молоденький контролер с русой бородкой, выставив руку, спросил у него билет.

— Мне надо тут...— начал Кузьмин, не зная, как объяснить. Он полез за удостоверением своего монтажного треста, почему-то уверенный, что его пропустят.

Второй контролер, бритый, узкоглазый, непонятно усмехнулся, сказал: «Ну что вы, пожалуйста» — и несколько раз кивнул, не то уважительно, не то иронично. И Кузьмин прошел.

В холле было тепло, тесно от многолюдного кишения. Ярko горели, переливались большие хрустальные люстры. Вспыхивали блицы фотографов, верещали кинокамеры. Подхваченный общим потоком, Кузьмин куда-то двигался мелким шагом, пытаясь с высоты своего роста высмотреть ту женщину. Вскоре его вынесло к столикам, за которыми раздавали программы и регистрировали. Кузьмин взял программу, назвал свою фамилию девушке, которая сидела под буквами «И — М». Сделал он это машинально и тут же засмеялся, увидев, как палец девушки заскользил по списку, — было бы забавно, если бы он там оказался.

— Минуточку, — девушка взяла другой список, написанный от руки. — Все в порядке, — и поставила крестик против фамилии Кузьмина, последней в столбце.

Он наклонился, стал рассматривать чей-то округлый спокойный почерк: «Кузьмин П. В.» И рядом крестик, как тайный знак.

— Это вы писали?

— Что-то неправильно? — поинтересовалась девушка.

У нее было кукольное личико с круглыми матовыми щеками, и на них круглый аккуратный румянец.

— И давно вы этим занимаетесь? — Кузьмин прочертил в воздухе замысловатую фигуру.

Девушка сразу стала холодна и невозмутима, как полярный день.

— Вы телепат? Прекрасно, мне как раз нужны младшие телепаты, — пояснил Кузьмин. — Пойдете?

— Блокнот, значок получили? — терпеливо, без улыбки спросила она.

— Это мне ни к чему. Вы мне лучше скажите, где та женщина, которую я ищу?

Девушка пожала плечами, не принимая шутку. Кузьмин вздохнул, ему было жаль девиц такого сорта, они загадочно взирали на всех с недоступной высоты и боялись оттуда спуститься.

«Господи, ну почему они не могут по-простому? — подумала девушка, глядя вслед Кузьмину. — Если он хочет познакомиться, так бы и сказал».

Он ей понравился. Он был похож на Жана Габена. Стареющий, спокойный и непонятный. Несмотря на заношенный костюм его, с оттопыренными карманами. Несмотря на клетчатую желтую ковбойку, что явно не соответствовала всем этим белоснежным рубашкам, голубоватым рубашкам, рубашкам в тонкую полоску, галстукам широким, цветастым, узеньким, уже выходящим из моды, но все-таки модным. Что-то в нем было. Жаль, что он не обернулся.

Женщин в этой толпе было мало. Медлительно-грузный Кузьмин осторожно двигался сквозь толчею, обходя бурливые группы иностранцев, где знакомились, обменивались визитными карточками и кто-то кого-то узнавал, а кого-то представляли. Маленькие японцы широко и неподвижно улыбались и подолгу раскланивались, наклоняясь всем корпусом. Попадались ему индусы с нежными длинными лицами, плечистые шведы, а может ирландцы, болгары, черноволосые, веселые, он их сразу узнавал. У всех на лацканах блестели эмалированные значки какого-то конгресса математиков. Про конгресс Кузьмин вычитал из программки, и сейчас, методично проглядывая всех этих людей, он невольно выискивал в них что-то общее, свойственное математикам, какую-то особенность, может быть, некоторую отвлеченность, рассеянность, приметы иной жизни, иных страстей, нечто значительное, нездешнее.

Однако особой отвлеченности он не замечал. Вся эта публика держалась свободно, громко смеялась, чувствовалось, что все они так или иначе знают друг друга. Среди них Кузьмин невольно выделялся своей непричастностью. Он это чувствовал. Все бегающие, скользящие, ищущие глаза, натыкаясь на него, вопросительно запинались. Дело тут было не в костюме, не подходящем к этой парадной обстановке. Потому что были тут и молодые люди в затасканных свитерах, и небрежно одетые американцы в вельветовых штанах. Нет, дело

было, наверное, в том, что Кузьмин не мог скрыть напряженности. Он ждал продолжения событий. Судя по всему, происшествие должно было как-то развиваться. Он был готов к тому, что сейчас что-то произойдет, и сам не замечал, как шаг его стал пружинисто-настороженным.

Курили беспощадно. Дым сигарет, ароматных американских сигарет с отдушкой, и крепкий дым сигар раздражали Кузьмина. Спустя два года, после всех мучений, ему впервые нестерпимо захотелось закурить. Он сглотнул слюну и выругался. Еще эти объятия и поцелуи. Кузьмин попробовал представить целующимися своих монтажников, и от этой нелепой картины красно-обветренное лицо его скривилось. Встречный негр белозубо оскалился, но Кузьмин сразу же понял, что это не ему, а кому-то за его спиной. Он стал сердиться. В этом шумном толповерчении его словно потеряли. Самое глупое было бы, если бы так все и кончилось и он протолкался бы здесь и ушел ни с чем.

Всем своим опытом он знал, что самое лучшее сейчас отправиться домой. Ничего *такого* быть не могло. Но тут же он почувствовал, что какая-то сила мешает ему это сделать.

Мимо него, окруженный французами, прошествовал лысый длинноголовый старичок. Это был не кто иной, как Лаптев, профессор Лаптев. Он сохранился почти в точности, разве что заостренел и несколько усох туловищем. Прикрытые морщинистыми веками желтые глаза его стояли неподвижно, как у ящерицы. Когда Кузьмин попал в их поле зрения, они едва заметно вздрогнули. Узнать его Лаптев не мог, по крайней мере вот так, с ходу. Но у Кузьмина почему-то все замерло внутри. «Надо же... вот тебе и на...» — бормотал Кузьмин, глядя ему вслед. Ему вдруг начало казаться, что и кроме Лаптева здесь есть люди, которых он когда-то видел, даже знал. Ни разу ему не приходилось бывать на подобных конгрессах. Тем не менее во всем этом было что-то известное.

За колоннами работал буфет. Кузьмин ощутил голод, накопленный за день работы, и направился к стойке. Перед ним уступчиво раздвигались. Может, принимали его за дежурного коменданта или местного монтера, словом, за персонал. Он и не собирался без очереди, но уступчивость эта его обидела, и, нарочно приговари-

вая «вы уж позвольте», он вклинился к прилавку.

На длинных блюдах лежали маленькие, ромбиками нарезанные, бутербродики с черной и красной икрой и желтой розочкой масла. И семга тут была толстая, сочно-розовая, с лимонными дольками. И рыбное заливное. Осетрина или судак. Этих математиков неплохо обеспечивали. Кузьмин без стеснения набрал себе полный поднос, взял бутылку воды. Настроение его сразу поднялось. Он любил поесть.

Сидя за столиком, он ощутил свое преимущество — не его разглядывают, а он разглядывает... Заливной судак был хорош. Кузьмин запил нарзаном и пришел к выводу, что такая еда все оправдывает. Выигрывает тот, кто терпеливее, а пока можно наслаждаться тем, что есть. Перед ним, как на сцене, шествовала пестрая причудливая процессия: трудолюбивые худосочные очкарики, изможденные ревнивой гонкой за еще каким-нибудь интегралом; аккуратные ухоженные старички, бывшие корифеи, авторы толстых монографий и некогда решенных задач; уверенные в себе оппоненты и рецензенты; молодые бородатые гении, еще мало успевшие, но обуреваемые и исполненные вызова; солидные, преуспевающие доценты, доктора, всесторонне развитые, любители музыки, лодочных походов, детективов и альпинизма. Они надписывали оттиски своих статей и преподносили их молодым член-коррам...

Никогда еще ему не приходилось видеть сразу столько математиков. Невозможно было даже представить себе такое их количество, собранное вместе, а уж тем более понять, зачем их столько и что они делают. Это было то же самое, как если бы он попал, например, на конгресс дирижеров или укротителей. Тысяча дирижеров... В глубине души его сохранилось детски почтительное отношение к специальности математика как к необыкновенной и редкой, потому что люди, способные всю жизнь вычислять, возиться с понятиями невещественными, неосязаемыми, со знаками и линиями, должны иметь головы, устроенные иначе, чем у обыкновенных людей.

— О, кого я вижу! — обрадованно пропел кто-то над Кузьминым. Это был молодой, гибко-тонкий, пружинистый, смутно знакомый Кузьмину инженер-расчетчик из Управления, с фамилией на «бу» или «бы» — никак не вспомнить. — Какими судьбами вы здесь, вот не ожи-

дал...— Фраза повисла неконченная, столь ясно, что он забыл имя-отчество Кузьмина, а по фамилии назвать не решился. Потому что если по фамилии, то надо было приставить «товарищ» — «товарищ Кузьмин», что уж звучало неприлично, поскольку Кузьмин был не просто старше его, но принадлежал к начальству.

— Случайно я тут, случайно,— успокоил его Кузьмин.— А вы?

— Я-то не случайно, я делегат,— и на песочном в крупную клетку пиджаке его блеснул эмалированный значок.— Я ведь соискатель. А вы как думали.

— Никак я не думал,— сказал Кузьмин.— Не успел.

Инженер рассмеялся, соглашаясь на подобную шутку. Значок его казался больше и ярче других значков.

— Разрешите к вам? — И, не дожидаясь ответа, позвал: — Витя! Давай сюда. Виктор Анчибадзе,— пояснил он.— Звезда первой величины, слава грузинской школы.

Округлый, мохнато-черный, похожий на шмеля Витя, нагруженный тарелками, поздоровался с Кузьминым без особого интереса и увлеченно продолжал про чей-то доклад, называя инженера Сандриком.

Говорили они непонятно, было заметно, что Сандрик красуется перед Кузьминым этим особым языком посвященных.

— Проблема разрешения разрешима с одним аргументным местом,— звучно произносил он, и крепкие зубы его впивались в бело-розовую ветчину.

— Вы уж нас простите,— перекинулся он к Кузьмину с улыбкой,— у нас, математиков, все не как у людей. Для постороннего это, наверное, дико. Меня вот сегодня венгры атаковали. Они по-нашему ни бум-бум, я по-ихнему с той же силой. И что вы думаете? Потолковали за милую душу...

А зубы его работали, и руки, и глаза, и то и дело он вскакивал, кому-то приветственно махал, здоровался, не прерывая разговора ни с Анчибадзе, ни с Кузьминым...

— ...Наша наука — единственная научная наука. Госпожа всех наук! У нас что сумел, то и сделал, ни от чего не зависишь. Только от этого! — И он энергично постучал себя по лбу.

— Значит, госпожа, а я-то думал, что вы помощники,— сказал Кузьмин.

— Пусть не госпожа, пусть служанка, пожалуйста,— нетерпеливо и обрадованно подхватил Сандрик.— Только служанки бывают разные. Есть такие, что несут сзади шлейф, а есть и другие, что несут впереди факел. Понятно? — от удовольствия даже прижмурился.

Особенно нахально прозвучало у него вот это «понятно?». Никогда в Управлении он не посмел бы в таком тоне разговаривать с Кузьминым.

— Служанка с факелом — это нужнее госпожи. А? — поддразнивая, сказал Анчибадзе.— А если без факела? Еще лучше. В темноте вообще не разобрать, who is who *. А? — И он засмеялся озорно, с подмигом.

Кузьмин почувствовал себя старым, вернее устаревшим для таких игр. Да и слишком неравны были силы.

— Хорошо бы к такой закуси стопаря опрокинуть,— вдруг сказал он.

Анчибадзе выкатил на него пылко-черные глаза, усваивая этот поворот, и одобрил.

— Годится. Сандрик!

Не успел Кузьмин проследить, что откуда, как перед каждым стоял бумажный стаканчик с коньяком.

— Поехали,— сказал Кузьмин и выпил без особой охоты.

— Вы на какую секцию идете? — спросил Анчибадзе.

Кузьмин сделал загадочное лицо:

— У меня здесь совсем иная миссия.

На мгновение ему удалось вызвать их интерес. Но тут же Сандрик зашептал с восторгом:

— Перитти! Гениальный мужик! Глава миланской школы.

Кузьмин и не повернулся. Плевал он на этого Перитти. Маленькие голубоватые его глазки, устремленные на Сандрика, медленно темнели.

— Между прочим, как у вас с пересчетом пускателей? — спросил он.

Сандрик дернул плечом.

— Нашли, что называется, время и место.

— А все же? — чуть поднажал Кузьмин.

— Вы, значит, сюда приехали выяснять насчет пускателей? — Сандрик обиженно хохотнул и сказал с не-

* Кто есть кто (англ.).

которой злорадной скорбью: — Боюсь, что наши мужи отказались пересчитывать. Увы!..

Кузьмин так и полагал, что откажутся. Хоть и обязаны. Знают черти, что нет у него времени добиваться. Монтажникам всегда некогда качать права. У них сроки сдачи. И без того съеденные строителями, нарушенные поставщиками. Всякий раз его прижимают к стенке...

— Эх вы, какие из вас факельщики, — сказал Кузьмин в сердцах. — Халдеи вы. Вам лишь бы защититься, степень схватить.

Сандрик покраснел.

— А вы как думаете? — озлился он. — Неужели вам за столько лет не обрыдло: коммутаторы — аккумуляторы, сердечники — наконечники... господи, как вспомнишь, так вздрогнешь. Чем занимаемся, а? Нет уж... Да, да, скорей бы защита, и привет! И прощайте!

...Наконечников не досылали второй месяц. Из-за этого пустяка фронт работ перекосило, график рухнул. На каждом объекте повторялось, в сущности, одно и то же. То наконечники, то муфты, то пускатели... «У нас серьезные неприятности бывают только из-за пустяков», — говорил Кузьмин. Годы тратили на эти пустяки. Этот Сандрик довольно метко ударил в больное место: «сердечники — наконечники». Набор повседневных забот Кузьмина прозвучал у этого пижона так пренебрежительно, так убого, что Кузьмину стало себя жалко. Он вспомнил было недавнюю премию за компоновку распредустройства. Провозился почти год, пока ему удалось ужать эти ящики на двадцать сантиметров. Но что значили его догадки, его премия для этих умников, занятых вопросами Вечными и Всемирными? Да что там — Вселенскими! Что для них проблема железной воронки, которую надо затиснуть под разъединитель? Их мир свободен от бракованного кабеля, от загулявшего сварщика, от инспектора Стройбанка...

— Конечно, отвлеченными материями куда как приятнее заниматься. И доходней. Семгой кормят. Да только пользы от вас...

— Ну, это вы зря, из отвлеченных материй самые практические вещи выходят, — назидательно поправил Сандрик. — Возьмите Эйнштейна...

— Не надо Эйнштейна. Чуть что — Эйнштейн, — нео-

жиданно буркнул Анчибадзе.— Оставь, пожалуйста, его в покое. Ты собственной жизнью пользуйся.

Сандрик словно поскользнулся, он не ожидал удара с этой стороны.

— Витя... чудак, Эйнштейна я ж для доходчивости... А себя что ж приводить... Какая у меня жизнь? Если хочешь знать — нет у меня жизни. Я для них знаешь кто? — Он вскочил, наставил палец на Кузьмина.— Карьерист! Человек, который хочет остепениться. Такой-сякой, ищет легкой жизни. А вы спросите — почему ты, Зубаткин, хочешь уйти? — И он с чувством ударил себя в грудь.— Да потому что надоело. Никому мои способности в этой конторе не нужны. В прошлом году толкнули мы идею одну по сетям. И что? А ничего! Под сукно. Кабеля, говорит, нет. Талант у нас не нужен. У нас исполнители нужны.

Палец его указывал на некие высшие сферы, которые умотали их проект, задробили, спустили в песок, и в то же время ввинчивался в Кузьмина, который олицетворял перестраховщиков, дуболомов, мамонтов, хранителей этого идиотского порядка, когда, экономя на куске кабеля, выбрасывают миллионы киловатт-часов.

А Кузьмин вспомнил, как управляющий метался, добывая этот кусок, чтобы пустить готовый химкомбинат... «На бумаге легко резвиться,— кричал управляющий.— Идей много, а я сейчас все идеи отдаю за тысячу метров кабеля!..» И Кузьмин понимал его лучше, чем этих грамотеев вроде Сандрика. Они считали управляющего консерватором, Кузьмина это сместило: в сущности, если разобраться, ему, Кузьмину, никогда не приходилось встречать настоящего консерватора. Если руководитель держался за старое, значит, его вынуждал план, лимиты, премиальные,— словом, какие-то серьезные обстоятельства. Когда ему удавалось побороть эти обстоятельства, он считался новатором. Кузьмин и сам бывал и тем, и другим; чтобы протолкнуть новое, приходилось обычно так или иначе нарушать инструкции, правила, а это не всегда хотелось.

Объяснять все это было бесполезно.

Зубаткин — чистоплюй, Кузьмин давно раскусил эту публику: сидят, пьют черный кофе в баре напротив Управления, щеголяют друг перед дружкой своей принципиальностью и культурой и, конечно, уличают на-

чальство в невежестве. Им что, они не отвечают за пуск объектов, им не приходится крутиться между местными властями и министерством, улаживать отношения с поставщиками, унижаться перед банком...

Кузьмин дожевывал последний бутербродик, раздавил языком последнюю икринку, вздохнул:

— Да разве вас, математиков, не ценят. Икра всех цветов. Сиди, вычисляй. Машины вам купили...

— Вот именно — вычисляй и не рыпайся, — не ми-рясь, насканивал Зубаткин. — Куда я могу выдвинуться? Хоть семи пядей во лбу. Пока место не освободится — жди! Какая у меня перспектива. А тут, по крайней мере, кандидатская. Докторская. Есть движение. Честное соревнование. Горлом тут не возьмешь. Здесь, в науке, решают знания и способности... Так ведь?

В молодости Кузьмин и сам твердил примерно то же, а теперь он от молодых слышал эту песню — выдвинуться, скорее, скорее.

Служит в расчетном отделе некий Саша Зубаткин, молоденький инженер, тот самый, что в школе быстрее всех решал задачки, первым руку тянул, на олимпиаде районной небось грамоту получил. В институте тоже шутя и играя экзамены сдавал. Мечтал науку перевернуть, а направили его в трест.

И вот день за днем просиживает он в комнате 118, заставленной столами и кульманами, подсчитывает те же нагрузки-перегрузки, строит кривые. И никаких теорий и проблем. Требуется сдать вовремя расчеты, аккуратно оформить, завизировать. Сатиновые нарукавники. Бланки слева, скрепки справа. В верхнем ящике таблицы, в нижнем — полотенце с мыльницей. Чем меньше в тебе ума выступает, тем спокойнее. У этого Зубаткина главная мечта — выбраться, пока не засосало. Как угодно, но выбраться в науку. Он убежден, что там, в науке, он развернется, там он расправит крылышки и воспарит.

Кузьмин вообразил себя на месте Зубаткина и проникся даже некоторым сочувствием. Во всяком случае, раздражение снял. Это у него был такой прием — вместо того чтобы распаляться, попробовать понять, в чем правда у другого, потому что Кузьмин убедился, что и у противника бывает всегда какая-то своя правда.

— Нетворческая работа — это не работа, — сказал Кузьмин, — это служба, человек рожден для творчества, и тэдэ, и тэпэ, ох, как я вас понимаю, тем более, что и

почета за службу не дожدهшься, и деньгами обижают. А от творческой работы удовольствие.— И тем же приторно-сочувственным тоном продолжал: — Пусть другие себе вкалывают, корячатся, какие-то бедолаги ведь должны и с бумажками возиться, и арифмометр крутить, и наконечники паять. Кому что на роду написано. Белая кость и черная. Инженер — это еще не человек: человек, по-вашему, начинается с кандидата наук.

Кузьмин посмотрел на Анчибадзе, и это было правильно — Анчибадзе решительно присоединился к нему:

— Совершенно заслуженно вы обвиняете: научные степени для некоторых как дворянское звание. Пожаловано навечно.

— Вот именно. Мы ученые! А какой ученый — неважно. Хоть сопливенький, но свой, свое сословие.

Сандрик, пощелкивая длинным ногтем мизинца, милостиво улыбался. Что бы Кузьмин ни говорил, как бы он ни был убедителен, ничего это не может изменить, он, Зубаткин, молод, он талантлив, перед ним будущее, и, значит, он прав.

Превосходство это бесило Кузьмина:

— ...которые гонятся за диссертацией, я их не осуждаю, им действительно иногда утвердиться надо. Мне другие отвратны. Те, что на таланте играют. Раз они талантливы, им все можно, все прощается. Мерзавец, подонок — это неважно, важно, что он талант. Он уравнение решил!

— Чего это вы так разгневались? — неуживимо удивился Зубаткин, но вдруг посерьезнел, что-то зацепило его.— Талант вам мешает! Посредственностью командовать удобнее, она послушна, она поперек не пойдет, не то что талант. Тот, кто талантлив, тот критикует, у того свои мысли, мнения, он себе цену знает. Если уж на то пошло — да, ему можно прощать! Следовало бы прощать! Потому что талантливый человек, он ради творческих достижений жизнь кладет!

Кузьмин переглянулся с Анчибадзе взглядом соумышленника, хмыкнул.

— ...Тот, кто не хлебнул этого творческого дела, тому никогда не понять,— с вызовом сказал Зубаткин.

Короткие седеющие волосы Кузьмина свалились на лоб, брови нависли, чем-то напоминал он сейчас усталого зубра.

— Ведь ценны результаты...— подождав, сказал Зу-

баткин.— Вот Яша Колесов, жену с детишками бросил, типичный подонок. А какую штуку придумал с ускорителем!

— Ну и что! — закричал Анчибадзе.— Его это не извиняет. С ускорителем не он, так Малышев дошел бы. У них группа — будь здоров. А то, что он сукин сын, это для меня решает.

О каком Колесове они спорят, Кузьмин не знал. Ему стало скучно. Сколько их перебывало у Кузьмина, таких вот молодых, заносчивых, всезнающих, обо всем имеющих категорические суждения...

— Да, все относительно,— сказал он невпопад на обращенный к нему вопрос.— Лет десять назад, на Урале, я предложил трансформаторы подвешивать. Бился, доказывал. А потом меня начальником строительства назначили...

Две женщины в коротеньких юбочках прошли мимо, не оглянувшись.

— И что? — спросил Анчибадзе.

— Ничего. Отклонил эту идею.

Анчибадзе выгнул толстые брови, захохотал.

Прозвенел звонок. За соседним столом поднялся седокудрый, величественный, типичный профессор.

— Шеф отплывает,— сказал Анчибадзе.— Нам пора.

— Это Несвицкий, Петр Митрофанович,— хвастливо сообщил Зубаткин.— Слыхали?

— Несвицкий? — удивился Кузьмин, и перед ним возник моложавый красавец оратор, артист. Лекции его походили на спектакль... Каждый раз он появлялся в новом костюме или хотя бы в новой галстук. Он любил рассказывать исторические анекдоты, вставлять французские словечки. Первокурсников он пленял нацело. С той поры к Кузьмину и привязалось его легкомысленное «ла-ла-ла».

Тот Несвицкий возник и слился с этим стариком, исчез в нем. А если б Зубаткин не назвал его фамилии... Сколько вот так же проходит других людей, с которыми он когда-то учился, дружил, которые учили его,— людей, тщательно загримированных временем.

— Я поначалу пойду к автоматчикам,— сказал Анчибадзе.

— А я послушаю Нурматыха.

Они встали.

— Встретимся... в перерыве,— вежливо и безразлично сказал Зубаткин, уже улыбаясь кому-то.

Кузьмин неопределенно пожал плечами.

Он сидел, размышляя о том, что если бы его кто-то искал, то уже мог найти...

Когда-то он мечтал стать разведчиком. Он воспитывал в себе невозмутимость, наблюдательность и хладнокровие. Кроме того, в разное время он собирался стать историком, шофером, артистом, математиком, охотником. Он хорошо стрелял, изучал римскую историю, играл в драмкружке. Наверное, он мог быть и неплохим разведчиком. Он, например, чувствовал, когда на него смотрели. Или когда о нем говорили.

Буфет опустел. Теперь к Кузьмину свободно можно было подойти. Никто на него не смотрел. Никто за ним не следил. О нем забыли. Он нащупал в кармане номерок от пальто, вытащил, демонстративно повертел им, встал и направился в гардероб. Никто его не остановил. Увидев телефон-автомат, он позвонил домой. Трубку взял младший.

— Ну, как вы там? — спросил Кузьмин.

— Нормально. Ты скоро?

— Меня никто не спрашивал?

— Нет. Папа, разве на юге бывает полярное сияние?

— Бывает,— сказал Кузьмин.— Все бывает. Вот что, тут у меня одно совещание,— он почему-то понизил голос,— я задержусь.

В трубке что-то крикнула Надя, видимо из кухни.

— Мама спрашивает, ты кушал?

— Очень даже,— сказал Кузьмин.

За регистрационным столиком стоял тот бритый контролер, в руках у него были списки. Он разговаривал с девушкой, и оба они смотрели через пустое фойе на Кузьмина. Он видел, как движутся их губы. Если б он был глухонемой, он бы мог разобрать, о чем они говорят. Кузьмин улыбнулся — получалось, что, если б он был глухонемой, он лучше бы слышал...

Он был полон нерешительности, однако со стороны движения его казались обдуманнными и единственными. Зачем-то он поднялся на второй этаж и пошел по коридору, вдоль строя высоких, крашенных под дуб дверей. На каждой двери белела приклепленная картонка с наименованием секции. Прочитав название, Кузьмин осто-

рожно приоткрыл дверь, сквозь щель видны были задние ряды аудитории. За длинными столами сидели старые и молодые, где редко, где густо, где царила тишина, где переговаривались, не слушая докладчика. Твердое лицо Кузьмина обмякло, как бы расплавилось, ему приятно было вот так идти вдоль дверей, вдыхать душноватый запах аудиторий, приятны были обрывки фраз лекторов, развешанные таблицы, пустынность коридора и его робость опоздавшего. Его забавлял этот студенческий невытравимый страх, теперь уже нестрашный, а все страх.

«Оптимальные процессы», — прочел он на картонке. Постоял, чем-то зацепившись. Он понятия не имел, почему он выбрал именно эту секцию. Никогда впоследствии он не мог объяснить внутреннего толчка, который заставил его войти. Виновато пробрался в задний ряд, уселся и стал слушать. У протертой коричневой доски докладывал молоденький узбек. Кузьмин полистал программку: Нурматов. Вспомнил, что слышал эту фамилию от Сандрика, поискал глазами и впереди себя увидел гибкую спину Зубаткина, кругленькую просвечивающую на макушке плешь. Возможно, сам Зубаткин не знал про эту лысинку...

Слушали Нурматова внимательно, один Кузьмин ничего не понимал. Постепенно глаза слипались. Очнулся он от собственного всхрапа, испуганно оглянулся, покашлял, выпрямился, уставился на исписанную доску. Когда-то у них в группе был парень, который умел спать с открытыми глазами. Сидел, тараща глаза на доску, изображал само внимание, при этом сладко спал. Однажды, после лекции, они его не разбудили, так и оставили...

Кузьмин глубоко вздохнул, стараясь выбраться из вязкой сонливости, ему бы уйти, вместо этого он напрягся, стараясь что-то понять, прислушался к резкому акценту докладчика.

В прошлом году Кузьмин почти месяц провел в Бухаре, на комбинате, налаживая там электрохозяйство. Жил он у мечети Колян. Во дворе мечети помещалось медресе, там была натянута сетка, и будущие муллы неплохо играли в волейбол. По вечерам приходили братья Усмановы. Пили чай и разбирали схемы. Младший восхищал Кузьмина своими способностями. Кузьмин уговаривал его идти учиться. Усманов медленно качал головой — зачем учиться? Диплом? Зачем диплом? Иметь диплом — значит, привязать себя на всю жизнь

к одной специальности. Одна жена, одна специальность, одна работа... Зачем? Ведь жизнь тоже одна... Кузьмина веселила вольность его суждений. Стены мечетей и минареты были выложены фигурным кирпичом. Рисунок орнамента не повторялся, и в то же время в этом разнообразии существовал ритм, скрытый геометрический закон гармонии. Свобода художника тоже подчинялась каким-то законам... Солнце слепило глаза. Они сидели в лодке и играли в карты. На носу покачивалась женщина, лицо завешено, она грызла сухарик. Неприятный был звук, а ноги у женщины были темные, как доска... Это хрустел мел под рукой Нурматова. А лодку укачивало, и вода прибывала, теплая, зеленая, полная рыб, спины у них были гибкие, острые, как у Сандрика...

Кузьмин вздрогнул, открыл глаза. Что-то произошло. Нурматов писал на доске, все его слушали, вроде ничего не изменилось, и тем не менее что-то случилось: Кузьмина как током продернуло, и сон пропал начисто. Он выпрямился, и тут он снова услышал свою фамилию. Он понял, что слышит ее *снова*, второй раз: «...применим вывод Кузьмина для общего случая». У Кузьмина обмерло внутри, как это бывало во сне, когда он падал, погибал... Он подумал, что еще спит, то есть ему снится, что он проснулся, на самом же деле он спит.

— ...функция получается кусочно-непрерывной... Задачу об условном минимуме можно свести к задаче о безусловном минимуме...

На плохо вытертой доске появлялись белые значки, крошился мел, стеклянно царапал. Кузьмин закрыл глаза, снова открыл и удивился тому, как он попал сюда, зачем он сидит здесь и мается.-

Он воровато оглянулся. Никто на него не смотрел. Тогда он несколько успокоился — мало ли на свете Кузьминых. При чем тут он? Теперь его даже подмывало спросить, что это за штука «безусловный минимум функционала». Как все начисто забылось! Он был уверен, что когда-то знал, слышал это выражение. На доске было несколько уравнений, они тоже что-то напоминали...

Он прислушивался к себе, пытаясь почувствовать хоть что-то, что должно было ему подсказать... Наклонился к соседу.

— На что это он ссылался? Что за вывод?

— Вот, сверху написано... Вообще-то немножко рискованное обобщение.

— Вот именно,— подтвердил Кузьмин.— А как он называл уравнение?

— Кузьмина... Он же в начале приводил.

Фамилия прозвучала отчужденно. Нечто академичное и хорошо всем известное. Невозможно было представить себе, что это о нем так... И прекрасно, и слава богу, просто совпадение, успокаивал он себя, потому что не могло такого быть, не должно. Да и откуда Нурматов мог узнать про тот злосчастный доклад? Но тут память вытолкнула из тьмы какие-то «Труды института» в серой мохнатой обложке. Работа была напечатана среди прочих докладов, и был скандал. Это Лазарев ее пробил. Да, да, Лазарев, занудный старичок-моховичок, вечный доцент: «Я вас прошу, в смысле — умоляю», «Нам, скобярям, Пирсон не указ». Так вот откуда критерии Пирсона, и еще Бейесовы критерии, «бесовы»... они невпопад посыпались, все эти имена. И ощущение духоты того каменно-раскаленного городского лета, и пустое общежитие, и голые окна, завешенные от солнца газетами, и газетами застеленный коридор, потому что шел ремонт, побелка... В словах Нурматова что-то забрезжило, белесые знаки на доске стали четче. Кузьмин еще ничего не понимал, но глухо издали подступал смутный смысл, как если бы среди тарабарщины донеслось что-то по-славянски. Но все это не обрадовало, а, наоборот, ужаснуло его.

Стало быть, тот позор не забыт, снова выплыло, это о нем, раскопали, нашли... Он еще надеялся на какое-то чудо, но знал, что все сходится, они сходились к этой доске с разных сторон, тот молоденький Кузьмин, студент пятого курса, в отцовском офицерском кителе с дырочками от орденов, не знающий, что такое усталость, и этот нынешний. И Несвицкий, который, наверное, помнит, и, может, еще другие...

Нурматову задавали вопросы. Рыжеусый француз, выбежав к доске, застучал пальцем, заверещал, несколько раз выпалив «Ку-у-сьмин» с прононсом и буквой «с», так что фамилия вспыхнула латинским шрифтом, загорелась неоновой рекламой...

За председательским столиком Несвицкий односложно переводил — пересказывал самую суть французской речи, отделяя разными улыбками свое мнение, и про Кузьмина тоже проницательно усмехнулся. Ясно, что

Несвицкий все знает, сейчас он с усмешечкой покажет пальцем на Кузьмина и начнется...

Давний молодой стыд охватил Кузьмина, как будто предстояло пережить все сначала,— сейчас это было бы еще тяжелее, чем тогда. Он хотел встать, выйти, и не двинулся с места. Оцепенев, он смотрел, как Нурматов наступал на француза, выкрикивая:

— ...Простите, не решает, а позволяет решать! *Позволяет!*

Это они говорили о методе Кузьмина.

Кажется, Кузьмин начинал понимать, что происходит нечто обратное, совсем иное, чем двадцать с лишним лет назад. Он не верил себе, внутри стало холодно и пусто, не было ни радости, ни удивления, только щекам было жарко.

Взгляд Несвицкого почему-то остановился на нем. Может быть, Кузьмин открыл рот, или приподнялся, или еще что.

— Пожалуйста, у вас вопрос?

— Нет... то есть да.

К нему обернулись. И Зубаткин обернулся.

— Эта работа... Кузьмина опубликована? — спросил он, слегка запнувшись на фамилии, все еще надеясь на какую-то ошибку, путаницу.

— Конечно. В Трудах Политехнического института,— Нурматов назвал год, выпуск.

— Спасибо,— сказал Кузьмин.

Он сел. «Ах, так твою перетак»,— бесчувственно повторял он, больше ничего не слушая.

Когда объявили перерыв и слушатели потянулись в коридор, Нурматов остановил Кузьмина, протянул фотокопию статьи.

— Простите, это вы интересовались?.. Вот, пожалуйста. Теперь многие на нее ссылаются. После того, как я запустил ее на орбиту,— Нурматов посмеялся над своей хвастливостью.— Я тоже случайно обнаружил ее. Кое-что устарело, есть и ляпы, но сама идея — вполне.

— Я посмотрю. Разрешите?

Он прошелся по коридору за поворот, в застекленный сверху донизу эркер. Там было прохладно и тихо. Статья на твердой фотобумаге выглядела неузнаваемо. Сборник Кузьмин давно утерял при своих частых переездах и сейчас недоверчиво смотрел на длинные выклад-

ки, недоумевая, как он мог когда-то во всем этом разбираться.

«Функция правдоподобия...» — *правдоподобия* — что бы это могло значить?

«Исследовать хи-квадрат нет оснований» — откуда он мог знать, есть основания или нет? Сколько уверенности! Он с уважением погладил холодный глянец, перевернул страницу, собственные знания изумляли его.

Он как бы разделился и не мог совместить того мальчишку Кузьмина с собою, то есть всерьез отнестись к тому сосунку.

Вот они, критерии... Господи, неужели он все это написал своей рукой и мог вычислять, решать? А сейчас ничего, ни бум-бум. Грустное зрелище. Кроме фамилии, ничего общего не осталось. Только фамилия их и связывает.

— А я вас ищу,— раздался за спиной голос Зубаткина. Мускулы Кузьмина напряглись, он ответил, не оборачиваясь:

— Знаю, что ищете, поэтому и укрылся.

Сбитый с заготовленной фразы, Сандрик потоптался, но не ушел.

— Ага, знаете!..— Он зашел сбоку, чтобы видеть лицо Кузьмина.— Интересуетесь статьей?.. А как вам доклад Нурматова? Произвел?

— А я в этом ничего не смыслю.

— Так, так,— весело приплюсовал Зубаткин к чему-то.— Значит, не смыслите? И все это случайность?

— Что именно?

— Да все это... так сказать, совпадение. Надо же. Какое стечение случайностей.

— Бывает,— осторожно сказал Кузьмин.

— Не понимаю, передо мной-то вы зачем? — задушевно спросил Зубаткин.

Кузьмин помахал перед собою оттиском, обдувая лицо, потом, подозрительно оглянувшись, спросил:

— А вам он известен, вы разве знаете?

Зубаткин невозмутимо кивнул и тоже, понизив голос, сказал:

— Догадываюсь... Очевидно, это ваш брат?

— Почему же брат? — вырвалось у Кузьмина.— А может, это я?

Тогда Зубаткин отступил, чтобы увидеть Кузьмина полностью, не только лицо, но и руки с оттиском статьи,

и ноги в рабочих ботинках, заляпанных цементом, и, как бы сличив его с некоторым образцом, Зубаткин успокоился.

— Нет, не вы...— Зубаткин рассмеялся.— Какой же вы математик.

— Значит, не похож?

— Извините...— Зубаткин развел руками.— Но разве вас это обижает? Не должно обижать. А? Да и сами вы сказали, что ничего не смыслите в этом.

— Мало ли что сказал...

Кузьмин отвернулся, кто бы мог предположить, что недоверие Зубаткина так уязвит его.

— Ого! Настаиваете, что вы и есть этот... Забавное допущение,— и в подтверждение Зубаткин энергично потер руки.— Понимаю. Примеряете как бы на себя корону, и как, нравится? То-то же! Все хотят быть талантливыми. Но... не у всех получается. Тогда начинают говорить о нравственности и тому подобной фигне. Да, да, фигне. Мне, например, неважно, кто этот Кузьмин, неважно! — подчеркнул Зубаткин.— А важно, что он сделал! — И громко прищелкнул пальцами, как бы окончательно изобличая Кузьмина.

Большая голова Кузьмина согласно кивала, но вдруг он, будто вспомнив, округлил голубые свои глаза и сказал тихо:

— А инициалы-то сходятся.

— То есть как?

— Видите «пэ»? И я «пэ» — Павел Витальевич.

— Да, да, Павел Витальевич,— обрадовался, вспомнив, Зубаткин.— Точно, Павел Витальевич. Но как же так?.. Мало ли... Нет, не представляю. Позвольте, это же какая-то ерунда,— бормотал он, все более растерянно глядя на Кузьмина, как будто тот поднимался в воздух, превращался в дракона, становился двухголовым.

— Фантазии у вас маловато,— грустно сказал Кузьмин.— Я так и думал: чего-то вам не хватает.

Он вздохнул и пошел назад, к аудитории, Зубаткин за ним, ошеломленно и молча, не смея отстать, не в силах оторваться.

У дверей аудитории стояли Нурматов, Несвицкий и еще двое. При виде Кузьмина они замолчали. Он замедлил шаг, и Зубаткин тоже замедлил шаг.

— Спасибо,— сказал Кузьмин и протянул Нурматову оттиск.

Теперь они разглядывали его со всех сторон, эти четверо спереди и Зубаткин сзади.

— По критериям у Кузьмина это единственная работа,— произнес Нурматов, как бы приглашая его высказаться.

Кузьмин молчал. Что бы он ни ответил, все могло оказаться странным, глупым после того, как Зубаткин скажет: «А вот и автор, познакомьтесь». Со страхом и восторгом. Или с недоверием: «Павел Витальевич утверждает, что он и есть тот самый Кузьмин». На это Кузьмин пожмет плечами: да, было дело. Конечно, сначала никто не поверит, но он и не станет доказывать, скажет — спросите у Лаптева. И оставит их в полной загадочности. Уйдет, не отвечая на расспросы... Дальше было неясно, виделся только этот первый страшно-сладостный миг общего изумления, своего торжества, пристыженность Зубаткина, безмолвная сцена и свой уход...

— ...Больше я ничего не нашел,— говорил Нурматов.— Жаль, что он бросил этим заниматься.

— Где он теперь? — спросил кто-то.

Сбоку, над плечом Нурматова, поднялось лицо Зубаткина, пламя гудело в его глазах, как в прожекторах.

— Не знаю,— сказал Нурматов.

Кузьмин приготовился. Наступило самое время вмешаться Зубаткину. Самый невыгодный, самый эффектный момент. Но Зубаткин прищурился, сочные губы его сжались в тонкую задумчивую полоску. Он решил выждать. Он уперся глазами в Кузьмина, как бы требуя, понуждая его самого открыться, то есть назваться.

Кузьмин молчал.

Не то чтобы раздумывал или колебался, несколько. Он понимал, что ему придется признаться. Нет, тут было другое: он вдруг ощутил приятный вкус этих последних мгновений и поигрывал ими.

Как будто он держал палец на кнопке. Такое же острое и сладостное чувство приходило перед пуском нового цеха или агрегата, когда напряженные месяцы монтажа и наладки, вся эта канитель, безалаберщина, из которой, казалось, не выбраться, наконец завершается вот этим нажатием кнопки, и сейчас лязгнут пускатели, загорятся лампочки, взвоят моторы, и цех впервые оживет, задвигается. Все глаза устремлялись к его пальцу, к этому последнему движению, с которого начнется существование всего организма станков, соединенных кабе-

лем, щитами, наступит летосчисление работы цеха, с горячкой планов, срочных заказов, авралом и прочими страстями производственной жизни, уже неизвестной монтажникам. Всякий раз было весело и чуть страшно-вато, хотя, вообще-то, уже привычно.

Сейчас же приятнее было не нажимать эту кнопку, а тянуть. Растягивать эти нити, пока он стоит перед всеми, и никто и не догадывается, что это и есть тот самый Кузьмин. Даже Зубаткин еще не верит. Можно признаться, а можно и не признаваться, остаться в неизвестности, — он был хозяин, и он смаковал чувство своей власти.

Сойдясь глазами с Зубаткиным, он через его удивление ощутил на своем лице явно неуместное выражение удовольствия.

— Посмотрите, что он пишет, — продолжал Нурматов, отыскав нужную страницу, и, подняв палец, прочел: — *Есть основания считать возможным построить общую теорию таких систем.* Каково? А? Он почти дошел до минимального критерия. Уже тогда. Значит, у него была идея...

— Написать все можно, — сказал Зубаткин. — А что он имел в виду?

...Бог ты мой, да разве можно вспомнить, что он имел в виду. Какие мысли тогда бродили в его голове? Может, и были какие-нибудь прикидки, соображения, а может, и прихвастнул для авторитетности. Он вдруг сообразил, что тот Кузьмин способен на подвох и придется отвечать за него, — с какой стати? Тот, молодой Кузьмин увиделся ему человеком ненадежным, опасным, с ним можно было влипнуть в неприятную историю.

— Э-э, нет, Зубаткин, у истоков всегда виднее, — напевно сказал Несвицкий. — Возьмите Ферма. Это же нонсенс! Сидел, читал старика Диофанта и писал всякие примечания на полях, в том числе свою формулу, и сбоку нацарапал, что для доказательства, мол, нет места. Действительно, на полях не развернешься. И вот оттого, что не было у него под рукой листка бумаги, триста лет бьемся с его теоремой, ищем доказательство. И так, и этак. Милая история? А если он и в самом деле знал?..

Красивые легенды эти Кузьмин помнил со студенческих лет. И про Римана, который открыл свойства каких-то функций, хотя открыть вроде бы не мог, потому что должен был использовать для этого принципы, не известные в его время. «Такое возможно только в мате-

матике,— как любил говорить Несвицкий,— ибо эта наука выше всякого здравого смысла».

— С Ферма не спросишь,— сказал Зубаткин.— А вот Кузьмин, почему бы не запросить его? — И сделал многозначительную паузу.

— Ты что ж думаешь...— начал Нурматов, но в это время Несвицкий поднял ладонь:

— Кузьмин... Кузьмин... Подождите, Зубаткин, я же знал его...— он закрыл глаза.— Ну, конечно, мы с ним однажды в Крыму... ла-ла-ла... Он же у Курчатова был,— Несвицкий открыл глаза, заулыбался.— Петь он любил. Как же, знал я его. Остроумнейший человек. Умер. От лейкемии. Да, да, вспоминаю. Мы говорили. Чуть ли не дважды лауреат, но засекречен. Все они были засекречены.

«Да вы что...— чуть не выкрикнул Кузьмин, но почувствовал, как неизъяснимое облегчение охватило его.— И черт с ними, не буду поправлять, как идет, так пусть и идет, умер, и ладно...» Все правильно. Хорошо, что он не признался. Первым делом бы в него вцепились: какие такие общие принципы вы имели в виду? Какие критерии, объясните, пожалуйста, Павел Витальевич? Красиво бы он выглядел — собственной работы не пересказать. Дурак дураком, голова решетом. Этим ребятам только на зуб попади, они сделают из него анекдотик. Они его распишут: живой мамонт, чучело математика...

— Зачем же вы меня разыгрывали? — на ухо сказал ему Зубаткин.— А я-то почти поверил...— Он двигался вслед за Кузьминым, но почему-то шагов его не было слышно, только притушенный голос шуршал в ухо: — Но я не такой лопух. А поверил потому, что странное выражение у вас появилось. И сейчас вот, когда Несвицкий говорил, тоже вы не соответствовали. Верно? Что-то тут не то. Павел Витальевич, вы, кажется, Политехнический кончали? В эти же годы? Кто-то мне говорил...

— Было дело,— рассеянно подтвердил Кузьмин, продолжая идти.

— Тогда вы должны были его знать.

— Кого?

— Ха-ха. Тезку вашего. Полного тезку. Инициалы ведь совпадают. Согласитесь, это редкостный случай.

— Да мало ли у меня однофамильцев. Может, и знал.

— Не понимаю... Ну хорошо, но зачем вы морочили меня? Вы же солидный человек.

— Послушайте, Зубаткин, как вы считаете, Нурматов правильно оценивает, в общем и целом?

Они отошли далеко и стояли сейчас одни перед лестничной площадкой.

Зубаткин ответил не сразу.

— В общем и целом...— Он остановился размышляюще, как над шахматной партией.— Прикидываете, значит, ценность работы? Ну что ж, допустим, в общем и целом Нурматов прав, что тогда?

— А если он того, преувеличивает? Увлекся? Перехватил?..

— Не думаю. Все же вы имеете дело с точными науками.

— Мало ли... Не такие, как Нурматов, ошибались. Академики ошибались.

— Видите ли, Павел Витальевич, я примерно этой областью занимаюсь, так что мне сподручнее судить, чем вам,— заостренно-обиженным голосом проговорил Зубаткин.— Если бы вы разбирались, я показал бы вам, что вообще это может стать новым направлением. И плодотворнейшим! Не стало, но может!

— Надо же! — И глаза Кузьмина полузакрылись. Откуда-то издалека горячая, ярко-синяя волна накатила, подняла его, закружила в пенистом шипящем водовороте.

— Что с вами? — спросил Зубаткин.

Кузьмин слабо улыбнулся, еле различая Зубаткина с высоты, куда его несло и несло...

— Ах, Зубаткин, Зубаткин,— крикнул он.— Хотите... я вам отпуск дополнительный устрою? Хотите, подарю вам чего-нибудь... Ну, что вы хотите?

— Отпуск годится,— сказал Зубаткин.— А все-таки, в чем дело? Кто такой Кузьмин?

— Вот чудак, да я, кто же еще!..

— Нет, я про того, настоящего Кузьмина.

— Что значит настоящего? — Кузьмин поморщился, не хотелось ему сердиться.— А я кто, по-твоему? Он настоящий, а я, выходит, не то, подделка, чучело? Так ты меня представляешь?

— Зачем же... Если вы настаиваете...— как можно мягче уступил Зубаткин и пожал плечами.— Пожалуйста, давайте, объявитесь. Это даже интересно. Учитывая, что сейчас все накинута на работу Кузьмина, расключают,

каждый кому не лень. Вам самое время предстать, выйти, так сказать, из небытия.

Глупейшая огромная улыбка распирала Кузьмина, не было никаких сил удержаться.

— Вот именно из небытия, а ты как полагал? Ведь это все равно что найти родных, ребенка? Ведь все оказалось...— Ему хотелось растормошить этого Зубаткина, обнять.— Мы с тобой сейчас возьмем и жахнем! Слушай, а что, если и вправду все это хозяйство застолбить? Развить как положено, дополнить и пустить в ход. На кафедре, может, сохранился полный текст... И чтоб никто! Ведь автор имеет право, верно? Все ахнут... представляешь?! — Он мечтательно парил на своей солнечно-голубой вышине.— Как по-твоему, на сколько эта работа тянет?

— То есть в каком смысле? А-а! Вас интересует научная степень? — подыгрывая, спросил Зубаткин.— Проценты желаете получить с капитала? Ну что ж, вполне можно докторскую присвоить. Без защиты. Гонорис кауза!

— Докторская...— Кузьмин тихо засмеялся.— Ох, ты, гонорис. Молодец! Ай да мы! Вот вам всем! — Он счастливо прижмурился, затряс поднятыми кулаками.

Зубаткин опасливо попятился, а Кузьмин прыгал, наступая на него, и смеялся. Ему бы сейчас опуститься на четвереньки, побежать по коридору, показывая язык всем этим профессорам, доцентам, оппонентам. Знай наших!..

— Кончайте! — озлился Зубаткин.— Чушь это, чушь, не верю я!

— Да я сам не верю! — счастливо пропел Кузьмин.

— Есть и другие имена на «пэ»: Петр, например, Пахом!

— Прокофий, Пров,— смеясь, подкидывал Кузьмин.— Прохор, Пилат!

Смех этот еще больше обидел Зубаткина, шея его вытянулась, он приподнялся на цыпочки, весь натянулся, чтобы стать вровень с Кузьминым, и голос его пронзительно взвился, задрожал:

— Разрешите тогда спросить вас: куда ж это все делось, если вы настоящий? Где оно? Где он, ваш талант? Почему ж это вы не пользуетесь им? Отказались? Да разве это возможно. Нет уж, Павел Витальевич, если б это

так было, то это преступление. Хуже. Безнравственно! Бессовестно это! За это я не знаю что...

— Ишь ты, хватил,— изумился Кузьмин.

— Потому что человек не имеет права! Перед людьми, перед обществом не имеет права! Да я и не поверю! — Что-то в нем задрожало.— Найти такое!.. Эх, я бы... Я ведь первый начал эту тему. Раньше всех! А меня обогнали. Потому что я ведь после работы только... Урывками. Теперь вот Нурматов лидирует. Что же мне теперь? Думаете, в диссертации дело? Защита — это не хитро. Защищают все. Хочешь не хочешь — заставят, раз ты в аспирантуре числишься. А мне этого не надо! — Он приблизил лицо к нему.— Я хотел *дос-тиг-нуть*! Сделать! Иначе, какой смысл...— Он сорвался на отчаянье, маленький нос вспотел, плечи пиджака обвисли.— Вы, значит, могли, а я... Не верю я вам. Что бы вы мне ни доказывали! Почему ж вы забросили? Никогда не поверю! Все это насочиняли... Кто же это от своего таланта откажется?.. Я бы на вашем месте... Впрочем, вы не стесняйтесь. Я идеалист. Я не пример. Мало ли у нас докторов, так, на фу-фу. Они в математике смыслят не больше вашего. Важно хорошо оформить! Чтобы чин чинном. Внешность у вас солидная, биография — я надеюсь... Производственникам сейчас зеленая улица...

Бедный Кузьмин, как хотелось ему сберечь свое праздничное настроение. Никак не мог взять в толк, с чего накинулся на него этот парень, чего он винтом извертелся, готовый укусить. В слова его Кузьмин и не старался вникать — злость и гадость,— и было жаль себя: за что его так? И это в то время, как ликующая душа его готова всех одарить, обласкать...

— Ну чего ты, успокойся,— просительно сказал Кузьмин? — Не суди и не судим будешь. Вот как ты определяешь, что нравственно? Что у тебя, таблицы есть? Или формулы? Нурматов обогнал,— ты считаешь, что он воспользовался ситуацией. Допустим. А если ты теперь воспользуешься, чтобы его обогнать? Это как будет считаться? Нравственно? Потому что «мое отдай»? При чем тут математика? Ведь не ради математики вы гонитесь. Вам важно, кто первый... А если автор претендует на свое, кровное? Если у автора тоже имелись уважительные обстоятельства, по которым он, бедняга, прервал работу...— И Кузьмин, выбравшись на главную дорогу, возликовал и засиял благодушием.— Тогда как быть? Как? Тогда ты

должен помочь ему, автору, восстановиться в правах — это дело святое!

— Какому автору?

— Ему, — Кузьмин выразительно подмигнул. — Моему тезке, тому самому, которого Несвицкий хотел причислить к почившим.

Шутливый тон помогал Кузьмину уклоняться от зубаткинских расспросов, отвечать не отвечая. Слова его обрели неожиданную двусмысленность, от которой у него самого кружилась голова. Правда вдруг становилась неуловимой, события теряли определенность...

— А вы сами разве уверены, что Несвицкий ошибся? — спросил Зубаткин и прикрыл глаза. — Может, все же того Кузьмина в наличии не имеется? Он — миф?

Безумная его усмешка высветлила темную расщелину, которая отделяла нынешнего Кузьмина от молодого его тезки. Не расщелину — пропасть между этими двумя разными людьми; ныне ничего не связывало их, кроме имени. Кузьмин мало что помнил о том молодом авторе, ничего не знал из того, что знал тот, он не был продолжением молодого, они существовали совершенно раздельно, независимо, они были чужие. Где он, тот Кузьмин? Умер? От него ничего не осталось, он начисто исчез, и не это ли имел в виду Зубаткин, и не потому ли и сам Кузьмин применял словечко «автор», невольно отдаляя себя от того Кузьмина? Так было легче освоиться с ним...

— Я до сих пор не уверен, что это был я, — признался Кузьмин.

— Я тоже, — хитренько согласился Зубаткин, и Кузьмин почувствовал, что его откровенность выглядит для Зубаткина неубедительно. Но если бы даже ему удалось убедить Зубаткина, приводя подробности, свидетельства, то произошло бы обратное — уважение пропало бы. Сейчас интерес и уважение происходили у Зубаткина от тайны; этого самонадеянного, заносчивого парня, не считавшегося ни с какими авторитетами, волновала тайна Кузьмина, и сам Кузьмин чувствовал, что обладает властью. В руках его оказалась особая власть, не похожая на ту, какую он имел, — власть без должности, без прав, даже без знания... И тем не менее это власть, видно, как гипнотически она действует на Зубаткина, — он говорит и говорит, замороженно открывая Кузьмину план монографии, где будет история вопроса, статья Кузьмина, комментарии к ней... Лиловый оптический блеск успеха по-

является в его глазах, он еще поеживается, словно входя в холодную воду, но остановиться не может, планы, планы... целая серия статей... привлечь группу молодых...

Примерно где-то здесь Кузьмин отключился. Он увидел Лаптева. Держась за перила, Лаптев поднимался по лестнице. Через каждые две ступеньки Лаптев останавливался перевести дыхание, можно было подумать, что он не решается приблизиться к Кузьмину, что он вот-вот передумает...

Появление Лаптева показалось Кузьмину знаменательным: именно в этот момент — стечение обстоятельств фатальное, перст судьбы, ее указующий знак...

Между тем приди Лаптев минут на десять позже, Зубаткин успел бы сделать одно заманчивое предложение, и тогда Кузьмин наверняка затащил бы его к себе домой обговорить все это, ибо Кузьмин был человек деятельный и понимал, что такие дела лучше не откладывать. А дома, в кабинете у Кузьмина, где они сидели бы, висела застекленная фотография — танк «тридцатьчетверка», и на нем ребята в шлемах. Зубаткин сразу приметил бы ее, потому что точно такая же фотография хранилась у него в альбоме. Посредине капитан Виталий Сергеевич Кузьмин, кругом его рота, а тот, на башне, свесил ноги, щекастый, это механик-водитель Вася Зубаткин, и младший Зубаткин обязательно вспомнил бы тут рассказ отца, как комроты Кузьмин спас их машину при переправе через Лугу. Их отцы, молодые, белозубые, смотрели бы на них с летнего короткого привала 1944 года на окраине какой-то деревни... Под взглядом этим, конечно, весь разговор пошел бы иначе.

Но показался Лаптев, и ничего этого не произошло.

На фотографии, что висела у Кузьмина, щекастый паренек так и остался безвестным вместе с другими безымянными танкистами вокруг отца. Зубаткин тоже никогда не сроднил того капитана Кузьмина с этим. Дети не соединились через отцов. Случайность не произошла.

Появление Лаптева осталось для Кузьмина счастливой случайностью, и он понятия не имел, что другая, не менее поразительная случайность напрасно поджидала его на следующем перекрестке.

С утра он уходил в Публичку. Брал словарь и французские журналы. А потом журналы уже не помогали,

надо было карабкаться самому. Ах, как его заело. Задача, которую дал Лазарев, давно была решена, но она упиралась в другую, а та — в критерии для всех электродвигателей. К ночи он возвращался пешком, на Лесной, и во сне он продолжал соображать, вернее томился. До сих пор математика давалась ему так легко, что он не понимал, как у него может что-то не получиться. А тут все застопорило. Время остановилось. Выключилось. Тело его продолжало механически питаться, ходить, что-то делать... Идея была сумасшедшая, он знал, что это полный бред, а может, не знал, может, это потом, когда его раздолбали, ему стало казаться, что он знал. Теперь уже не восстановить, во всяком случае, он не убоился. Тогда он ни черта не боялся. Сила его была, как говорил Лазарев, в невежестве, он не следовал никаким определенным принципам. «Интуиция! — восхищался Лазарев. — Пусть не вполне... Пусть абсурдно! Вас не пугает абсурд! Ваше преимущество, что вы думаете около!» Лазарев суетился вокруг него, гонял, нахваливал, обещал сенсацию. «Думает около» — это Кузьмин запомнил. Все думали напрямую, а он около. Лазарев нагнетал азарт, подкручивал, Кузьмин подал свою работу на конкурс, выступил с докладом на институтской конференции. Аудитория была переполнена. Одни ждали триумфа, другие скандала. Если б не его самоуверенность, его бы покритиковали, доказали бы, что он подзагнул и все, но тут ему учинили форменный разгром. По-видимому, он держался невыносимо нахально, — чего стоило его замечание в адрес такого корифея, как Пирсон. Он включал Пирсона как частный случай. Конечно, это не могло не раздражать. Сам Лаптев возмутился. Он высек Кузьмина как мальчишку. Убедительно. Лихо. Под общий хохот. Интуиция выглядела беспомощным лепетом. Это был полный провал. На Лазарева было жалко смотреть. И без того его не любили, Кузьмин понял, что связался с неудачником. Мысленно он свалил все на Лазарева и махнул рукой на эту работу. Жаль только, что лето пропало. Мог уехать на Днепрогэс с ребятами, с Надей. Она отправилась ведь назло ему. С самого начала она не верила в эту затею, не верила и в Лазарева, и в способности Кузьмина: «То же мне Чебышев!»

Ему важно было доказать ей, получить первую премию. Чтобы вышла многотиражка со статьей о нем и

его портретом. Надя пришла на конференцию, вся группа их пожаловала, они сидели наверху, и Кузьмин, взойдя на кафедру, сразу отыскал ее и, докладывая, торжественно поглядывал на нее: загорелая, довольная собой, а он бледный, исхудалый, измученный наукой,— все должно произойти весьма поучительно. Слушая аплодисменты и похвалы, она пристыженно опустит голову, он подойдет и напомним про Чебышева, нет, лучше он в заключительном слове поблагодарит тех, кто верил в него, и назовет и ее, Надежду Маслакову, ибо своим неверием она тоже помогла ему. Вот какие у него были планы... А когда все это затрещало и посыпалось, он уже не видел ее, он ни разу не решился взглянуть в ту сторону и не знал, смеялась ли она вместе со всеми, аплодировала ли Лаптеву...

В последующие два часа жизнь была закончена, потеряла смысл и цель, он решил бросить институт, уехать матросом в Мурманск, шахтером в Донбасс, оставить письмо, исполненное смирения. Горе побежденному: он бездарность. Где нет ничего, там нет ничего. Он просил забыть его. Несколько лет он работал простым матросом, похоронив свое будущее... Он опустил, запил... Нет, он держался мужественно, скромно, и... Что было бы дальше — неизвестно, поскольку в общежитие явилась Надя и судьбу его пришлось переделывать заново. А тут еще мешали носки, которые сушились на батарее, и он пытался незаметно спрятать их. Выяснилось, что можно никуда не ехать... вот дипломный проект у него подзапущен, это действительно, и надо нагонять. Надя взялась помочь ему. Она хорошо чертила. Допоздна они просиживали в дипломантской, потом бежали в гастроном, покупали копчушки. С математикой было покончено. Эта наука не для него.

Прекрасно устроена человеческая память, все неприятное удастся напрочь забыть, сохраняется милая ерунда — носки, копчушки... Без забывания нельзя. Забывание — это здоровье памяти. И он постарался поскорее забыть эту историю...

- Мне пора,— сказал Кузьмин.
- Но как же, а обсуждение?
- Вы идите... идите.
- Невозможно, Павел Витальевич. Сейчас самое

серьезное начнется,— и Зубаткин, подбадривая, взял Кузьмина под руку.— Вам нельзя уходить. Мало ли что... в любом случае...

— В каком любом? Да плевал я,— сказал Кузьмин, следя за Лаптевым.— Не смыслю я ничего в этих вещах. Слушай, друг, отцепись ты! — скомандовал он Зубаткину голосом, каким сшибал самых забубенных монтажников.

Зубаткин шел, оскорбленно вздернув голову, нижняя губа выпятилась, хорошо, что никто не встретился, он готов был взорваться, заплакать, натворить черт знает что.

— Мурло...— сказал он.— Всегда так: хочешь сделать человеку лучше, а тебя за это... Вот ведь. Свинья!

До самой аудитории он спиной, затылком старался чувствовать, смотрит ему вслед Кузьмин или нет. Он ждал, что Кузьмин опомнится, позовет, догонит. И, войдя в аудиторию, сев, Зубаткин еще поглядывал на дверь. То, что Кузьмин не появился, было нелепо. Беспочинно оборванная история лишалась всякого смысла. Словно он находился в каком-то угарном чаду, и теперь, когда чад рассеивался, увиделось, что не было во всем этом никакой логики, а сплошная несообразность. Зубаткин же любил во всем находить логику и считал, что все подчиняется логике. Нормальное человеческое поведение, поступки высокие, чистые, подлые, любые поступки имели причины и мотивы. И, как правило, самые что ни на есть ясные, элементарные причины, которые можно предусмотреть, даже вычислить. Разумный человек — существо логическое. Только глупость нелогична.

Свою жизнь Саша Зубаткин также строил по законам разума, и это было, между прочим, нравственно. То, что разумно, то всегда нравственно. Поэтому поступать надо разумно, не поддаваясь эмоциям.

Вот он, Александр Зубаткин, обладал немалыми математическими способностями и, следовательно, имел полное право идти в науку, и прежде многих других. Талант разрешал ему добиваться своего, он действовал во имя своего таланта, он прямо-таки обязан был открыть дорогу своему таланту. Его способности должны были быть реализованы, это было выгодно обществу и науке, и он мог не стесняться в средствах. Он имел всяческое право использовать этого Кузьмина, вопрос за-

ключался лишь в том — настоящий ли это Кузьмин. Темное дело. Настоящий Кузьмин не стал бы уходить с обсуждения, настоящий Кузьмин должен был бы воспользоваться согласием Зубаткина, он принял бы помощь Зубаткина... Да и вообще, разве мог этот технарь, администратор быть ученым такого калибра, как Кузьмин, облик которого по ходу обсуждения становился как бы все академичнее. Слушая, как Нурматов ловко отбивал наскоки француза, как Анчибадзе ссылался на Коши, на Виноградова и прочих Учителей, Зубаткин чувствовал, как оба эти Кузьмина расходятся все дальше и совместить их в одном человеке становится все труднее.

Этот инженер-монтажник явно не понимал ни черта, стоило вспомнить, как он вглядывался в текст статьи, губы шевелились, словно у малограмотного, еле разбирал незнакомые слова.

Но что же тогда означало то безумное бление, тот хохот счастливого?

Одно мешало другому, не складывалось, как будто Кузьмин нарочно сбивал с толку, петлял.

В аудитории было душно, Зубаткин словно со стороны увидел бледные, устремленные на доску лица этих людей из разных городов и стран, соединившихся сейчас в один мозг... Старые, молодые, известные, начинающие — они не различались, они сливались в общем усилии добыть истину. Глядя на них сочувственно и почему-то с грустью, Зубаткин чувствовал обиду еще и за них. Поступок Кузьмина ни за что ни про что оскорблял всех этих людей. Как будто Кузьмин высмеял жизнь каждого из них, обреченную на мучительные долгие поиски, на бесконечные переборы вариантов, на вычисления, которые заводят в тупик или отталкивают своим уродством. Это жизнь всеобщего непонимания, жизнь глухонемых, потому что окружающие никогда не понимают, чем же занимаются эти люди, да и сами они никогда не могут объяснить неспециалистам свои мучения или заставить их восторгаться красотой какой-нибудь теоремы.

Настоящий математик не мог бы позволить себе такое. Хотя крупному математику позволено многое. Кроме одного: не позволено ему забросить свой талант, в таком случае он лишается всех льгот...

Можно ли представить Виктора Анчибадзе вне математики? Где-нибудь на рыбацком сейнере — рыбаком,

врачом, машинистом? Никакая специальность не належала на него, невозможно было даже вообразить, о чем говорил бы Виктор, как он держался бы...

Так же, как не хватало фантазии представить Кузьмина у этой доски...

Зубаткин попробовал перевести все на более привычный язык. Допустим, имеются Кузьмин-прим и Кузьмин-два. Между ними существует некоторая система отношений. Например, такая, какая имеется между актером и сыгранным им в кино героем. А может, более сложная. Известно, однако, что оба они заинтересованы в реализации своей работы. Ни тот, ни другой, очевидно, реализовать ее не могли. И не могут, не в состоянии. Кто из них кто, в данном случае неважно, тут существенно, чтобы кто-то поднял архивы, прояснил возможность, занялся бы этим делом, имеющим большие перспективы. То, над чем он раздумывал в диссертации, вдруг соединилось с той практической частью работы Кузьмина, которой почему-то пренебрег Нурматов. А ведь это было важно,— не варианты уравнений и разные изящные построения, а условия устойчивости крупных энергосистем, сложных регуляторов на быстродействующих аппаратах... Инженерство его давало себя знать, и он все яснее ощущал огромные возможности, которые тут открывались. Ощутил первый, первый после Кузьмина, который в те годы, когда писал, наверное, и не мог осознать всего значения... Зубаткину нравилось так думать. Перед ним появилась идея, которой он мог служить бескорыстно, отказавшись от собственной славы, всего лишь как человек, развивающий идеи некоего Кузьмина, его уполномоченный представитель, опекун его осиротелой, брошенной идеи. Зубаткин сам не понимал, почему его так взволновала, воодушевила эта возможность и, несомненно, таинственно-романтическая судьба того Кузьмина.

Надо было выступить.

Никто не нападал на Кузьмина, но обсуждение увело всех куда-то в сторону отвлеченных изысканий. Построения становились все более вычурными и бесплодными.

Зубаткину нужны были сторонники. Он начал неловко, однако реплики Нурматова воспламенили его. Он возразил и вдруг понял, что наступила решающая минута его жизни. Только от него самого зависело боль-

шое дело. Мало быть ученым, надо уметь отстаивать свое убеждение. С каждым словом он освобождался от желания оглянуться на Несвицкого, на Нурматова, он говорил уже не для них, он говорил для тех немногих, кто пойдет за ним. Он вдруг уверился в этом,— не могло так получиться, что он останется в одиночестве, что справедливость этого дела не найдет защитников.

Его уверенность подействовала. Сырые, не очень четкие замечания тем не менее нравились неожиданным своим поворотом, смелостью и даже ожесточением.

Когда он сел на место, Анчибадзе тихонько спросил его:

— Чего это ты так навалился на Нурматыча? Ты же сам сомневался в некоторых вещах.

— А теперь не сомневаюсь.

— У тебя кое-что бездоказательно.

— Сейчас важно не знать, а чувствовать.

Получалось все же нехорошо, они оба обещали Нурматову поддержать в случае чего, да и работа была приличная. Анчибадзе решил выступить, загладить. Но Зубаткин сказал:

— Не надо. Поверь мне — не надо.

И такая убежденность, даже значительность исходила от него, что Анчибадзе послушался. И не только Анчибадзе, все остальные, выступая, почему-то посматривали на Зубаткина, обращались к нему.

Он сидел выпрямившись, хмурый, глаза его смотрели куда-то вдаль, сквозь стену.

Несвицкий, заключая, вдруг, в нарушение всех правил, обратился к Зубаткину: вы ничего не хотите добавить? На что Зубаткин, не сразу, отвергающе повел головой. При этом Несвицкий сконфузился, не понимая, зачем он это спросил.

Недавно еще Зубаткин был горд, что допущен сюда, что сидит, как равный, среди всех этих князей и лордов математики, а теперь он знал лучше других, что надо, что не надо, что из этого должно последовать, и обязан был их направлять и поправлять. У него было право посвященного, поэтому самого его перемена не очень-то удивила.

Когда началось следующее сообщение, Зубаткин и Анчибадзе вышли.

— Послушай, дорогой, что случилось? — спросил Анчибадзе.

— Знаешь, может, я и перегнул кое в чем, но иначе нельзя, не должно быть никаких сомнений...— горячо сказал Зубаткин.— Есть возможность сейчас двинуть большое дело. Представь себе, что Кузьмин жив, под его руководством начинается специальная работа по устойчивости сложных систем. А? Энергетика! Космические аппараты! Тут государственно надо подходить...

В нем быстро зрела непреклонность человека, единственно знающего, что надо делать. Ему было жалко Нурматова, но другого выхода не было, необходимо всячески наращивать авторитет Кузьмина опять же ради дела. Значение этого дела Зубаткин понимал все яснее, и появившись тут Кузьмин, и тот должен был подчиниться ему, тем более что это совпадало с его интересами. Ради него же делается.

— Меня из-за Нурматыча будут корить...— Зубаткин ударил себя в грудь.— Думаешь, легко? А что поделаешь. Мы ведь и в самом деле живем для чего,— для науки. Выжимаем весь мозг, себя не щадим. Раз так, могу я не деликатничать, если это надо для дела? Могу я личным пожертвовать, даже, если хочешь, своей дружбой? Ведь не Нурматов жертвовал, а я. Он меня поносить будет, а я буду перед ним извиняться...— ему стало жаль себя: придется многое отложить, пожертвовать многим, но он подумал об этом мельком и даже с легкостью, сейчас надо было уговорить Анчибадзе включиться в эту работу.

Напор его, как ни странно, действовал. Анчибадзе вдруг заинтересовался. Зубаткин, который привык к превосходству Анчибадзе, почувствовал свою силу. Он слышал свой громкий голос, слова, набегающие легко, быстро, и, мельком удивляясь себе, он подумал, что с этого момента все изменится. Когда у человека появилась сформулированная идея, он способен одолеть любое сопротивление, любое препятствие...

II

Кузьмин спускался по беломраморной лестнице на встречу Лаптеву. Ноги его ступали по-кошачьи легко, пружиня на носках, почти пританцовывая, и белые крылья расходились за его спиной. Ему ничего не стоило взлететь, он ничего не весил. А вот лестница гнулась

под его легкими шагами, и балки вопили, он надвигался на Лаптева из мрака забвения, как рок, неотвратимый и грозный, как божья кара, как десница карающая...

Можно ли было подумать, что спустя десятилетия судьба разыграет такой пасьянс и выпадет эта сладостная возможность... А может, все это и не так уж случайно, может, судьба терпеливо подстерегала этот миг, который должен был наступить. Как это у классиков: судьбы свершится приговор!

Он подумал, что все же существует возмездие, некая справедливость, заменяющая господа бога, поскольку тот не способен уже действовать в наших условиях.

Обсуждение, монографии, Зубаткин, аплодисменты — ничто не могло удержать его от встречи с Лаптевым. Именно сейчас, в этот наилучший, наивыгоднейший момент.

Он засмеялся и неожиданно для себя по-студенчески выпалил:

— Здравствуйте, Алексей Владимыч!

Лаптев остановился, навел на Кузьмина желтые плоские глаза.

— Знаю, что знаю, а не вспомнить.

— Кузьмин,— и спустился на ступеньку, чтоб не вышаться над стариком.

— Так, так,— не вздрогнул, не смутился Лаптев. Желтые глаза его застыли, как у ящерицы на солнце.

— Я из Политехнического, Кузьмин. Я был в семинаре у Лазарева.

— А-а, у Льва Ивановича. Как же,— слабо оживился Лаптев.— До сих пор его задачки рекомендую. А вообще-то, дрянцо был человечиска...— Бледные губы его неодобрительно поджались.

Кузьмин тоже нахмурился, вспомнив, как Лазарева выставляли на пенсию после выхода сборника. Он был составителем и, несмотря на запрещение Лаптева, самовольно протолкнул кузьминскую работу. К этому прицепились и выставили.

С разных сторон они как бы рассматривали Лазарева.

— Вы где ж теперь? — осведомился Лаптев. Чувствовалось, что он не узнал Кузьмина.

— Я? На производстве. Коммутаторы, аккумуляторы...— сказал Кузьмин с укором. Вот, мол, по вашей милости, Алексей Владимыч. Вы меня туда толкнули. Зна-

ете, я кто? Я ваша ошибочка. Заблуждение ваше, грех ваш.

Лаптев собирался кончать этот пустой разговор, но странный, затаенно-опасный тон Кузьмина остановил его.

— Плохо, когда тебя знают, а ты никого. Когда-то, в молодости, было наоборот,— лицо его младенчески сморщилось, то ли перед смехом, то ли в печали.— И тоже казалось, что плохо...

Забывчивость старика портила ожидаемый эффект. Но Кузьмин все еще надеялся: «ах!..», и внезапная бледность, и испуг, и «не может быть! нет, нет!». Видно, взрыватель заржавел. Ничего не получалось. Склероз вполне мог наглухо замуровать прошлое, так что туда и не пробиться. Время, подумал Кузьмин, подставило ловушку. Время, оно бесследно не проходит. Он-то полагал, что если в нем, Кузьмине, Павле Витальевиче, сохранился под всеми слоями тот костлявый паренек, прутик с нахальной щербатой ухмылкой,— то все узнают, переполошатся. Ан не тут-то было. Время со счетов не сбрасывается, это только так говорится: «Будто и не было двадцати годов».

— ...Живых-то математиков больше, чем умерших,— дошли до него слова Лаптева.— И не математиков. То есть вообще за наукой приписанных живет сейчас на Земле больше, чем всех ученых, что жили до нас. За все эпохи...

— То есть как это? — досадливо спросил Кузьмин.

— Очень просто. Вы прикиньте...— привычно по-учительски предложил Лаптев и подождал. Ему и раньше нравилось озадачить слушателей и замереть. Сочинит какую-нибудь задачку на сообразительность, подкинет для игры ума и любителю, и все его лекции были начинены головоломками, в которых застревало большинство студентов.

Снова Кузьмин следил за скрюченным пальцем, рисующим в воздухе экспоненту, снова чувствовал, как это просто, если заклепнуть нутро смысла, самый смысл смысла, тогда проще пареной репы. Нет, не ухватить, почему-то не дается, чертов старик, опять выставил его болваном. Опять Кузьмин стоял перед ним тем же дураком, глазами хлопает, уши висят. Уже поседел, соли в позвоночнике, а все стоит, ответа ищет. Двадцать с

лишним лет прошло. Целая жизнь. Неужели столько? Когда ж они прошли, когда успели промелькнуть. Ведь вот он, Лаптев, и вот я, Кузьмин, и я все так же, с тем же чувством стою перед ним... Как же я, тот самый студент, мог сохраниться внутри себя? Сейчас я и есть этот студент, а другого Кузьмина, который вырос за эти годы,— его нет, он снаружи, где-то извне.

И непонятно, зачем нужен этот выросший Кузьмин, почему его нельзя сбросить и остаться только тому, молодому. Но старый Кузьмин нисколько не обижался, даже был умилен, что, впрочем, не мешало ему заметить, как Лаптев ловко извернулся, подсунул эту задачку, а при чем тут эта задачка, на кой она сдалась...— Но ничего, ничего,— приговаривал он без особого смысла.— Сейчас не тот расклад, другие козыри...— И вдруг в голове щелкнуло, точно выключателем, и Кузьмин просиял:

— Факт. Живых-то больше. Ясное дело!

Своим ходом дошел. Сам, без подсказки. Не заросло. Ай да Кузьмин, ай да Лаптев-старичок! Молодцы. Злыдень Лаптев еще скрипит извилинами! Кузьмин еле сдержался, чтоб не подмигнуть ему. Какой там склероз, этот старикан в полном порядке.

«Все же Лаптев — это школа! — подумал Кузьмин.— Это фирма! То, что он прослушал курс у Лаптева, кое-что весит. Тогда никто не придавал значения, а нынче стало котироваться, «Лаптев» звучит как «классик», «корифей»!»

— А я, Алексей Владимыч, теперь в некотором роде, известный математик,— со смехом подсунул Кузьмин.— Я тот самый Кузьмин! Слыхали! Ку-зь-ми-н! — повторил он, как глухому.— Помните, я выступал с докладом, а вы меня опровергли?

Ничто не изменилось в плоско-желтых глазах. Стекло отражались в них лестница, колонны, фигура Кузьмина и высокие огни светильников.

— Кузьмин! — упрямо повторял он, стараясь докричаться сквозь десятилетия. Не может быть, чтобы Лаптев забыл. Придуривается.— Кузьмин, Кузьмин, не одиофамилец, а тот, кого вы так лихо разделили: «Почему плюс, почему не минус и не топор с рукавичкой?» Как все смеялись...

А если в том и фокус, что был лишь блеск разгрома, а самого Кузьмина для Лаптева тогда не существовало?

Для других Кузьмин *был*, когда-то *был* такой, а для Лаптева его и *не было*, никогда не было.

Ясно — Лаптев *не хочет* вспоминать! Зачем ему *про это* вспоминать!

Придется. Напомним. Голова у старика, слава богу, работает.

— Сейчас там, на секции, все цитируют Кузьмина, — сказал он, — ту самую мою работу, — он попробовал повторить кое-какие термины из доклада Нурматова. Язык с трудом выговаривал полузабытые громоздкие слова.

Вспомнилась еще одна фразочка Лаптева: «Пусть лучше Кузьмин пострадает от математики, чем математика от Кузьмина».

А получилось, что математика от Кузьмина не пострадала, наоборот, а от Лаптева пострадала, и Кузьмин незаслуженно пострадал. Лаптев, можно сказать, нанес урон... Вот как все повернулось.

И ему вспомнился другой перевертыш в его жизни.

То мартовское пронзительно солнечное утро на берегу Енисея, когда на стройку приехал новый управляющий трестом. Кузьмин работал там начальником участка. За полтора года, с тех пор как его сняли с управляющего, его переводили с должности на должность, всякий раз понижая, пока он не докатился до этой отдаленной стройки, где трест третий год вел монтаж электрооборудования. До упора дошел, дальше было некуда. Новый управляющий обходил площадку, сопровождаемый свитой. Ему представили Кузьмина и дошептали при этом «тот самый», что-то в этом роде. На красивом тонком лице нового управляющего не отразилось никакого любопытства. Голубые глаза сквозили так же холодно и открыто. Осматривая распредустройство, он ровно выговаривал Кузьмину, как перед этим выговаривал прорабу соседнего участка и как сам Кузьмин два года назад выговаривал другому прорабу. Приезд этот ничего не мог изменить; все, что требовал управляющий, Кузьмин знал лучше его и давно бы сделал, если бы можно было. Жаль было потраченного впустую дня. Свита, те, кто не знал Кузьмина, молодые начальники спортивного вида, с внимательно-прицельными глазами, изготовленными как перед прыжком, не замечали Кузь-

мина. Он был вне игры, битая фигура, они не знали его и не интересовались. «Поднажмете? Договорились?» — сказал новый управляющий, спрашивая и в то же время не спрашивая, потому что ответ мог быть один — солдатско-четкий, а главное бодрый, — в том-то и состоял смысл этого разговора, чтобы подвинтить, подстегнуть и придать бодрости. И Кузьмин со стыдом вспомнил, как сам он после всех жалоб и просьб начальников участков заключал свои посещения такими же пустыми словечками. Через нового управляющего он увидел себя и вместо ответа неуместно рассмеялся, что сбило всю церемонию и повело за собою следующие изменения его судьбы.

Как волшебю все перевернулось. Не с той долгой, полной превратностей службы, какой он занимался всю жизнь, а перевернулось с забытым началом, когда Лаптев выговаривал ему, высмеивал, гарцевал, а теперь Кузьмин может выговаривать о том же самом Лаптеву, поучать его, разоблачать все его увертки и требовать ответа. Фортуна весьма поучительно подстроила, поменяла местами. Вознесла мгновенно и ослепительно. Даже, можно сказать, без всяких стараний с его стороны. Чаще всего с ним бывало наоборот. Сверху вниз он летел, согласно законам механики, с ускорением, без особого сопротивления среды. А вот наверх не леталось, не попадалось эскалатора, наверх приходилось годами карабкаться. Почему-то ему все доставалось с трудом. Давно не выпадала такая планида — разом достигнуть. Наконец-то теперь он мог взмыть, отхватить...

Но сперва он хотел выслушать показания Лаптева. Получить, так сказать, удовлетворение. Придется Лаптеву что-то произнести, признаться в постыдной своей ошибке, выставить какое-то оправдание. Каждый человек что-то изобретает в самооправдание. И все равно он заставит Лаптева просить прощения. Хочешь не хочешь, а просить придется, и не у этого солидного П. В. Кузьмина, а у того мальчишки, наглеца, которого с таким удовольствием когда-то ставили на место.

Костяная голова Лаптева скрипуче закивала.

— Да, да... Что-то по критериям. Студентом вы были?

— Тогда это было для вас *что-то*, — торжествующе

подчеркнул Кузьмин.— А сейчас это оказалось *нечто*. И весьма!

— Ох, и досталось вам. И этому... Райскому.

— Какому Райскому?

— Он ведь тоже... Или нет... Простите... Райский, кажись, позже. Вы ведь еще при Лазареве,— окончательно установил он.— Так вы тот Кузьмин.

— Я, я,— подтвердил Кузьмин, радуясь, что Лаптев, по-видимому, узнает его.

— Поздравляю,— сказал Лаптев без всякого смущения, как будто он приветствовал успех своего ученика.

Кузьмин осекся, не сразу понял в приветливости Лаптева ту казенную любезность, какая выросла от бесчисленных защит, конференций, банкетов, симпозиумов. Поздравления по случаю присвоения, присуждения, награждения, назначения...

Через щель этого «поздравляю» увиделась бесконечная анфилада лаптевской жизни, случай с Кузьминым был в ней мелькнувшим эпизодом, рядовым, начисто забытым. Приходило ли Лаптеву в голову, что он когда-то мимоходом переломил всю судьбу студентика Кузьмина?

Обращаясь не к Кузьмину, а к доске, он задал один за другим несколько вопросов. Вопросы были простые и точные, на первом же Кузьмин запутался, следующие вопросы добили его, загнали в тупик, он попробовал выбраться отчаянно и нагло — это, мол, не экзамен, ему не отметка нужна, и он рассчитывал не на ловушки, а на понимание всего замысла, всей концепции. Вот тут-то Лаптев взвился и за несколько минут превратил такие красивые построения в нелепые нагромождения, сляпанные нахалом или шалопаем. Впрочем, он обошелся без резких слов. Он был убийственно корректен. И что самое ужасное — убедителен. То нарушение логики, которое восхищало Лазарева, стало вздором, ахинеей. Лаптев был в ударе, он работал на публику, весело, легко: «Трудно, конечно, со столь скромными средствами браться за столь серьезные проблемы», «Тросточкой звезду не сшибешь»...

Казалось, навсегда забытые фразочки. Кузьмин извлекал их из тайников как улики. Оказывается, они отлично сохранились, а как он старался забыть, все забыть. И тот липкий пот унижения, свое позорное бессилие, прикрытое кривой дрожащей улыбкой, то есть

снаружи это была улыбка, а изнанка — затравленная гримаса — только бы удержаться, не сорваться в слезы...

— Вы, кажется, со мной не согласились и собирались доказать,— продолжал Лаптев, еле различая в сумерках прошлого мелкое это копошение, нечто из жизни козявок.— Собирались... Значит, доказали? Поздравляю.

— Спасибо. Жаль, что теперь ваши поздравления, Алексей Владимыч, не имеют той цены. Дорога ложка к обеду. Кстати, я ничего не доказывал. Другие доказали. Все было правильно с самого начала. Просто теперь это дошло, прояснилось.

Желтые глаза смотрели мимо него, не обращая внимания на едкий тон.

— Может, так оно и лучше.

— Почему же?

Лаптев поскуchnел, он всегда скуchnел, когда ему приходилось тратить время на объяснения.

— Теорию признают, когда в ней нуждаются. Не раньше. Наши теории, особенно в чистой математике, это ведь изобретения. Мы придумываем то, чего в природе нет. Этим изобретения отличаются от открытия. Открывают то, что существует. Например, нефть. Или Америку. Это большей частью годится. А изобретения нужны, когда их есть к чему применить. До срока они ни к чему. От зеленых яблок что бывает?

— Ах вот оно что. Значит, вы тогда обо мне заботились, я-то думал...— сказал Кузьмин.— Выходит, мне благодарить вас надо?

Глаза Лаптева слегка оживились умной насмешкой. Это он любил — скрестить шпаги.

— Так, так,— пропел он, и сразу воздух насытился электричеством.— Вы что же, эти годы математикой не занимались?

— Н-нет... У нас на монтаже всего лишь арифметика. Не простая. Считать надо уметь до ста трех.

— Это что?

— А это считаем так, чтобы было чуть больше ста: сто один, сто два процента. Для премии.

— Так что же — годы ушли впустую?

— Почему же...— осторожно сказал Кузьмин, гадая, откуда последует удар.

— Ну как же, нынче ведут счет печатными трудами. Небось, и звания у вас нет, и степени? Горюете, что не

достигли?.. Еще бы — не профессор, не доктор. Боже мой, без этого какое же положение. Это ведь для вас показатель.

— Конечно, главный показатель. Был бы я уже давно доктором наук. А может, и больше, — в тон Лаптеву, взведенно отвечал Кузьмин. — И сделал бы немало, и достиг...

— Вот именно, и, вероятно, далеко бы пошли, кафедру получили бы. А может, институт. Одно за другим сложилось бы. А так что вы можете предъявить? А ведь пора, возраст. Скоро, как говорится, с горки.

Каждая фраза Лаптева в точности повторяла тайные мысли самого Кузьмина, разве что интонация была другая.

— ...Вы, конечно, намеревались совершить нечто великое. Иначе и смысла нет. Жить рядовым — какой же смысл. Сознать, что ничего выдающегося из вас не получилось, обидно. Об этом лучше не думать. Лучше избегать таких рефлексий... И вот, пожалуйста, жар-птица сама в руки... Держите! Крепче! Теперь-то уж, пожалуйста, не упустите. Последний шанс выпал. Иначе что ж, иначе жизнь ваша не удалась.

Это уж было черт знает что — бесстыдно оголить то сокровенное, что едва зашевелилось, и начать издеваться над этим. Не то чтобы испугаться, похвалить, успокоить. Ничего подобного. Лаптев шел на рожон. Он не искал примирения. Не винился, нисколько.

— Иронизируете, Алексей Владимыч? Как будто вы жили по-иному. Вы-то ничего не упустили, вы достигали и не отказывались.

— Достигал! Изю всех сил! Еще как старался! — с восторгом подхватил Лаптев. — Потому и говорю. Мы ведь с вами все мерим достижениями. Хороший человек, плохой — неважно, важно, сколько статей он написал. Важно получить результат, кто первый получил, тот и хорош. Академик — это великий человек по сравнению с учителем арифметики. Что такое учитель — мелочь. Я, например, людей мерил знаниями. Мне и в голову не приходило, что так нельзя. Даже талантом — нельзя. Что учитель может быть великим, а академик — ничтожеством. Ну как же, у нас все соответствует званию. Как бы не так. Подумаешь, я первый вывел такой-то метод. Ну и что? А следом Тюткин сообщает миру, что он вводит некое новое понятие. И тотчас появляется

статья доктора Сюткина, где вводится другое понятие и доказывается, что понятие уважаемого коллеги Тюткина — частный случай предложенного Сюткиным понятия. Сколько раз я участвовал в этом... Математика тут ни при чем, математика — дивная наука, но нельзя приносить ей в жертву свою душу. Я многого достиг, да? Но, может, я больше потерял? Думаете, эти гонки мне души прибавили? Нет. Вот спохватился, да поздно. Задумался не потому, что опомнился, а потому, что уже не угнаться. Вынужденно... В наш прагматический век знаете, чего нам не хватает — святых. Праведников не хватает. Церковь, она знала свое дело. И нам бы... О чем это я? Подождите... К чему? Ах да, математика. Нет, не греет... Мне яблонька ныне дороже всяких загогулин.

Горечь его слов удивляла, печалила, не ожидал Кузьмин услышать такое, и от кого — от этого патриарха, прославленного, недосягаемого.

— Как же так? Зачем же вы тогда... — Кузьмин остановился, сказал сухо и убежденно: — Математика наиболее ясная и честная наука. Какая другая объективней? Не история же! Из всех наук математика, по крайней мере, наиболее точная.

— Не повторяйте чужих слов, — отмахнулся Лаптев. — Она точная не потому, что достоверная, а потому, что мы можем знать меру неточности своих утверждений. Можем, да не хотим... Если бы я начинал снова, знаете, кем бы я был? Садовником. Или учителем. Музыке бы обучал.

— А ваш талант?

— Отдаю!.. — воскликнул Лаптев. — Вот именно. Талант! Берите! — повторил он ликующе, как будто Кузьмин нашел именно то слово, какого Лаптеву не хватало. — Талант, думаете, счастье приносит? Талант иссушил меня.

— То есть как это?

— Да, да, талант поработил, талант бесчеловечная штука.

— Талант? — все более изумлялся Кузьмин этой ереси.

— Вы чем занимаетесь?

— Я? Монтажник.

— Не знаю. Но, наверное, это тоже хорошо. А представляете — садовник?

— При чем тут садовник? — возмутился Кузьмин. —

Да ведь все от таланта. У кого талант есть, больше может дать людям.

— А если наоборот? — И взгляд Лаптева стал необычно серьезным. — Если талант глушит все чувства? Я людей не замечал. Вот и вас, например, я не заметил. Я на уравнения смотрел, возмущался, вижу ошибку, а не человека... Я как пленник этой математики. Приговорен. И все потому, что когда-то решил, что главное во мне талант. А когда талант кончается — еще хуже становится. Нет, лучше бы его не было. А как он унижает окружающих! Все чувствуют себя насекомыми. Если б заново, честно говорю, я бы отказался. Вы молодец. Вы ведь отказались?

— Я? Нет уж, извините, — и Кузьмин разозлился, поняв, что все рассуждения Лаптева были ради вот этой петли, этого хитрого выпада. — Я бы не отказался и не собираюсь. Не убедили.

Лаптев не ответил. Черные зрачки его вдруг укололи Кузьмина, словно напоминая недавний разговор с Зубаткиным о таланте. Кузьмин замер: эхо его слов отдавалось вдали. Поразительно, как, оказывается, можно одному говорить одно, а через час другому совсем иное. И не замечать этого!

— Вы что ж, Алексей Владимыч, еще тогда все это ради меня проделали? Чтобы я был свободен? Беспокоились? — зло сказал Кузьмин. — Хотели поскорее избавиться меня от таланта?

И опять удар прошелся мимо, острое разило пустоту, не задевая и не раня. Лаптев переместился в другое измерение.

— А зачем вам это? — задумчиво спросил Лаптев. — Теперь-то... зачем?

У Кузьмина горячо разлилось по телу: это был тот же голос, что и тогда, небесно-насмешливый, даже без особой насмешки, вместо насмешки было у Лаптева небесно-снисходительное высокомерие. И сразу радость погасла, стало скучно, безразлично. Совершенно особым умением обладал Лаптев — одной фразой сбить с ног. Вопрос был жестокий. Кузьмин почувствовал за ним силу, разящую без пощады. Впрочем, старик имел на это право, он и себя не щадил. Под дряхлой оболочкой действовала отличная машина, могучий мозг, который проверял, анализировал, не считаясь ни с какими чувствами, не зная снисхождения.

И все же: *теперь-то зачем...* — в смысле: разве Наверстаешь? Признание, похвала — зачем они так поздно?

Тут смутное подозрение остановило Кузьмина: а что, если все эти признания, откровения лишь расчетливая игра — «Ах, действительно, зачем же мне это, к чему теперь-то, нет смысла...»

— Ах, действительно, зачем? — подыграл Кузьмин, красная шея его борцовски напряглась, лицо затвердело. — Затем, чтобы неповадно было! В назидание другим! Чтобы знали, что рано или поздно придется ответить. У нас ведь не любят выяснять, из-за кого человека оклеветали, кто виноват, что задержан проект, отвергнуто изобретение, загублены годы. Через двадцать лет изобретение внедрили, и прекрасно. Кто старое помянет, тому глаз вон. Так ведь? А я думаю, что полезно спросить. Поучительно. Пусть знают, такое даром не проходит, каждому воздастся... Вот он виноват — пальцем ткнуть — смотрите все! Как по-вашему?

— По-моему... — Лаптев старчески пожевал губами, сказал еле слышно, для себя: — Мне отмщение, и аз воздам. — Он прикрыл темные веки. — Погодите... Ваш Лазарев жаловался мне, что вы сами не захотели, на произвол судьбы бросили свою работу. Точно, он натурально меня винил, он всех винил, а вы преспокойным манером уехали. Так ведь? Вызова не приняли. Войны не объявили. Крест не взвалили. И молодец. И слава богу, что не страстотерпец. Меня отец учил: пока баре рядятся, мужик должен пахать.

— Лазарев вам жаловался? — переспросил Кузьмин. — Сам Лазарев?

Лаптев вместо ответа быстренько усмехнулся и продолжал свое:

— Допустим, вы бы боролись. Ухлопали бы годы. На что? А так по крайней мере дело делали.

— Вот уж спасибо вам, Алексей Владимыч, премного обязан, — Кузьмин размашисто поклонился в пояс. — Вашими заботами, значит, наставлен я на путь истины. А я-то, дуралей, считал, что это вы промашку дали, мало ли с кем не бывает. Вы же наперед все вычислили, боже ты мой, все предвидели, позаботились, чтобы я делом занимался...

Лаптев кисло покачал головой.

— Не умеете вы иронизировать. Не задевает. Знаете, почему? Я же вам объяснял: о вас я тогда не по-

мышлял. Увы! Нет, нет, то, что вы не боролись,— это ваша собственная заслуга. Хотя можно считать, это была ваша ошибка. Быть человеком — значит бороться. Учили?

— Бороться с кем?

— Хотя бы со мною. Но поскольку вы уклонились. Или поверили мне, то все ваши претензии несостоятельны.

— А Лазарев, он боролся с вами, и что?

Дряблый рот Лаптева вдруг оскалился мстительной, жесткой усмешкой.

— Это я с ним боролся! А он не боролся, он вредил.

Кузьмин пристально посмотрел на него.

— Но если по совести, Алексей Владимыч, неужели вам сейчас, передо мной, хоть бы что?

— Желаете, чтобы я себя злодеем чувствовал. Да? Так у меня на такие злодейства покаянства не хватит. Что ж тогда Чебышев, Пафнутий Львович, который отвергал идеи Римана? Он, по-вашему, явный лиходея. Вы бы его прямо в кутузку и под суд. А ученик Чебышева, Марков, тот вообще геометрии не признавал,— тому, значит, высшую меру?..

Внизу из-за колонн вышла женщина и стала смотреть на них, слегка запрокинув голову. Кузьмин не сразу узнал в ней ту самую, которая мелькнула у подъезда, и тем более ту, которую знал когда-то. Она смотрела на них спокойно, без нетерпения, как смотрят на горы.

Постепенно, как бы толчками, он узнавал ее и, узнавая, удивлялся, потому что не должен был узнать ее, ничего не осталось в ней от той костлявой, большеротой, бесстыдной верткой девчонки в фланелевой лыжной куртке и синих штанах, с глазами голодными и взрослыми. Теперь это была полнеющая красивая блондинка, туго затянутая в замшевый темно-зеленый костюм, сдержанная в движениях, с холодным, умело разрисованным лицом, на котором вспоминались разве что капризно изогнутые губы.

Кузьмин кивнул ей, а Лаптев, отнеся это к своим словам, сказал примиренно:

— ...добро творить одно, прощать — другое... А в слове этом чисто русская философия. Забытое слово.

— Какое слово? — не стесняясь, спросил Кузьмин.

Лаптев удивленно поднял брови:

— Добро-то-любие.

— Это от меня требуется добротолубие? Я, значит, должен платить добром. Хорошо. А как быть с Лазаревым? С ним как рассчитываться будете? Он тоже должен, наверное, вас благодарить. Но только он уже не может.

Внутренне сам Кузьмин поморщился от своих слов. Но Аля стояла внизу, он обязан был спросить про Лазарева. Он делал то, что должен был сделать, и непонятно, почему ему, Кузьмину, неприятно и трудно, а Лаптеву хоть бы хны.

— Завтра на заключительном заседании я могу отметить вашу работу и признать...— Лаптев вдруг засмеялся, прикрывшись густой сетью морщин, почти исчез за ними.— Не от вас я добра прошу. Это мне любо, что кому-то могу доставить... Если желаете, я вам слово дам. Я буду председателем. Поскольку старейший, то глава. В некотором роде украшение...— Морщин стало еще больше, все его лицо было исцарапано, изрезано маленькими морщинами.— Во мне нынче надобности нет, давно уже... А тут хоть с некоторой пользой буду употреблен.

Так все получилось неожиданно легко, так Лаптев охотно согласился, что Кузьмин несколько струхнул. Борол, гнул, силился, и пожалуйста, вдруг само собой, полное исполнение желаний, восхождение на Олимп, вернее, возведение на Олимп, безо всяких хлопот и страданий.

Почудилось, что Лаптев подмигнул ему, откровенно, как соумышленнику, притом даже несколько уличающе. «Да, на что это он намекает?» — обиженно подумал Кузьмин, и непонятно было, зачем Лаптеву понадобилось портить впечатление от своих слов этим подмигиванием. Он еще подождал, на всякий случай, однако Лаптев молчал.

— Вот и прекрасно. Наконец-то,— сказал Кузьмин, вынул платок и трубно высморкался. Потому что наплевать ему было на все умствования старика, важно, чтобы Лаптев признал, согласился, и ничто тогда уже не помешало бы полному и сладостному перевороту жизни. Наступала новая эра, не похожая на все, что было с ним, и можно было отбросить всякие мелочи и нюансы.

Лаптев, склонив набок голову, прислушался к замирающим звукам его голоса.

— Почему-то вы не рады,— убежденно сказал он.

— Ну что вы, я в полном восторге,— соврал Кузьмин.

Лаптев как-то иначе, сбоку, словно на примерке, посмотрел на него и неприятно улыбнулся.

— Вот и ладненько. Считаем, что сделка состоялась.

— Сделка? Почему ж это сделка?

— Сделка, сделка! — заговорщицки и в то же время поддразнивая повторил Лаптев.— Про ментора своего — ни гу-гу!

Кузьмин покраснел.

— Позвольте, почему вы так...

Не отвечая, Лаптев хихикнул тоненько, почти пискнул, и стал подниматься, держась за перила.

— Я все равно спросил бы про Лазарева. За что вы его? — как можно независимее заговорил Кузьмин, доказывая, что никакая это не сделка и он не отступится. Мельком обернулся на Алю, развел руками, как бы извиняясь, и пошел за Лаптевым.

Прозрачно-серебристый пушок светился, подобно нимбу, над головой Лаптева. Встречные кланялись ему издали, лица благодарно светлели, Лаптев не поднимался, а всходил, и отблеск его величия падал на Кузьмина, на него тоже смотрели с почтением. Кузьмин неотступно следовал за Лаптевым. Он хотел оправдаться, он не понимал, как получилось, что ему опять надо оправдываться.

...Было заметно, что, глядя на Лаптева, люди радовались тому, что видят этого человека. Его любили. И Кузьмин с удивлением чувствовал, что тоже его любит.

Когда-то сыновья Кузьмина играли в такую игру: «А что бы ты спросил, встретив Пушкина? А Ньютона? А Шекспира?»

А что бы ты спросил, встретив Лаптева? «Что вы сделали с Лазаревым?» Как в Библии: «Где Авель, брат твой?»

Можно было спросить, а можно и не спросить. «А зачем спрашивать, что это изменит?» — думал Кузьмин, останавливая себя. Потому что Лаптев явно зачем-то подстрекал, подначивал. Надо было взвесить каждое

слово, надо было следить в оба... Иначе все могло рухнуть.

Кузьмин шел за Лаптевым, придерживая длинную мантию его славы. Мысленно он примерял на свои плечи приятную ее тяжесть. Это была особая слава, незнакомая ему до сих пор, слава, независимая от всяких званий, стоящих перед именем. Чистая слава, сосредоточенная вся в слове «Лаптев». «Тот самый», — иногда добавляли для пояснения. И не нужно было — «доктор» или «академик», «заслуженный деятель». Просто Лаптев. Вкус этой славы пьянил Кузьмина. Отныне он ведь тоже мог жить среди подобной известности, уважительности, и люди оборачивались бы к нему своей приятностью.

Только что он был свободен, он мог говорить что вздумается, и вот уже все кончилось. Почему-то надо снова быть осторожным, сдерживаться.

...У балюстрады стоял малинового плюша диванчик, Лаптев не присел, а облокотился на белую резную спинку. Случайно или нет расположился он так, чтобы видеть Алю, стоящую внизу у колонны?

Обнаружив рядом Кузьмина, он шевельнул удивленно бровями.

— Ах, вы еще здесь... — И, не давая Кузьмину ответить, спросил: — Вы знаете, в чем преимущество старости? Преимущество, которое заменяет и женщин, и вечеринки. Начинаешь жалеть людей. Мне каждого жалко... — И, опередив Кузьмина, закрылся смешком: — Особенно тех, кто меня слушает. Стареть — это искусство. Вот, например, тянет на рассуждения...

Опять он говорил о другом, совсем постороннем. Отвлекался куда вздумает, то замолчит, не отвечая, то повернется и пойдет. Вот у него была свобода, полная независимость. А может, все это были ловкие приемы. В результате он всякий раз вывертывался, ускользал, а то еще хитрее — внушал к себе симпатию. Что-то дьявольское было в этом старике.

...И вдруг строго произнес:

— О Лазареве не надо.

Вроде бы безглаголиво, но ведь возобновляя, потому что Кузьмин готов был отступить. Но теперь нельзя было промолчать, теперь уже Кузьмина зацепило.

— Отчего же не надо, мне очень даже интересно.

— Вы уверены, что Лазарев был порядочный человек? Это звучало серьезно, и Кузьмин имел возможность

уклониться: пожать плечами, откуда я знаю, откуда и в самом деле он мог знать, мало ли что там могло быть.

— Во всяком случае насчет моей работы он оказался прав. А с ним обошлись несправедливо. Вот это мне известно, и этого достаточно.

— Вы разве не знаете, почему с ним так обошлись?

— За то, что выступил против вас... Так он считал,— осторожно добавил Кузьмин.

— Не считал, а говорил...— нетерпеливо поправил Лаптев и стал называть какие-то имена, когда-то Кузьмину известные, но которые сейчас вспоминались не сразу, да и то скорее по той особой интонации, которая прилегла к этим фамилиям,— Лаптев повторял ее, слегка снижая голос. Какой-то Вендель, очевидно из преподавателей, Щапов — этого Кузьмин помнил по номограммам, но Лаптев произнес фамилию так, что возник душный зал и огромный сутулый старик на трибуне: Щапов каялся. Очки у него потели, он протирал их галстуком. Картина мелькнула бессловесная, что это такое происходило, чем кончилось, зачем Кузьмин там был — неизвестно. А Лаптев тащил его дальше, в мир уж совсем безликих призраков, какие-то возникали имена, шепот, что-то важное, чем-то подозрительное, но в душе Кузьмина еле-еле отзывалось. Он не находил в себе никаких следов былых переживаний. И опасения были не его, а чужие. Только сейчас впервые подумал он, что в институте в те годы происходили трагические события, некоторых профессоров лишали кафедры, имена их вычеркивали, учебники изымали, другие почему-то уезжали на Урал или в Петрозаводск. Тогда все это совершенно не занимало Кузьмина. Оправдывал? Избегал? Не понимал? Теперь не узнать той молодой безучастности.

— Вы в чем-то подозреваете Лазарева. Но при чем тут был я?

В этого старика словно бы впрыснули кровь. Сухая пятнистая кожа его побагровела, он заморгал, облизнул губы.

— Вы, Кузьмин, были для него одним из способов укрепиться. Уж тогда Лазарев выиграл бы, он бы показал нам всем кузькину мать.

— Вот оно что... А со мной, значит, попутно разделались. Я пешка, которой жертвуют. Я не в счет, я кучер.

— Что за кучер?

— Меня всегда поражало,— с жаром сказал Кузь-

мин.— Бомбу кидают в царя, а то, что кучер при этом гибнет, никто из этих героев не думал. Это для них мелочь, недостойная внимания...

— А ты царя не вози... Нет, тут у меня другая ошибка. Раньше надо было его удалить. Мы, как всегда, деликатничали. Можно было отстоять кой-кого, а мы ждали, что дирекция вмешается...

Прожитое возвращалось, обступало, постепенно оживали все эти люди, которые когда-то ходили мимо Кузьмина по институтским коридорам, читали ему лекции, принимали экзамены... Выходит, он ничего о них не знал... Лаптев припоминал какие-то случаи, скорбел о чьей-то гибели, а Кузьмин чувствовал себя виноватым: он ничего не мог припомнить. Подлинная жизнь была скрыта. Вот Семейную гору в Кавголове — это он помнил. Он отрабатывал на ней приемы слаломы. Помнил успехи курсовой волейбольной команды, диспуты о любви. Чем еще он увлекался тогда? Пиджак букле, ботинки на каучуке, зажигалка-пистолет. Каким он был шалопаем... Но тут же ему захотелось защитить этого мальчика. Слишком легко было винить его, кроме пиджака букле и лыж была работа на агитпункте, восстановление институтского стадиона — запахивали воронки, снимали колючую проволоку, разбирали бетонные доты... Кузьмин разглядывал его издали, как Лаптев. Откуда парню было знать предысторию этих людей, Щапова, Лазарева, Лаптева, ту, что тянулась с довоенных лет, — борьбу разных школ математики, бесчисленные вузовские реформы, каким-то боком сюда подмешалась лысенковщина, про которую он и вовсе не обязан был знать. Парень занимался математикой, Лазарев выхлопотал ему билет в научные залы Публички, туда, где сидели профессора. Там были отдельные письменные столы, для каждого настольная лампа с зеленым абажуром. Они вместе с Лазаревым защищали научную истину, и оба за это пострадали. Что бы Лаптев ни приводил, от этого факта никуда не денешься. Истина в конце концов победила. Лаптев, конечно, полагал, что он борец за справедливость, но какими методами он боролся — вот в чем суть!

— Выходит, вы не просто заблуждались, вы умышленно меня подкосили?

— Не совсем. Это как бы слилось. Ведь то видишь,

что хочется видеть,— Лаптев тоскливо поморщился и замолчал.

Кузьмин не стал вдаваться в тонкости, да и не выгодно ему было терять преимущество, он сказал:

— Нельзя сводить счеты при помощи науки. Это вам не дубинка. С несправедливостью нельзя бороться новыми несправедливостями. А уж в науке подавно. Наука не терпит никаких комбинаций.

Ах, как убедительно у него получалось! Нахально, но правильно. Одна за другой следовали законченные, авторитетные фразы, прямо хоть записывай. Вообще, что касается науки, что надо и что не надо,— он мог бы, наверное, учить не хуже других, это было легко и приятно: «В науке нужно думать не о себе, не о своих интересах, а о результатах, о пользе дела», «Наука требует бескорыстного служения, полной отдачи и никаких компромиссов», «Только тот достоин называться большим ученым, кто умеет вовремя признавать свои ошибки и анализировать их»,— неизвестно откуда они возникали и усиливали начальственную мощь его голоса:

— ...Ради хотя бы истории математической школы полезно будет напомнить молодым некоторые ваши возражения. Вот, мол, как тогда думали... А что касается Лазарева, то, ей-богу, те страсти, о которых вы говорили, на фоне этого факта выглядят неубедительно и — простите — мелкогато.

— Вероятно,— согласился Лаптев.

— Я знаю, что не стоило мне про Лазарева, вам это неприятно, но пусть, я не боюсь,— сказал Кузьмин, глядя на Алю.— Пусть я на этом проиграю, пусть вы можете расторгнуть сделку...

Лаптев чуть улыбнулся, поднял сухонькую ручку.

— Подождите, вам зачем это надо, насчет Лазарева? Ах, да, он ваш учитель! Вы хотите, чтобы все было в ажуре. Тогда вам будет совсем легко и гладко. А может, не надо, чтобы вам было легко? — с каким-то неясным предостережением добавил он.

— Почему?

— Долго объяснять... Да вы не беспокойтесь. Я не в обиде, что вы решились спросить про Лазарева. А на заключительном заседании, ежели пожелаете, скажу, как обещал.— Лаптев все это произносил наспех, невыразительно и, отговорив, вдруг спросил с любопытством: — Вы лучше вот что объясните мне: вы что ж, дей-

ствительно полагаете, что эта ваша работа важнее того, что происходило?

— Важнее чего? — спросил Кузьмин, хотя сразу понял, что имелось в виду.

Темное, коричневатое лицо Лаптева стало суровым, как на древней иконе.

— Той борьбы с клеветниками. Тех людей, которых мы защитили, — и он торжественно стал называть фамилии...

Опять эти давно перезабытые люди, до которых ему никогда не было дела. С какой стати он обязан вникать? Какого черта Лаптев навязывает ему эти отгоревшие страсти? Мало ли что было. И поворачивает так, словно бы Кузьмин должен виновато склонить голову. Нет уж! Он жил, как все его друзья жили в те годы, и не намерен этого стыдиться. Ничего зазорного в той жизни не было, нисколько. По крайней мере на все имелись простые и ясные ответы, можно было ни о чем не задумываться и делать свое дело. Он, Кузьмин, не оправдывает того, что было, все это давно осуждено, зачем же снова возвращаться, перебирать? Стариковское занятие.

— Да, да, конечно, все, что вы говорите, тоже важно, — сказал Кузьмин. — Вы правильно отметили.

Он посмотрел на Алё и почувствовал, как он устал от этого разговора, где каждое слово требовало умственного напряжения, от этого словесного фехтования. Скорее бы кончить и спуститься к Але, которая все так же спокойно ждала.

Позавидуешь выносливости старика. Ему хоть бы что. Кузьмин же чувствовал себя изнуренным, ближе по возрасту к Лаптеву, чем к Зубаткину. Река времени несла его к Лаптеву, он ощущал ее течение, тиканье часов на руке, секунды стучали отбойным молотком, отваливая пласты времени кусок за куском.

— Как вы назвали? Добротолубие? Да, может, так и надо, — сказал Кузьмин, не заботясь уже ни о чем и ничего не выгадывая. — Добротолубие... Хотя вы-то, Алексей Владимыч, сами добротолубие не соблюдаете. Вот до сих пор простить Лазареву не можете. Ведь вы тоже должны были обрадоваться.

— Чему обрадоваться?

— Да тому, что есть возможность исправить вашу ошибку,— пояснил Кузьмин.

Никак не ожидал, что слова его так сильно взволнуют старика. Все в Лаптеве вдруг встрепенулось, затрепетало, зашелестело, как сухая осенняя листва.

— Исправить ошибку? Где это вы видели, кто, что исправляет? У нас тут уличили одного аспиранта. Списал. Совесть, спрашиваю, неужели не мучает? Это, говорит, понятие религиозное. А я мальчишкой... отец меня привез на Нижегородскую ярмарку, там мужик, помню, на коленях кричал: вяжите меня, православные, ограбил! И головой бьется. Мужик. Совесть... когда-то... Аспирант... Не модно,— он задышался, волнуясь, видно, еще о чем-то другом.

— Да не надо, чтобы на колени,— поспешно сказал Кузьмин,— мне и так... я ведь про другое понять хочу: если бы вы тогда согласились, увидели бы, что работа моя правильная, то с Лазаревым вы бы как обошлись? Извинились бы перед ним? Оставили бы его в покое? Все иначе было бы? Ведь так?

Лаптев застыл с впалым приоткрытым ртом.

— Не знаю,— наконец признался он.— В том-то и пакость, что не знаю. Казалось бы, ради истины ничего не жаль, ничем нельзя поступиться. А тут... не уверен. Если бы умышленно поступился, все равно был бы прав. Лично перед вами я всячески виноват, но вас-то не отделить от Лазарева. А если вы для Лазарева были козырем, тогда все оправдалось. Поймите — *оправдалось*. Поэтому я и не жалею ни о чем.

Кузьмин устало кивнул:

— Ваше дело.

— Поэтому и не радуюсь. Все правильно, это и плохо. Вот как... А вас я не осуждаю...

— Меня-то чего осуждать? — взметнулся Кузьмин.— За что? Нет уж...— Он замолчал, но Лаптев прерванной фразы не досказал, только посмотрел на него необычно серьезно, с печалью и протянул руку. Такая она была невесомо-сухонькая и холодная, что, казалось, Лаптев еле стоит на самом краю жизни, и если не удержат его, то вот-вот сорвется и исчезнет.

— Завтра, перед началом вечернего заседания,— пробормотал Лаптев.— Мы договоримся...— он шагнул в сторону, и на этом все кончилось, его окружили, взяли под руки, увели, и Кузьмин не успел спросить, что же

означали последние слова об осуждении и взгляд его, исполненный жалости и сочувствия. Как будто Лаптев посмотрел на него уже с той стороны, где не могло быть ни хитрости, ни желания одолеть. По сумме, как говорится, очков выиграл поединок Кузьмин, какого же черта Лаптев жалел его и даже прощал, с какой стати...

Стоило Лаптеву прикоснуться к прохладному желтоватому мрамору балюстрады, и словно током продернуло воспоминание. Как будто в камне старого особняка за десятилетия скопился заряд. Они стояли именно здесь с Ярцевым, Щаповым и Венделем и чиркали по мрамору пальцами, а потом карандашами. С этого зародилась нынешняя теория управления. На этой лестнице. Классическая советская школа, ныне одна из сильнейших в мире. Первый сформулировал, кажется, Семен Вендель. Этот болтливый, всегда орущий простак соображал быстрее всех. Свои мысли он раздавал направо-налево, он никогда не заботился об авторстве. Было это перед войной. Колька Щапов только что получил орден за блюминг. Эти трое были лучшие ученики Лаптева. Щапов думал глубоко и фантастично. Если б не блокада, Щапов бы устоял, блокада износила ему сердце. Перед смертью он успокаивал Лаптева: справедливость, мол, восторжествует, разберутся, всем этим проработчикам разъяснят, и Лазареву в том числе. Обидно было, что ничего этого он уже не увидит, он знал, что умирает. «Но, в конце концов, не все ли равно,— говорил он,— если можно считать, что все это вскорости будет».

Звучали голоса, Вендель брызгал слюной, размашистым жестом Ярцев откидывал со лба золотистые свои волосы. Лаптев был больше там, с этими ушедшими, чем здесь. Нынешнее интересовало меньше, чем прошлое. Кстати, он давно обнаружил, что прошлое было не мертво, оно жило и менялось. Ярцев тогда посмеивался над шумом вокруг счетных машин, он был неправ, а теперь снова стал прав. Ярцев молодец, он один из тех, кого удалось уберечь. И Несвицкого, и Кондакова. Может, они и догадываются, но толком не знают, как все происходило...

Не спеша он наблюдал за жизнью прошлого, как оно менялось. Эта жизнь продолжалась в нем. Через

него, Лаптева, продолжал жить его учитель Стеклов, а учителем Стеклова был Ляпунов... В последнее время он все явственнее ощущал эту преемственную связь, уходящую от него в глубь прошлого. Существовала и другая ветвь, направленная в будущее, ее он чувствовал слабее, да и не нравилась ему нынешняя наука...

Никто не осмелился подойти к нему. Он сидел в комнате оргкомитета, согревая лицо над стаканом горячего чая. Запах поднимался парной, банный, какой почему-то бывает у казенного чая. Лаптев подумал, что после войны он ни разу не парился в бане, не пил чай из самовара. Тут же вспомнились ему белые снарядные головы рафинада в синей хрусткой обертке, жестяные коробки чая «черный, кантонский, производство Никифора Смирнова» на полках в магазине колониальных товаров, Литейный, восемнадцать.

Множество бумаг, стенограмм, протоколов ожидало его подписи, и хотя все решалось какими-то другими людьми, но процедура считалась незавершенной без него.

Откуда-то уж совсем издалека вспомнилось, что в двадцатых годах в этом особняке помещалась Комиссия по улучшению быта ученых, сюда приезжал Горький и с ним Карпинский, и тогда Лаптев, которого Горький стал расспрашивать, вдохновенно произнес настоящую оду математике: «Все прекрасное в истинном смысле слова,— вещал он,— может быть подвергнуто математической обработке». Горький слушал его заворожено, а Карпинский дергал бровь, морщился, потом сказал: «Иллюзии это, Алексей Максимович, но бывает, что в погоне за иллюзиями юноши делают всякие полезные открытия».

Приятно было перебирать свое прошлое. Теперь, когда он почти не работал и голова была свободна, он перестал торопиться и мог наконец осмотреть прожитые годы. В этом была сладость доставшихся ему последствий. Чем же была его долгая, такая занятая, такая работающая жизнь? Был ли в ней смысл помимо его постоянного труда, ради которого он не считался ни с чем — ни с семьей, ни со здоровьем? Казалось, что должно было быть что-то еще, но что именно, он понять не сумел. Теперь, когда он перестал заниматься математи-

кой, он увидел, что ум его, которым он гордился,— уродливо однобок, а душа пуста. Он даже чувствовал себя глуповатым, прежнее его высокомерие к историкам, особенно к философам, стало стыдным. Он не представлял, как трудно размышлять о назначении человека, о так называемой душе. Была ли она у него, что с ней, не усохла ли за ненадобностью? Господи, как заросло все внутри. Он услышал далекий юношеский голосок:

Но и во сне душе покоя нет,
Ей снится явь, тревожная, земная,
И собственный сквозь сон я слышу бред,
Дневную жизнь с трудом припоминая.

Чьи-то стихи из его молодости, когда он знал наизусть множество стихов, глотал каждый новый сборник, следил за поэзией. Сегодня кумиром был Ходасевич, завтра Василий Каменский, Маяковский... А стал известным математиком, и в голову не приходило сесть читать книгу стихов. Если по душе, то Кузьмину должно было посочувствовать. Так нет, прежде всего подумалось — лазаревский кадр! В этом и вред Лазарева... Сейчас перед Лаптевым возник, конечно, чужой человек, взрослый Кузьмин, затверделый. Тому, прежнему студенту можно было растолковать тихие знаки того времени. Неразличимые сигналы помимо трубных словес и клятв, которыми защищалась каждая сторона. Слова-то произносились одинаковые: и Лазарев, и Лаптев утверждали одно и то же. И ведь искренне... Разве завтра на пленарном заседании это объяснишь? Разве кто поймет, насколько рискованной была операция по удалению Лазарева? Комиссия наезжала за комиссией. Чувствовали, что Лаптев нашел предлог, придрался, друзья его упрекали. Он же знал, что использует последний шанс, либо — либо: либо, как говорится, сена клок, либо вилы в бок. Да и не счета он сводил, а людей спасал, свою кафедру. Завтра не преминут его спросить про Кузьмина, и, как ни крутись, проглядел, не оценил его открытия,— но это признать не штука, а вот поймут ли, что он нисколько не жалеет, что все так получилось. Не так уж много было в его жизни поступков, а Лазарева изгнать — это был по тем временам поступок. Бог с ней, с наукой, наука подождет, вот она и дождалась... Тем более если подсчитать, сколько пер-воклассных работ дала после Лазарева кафедра, тот же

Ярцев, по автоматике... Так что за вычетом Кузьмина, в сумме, наука выиграла. Можно было уравнение составить. Прежде в этом уравнении все бы сходилось, теперь же появилась какая-то неточность.

Лазарев, несомненно, был клеветником, он причинил много неприятностей людям. После удаления Щапова, а затем Венделя Лазарев стал доказывать, что все это не случайно, что на кафедре идейный застой, окопались чуждые люди, он раздувал ошибки, мелкие оговорки, его ярлыки, его демагогия в те времена могли привести к трагическим последствиям. Вокруг него стала группироваться обиженная бездарь. Надо было как-то защищаться. В этот критический момент и обнаружилось со сборником... Почему, спрашивается, Лазарев пошел на риск, публикуя работу Кузьмина? Знал ведь, что борт подставляет. Значит, чувствовал ценность его работы? Кляузник, демагог, завистник, сам по себе ученый никакой, а интуиция, значит, была? Лаптев, например, Кузьмина прохлопал, увидел только недоказательность идеи, у Лазарева было то преимущество, что он знал этого паренька и поверил в его чутье. Получается, что Лазарев защищал Кузьмина ради истины? Или все же для того, чтобы укрепиться? Теперь не узнаешь. Говорят, важны не намерения, важны итоги. Кому как, теперь ему интересны именно намерения Лазарева. А насчет намерений неясно, данных не хватает. Уравнение не решается. Нравственные задачи вообще самые сложные. Нравственная задача предполагает выбор: что лучше — как поступить — кто прав. Был ли выбор у Лазарева? Тут не отвлеченная задачка, важно еще, кто решает, в каких условиях... Может, Лазарев не просто низкая личность, может, было в нем что-то и другое. Ведь было же оно в молодости, когда он первый учуял значение той знаменитой работы Лаптева по анализу и прислал восторженное письмо. И ведь был момент, когда Лазарев упрашивал напечатать работу Кузьмина, да, приходил, уговаривал, а Лаптев отмахнулся — вздор! И даже когда Лазарева уволили на пенсию, он продолжал настаивать на правоте Кузьмина, упоминал его, кажется, в своих письмах-жалобах. Ярцева это растрогало, Лаптев же сказал: «Наука не мешает человеку быть подлецом, но подлость мешает человеку быть ученым». Не верил он Лазареву, не хотел учитывать никакие его плюсы... Он повторил эту фразу публично, на заседании

в честь присуждения ему и Шапову (посмертно) Ленинской премии. Собралось много народу. Окна были раскрыты. Пахло яблоками. Стекла высоких шкафов слепили закатным солнцем. В углу, у дверей, в костюме цементного цвета, сидел Лазарев, совсем больной, и все записывал. Но это уже было не страшно. Те самые работы, на которые он нападал, были отмечены премией.

Глядя на него в упор, и повторил Лаптев ту фразу, чтобы всем было ясно: «Наука не мешает человеку быть подлецом...» Рядом с Лазаревым сидела девушка. У нее были такие же, как у Лазарева, ярко-серые глаза. Он понял, что это его дочь, что она привела Лазарева. Лицо ее исказилось. Она беспомощно оглянулась. Некоторые смотрели на них, кто-то показывал соседу, шептал. Она закрыла лицо руками. Не стоило при ней...

Вряд ли у кого еще сохранился в памяти этот яблочный осенний день. Тех шкафов и того зала давно нет. На том месте построено другое здание. В нем самом, в Лаптеве, тоже многое перестроилось, и неизвестно, зачем память тщательно хранит этот день.

Но был же какой-то сокровенный смысл во всех этих давних ошибках, битвах. Это ведь были не огрехи жизни, а сама жизнь. Исправить ее он уже не мог, он мог только пытаться понять ее. Странная штука, он всегда так боялся смерти и совершенно к ней не готовился. Лишь с тех пор как шум жизни стал в нем стихать, он начал приводить в порядок свои дела. Рассказал на семинаре о своих накопленных идеях. Собрал какие мог части работы, заметки Шапова, Венделя, восстановил кое в чем их авторство, написал о Стеклове, о Смирнове... Было куда как мило: старец, уходя, благословлял, оделял своим наследством.

Встреча с Кузьминым нарушила эту благостную церемонию. Словно выдернули какой-то клинышек, и все зашаталось, поползло, кособочась. Должен ли он помочь Кузьмину или должен еще раз попытаться остановить его? Что лучше — искупить свой грех либо подумать о Кузьмине, о ненужных хлопотах, надеждах и всяких сложностях, на которые Кузьмин себя обрекает? Сомнения терзали Лаптева бесовскими когтями. Будь Лаптев человек религиозный, может, было б проще — он обязан был бы позаботиться о своей душе, о совести, очиститься. Но он готов был пренебречь своей душой

и поступить как можно лучше для Кузьмина, однако как это сделать, он не знал. Мало, оказывается, хотеть сделать лучше, надо еще знать, как это сделать. Математика не могла помочь ему, ни опыт анализа, ни опыт систематики, ни опыт логики.

III

Чем ближе он подходил, тем старше она становилась. С каждым шагом она старела, руки старели, шея морщинилась, волосы теряли блеск. Только рот оставался молодым, такие же яркие, капризно изогнутые губы и чистые ровные зубки.

Кузьмин медленно спускался по лестнице, а ощущение было такое, как будто он поднимался, восходил; вдруг он подумал: разве можно сказать, куда ведет лестница, вверх или вниз... Так же и с этой женщиной, какой она стала — приблизится он или отдалится, кого он встретит и что произойдет сейчас, ведь то, что между ними было, было совсем с другими людьми.

— Аля,— произнес он,— Аля...— Звук этого давно не произносимого имени взволновал его.— Вот наконец освободился, прошу прощения...— и всякие слова, какие положено в таких случаях, но эхо ее имени продолжало отдаваться где-то внутри.

— Ничего, Павлик, я вас с удовольствием ждала.

От этого точно как прежде «вас... Павлик» стало легче, и можно было обращаться к ней на ты, как к той девчонке.

Нет, не затихало эхо, усиливалось, словно один за другим отзывались колокола дальних звонниц.

Она нисколько не стеснялась своих морщин, спокойно подставляла себя под взгляд. Взамен бесстыдной девчонки с большим хохочущим ртом была женщина, уверенная в себе, знающая свою женскую силу. А между ними располагалась целая жизнь, лучшая ее пора, которую он так и не увидел, о которой не имел понятия. Слышал только, что вскоре после смерти отца она уехала в Москву к своим теткам, а потом... Что же было потом?

— Потом было много всякого,— спокойно сказала Аля, вроде без всякой улыбки, и все же где-то смешок, усмешечка прятались.— А еще потом вышла замуж за известного вам, Павлик, Васю Королькова.

— За Королькова? — Он глупо засмеялся и чуть не добавил: Васька Дудка — такое было прозвище у этого парня с их курса. Обалдуй обалдуем.

Аля не обиделась на его смех, только улыбнулась как-то криво.

— Ну, как я выгляжу?

— Дивно, — искренне сказал он. — Послушай, это ты меня внесла в список?

Она ответила неопределенно, ей, мол, известно, хотя сама она была занята...

— Я вас, Павлик, искала в холле, но тут приехали американцы и меня позвали, я помогаю в оргкомитете. Вот, возилась с ними, устраивала. Хотят пойти на Вознесенского. Наслышаны.

— А-а, — протянул Кузьмин, понятия не имея, что это за Вознесенский.

Она сказала еще про Большой драматический, выставку молодых, о которой он тоже не знал. В той несостоявшейся его жизни были, разумеется, и этот Вознесенский, и театры, и приемы, и выступления на конгрессах. Он все успевал бы, то есть не он, а тот, другой Кузьмин, вел бы культурную, разностороннюю жизнь...

У нее были, наверное, заграничные духи — острый запах, полный свежести, сквознячка, и вся она выглядела свежо и молодо. Странно, теперь, после первых минут разочарования, она стала как бы молодеть, а он стареть. Если бы он встретился с Алей сразу, на улице, у подъезда, он, может, и почувствовал бы ее превосходство, но сейчас, после Нурматова, он на все события смотрел с чувством приятной доброты.

— Откуда ж ты знала, что я пойду на секцию? — спросил он, чтобы все же проверить. Она могла и не слышать про доклад Нурматова, про то, что произошло и кем он стал за эти часы.

Но она кивнула, подтверждая:

— Как же иначе. Это ваша секция, Павлик. Вы выступали? — Она держалась почтительно и по-хозяйски.

— Нет, я там поспал, а потом тихонько ушел.

— Поспали?

— Скучища.

— Ладно, ладно, не изображайте... Почему вы, мужчины, всегда стыдитесь быть счастливыми?..

Она была неколебимо уверена, что он счастлив. Она была рада, что все так удачно сложилось, рада за него и за своего отца. Ее интересовали подробности. Она проверяла, как все произошло. Как они встретили Кузьмина?

— Непродолжительными аплодисментами,— сказал он.— Приветливо встретили, но все же скромно.

Аля внимательно посмотрела на него.

— Павлик, вы представились им?

Почему-то ее прежде всего занимала эта история.

— Они и так узнали меня,— сказал Кузьмин.— По портрету. В прошлом году был напечатан в тихвинской газете. Не видела? Пуск Череповецкой ГЭС. Я там третий слева.

Она безулыбчиво покачала головой, взяла его под руку и повела мимо буфета, через бюро стенографисток, в маленькую комнату, где было тихо, горел красный свет в старом камине. Они сели в глубокие кресла. Аля сказала кому-то: «Передайте, что я здесь»,— и приступила к Кузьмину уже всерьез. Она все еще не верила, что он не объявился, допытывалась, почему, так и не спросив о семье, где он, как он, что делает, ее лишь интересовало, неужели он скрыл и не сказал, кто он.

— Как же так? — не переставала она удивляться, все еще не веря и сомневаясь.— Почему? Нет, Павлик, вы серьезно? Что же там произошло?

— Да ничего не произошло.

— Нет, но вы же там присутствовали? Как же вы промолчали? — Она все сильнее огорчалась, недоумевала. Ее забота несколько смягчила обиду Кузьмина.

— Ах, вот что,— вдруг сообразила Аля,— понимаю. Вы, Павлик, расстроились. Верно? Небось махнули на все рукой. Еще бы, столько лет... Да, это ужасно, столько лет пропало. Если бы сразу... Вы могли достигнуть... Во всяком случае, стать замечательным математиком...— Она жалеючи, каким-то знакомым царапающим движением поскребла его рукав, глаза ее были полны сочувствия. Кузьмин все больше узнавал ее.

— Такая работа, такая блестящая работа,— расстроенно повторяла она.— До чего ж обидно. А сколько других работ вы смогли бы сделать... Папа был прав. У вас, Павлик, исключительный талант,

— Был.

— Не знаю, не говорите так. Я не могу это слышать. Такое не пропадает, не должно пропасть, это в крови...

Она защищала его с горячей заинтересованностью, как будто знакомство их не прерывалось, как будто дела Кузьмина оставались для нее самой насущной заботой. Она верила в него, она восхищалась им — дурманная сладость была в ее словах, сомнения, вселенные Лаптевым, рассеивались. Он слушал описание своих упущенных званий, степеней, исследований, и ему хотелось верить, что все так и было бы, и, может, стоит об этом пожалеть, но, кажется, это еще поправимо, многое можно вернуть, наверстать...

— Ну-ну, ты наворачиваешь, — опомнился он. — Если бы да кабы... Могло быть, а могло и не получиться. Одной той работы мало...

— Нет уж, вы поверьте мне, Павлик, — с ласковой твердостью сказала Аля. — За меньшие работы докторами становятся. Способности — это не самое главное. — На какой-то миг она забыла про свое лицо и стала похожа на Зойку-наладчицу, нахальную пробивную бабу, которая чуть что кричала: «Все делаши, все хапуги, я по себе сужу».

— Откуда ты всё это знаешь?

— Я? Кому же знать, если не мне, — усмешка прогнула ее накрашенные губы, — я этого нахлебалась... вот. Между прочим, даже я стала доцентом.

— Почему *даже*? Скромничаешь? А вообще, ты стала... такая дама. Теперь ты как — Королькова?

— Нет. Лазарева. Доцент Лазарева. Не хуже других, хотя способностей не чувствую. Это благодаря Королькову удалось выйти на орбиту. Послушайте, Павлик, о чем вы говорили с Лаптевым?

— Так... вспоминали.

— Он про вас знает?

— Я сказал.

— И что? Как он?

Кузьмин неопределенно пожал плечами.

— Простите, Павлик, вы, конечно, не обязаны мне отчитываться, — она помедлила, ожидая возражений, но Кузьмин молчал. Щеки ее неровно покраснели, она сглотнула и продолжала твердо: — Как вы понимаете, Павлик, я имею некоторое право интересоваться, все это касается и меня.

— Да я не потому,— сказал Кузьмин и попробовал, осторожно обходя связанное с Лазаревым, передать их разговор, те чувства жалости, и восхищения, и удивления, которые вызвал у него Лаптев, и душевную путаницу от противоречивых его суждений.

— И это все? — холодно спросила Аля.— Вы что же, собираетесь простить его? За какие подвиги? Что он совершил такого?

Он виновато посмотрел на Алю. В самом деле, почему в душе его не осталось ненависти к Лаптеву, исчезла мстительность? Куда она делась? Но все же Лаптев согласен выступить, сообщить о Кузьмине, предоставить ему слово, нет, нет, он не вредный старик, он, вообще-то, мог послать Кузьмина подальше со всеми претензиями.

— Значит, вы, Павлик, решили не портить с ним отношений,— вывела Аля.— Он за вас словечко замолвит, и дело с концом, ему можно ни в чем не каяться. Ай да Лаптев, ловко он откупился. Взаимно выгодная сделка, оба вы с прибылью, оба...

— Да вы что, сговорились?! — взорвался Кузьмин.— Какая еще сделка? Не желаю слышать.

— Придется! Нет уж, Павлик, я ведь и вас щадить не стану...— Белое лицо ее затвердело, стало гладкое и холодное, как кафель.— Так что не надо. Переоцениваете вы Лаптева, практически не у дел он. А себя вы недооцениваете... Вы-то уж не студентик, чего вы боитесь? Не сможет он нынче повредить, не укусит, откусался,— она наклонилась, приблизилась лицом, так что глаза ее расширились и там в черной глубине колыхнулась скопленная годами ненависть.— Его сейчас надо бить, сейчас, не вдогонку за гробом, а пока еще на коне, на трибуне!.. Вывернуться хотел? Прикинулся беспомощным. Понадеялся, что мы отпустим грехи за давностью. Нет уж! Я хочу посмотреть, как он будет извиваться!

— Послушай, Аля, зачем ты так?

— И не просите, Павлик! Да как у вас язык поворачивается, самолюбие где ваше? Забыли, как он глумился над вами? Вы что думаете, он заблуждался? Как бы не так. А что он сделал с папой? За что он его из института вышвырнул? Разве это справедливо было? Если бы не он, отец, может, жил бы еще. И у меня вся жизнь наперекос... Знали бы вы, как он при всех, сияющий, награжденный... Я привела отца, чтобы поздравить Лап-

тева, уговорила отца, а Лаптев при всех его придавил каблуком... Меня, дочери, не постеснялся! Это я только теперь понимаю, какие муки отцу, что такое при мне... Почему это я прощать должна? Где это сказано? Да я и права не имею прощать, перед отцом своим не имею.

— Может, через столько лет и Лев Иванович...

— Он — да, он мог простить, а я не имею права. А вы, как вы, Павлик, могли за счет папы сговориться... Он так в вас верил... Павлик, вы знаете, он до последнего дня ждал, что вы вернетесь. Он писал вам, помните, несколько раз, а вы даже не ответили. У него была договоренность, что вас возьмут в университет...

Совершенно верно, приходили письма. Кажется, он получил их с опозданием, то ли он уезжал, а может, его уже перевели в Заполярье.

А здесь, оказывается, ждали его. В полутемной квартирке Лазаревых, на Фонтанке, окна на набережную, первый этаж. Там были сводчатые потолки, толстые стены и широченные подоконники, на которых стояли бутылки с луковицами.

...Он приехал в первую в жизни командировку. Полный чемодан трофейных реле и связка воблы. Когда в гостинице сказали, что мест нет, он долго не мог понять — у него же командировочное удостоверение, он приехал по государственным делам!

У Лазаревых он прожил больше месяца. Сидел в лаборатории, снимал характеристики реле. Спасибо, что разрешали. Выпросил за воблу. Возвращался иногда поздно, парадная была закрыта, и Кузьмин влезал через окно. Аля ставила чай, а Лазарев, покачиваясь в скрипучей качалке, долго язвительно попрекал Кузьмина и обличал своих врагов. Он называл Кузьмина отступником, карьеристом, который продался за чечевичную похлебку быстрого успеха, изменил своему таланту. Но никогда не винил Кузьмина в своих неприятностях. Его уже «ушли» из института, и он писал протесты, давал уроки, вел кружок юных математиков, вычитывал чужие корректуры. Кузьмина винить в этом — чести слишком много. Лазарев напечатал его работу ради науки и не жалеет. Лазарев принес себя в жертву, он мученик, он страдает за веру. Рано или поздно его признают. Он восторжествует над злопыхателями, вредителями,

идолами, оппортунистами, над этой сворой во главе с Лаптевым.

Аля стелила Кузьмину постель в своей комнате, сама она спала в столовой, рядом с отцом, на коротком диванчике.

— ...Жарков, его ученик, получил кафедру и обещал вас взять. Вы, Павлик, могли поначалу жить у нас. Мы все продумали. Я была уверена, что вы вернетесь к математике...

Перед сном они шептались в ванной. Большая ванная комната с красной колонкой была превращена в кладовку. В эмалированной чаше ванной лежала картошка, у стен стояли доски, сушили дрова. На синих изразцах повторялись домики с острой крышей, из каждого выходила девушка. И в комнате печь была изразцовая, он до сих пор помнил ладонями ее скользящую теплынь.

— Ты помнишь, какая была у вас печь, изразцы? — сказал он.

Аля сбилась, замолчала.

— Зеленоватые, фигурные, — растерянно подтвердила она и закрыла глаза, вспоминая. Лицо ее потеплело. Она спросила, помнит ли он, как они прощались. Он не помнил.

Она вздохнула.

— Как вы мне нравились, Павлик! Вы говорили мне такие слова, — она удивленно засмеялась.

— Хорош был гусь.

Вся эта сцена прощания, наверное, сейчас стоит у нее перед глазами, и там он, молодой, чубатый, в длинном старомодном плаще. Завидно; сам он ничего увидеть не мог, для него все забылось, пропало.

— ...Я и на математический пошла, чтобы утешить отца. Я думала, что мы с вами, Павлик, будем вместе... Будем работать...

Она перебирала свои мечты без грусти, иногда покачивала головой, как над забытыми детскими игрушками. А Кузьмин пытался прикинуть, каким он тогда представлялся ей: уже взрослым, настоящим мужчиной, приехал откуда-то с Севера, хвастал, наверное, строганиной, тузлуком, северным сиянием. Талантливый, но легкомысленный, не знающий себе цены, — это отец напел ей.



Спустя столько лет и вдруг узнать, что, кроме той жизни, какую он вел, где-то существовала другая его жизнь, которую кроили, рассчитывали, обсуждали, и эта несостоявшаяся судьба его, оказывается, как-то влияла на поступки людей, о которых он и забыть забыл...

Выходит, не то что «если бы да кабы» или «допустим-предположим», а для него все было заготовлено впрок; колея проложена, и, не закрутись он тогда на

Севере, приехал бы в Ленинград, и Лазарев доломал бы его поступить в аспирантуру.

Словно бы развернулся перед ним пожелтевший проект его собственной жизни, случайно не осуществленный. Не эскизный, а детальный, где все размечено — аспирантура, защита кандидатской, работа на кафедре, предусмотрена и докторская, и работа по НИСу, лекционные часы, денежки... Только сейчас он стал понимать, какую жизнь он потерял, совсем иную, чем он вел, — вдумчивую, глубокую, плотно заполненную трудом, наедине с бумагой, книгами...

— Уж кто-кто, а вы, Павлик, имеете сегодня полное юридическое право потребовать свое. В конце концов, это же действительно ваше, собственное, недополученное. Доложит о вас Несвицкий, по его секции, я это организую, и плевать вам на Лаптева, ничего вы ему не должны...

Какие-то неизвестные ему воспоминания, какие-то минувшие чувства делали сейчас Алю яростной его защитницей. Она убеждала его со всей силой и гневом.

— Чего вы боитесь? Ну чего? Надо воспользоваться моментом. Сейчас самый раз.

Она бралась все сделать так, чтобы он ни о чем и не заботился. Только выступить, объявиться, ничего больше от него не требуется. И, глядя на ее гибкие сильные руки с вишневыми ногтями, Кузьмин понимал, что у нее получится в лучшем виде. Было заманчиво довериться, встать на ступень эскалатора, и плавно подниматься... Еще приятней было, что есть на свете кто-то заинтересованный в нем самом, в его славе, успехе. У Нади это получалось не так, Надя не вызывалась помочь, она скорее руководила им, решала за него, вмешивалась. Обижалась, если он не слушал. Она считала, что он заслуживает большего, раздражалась на то, что он не умеет добиться... Как всегда, думая о ней, он досадовал и на себя, и на нее. Мысленно он сравнивал их, и дело было не в том, что Аля была моложе и красивей, — на такое Кузьмин не клюнул бы, — Аля была еще частью другого мира, интересного, значительного, деятельной, наглядной частью той несбывшейся его жизни. Она была как бы заложена в том проекте.

— ...Что было, то сплыло. У меня в голове, Алечка, глубочайший вакуум. Я в математике уже ничего не по-

тяну. Поздно. Забыл. Мозги уже на другое приспособлены.

Она не отмахнулась, а оглядела его оценивающе и осталась довольна.

— В математике не обязательно заниматься математикой. Уверяю вас, Павлик. Если бы... Да и никто от вас не может требовать. А какие-то общие положения — так это за несколько месяцев. Я берусь. Тут важно другое...

Действовали не слова, а убежденность, она и голоса не повышала, сидела в кресле, спальчив руки, иногда чуть наклонялась к нему, уверенность ее действовала завораживающе. Он любовался этой волевой, мудрой женщиной, кто бы подумал, что из того заморенного утенка вырастет такая... Впрочем, он мог гордиться, он тогда уже заметил ее, что-то в ней было... Какой-то бес в ней играл. Открытые коленки ее отливали тугим яблочным блеском. Все в ней стало вызывающим, поддразнивало. Тогда, в ванной, она вела себя вольно и позволяла делать с собою что угодно. Что его все-таки удержало? Почему у них разладилось?..

Он со злостью подумал о том, что, в сущности, это Надя уговорила его окончательно бросить математику. Она уверила, что наука не для него, не его стихия.

— ...Вы, Павлик, заслужили пожинать плоды. Что тут плохого? Лучше вы, чем кто-то другой заработает на этом. С какой стати? А представляете, какой фурор произойдет! — Она расхохоталась, и Кузьмину тоже стало весело. Господи, почему бы не повертеть руль своей жизни, подумалось ему. И тут же Аля сказала: — Что вы так серьезно к этому относитесь? Такие все стали шибко ответственные...

Когда он вернулся в Ленинград, Лазарев уже умер, Аля уехала, квартиру заняли какие-то молодожены. Одно время Кузьмин ходил с работы по Фонтанке, мимо того дома, и засматривал в знакомые окна. Там сушились пеленки, кричало радио. Были те же обои и та же печь. Никто не знал и не помнил, что здесь жил Лазарев. Впервые, кажется, Кузьмин пожалел об этом странном человеке, который по-своему любил его, несомненно любил, а Кузьмин относился к нему пренебрежительно, тяготился его попреками, поучениями; за-

нудный старикан, неудачник, бедолага — вот кем был для него Лазарев. Честно говоря, даже чувства благодарности он не испытывал. Лазарев тяготил. С ним надо было держаться настороже, по малейшему поводу он обижался, требовал разъяснений, извинений, Кузьмин быстро уставал от его воспаленного самолюбия. Особенно в ту командировку. После Севера, отчаянной самозабвенной работы, этот Лазарев со своим брюзжанием и соблазнами выглядел отсталым от жизни, поглупевшим. На Севере города еще сидели на голодном пайке, без электроэнергии. В часы «пик» приходилось вырубать фидера лесозаводов. На Кузьмина наседали и сверху, и снизу. За военные годы энергетики привыкли не считаться ни с какими правилами, ставили трансформаторы без фундаментов, на бревна, на камни, перегружали сети, вешали аварийные временки, все кое-как, на соплях — не хватало мощностей, материалов... Энергетики должны были изворачиваться, но в то же время они были хозяева положения, директора предприятий ломали перед ними шапки, выпрашивая хоть десяток киловатт. И вот теперь он, Кузьмин, должен был приводить их, героев военных лет, в чувство, ставить на место. Он лишал их власти. Он хотел привести сети в соответствие нормам, требовал от энергетиков и от начальства всего того, что было положено. И те, и другие были недовольны им, но ему нравилось воевать на два фронта, он шел напролом. Не вводил подстанции без релейной защиты. Не допускал перегрузок. «Стройте новые линии», — отвечал он на просьбы и упреки. И в то же время он производил рискованнейшие включения... Рассказывать об этом Лазареву было бесполезно.

— Вы кем сейчас работаете, Павлик?

— Обычное монтажное управление, каких десятки, а может, и сотни. Всесоюзного значения не имеет. Кабинет маленький. Секретарша. Правда, она же машинистка и завхоз. Комфорта нет. Чай, кофе не приносят. Журналисты не бывают.

— Дальше некуда, — сказала Аля. — Куда вы попали? Ни минуты нельзя там оставаться... — Она шутила, смеялась, а потом разом посерьезнела. — Чего жалеть. Конечно, привыкаешь, любая работа может доставлять удовлетворение, — наблюдая за Кузьминым, она как бы

подбирала верную ноту.— Особенно талантливому человеку. Талант, он всюду талант. Но теперь, когда все выяснилось, теперь-то какой вам смысл?.. Что вам дала ваша работа?

— Ничего,— сказал он.

— Вот видите. А помните, как вы мечтали получить орден?

Они оба улыбнулись одинаковыми улыбками.

...Следовательно, он в тот приезд так и мечтал, и не стеснялся признаваться.

— Послушай, Аля, а как это было?

Переносица ее чуть сморщилась, все эти отвлечения, воспоминания не входили в ее план, но, не показывая вида, она рассказала, как он хвалился своим назначением, он был упоен тогда своей властью: шесть машин, рации, вызовы в обком...

— У папы записаны ваши высказывания, Павлик: «Солдаты свое дело сделали, теперь спасают страну инженеры». Папа спросил: «А как же ученые, они ведь сделали атомную бомбу?» Вы на это сказали: «Бомба, да, но она нас не накормит и не согреет. Сейчас людям нужны самые элементарные блага».

Неужели он так и сказал — «блага»? Это было совсем не его слово. Но Лазарев записывал точно. Лазарев сидел за большим обеденным столом. На одной половине ели, на другой лежали книги, конспекты, там Лазарев занимался. Он хохлился в меховой солдатской телогрейке, говорил с ужимочками, ехидством, но все его доказательства оборачивались против него самого, потому что какой же смысл было обрекать себя на подобное прозябание? «Все это прекрасно,— думал тогда Кузьмин,— но чего вы добились, дорогой учитель? Чего достигли?» А он, Кузьмин, был нужен, его ждали, он командовал сотнями людей, тысячами и тысячами киловатт... Орден ему все же дали. Через два года.

— Вот видите,— повторяла Аля.— Что же вас теперь держит? Я не пойму. Чего-то вы недоговариваете,— она слегка раздражалась, еле заметно. И какая-то была нетерпеливость в ней, иногда она поглядывала на раскрытую дверь, прислушивалась к голосам в соседних комнатах.

— Так-то так, Алечка,— сказал Кузьмин.— А, собственно, что ты уж больно озабочена моими делами?

— Потому что это несправедливость. Мне за папу

обидно, что он не дожил. Не узнал.— Витая пружинка волос у ее виска качнулась, и Кузьмин, подобрев, сказал:

— Вот это другое дело.

— Нет, не другое,— тотчас с новым накалом подхватила Аля.— Вы, Павлик, напрасно меня отделяете. Папа не узнал, зато я узнала. Во мне все теперь всколыхнулось. Ведь я потом, когда вы, Павлик, не вернулись, я ведь тоже разуверилась в отце. Занималась анализом по Лаптеву. Прятала его учебник от отца. Жалела его, считала, что у него пунктик. Короче, я тоже его предала... Поверила Лаптеву. В этом-то мерзость... Папа это почувствовал, вида только не подавал. А перед смертью тетке, сестре своей, сказал, что Алечке так легче прожить будет, пусть думает, что все правильно, по заслугам и почет, отец убогий, юродивый, только жалко, когда узнает, что отец-то прав был, расстроится и клясть себя будет. Вот что мучило его. Он про нынешний день беспокоился.

Голос у нее вился ровно, с легким дымком, как стружка на станке, и глаза смотрели на Кузьмина не мигая.

— А больше он ничего не говорил?

— То есть?

— Значит, он считал, что... словом, ни в чем не виноват?

— Виноват? В чем?

— Нет, я так,— сказал Кузьмин, напуская рассеянность.— Я про Лаптева.

— Что именно?

Руки ее вцепились в подлокотники, глаза, обведенные синью, смотрели накаленно, с недобрым блеском. Она замерла, готовая броситься защищать отца. Неужели она не знала про то, что творилось на кафедре? И сам Лазарев никогда не обмолвился? И никто кругом? Или же Лазарев дома все это преподносил по-своему? А может, у него были какие-то оправдания? Может, он верил, что в математике идет классовая борьба, что Лаптев проповедует идеализм?

Вся сила встревоженной, обеспокоенной любви к отцу была сейчас в ней, в единственной его дочери, которой он заменил умершую мать, вынянчил в блокаду. И эта ответная, запоздавшая, но оттого нерассуждающая любовь сжигала все возражения.

Какие доказательства, в конце концов, были у Кузьмина?

Он поднялся, подошел к камину.

— Ну бог с ним, с Лаптевым... дался тебе этот старец.

Он взял ее прохладную руку, потянул к себе так, что Аля поднялась.

— Оставь Лаптева в покое. Столько лет прошло. У них с отцом были свои счеты. Нам их ныне трудно судить.

— А кому же судить? Кто вместо нас, нет уж, извините,— она сжала его пальцы.— Я ж одна у отца, больше никому заступиться за него. Я обязана его реабилитировать, это мой долг.

— В чем реабилитировать? — чутко вскинулся Кузьмин, и Аля отняла руку.

— Они его считали неудачником! Они хотят, чтобы так и остался он для всех навечно неудачник, бездарь. Им выгодно, чтобы он сгинул в неизвестности. Концы в воду. Потому что, если сейчас все выплывет, тогда надо признать, что он был прав. А это что значит? Понимаете, Павлик? Что они виноваты. Поэтому они ни за что. Они на все согласны, лишь бы было шито-крыто. Боятся, как бы преступление не обнаружилось. Они и вас готовы угробить. Думаете, Несвицкий напутал про Кузьмина? Я уверена, что специально такой слух распространили.

— Ну, ну, Алечка, это ты накручиваешь.

— Эх, Павлик, вы их не знаете. Как папа от них страдал! Он плакал по ночам. Кругом него... его не любили. Думаете, я не в курсе? За то, что он не был соглашателем, за то, что он боролся за молодых. За Лядова, за Раевского, за вас, между прочим. Я к нему трезво, я объективно, не потому что мой отец. Думаете, он не знал, что́ ему грозит, когда он печатал вашу статью? Знал.— Пылко-вишневый жар высветил изнутри ее шею, щеки.— У него написано было в тетрадке эпиграфом: «Буду стоять у позорного столба, пусть грязью кидают, плюют, готов, все вытерплю, потому что страдаю за истину. И слава богу, что есть за что пострадать!» Мучился и радовался. А вы, я же понимаю, Павлик, вы стесняетесь вступить за него, предаете...

Пламя, что гудело в ней, ожгло и его незаслуженной

обидой. Он-то щадил, заслонял ее от папенькиных дел, а она, не разобравшись, лупила наотмашь...

— Ты вот что, Алечка, ты не наступай... Твоей заслуги во всем этом деле — нет. Ты доцент — вот и занималась бы... А на готовое мораль напускать — это мы мастера. Льву Ивановичу эта бодяга не нужна, не воскресит. Это все тебе нужно. Как же, дочь того самого Лазарева, учителя того самого Кузьмина, семья потомственных математиков! Вот и вся твоя забота обо мне. Я-то думал, чего ты бьешься. А ты за себя хлопчешь!

— Замолчите! Как не стыдно... Да что ж это такое... Вы, Павлик... все, все перевернули! Выгородить себя хотите!

Оглохшие от злости, не слыша друг друга, они неуступчиво наскакивали, схватываясь все с большей яростью. Кузьмин уже не мог сладить с собою, хваленая его выдержка рухнула, перед ним дергался ее большой лягушачий рот, душил приторный запах косметики, хотелось схватить ее за руки, стиснуть, чтобы хрустнуло, чтобы оборвать ее сверлящий голос, чтобы она наконец заплакала. Почему она не плакала?

Угадала она или подчинилась его мыслям, но вдруг сникла и, бесслезно всхлипывая, сказала:

— Простите меня, Павлик. Я не должна... Нервы у меня... Я, может, преувеличиваю отца. Наверное. Он был для меня всем. Он меня выкормил. Это я только теперь понимаю, как трудно ему было. Может, он из-за меня и не сумел стать... Вы ни при чем. Это я виновата.

Злость Кузьмина разом схлынула, перед ним открылась любовь, завидная, нелегкая. В душе он обругал себя; существует ведь честь отца, честь фамилии, и, слава богу, что Аля бьется за эту честь, хорошо, если бы сыновья Кузьмина когда-нибудь вот так же отстаивали его. Простая эта подстановка чрезвычайно Кузьмина впечатлила: поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Давно известная эта истина была одной из тех житейских истин, которые он любил приводить, а вот к своей собственной жизни почему-то не применял.

Лазарев был для нее всем — и отцом, и матерью; с ней он был добрым, нежным, страдающим, она не знала его таким, каким он бывал на кафедре, — желчным, с тягостной подозрительностью. Все время хотелось пе-

ред ним оправдываться. Скрюченный, желтый, полусогнутый в каком-то извороте, как бы что-то выглядывая, Лазарев внушал страх...

Но, слушая Алю, вспоминалось и другое: как Лазарев весело и ловко готовил дома голубцы, колдовал над латкой, прицокивая языком, как подкладывал в тарелку Але, и в эти минуты желчность его, скрюченность превращались в уютную ворчливость старенького заботливого домового.

Они существовали порознь, отдельно: домашний Лазарев и институтский Лазарев, сложить их Кузьмин не мог и не знал, что ответить Але, не знал, кем же он был для него, его учитель.

Умирал Лазарев тяжело, рвался из смерти, как из капкана. Болезнь свою ненавидел, убежденный, что его болезни радуются враги, болезнь их союзница, что это недоброжелатели напустили на него порчу. До последней минуты он видел себя жертвой, считал, что погибает за истину.

Неизвестно, зачем Аля рассказывала про это. Обдуманность ее речи нарушилась, она не старалась, чтобы Кузьмин понял: какие-то наволочки, медный Будда, клюквенный морс, книга Иова захлеб перемешались в ее рассказе.

Пожалуй, только про Иова он кое-что догадался. Когда-то Лазарев пытался рассказать ему испытания, постигшие Иова, и как Иов сохранял, несмотря на страдания, свою веру. Какие там были испытания, забылось, помнил Кузьмин только общую идею, и то странно помнил, вместе со словами Лазарева: «Слабый не должен быть добрым». Считал ли Лазарев себя слабым? К чему он это сказал?

Ныне, всплыв из прошлого, Лазарев напоминал тех изобретателей, что время от времени настигали Кузьмина. Изобретатели были особые люди — как правило, трудные и святые. Среди них не было плохих или хороших, изобретатели — это состояние, в которое попадали самые разные люди, и состояние это для них одинаковое. Самые деликатные, робкие — с той минуты, как они изобрели, — преображались. Они шли как одержимые, ни перед чем не останавливаясь, ничего не боясь. Изобретение владело ими, оно заставляло их действо-

вать. Конфузились, стыдились своей настырности и ничего не могли поделать. Они — единственные на земле — знали, как лучше сделать то-то и то-то, это придавало им силу, волю, пока им не удавалось пробить свою идею. После этого они быстро возвращались к прежним своим натурам.

Почему же Лазарев мучился, страдал за идею Кузьмина, а сам Кузьмин нисколько? И не вспоминал, и только досадой отзывался на лазаревские уговоры? А вот Лазарев действительно мог терпеть ради чьей-то чужой работы. Все-таки это редкое качество, растроганно думал Кузьмин.

Он обнял Алю за плечи. Она не удивилась, ощутив его жажду утешить. В груди Кузьмина что-то повернулось, очистилось, на мгновение приоткрылась щель, и там, вдали, в солнечно-пыльном луче, он увидел себя, каким он был тоненьким, быстрым, юношеское лицо свое, пылающее восторгом жизни, он показался себе прекрасным, он понял, что тот Павлик Кузьмин и есть он, горячее дыхание юности слилось с теплом Алиного плеча...

Наверное, Аля и впрямь любила его. Почему они расстались? Почему он отказался от нее? А ведь что-то было, что-то происходило и произошло тогда...

IV

— Что я вижу! Моя законная жена в объятиях... и кого! Попались! О, неверная! — с театральным весельем сыпал Корольков, оставаясь в дверях.

От него исходило преувеличенное благодушие и приветливость занятого человека, улучившего приятный перерыв.

Аля не отстранилась. Прижавшись друг к другу, они из двадцатилетней давности оглянулись на это непрошеное вторжение. Тихий студентик Корольков, как порозовело, налилось соками его длинное лицо, обтянутое когда-то серой угреватой кожей. Он тогда был бесцветно-робкий, с постно поджатыми бледными губами, воплощенная старательность, и голос у него был не нынешний баритон, а скрипуче-виноватый. Типичный зубрила, грызун науки, которая действительно была для него гранитом. Ныне он стал важен, располнел, особенно книзу, бедрами, задом. Полированный зачес, уложенный волосок к волоску, закрывал лысину. Безукоризненно сидел

на нем синеватый костюм в крупную клетку, не официально-вечерний, в меру помятый и в то же время строгий, деловой. Все на нем было продумано: полосатенькая рубашка, широкий, но не очень, галстук, суровая морщинка между бровями и скромные очки интеллектуала.

Вопросы, восклицания... не ожидая ответа, он вспоминал одноклассников, шурился в смехе, и черные зрачки его, сверяясь, поглядывали на Алю.

Она затуманенно, не слыша ни его, ни себя, отошла, присела на ручку кресла и стала смотреть на них обоих. Она явно их сравнивала. Она удалилась в ложу, оставив их вдвоем на сцене. Она сравнивала их фигуры, костюмы, манеру говорить, их усмешки и подстрекающе молчала. Может, от этого разговор их быстро заострился. Корольков высказал сочувственное удивление небольшой должностью Кузьмина: монтажное управление, да еще номер 183, сколько же их? И как же так получилось, слухи ходили, что Кузьмин шел чуть ли не на замминистра...

Тут был некоторый перебор, может умышленный, про замминистра и речи не было, а вот на начальника главка Кузьмина выдвигали, существовал когда-то и такой вариант его жизни. Переживал, что сорвалось, но зато сейчас, когда Корольков, поджав губы, соболезнующе закивал, Кузьмин подумал, что с тех пор главк тот реорганизовывался, и не раз, начальство там не удерживалось, на совещаниях производственники доказывали, что главк не нужен, и тогда в главке чувствовали себя неудобно, да и работа в нем была чисто конторская. Разумеется, монтажных управлений много, так ведь и математиков много.

Но Корольков не просто математик, он доктор физико-математических наук!

Кто бы мог подумать, это, конечно, достижение, только ведь и докторов толпы, больше, чем монтажных управлений, и, значит, и главных инженеров управлений. На это Корольков неуязвимо заулыбался и сообщил, что он не только доктор (ах, если бы были возможности заниматься чистой наукой, какое это счастье!), увы, он еще советник какого-то комитета, на его плечах большая международная работа — проводить конгрессы, устраивать командировки, направлять с чтением лекций — особенно в развивающиеся страны, еще с культурным обменом, помогать налаживать по линии

ЮНЕСКО, он вице-председатель комиссии, какой именно — Кузьмин не уловил, во всяком случае, нечто ответственное, требующее дипломатии, контактности, умения устанавливать научные связи между самыми разными организациями, научными обществами... Начал Корольков рассказывать несколько заносчиво, затем нашел более выигрышный тон, небрежный, даже слегка ироничный, подтрунивающий над своими чиновными успехами.

Тем не менее Кузьмин пока что брал верх: он занял выгодную позицию слушающего, он мог хмыкать, недоверчиво щуриться. Корольков же должен был доказывать и невольно нагнетал, так что Але было наверняка неинтересно слушать его. В любом случае рассказывать о себе рискованно, тем более отвечая на вопросы. Отвечающий неизбежно теряет, он как бы обороняется. Но при всем при том Кузьмин не мог скрыть некоторого ошаления — уж очень Корольков отличался от смиренного, неказистого Дудки. Так что тут Корольков имел преимущество. Он скромно признался, что загранпоездки имели свои радости — как-никак повидал мир, язык освоил. Спросил — часто ли приходится Кузьмину выезжать за рубеж?

Однажды Кузьмин ездил в туристской группе в Югославию, да еще в Польшу, и раз в командировку в ГДР. Смешно было бы хвастать этим, поэтому он махнул рукой сокрушенно: где уж нам с суконным рылом в калашный ряд.

А язык? И язык, он только английские журнальные статейки по электротехнике кое-как переводил — не больше. Корольков на это скорбно покивал: надо знать язык, сегодня специалисту нельзя без знания языка. Мы живем в эпоху информации. ЭНТЭЭР — это и есть информация плюс коммуникация!..

Так он набирал очки.

Уши у него торчали такие же большие, как и прежде.

Кто бы мог подумать, что из Дудки получится международный деятель. На семинарах ничем не выделялся, соображал туго, типичный слабак, Лазарев называл его точкой отсчета, нулевой отметкой, единицей посредственности, держал его за старательную услужливость. И вот, пожалуйста, — всех обскакал. Как это случилось? Как это вообще происходит? Из каких складывается случайностей? Не был отличником. Не побеждал на

олимпиадах, на студенческих конкурсах, и в итоге, так сказать, жизненного конкурса — оказался впереди. Доктор наук. Научные труды. Книгу написал, подтвердил Корольков. Книга, международная арена, государственные проблемы... Если бы тогда, на семинаре у Лазарева, сказали, что наибольшего достигнет Дудка, — рассмеялись бы... По какой шкале, конечно, считать, что считать успехом, но для самого Королькова это взлет. С каким терпением, с какой милосердной улыбкой отвечал он на ерничанье Кузьмина.

— Да, брат, моя служба не просто тары-бары. Тут свой талант нужен. И представлять достойно, и самим собой оставаться. Я тебе скажу, интересно жить тоже способность, человек, интересно живущий, может принести больше пользы обществу...

— Ладно. Расхвастался, — сказала Аля.

— Я же не про себя, Алечка, — Корольков льстиво хихикнул. — Я про путешествия. Сейчас всем предоставлены возможности. Надо мир повидать. Как сказал один мудрец: пока ходишь, надо ездить...

Неясная полуулыбочка заслоняла ее лицо. Иногда Кузьмину казалось, что она демонстрирует своего мужа, показывает его и так и этак. Уверяет себя, что не ошиблась в выборе. И неказист, и осанист, и скромненький, и на коне. Да и конь, видать, без спотычки.

И снова Кузьмин спрашивал себя: за что Королькову так подвалило? Как действует этот механизм удачи?

А Корольков описывал Бейрут, Токио, Дели.

Разноцветный шар поворачивался, сверкая океанами, огнями ночных городов, и было ясно, что Кузьмин уже не увидит ни японских вишен, ни горячей африканской пустыни. Не успеет. Разве что по цветному телевизору. Жизнь, что всегда маячила еще впереди, оказалась вдруг за спиной. Тайфуны и джунгли детства, заморские небоскребы, зеленоватые айсберги, все мечтания, раскрашенные книгами, снами, прощальной болью, шевельнулись в душе. Глядя на Королькова, он подумал о том, как много пережито и как быстро, и было до слез жаль остатка причитающейся жизни. Он имел в виду жизнь полноценную, без старости, когда еще можно лазить по горам, работать без усталости, любить женщин, подниматься на верхушку анкерной опоры... Тающий этот кусочек жизни словно лежал в его руке, и Кузьмин примеривался и взвешивал, и сокрушался над ним. Вот

она, блистающая сквозь Королькова его иная жизнь, которую ему тоже хотелось бы заполучить.

Ах, Корольков, Корольков, что значит планида, не родись красивым, а родись счастливым. И как это ловко сложилось у него одно к одному — и жена красавица, и большие дела, и большой почет, и никаких забот. Конечно, имеются у него свои хлопоты, но это не заботы Кузьмина, план у него не горит, аварий не бывает, его заботы тоже как бы высшего порядка... Есть такие люди, которым достается все лучшее.

Корольков и Аля переглянулись.

— Эти сласти не для нас, технарей, — с вызовом сказал Кузьмин. — Наше дело маленькое: паяй, включай.

Ясно, что Корольков зашел сюда не случайно, он был в курсе, однако помалкивал, тянул, не хотел начинать первым. Корольков мог ждать. Его устраивала эта демонстрация своих успехов, эта возможность гарцевать, возбуждать зависть и удивление.

Кузьмин упорствовал, они тянули, кто кого пересилит, кто первый откроется, и Аля, мерцая подведенными глазами, бесстрастно наблюдала за ними.

— Как говорят англичане, — рассуждал Корольков, — every dog has his day *.

В такого рода состязаниях Корольков поднаторел, и Кузьмин понял, что придется начать самому, только бы найти нужный тон, такой, чтобы сбить спесь у Королькова.

— Меня опять приобщить пытаются, — начал он неуверенно, полный сомнений, — свалилось тут одно открытие как снег на голову.

— Слышал, слышал... Что-то насчет критериев? Это тот твой завальный доклад? Но я, брат, в этом ни бум-бум. Ну что ж, благословляю. Лучше поздно, чем никогда. То был фальстарт, теперь уж никакой Лаптев больше не помешает! Как сказал Гагарин — поехали! — Корольков подмигнул, словно похлопал Кузьмина по плечу.

Как будто все дело состояло в том, что Лаптев *помешал*. Не сбил с толку, а именно помешал, и Кузьмин отступил, не в силах одолеть помеху. Такая, значит, сложилась версия.

* У всякой собаки есть свой день (радости) (англ.).

— Поехать можно, да только, я думаю, зачем мне это,— лениво, даже свысока произнес Кузьмин и почувствовал, как это действует.— Всякому свое мило...— он не удержался, тоже подмигнул.— На твое местечко это бы я еще согласился — по заграницам пошататься. Так ведь не уступишь? А самому пробиваться — скучно.

— Почему обязательно на мое?

— Потому что послушал тебя — лучше твоей должности нет.

— Это верно,— милостиво согласился Корольков.— Но многое, Паша, зависит от того, как относишься к своей работе. Я, брат, умею любить то, что делаю...

Аля вздохнула и спросила Королькова, договорился ли он с корреспондентом, узнав, что нет, бросила едко: «Ну конечно». Извинилась перед Кузьминым и вышла. Корольков обеспокоенно проводил ее глазами.

— Тянет она меня... точно буксир. Теперь вот в Академию тянет,— с тревогой сказал Корольков, но тут же встряхнулся, расстегнул пиджак, засунул руки в карманы, ноги расставил пошире.— Да, подвалило тебе, брат, выиграл первый приз... Чего уж тут выламываться, ручаюсь: не чаял, не гадал...

— Ты что ж, завидуешь? Всего у тебя полно, да еще бы поболе?

— Пригодилось бы. В самый раз. У меня хоть должность велика, а золотом не очень обеспечена. На бумажных деньгах существую... Но ты не думай, я свое дело умею делать. Есть в этом свой резон: зачем хорошего математика отвлекать на оргработу. Я себе цену знаю. Невелика. Что могу, то могу. Найти себя — это хорошо, но сделать себя — это, Паша, тоже заслуга.

— Ты, значит, сделал?

— Сделал. Не жалуюсь. Я, брат, всего своим трудом добился. Без всяких протекций и озарений. Вот этими,— он поднял руки, помахал перед Кузьминым. Руки у него были большие, грубые, такими бы тросы натягивать, кабели выгибать, и Кузьмин рассмеялся, представив Королькова в этих узких сволочных тоннелях.

Корольков покраснел, шея вздулась, но лицо оставалось приветливым, с той же резиновой улыбочкой.

— Смеешься? Чего ж ты смешного нашел?! Это я бы мог над тобой посмеяться.

— Видишь ли, я-то думал, что у вас голова нужна, способности, а руками... Или это в смысле руководить?

— Ты язык свой придержи. Все беды от языка происходят. Я тебе, Паша, напомнить хочу, что ты мне сказал, когда от Лазарева выпроваживал. Или позабыл?

— Я? Тебе?

— Мне, мне, кому ж еще,— он подозрительно вглядывался в лицо Кузьмина, удивленное, с глупо раскрытым ртом.— Ты жил у них. Я пришел. А ты, при Але, выставил меня...

— Хоть убей не помню.

— Взял меня за грудки и посоветовал обучать дефективных, такая математика, мол, мне по силам.

— Ишь ты, с чего это я взъелся?

— А как же, ты был пуп земли. Сказочный, быстро растущий принц. Залетел в наше болото, соизволил обратить внимание на Алю.

— А-а, вот оно что,— Кузьмин облегченно улыбнулся над всеми ними тогдашними. Он придвинулся к камину, протянул руки к огню, который был лишь изображением огня посредством красных лампочек.

— Еще ты сказал про Алю: не надейся, Вася, не отломится тебе, ищи себе попроще... И это запомнил?

— Да, как-то не врезалось. Сколько, знаешь, было подобных собеседований...

— Шути, шути... А все-таки промахнулся ты, Паша. Еще как. По всем пунктам просчитался. Непростительно при твоих-то способностях. Вот оно, друг Паша, какой оборот приняло. Кто из нас кто? Кто кем стал? Судьба играет человеком!

— Ах ты, граф Монте-Кристо!

— А ты посмотри на себя... Насчет Монте-Кристо не упрощай. Я ведь не злорадствую. Напрасно ты себя утешаешь. Я анализирую.

— Ну, давай, давай.

— Все это, брат ты мой, не случайности. Не то что мне повезло, а тебе нет. Извините, на «повезло» причина есть, существует запрограммированность! То, что в древности называли судьбой, а сейчас — гены. В некоем смысле — закономерность...

Помахивая рукой, он неторопливо прохаживался из угла в угол, как бы диктуя, подчеркивая каждую фразу, потому что каждая его фраза была полна значения, произносилась не зря, и не следовало Кузьмину так уж безучастно сидеть перед камином.

Если тряс за грудки Королькова, значит, были какие-то чувства к Але. Что-то, значит, насчет этой Али трепыхалось.

Опять возник тот молодой Кузьмин, опять совершил подвох. Вел себя грубо, бестактно, а кроме всего прочего непонятно. Чего он, собственно, добивался? И если он выгнал Королькова, то дальше-то что, почему после этого он уехал и словно бы отрубил?.. Что-то при этом забрезжило расплывчатым пятнышком, как дальний выход из тоннеля, как окошко в ночном лесу, скорее предчувствие, чем свет. Если б он мог вспомнить...

Прошрое — казалось, сугубо личная его собственность, — местами было тщательно укрыто от него, недоступно. И странно, что эти темные провалы, эти пустоты для кого-то другого — навсегда врезавшиеся минуты, полные звуков, красок.

Почему-то приблизилось не то, чего он ждал, а угольной лампочкой освещенная передняя Лазаревых. На стене велосипед, дамский, с голубой сеткой. Кажется, Алиной матери. Под ним старинный счетчик Всеобщей Электрической Компании, и что интересно, почему, наверное, и запомнилось: под счетчиком медные круглые амперметр и вольтметр, уцелевшие здесь, очевидно, с начала электроосвещения. Стояла огромная вешалка, увешанная старыми макинтошами, ватниками, еще был плакат: женщина с красным флагом на баррикаде. А у дверей лежала рогожа. И слово-то он это забыл — рогожа! Плетенная из мочалы. Мочалка, с чем в баню ходили. Ничего этого нет, ни мочалок, ни рогож, разве где-нибудь в Коневске, куда ему давно пора съездить посмотреть, как работает новое оборудование...

— ...От меня, представь себе, Паша, кое-что зависит. Ты с этим столкнешься. Я не академик, но могу поспособствовать не хуже. В смысле паблисити. С выходом за рубеж, с выступлениями. На одном Лаптеве ты не вспорхнешь...

— Вот что — Лаптева не троньте! И Але скажи, чтобы Лаптева оставили в покое.

Брови Королькова поднялись, замерли, и вдруг он просиял:

— Правильно! Молодец! Я ведь ей тоже указывал! Понимаешь, Лаптев — гордость нашей математики.

С ним в капстранах считаются. Меня замучают вопросами. Зачем его подрывать, не нужно, давайте переступим личные отношения. Я учитываю — да, ее отец, да, все прочее, но если политически невыгодно? Приходится нам быть политиками... И потом, Лазарев тоже не сахар.

— Чего ж она твоих указаний не слушает?

— В своем отечестве, как говорится, нет пророка.

Кузьмин с интересом посмотрел на Королькова.

— Не признает, значит?

Корольков резко повернулся к дверям, где кто-то проходил, зачес его редких волос сдвинулся, приоткрыв белую плешь.

— Сейчас ты опять изображаешь принца, — обиженно сказал он. — Спустился благодетель-реставратор. Восстановишь имя ее отца. Освятишь своим талантом. Кругом таланты, творцы, создатели, открыватели. Работников нет, зато талантов и поклонников завались.

Тусклый свет там, вдали, усилился, поярчел. Злость веселыми иголочками прошла по груди Кузьмина.

— Позволь, позволь, Вася, что ты там насчет судьбы толковал, в каком смысле ты понимаешь, что это закономерность?

Если Корольков что и почувствовал, то, надо отдать ему должное, не оробел, отвечал твердо:

— В том смысле, что нет в тебе боевитости. Не борец ты. От первой неудачи вянешь. Тебя стукнуть посильнее — и ты готов. Что, не так? Ты в моих условиях, при моих данных застрял бы учителем.

— Хороший учитель — это великое...

— Это мы с тобой сегодня понимаем. А тогда как ты мне сказал про школу дефективных? Ты правильно предупрекал. С одной поправочкой. Ты по себе мерил. Если б тебя лишить способностей... А? Но ты не учел, Пашенька, что зато у меня есть характер. Мне, брат, ничего не доставалось за так. Я за все по высшей ставке платил. У меня на какую-нибудь задачку втрое времени уходило. Впятеро! Задницей брал, но добирался, а принесу — так весь семинар считает, что я случайно решил. Ты привык, что тебе все с неба сыпалось. А я тащил, как муравей. Если бы, конечно, тебя под стекло, охранять от всяких передряг, ты бы расцвел, ты бы развернулся! Но жизнь, брат, тем и хороша, что она и бесталанным шанс дает. Наша жизнь, она... демократична! — Он рассмеялся, довольный найденным словом. — Она не для аристократов.

Для трудяг. Я-то приспособленней оказался, а? Может, это подороже исключительных способностей. И пользы принес не меньше...

Как он торжествовал, этот сукин сын, как он куражился. Не думал Кузьмин, не гадал, когда спрашивал насчет судьбы, что наткнется на такое,— словно осиное гнездо ворохнул. Слова Королькова жалили, одно больнее другого.

— ...Щелкнули тебя в министерстве — скис! Щелкнул тебя Лаптев тогда — скис! Легко ты скисаешь! Дите удачи!

— Бывает со мною это, бывает,— согласился Кузьмин.

...На второй месяц пребывания в министерстве он выступил против проекта Булаховской гидростанции. Не было никакого смысла и никакой нужды разворачивать столь дорогое строительство. Он приводил цифры, опровергнуть их было невозможно, поэтому возражали общими возражениями, потом его вызвало начальство и мягко пожурilo: не с того он начинает свою деятельность, ниспровергать дело нехитрое, а что взамен? Но он же предлагал станцию на угле. Вот и хорошо, сказали ему, защищай свою станцию, выступай за, обосновывай, а против и без тебя хватает.

Но он требовал спора по существу и потребовал доказательств публично, в интервью с одним писателем. Беседу опубликовали в газете, с этого и пошло: вскоре его откомандировали на укрепление, потом на усиление в трест, оттуда на стройку,— и правильно, он вел себя глупо, как бодливый баран.

Наконец он перестал упорствовать, но было уже поздно.

А может, потому и не вернули его, что сдался, может, надо было продолжать борьбу, тем более что сторонники у него появились даже среди проектировщиков. Но он боялся превратиться в сутягу. До каких пор можно или нужно настаивать на своем? Вот тоже проблема. Есть ведь какие-то разумные пределы?

Писатель уверял, что если бы Кузьмин устоял еще месяц-другой, то они победили бы. В ЦК уже склонились в их пользу. Впоследствии писатель написал про это пьесу, об инженере, который выступил подобно

Кузьмину и не сумел додержаться буквально день. На сцене жена обвинила этого человека в малодушии, друг считал, что он погубил дело, все клеймили его, и никто не подумал, что он первый начал, что он боролся сколько мог, что он был смелее их всех. Даже писатель не подумал.

— ...Однако не совсем скисал,— сказал Кузьмин.— Не совсем, если меня снова щелкали. Кто гнется, тот и выпрямляется...

Оправдание ли это?.. Он приехал на Булаховскую за полгода до затопления. Посреди весенней цветущей долины стояла бетонная плотина. Гигантская угрюмая бетонная стена. Перегораживала пахучие поля клевера, перелески, рощи. Все это уйдет на дно. Теперь уже ушло, затянуло илом, тиною. Он был виноват перед этой долиной.

— А ты, значит, без поблажек обходился,— задумчиво протянул Кузьмин,— сам всего добивался?

Он продвигался почти наугад. Еле-еле вспоминалось, как он просил у Лазарева за Дудку, не удалять его из семинара. И насчет Али, когда он увидел, как серьезно для Королькова чувство к Але, и сжалился. Слишком неравны были их силы: этот отставший на курс, какой-то затрушенный, дохлый Корольков — и он, в меховой куртке, широкоплечий, восходящая звезда советской энергетики.

Какой-то был разговор, почти ничего не помнилось, воспоминания растворились, перешли в плоть, в сны, смех, жесты, в невнятную тоску, в жилистую терпеливость, стали частью его самого...

Даже этот Корольков, Вася Дудка, и тот чем-то вошел в него, еще там, в начале пути. Дал возможность проявить свою доброту и щедрость.

— Ах, не все ли равно, Дудка,— размягченно сказал Кузьмин,— и тебя можно носом ткнуть, да неохота мне в считалки играть. Молодость прошла, вот что грустно... Помнишь, как мы пляс устроили в общежитии на Флюговом?

Некоторое время они разглядывали тот буйный вечер, с джазом третьекурсников, и другой вечер, под патефон, их студенческую жизнь с тихой читалкой, с разгрузкой овощей на Сортировочной, с походами на

Карельский, с танцзалом, где вдоль стен стояли девицы, которые не очень-то льстились на студентов... Румба, полечка, буги, русский бальный... Они припоминали наперебой, и Кузьмин растрогался от своей доброты, от жары танцулек и своих партнерш — где они, королевы Мраморного зала и Промки?..

— А ты по-прежнему о себе воображаешь, Паша...

Вот тут-то Корольков и нанес свой удар и засмеялся в лицо размякшему Кузьмину. Не стесняясь, напомнил Корольков ту его уступку, подумаешь, монаршья милость, грош ей цена, плевать он хотел на такие благодеяния, все равно он добился бы Алиной любви, что бы там ни было.

— ...Не преувеличивай ты себя, Паша, от души советую тебе, лапушка, опять можешь промахнуться, потому что пока ты еще величина мнимая. Что ты можешь? Ничего пока не можешь. И двигаться тебе надо осторожно, тебя сейчас любой обидеть может. Но я тебе помогу, так и быть уж...

Щелкнул контакт, и словно что-то в Кузьмине включилось, загорелось. Сам он и не пошевелинулся, но обозначились мышцы, массивная челюсть, разлапистые огромные ноги.

— Ах ты, Дудка, Дудка... Не нужен ты мне. У меня найдутся помощники,— он медленно начал перечислять: — Анчибадзе, Зубаткин, Нурматов,— и оборвал, а потом, едко улыбаясь, сказал: — Обойдусь без тебя. А вот я тебе нужен. Верно?

— Зачем?

— А если я скажу Але, что ты не хочешь помочь мне? — Он подождал и прицельно прищурился.— Нет, напрасно ты так держишься, будто ты лицо независимое. Так что со мной надо по-хорошему. А то у тебя могут произойти семейные сложности.

И самому Кузьмину была неприятна эта улыбка, и подлый его тон, и страх, мелькнувший в глазах Королькова, тут же погашенный фальшиво-воинственным смешком.

— Поверхностные у тебя суждения, Паша, ну да бог с тобой...— И ловко перешел на Анчибадзе и прочих молодых светил, которые ничего не умеют ни провести, ни организовать, вечно напутают...

Из соседней комнаты донесся резкий голос Али. Кузь-

мин спросил быстро, что с записями Лазарева, куда они делись.

— Они у Али,— так же быстро и тихо сказал Корольков.— Я не читал. Честное слово. Она не дает. А что?

Не дает, значит, сама читала, подумал Кузьмин. И вовсе не значит, тут же возразил он, если бы читала, то понимала бы Лаптева, побаивалась бы... Что там было записано у Лазарева? Попросить у Али почитать? А зачем?

Попросить ее или не стоит? Не потому, что боялся отказа, а потому, что не знал, хочет ли он сам прочесть эти тетради, где, наверное, было и его прошлое, и всякие телестные размышления о нем, наблюдения... А может, телестные размышления, тогда тем более горько... И про Лаптева, и про то, как было со Щаповым... Как это прочитается сегодня — в оправдание Лазарева? Или же в обвинение его? Искренность — это же еще не оправдание.

Однажды Кузьмин тоже записывал себя. Надя после ссоры уехала, казалось, навсегда, и он изливал свою душу в тетрадку. Недавно нашел несколько страничек без начала и конца. Он не сразу сообразил, что это про него. Узнал себя только по почерку. Общие рассуждения о любви были банальны, зато некоторые подробности поразили его. Как он вытирал стол старой тряпкой и увидел, что тряпка — остатки Надиной ночной рубашки. Выцветшие красные цветочки напоминали первые месяцы их жизни: солнечные архангельские ночи, как он спал, уткнувшись в ее фланелевое плечо. Тут страничка оборвалась... Ему хотелось узнать, что было дальше... Если бы он записывал хотя бы самое главное, ведь у него была такая плотная, насыщенная жизнь, столько встреч, событий... Но для чего нужны эти записи? Для чего тащить и копить свое прошлое? Он ведь не историк, не писатель, какая же польза от этих записей?..

...Ее энергия захватила, закружила, невозможно было сопротивляться властному ее напору. Распределила роли, втолковала, чтобы не переспрашивать. Организовано все было по-военному четко и абсолютно логично — корреспондент Всесоюзного радио приехал, запись состоится. Сперва Корольков сообщит о ходе конгресса, кто приехал, откуда, значение, размах и всякое такое,

упомянет о докладе Нурматова и перейдет к Кузьмину, представит его, после чего сам Кузьмин ответит на два вопроса. Текст Королькову Аля подготовила, Кузьмину же надо подчеркнуть сочетание чистой науки и инженерной практики, истории вопроса пока что лучше коснуться в самом общем виде...

Можно подумать, что исключительно ее воля свела в узел все случайности, да и не было случайностей, это она заранее рассчитала, и потому свершилось неумолимое... Серые глаза ее блестели. Корольков смотрел на нее с восхищением.

— Вот, брат, у кого учиться надо! А? Министр!

От нее исходил призыв к действию. Она заряжала электричеством, хотелось мчаться, одолевать, что-то совершать — трудное и немедленное. В ее присутствии все становилось достижимо — Всесоюзное радио, и завтрашнее выступление на пленарном заседании, и заморские страны, — вся та жизнь, которую Кузьмин потерял вместе с Алей, — эта жизнь распахнулась перед ним, он мог не хуже этого сочного, бодрого Королькова выступать перед всей страной, налаживать контакты, летать на международных авиалиниях... Знаменитые знакомые, звонкая слава и, разумеется, Аля, которая знала все, что нужно делать, которая любила его и была обязательной частью этой его возможной жизни. А кроме того, тишина, большой стол и чистая бумага — вот что виделось в том варианте прежде всего, — покой одиночества, высокая спинка такого же кресла, такой же камин... Давно все кончилось насчет жажды беспокойной жизни. Чего ему не хватало в эти годы — размеренности, покоя, возможности сосредоточиться; ничего нет отвратительней постоянной, изматывающей суеты, тревог, авралов, того, что преподносят как романтику будней, а на самом деле безобразие, с которым он воюет.

Сидеть и думать — до чего ж это, наверное, приятно. Он смутно помнил то острое наслаждение, что охватило его в зале Публички, когда вдруг появился результат, еще вывод не клеился, а результат уже чувствовался, гладкий, крепкий, безупречно красивый, единственной формы, как желудь...

Сидеть и думать, столько накопилось, например о Лене Самойлове — верный друг его, за которым он ходил до последнего дня, нянчил его, беспомощного паралитика, пострадавшего при аварии на той же Булахов-

ской плотине. Похоронил Леню и с кладбища — в машину и на линию, и некогда погоревать было. Вот уже год прошел — до сих пор времени не найти поскорбеть о Лене, осмыслить смерть его...

Сидеть и думать...

Он смотрел на Алю, на Королькова, стараясь через них увидеть себя в той сказочной райской жизни, от которой отделяло его совсем немного, он мог разглядеть все подробности.

Сидеть и думать, работать головой, чтобы все там ворочалось и скрипело, совершать безумные допущения, формулировать по-новому, бесстрашно замахиваться и пытаться все это, испытывать без снисхождения, без пощады.

...Кузьмин облизнул губы, шмыгнул носом. Щеки его надулись, веки смежились, и лицо сразу поглупело. Почесывая затылок, он забормотал, что выступать перед микрофоном не умеет, и вообще стоит ли упоминать о нем, рановато, ни к чему, в связи с тем и поскольку он не решил для себя в принципе...

— Не решил — что? — резко занесся голос, спросила Аля.

Он проямлил, что, может, лучше не стоит объявляться, засмеялся заискивающе, пытаясь утешить Алю, хотя при этом один глаз его открылся с некоторым удивлением, а другой подмигнул неизвестно кому.

— Та-а-ак,— Аля повернулась к Королькову.

— Я, наоборот, Алечка, я его уговаривал,— поспешно сказал Корольков.

— Что он вам наговорил, Павлик?

Кузьмин ответил не сразу.

— Он ни при чем, дело не в нем.

— Кокетничаешь ты, Паша,— сказал Корольков.— Гордишься. Не строй ты из себя блаженного. Никто не оценит. Наше поколение и так слишком деликатно. Думаешь, твой Нурматов зарыдает от твоей скромности? Да ему только на руку. Они скромничать не станут, они люди деловые, у них не залежится, все пойдет в дело, и твоя нерешительность и доверчивость, им все сгодится.

— Иди, иди,— сказала Аля,— Корреспондент там ждет,

— Ничего, подождет, я сейчас, Алечка, я только хочу показать этому гегемону, насколько он оторвался и недооценивает. Ты, Паша, пойми, наука, научная деятельность будут приобретать все большее значение. Больше, чем твои монтажные работы. Твои работяги — это еще немеханизированные остатки прошлого. Сейчас, брат мой, центр человеческой деятельности перемещается. Из цеха в институт. Активность людей переносится из сферы производства вещей в сферу производства идей...

Он увлекся, в словах его, хотя и произносимых не впервые, прорвалась такая гордость за науку, которой он служил, что Кузьмин поразился, самого же Королькова воодушевило то, что он заставил Алю себя слушать.

— Красивая картина,— сказал Кузьмин.— Ну прямо девятый вал. На нас идет наука! Всюду наука, а нам что остается? Может, посодействуешь, чтобы нам годовой план скостили? Поскольку центр перемещается и грязная наша, бесславная работа не имеет будущего... Эх, Вася, пока вы решаете задачки и выступаете, кому-то надо таскать, строгать...

— Тот, кто на другое не способен, пусть этим и занимается.

— Ты, значит, способен? Ты? Ты богом отмеченный? — Кровь прилила у Кузьмина к голове, забила толчками в висках.— Уж ты бы молчал. А ты на тридцатиметровую опору залезть способен? Полные штаны накладешь!

— Убил! Наповал!

— Кончайте,— отрубила Аля.— Вася, корреспонденту скажи, что с Кузьминым потом... Или нет... Словом, скажи что-нибудь,— прикрикнула она.

Лицо Али замкнулось. Погасли глаза. Осталась грубо размазанная маска с комками помады на запекшихся губах.

Молчали. И раскаяние медленно проникало в Кузьмина: старалась, хлопотала ради него, влетела сюда счастливая, а он вместо спасибо холодной водой в рыло, фанаберию свою распустил.

Стоило бы ей сейчас заплакать, не сдержаться, и он согласился бы, пошел за Корольковым к этому корреспонденту, сделал бы все, что она просила,

...Бедняга, бедняга, как он постарел, опустился. Что за костюм, ботинки круглоносые, старомодные, и эта клетчатая перемятая рубашка. Видимо, привык, и не замечает, что превратился в заурядного технаря, прораба... Бывший Кузьмин. Осталось кое-что в повадке, в манерах, по ним-то и можно признать. А какой был герой, как стартовал... К нему ходили со всего факультета с задачками. Не потому, что так уж быстро соображал, а скорее потому, что красиво у него все получалось. Все у него было красиво, на доске писал и то красиво. Куртка суконная с молниями сидела на нем лучше модных костюмов. Молнии сверкали на карманах, на груди. Это он первый ввел тогда моду носить книги и конспекты, перевязанные ремешком. Корольков, стыдно признаться, и кепку надевал по-кузьмински, сдвинув верх назад. У Кузьмина имелись все данные, чтобы взмыть. Он должен был прославиться. Природа наделила его ростом и внешностью представительной, что, между прочим, играет отнюдь не последнюю роль. Пашка Кузьмин с его широкими плечами, зачесом светлых волос был прямо-таки создан для выдвижения. При всех, как говорится, прочих равных, именно он, на взгляд любого начальника, соответствовал облику руководителя, он имел явные преимущества перед низенькими, толстыми, вислоносыми, перед тихонями и говорунами. И физиономия у него располагала. За таким прежде всяких других хотелось идти и слушаться, такой и для представительства хорош. В начале карьеры Корольков нахлебался по уши, когда какой-то кадровик усомнился, будут ли иностранцы таять при виде Королькова, ему, видите ли, надо, чтобы они ходили под себя от умиления... Даже и ныне Кузьмин, конечно при соответствующем оформлении, тянул на крупного работника Совмина. Властность была и спокойствие, как будто он уверен, что ни одно его слово не пропадет впустую. Господи, на какие сказочные орбиты он мог выйти!

Первые годы Корольков ревниво следил за ним, сам не зная, чего желает: падения или возвышения. Лазарев уверял, что Кузьмин карьерист. Увидел, что в науке быстро не получается, переметнулся в инженерию, надеясь, что через промышленность скорее можно пробиться. Такое объяснение устраивало Королькова, и держалось оно долго, следуя за прерывистым, но неуклонным восхождением Кузьмина, которое, впрочем, как теперь

понимает Корольков, совершалось с некоторым торможением, явно медленнее, чем полагалось в те бедные кадрами послевоенные годы.

История с интервью, вернее, скандал с этим интервью опроверг лазаревские слова. Самого Лазарева тогда уже не было в живых, но вряд ли и он смог бы объяснить произошедшее. Зачем, спрашивается, понадобилось Кузьмину, уже работнику министерства, откровенничать с каким-то писателем и заявлять, что Булаховскую гидростанцию строить невыгодно? И это в конце второго года строительства, которому он должен был содействовать. Корольков сразу определил, что скандала не миновать. С этой новостью Корольков и приехал после долгого перерыва к Але... Министерство это не институт, можно, конечно, отстаивать свое мнение, но весь вопрос — до каких пор, да и тактично ли через печать. Кроме строительства ГЭС Кузьмин еще замахнулся на способ передачи энергии постоянным током, о котором тогда много говорили. При таком несогласии логичнее подать в отставку. На что он, Кузьмин, рассчитывал? Никто никогда не останавливал начатую стройку. Слишком много специалистов должны были бы признать свою ошибку. Факты, которые Кузьмин сообщил писателю, были неопровержимы, и тем хуже было для Кузьмина. Спрашивается, о чем он сам раньше думал? Где он был? Нет уж, взялся, так будь добр, служи честно, тяни до конца и не ной, не жалуйся. Корольков тоже мог бы исхаять свою работу. В заграникомандировках не так уж много хорошего. Ему осточертел душный табачный запах отелей средней руки, с их больничным строем дверей, наглыми швейцарами; бессмысленные приемы, которые устраивали такие же бессмысленные комитеты, где приходилось улыбаться безостановочно, широко, радушно, а ночью от этой улыбки болит лицо и дергаются мышцы рта. А бесчисленные чашки кофе, после которых он мучился изжогой. А заседания, где надо мгновенно отбивать наскоки и выпады, и так трудно сразу найтись, а потом в кровати приходит запоздалый ответ, и от этого ворочаешься и никакое снотворное не помогает. Давно уже он, приезжая за границу, не ходил по театрам, не искал достопримечательностей, ему надоели шоу, стриптизы, музеи. В свободное время он валялся в гостинице, читал детективы. Но он не плакался, ни перед кем не вытряхивал изнанку своей работы. Але и той не жало-

вался. Держался, чтобы все завидовали. И Кузьмин сегодня позавидовал — это Корольков чувал безошибочно. Все завидовали, слушая его рассказы о ЮНЕСКО, о знакомствах, жизнь его выглядела яркой, как на цветных фото, которые он любил показывать: Корольков на конгрессе во Флоренции, Корольков в гостях у Бертрана Рассела, они сидят на террасе старого шотландского дома Расселов, Корольков гуляет по Версальскому парку вместе с известным французским математиком Адамаром. Академики и те с уважением разглядывали эти фото. А вот Кузьмину он не стал их показывать. Побоялся, что ли? От Кузьмина можно было чего угодно ожидать. Но чего бояться Кузьмина? Кто такой Кузьмин? Инженер, каких тьма. Ничего задуманного из его сказки не вышло. Провинциальный неудачник. Опасается нарушить рутину своей жизни, держится за местечко, благо не надо много думать, знай привинчивай и включай, — одни и те же хлопоты, одна и та же техника. С какой стороны бояться Кузьмина, — казалось бы, ни с какой; вдуматься, так он на сегодня ничего собой не представляет. Человек, потерявший веру в себя, хотя и хорохорится, это Королькову было видно насквозь. Какого же черта!

Он знал, что ему мешает, он догадывался.

Как незримая преграда.

Со стороны не видно, что ему не дает перешагнуть, только он сам понимал, откуда выползает проклятая неистребимая робость. Из тех студенческих лет, из того вечера, когда Кузьмин притиснул его к холодной стене в подъезде лазаревского дома... И то, что Кузьмин удивился успехам Королькова, уже не радовало. Скорее было оскорбительно! Шло ведь это от институтских лет, когда Королькова всерьез не принимали. Его порой вообще не замечали. На Карельском, в дюнах, он отстал, потерял ребят, и, когда наконец разыскал их, они раскладывали на траве горячую вареную картошку и Кузьмин спросил, не у него ли соль. Никто и не заметил отсутствия Королькова. Беда в том, что он не может этого забыть. Слишком много он помнит.

Ровно крутились бобины магнитофона. Внутри у Королькова тоже раскручивался записанный набор годных на сей случай фраз. Корреспондент следил за лентой,

которая требовала больше внимания, чем текст. Обычные вопросы, обычные ответы, грамотно расставленные ударения, без запинок и живо, знает, как надо: так читать, будто бы не читает, а говорит. Ученый нового типа: уважает чужое время и ценит свое.

Случай с Кузьминым мог, конечно, оживить его выступление. Украсить. Вызвать в некотором роде сенсацию. То, что Кузьмин волнуется, жметесь — типичное кокетство. Взять и рассказать про Кузьмина — поставить его перед фактом, и никаких кренделей. Потом благодарить будет. В таких случаях чуть столкнуть камешек — и покатится, и загрохочет, и не остановишь.

«Павел Кузьмин, с которым, кстати, мы когда-то вместе учились в институте».

Можно добавить: «Мы рады, что удалось его отыскать».

Или: «Мы рады, что сегодня на конгрессе он участвует вместе с нами... что он предстал как автор...»

Для журналистов это находка, они налетят, специальную передачу закатят. Корольков мог бы представить Кузьмина, прокомментировать. Преподнести происшествие с Кузьминым можно умно и поучительно: человек, в котором уживаются абстрактная наука и производство монтажных работ, сделал открытие и ушел в промышленность, и доволен! Поднять Кузьмина так, что станет он героем! Запросто.

Но почему, спрашивается, он, Корольков, должен делать из него героя, почему он должен возвеличивать его и сам за здорово живешь украшать его перед Алей? Что хорошего сделал ему Кузьмин? Пришел, явился на все готовое, и, пожалуйста, — все встают, овация, степень на блюдечке! А другие геморрой себе наживали, сидя над кандидатской. И сразу же, не разгибая спины, за докторскую. Молодость всю ухлопали...

Сегодня, конечно, Кузьмину можно присуждать без защиты, ему незачем выпрашивать отзывы, трепетать от замечаний оппонентов, заниматься бесконечными правками, мучительно проводить предзащитные недели, когда ждешь в любую минуту — где-то найдут ошибку, и все рухнет, завалится...

За что это Кузьмину такие привилегии, за какие такие доблести?! Если б не Аля...

У Али свой интерес, и она доведет Кузьмина до дела. Жаль, что из-за Али нельзя выдать полным текстом Кузьмину, ох и славно бы перешагнуть всякие соображения и с маху выдать им обоим, не выбирая слов, и Кузьмину, и Але. Пусть она слышит...

Он представил себе это живо, так что запершило в горле. Какая сладость хоть на минутку отбросить высшие соображения, всякую дальновидность, этот проклятый мундир положения, который никак не снять. И ведь дома, с Алей, и то он разучился быть самим собой... С Алей он всегда тоже на цыпочках, Аля человек железной воли, она могла бы командовать армией, могла подводной лодкой, могла быть послом, министром, вождем африканского племени.

Она любого заставит сделать все, что ей надо. Как бы там Кузьмин ни мудрил, ему не вырваться.

Корреспондент поиграл на клавишах переключателей. Магнитофон заговорил голосом Королькова — звучным, наполненным баритоном. Чувствовалось, что говорит без бумажки компетентный, серьезный ученый. Разве можно было догадаться, что творилось с ним, когда он это говорил? В одном месте он запнулся, вместо «Лаптев» сказал «Лазарев», тут же поправился, но корреспондент сказал, что это легко вырезается. Прекрасное устройство, любые оговорки, ошибки вырезаются и удаляются, остается только нужное, разумное.

— Вы ничего не хотите добавить? — Это голос корреспондента.

— По-моему, достаточно,— ответил тот же звучно уверенный баритон, принадлежащий человеку, которого и Аля могла бы признавать, как это делали все остальные.

Она сама его создала и не любила. Он знал это. Хотя она полагала, что он не знает. Она не догадывалась, что он знает. Это было его преимущество, но он никогда не мог использовать его...

V

— Ты счастлива?

У Монетного двора бродили часовые в мокрых блестящих плащах с острыми капюшонами. Площадь перед собором была пуста. Прожектора освещали золотой шпиль и на нем ангела, одиноко летящего сквозь туман.

Ты счастлива?.. откуда пробился этот вопрос, из каких подземных источников, что продолжали струиться меж ними. Какое ему дело — счастлива она или нет. Что ему хотелось бы услышать?

Рука ее в синей перчатке лежала на его согнутой руке... Когда-то с ним было что-то похожее. Они ходили с Алей по Ленинграду, в котором еще не было метро и телевизионной башни, и телевизоров, кажется, тоже не было...

Когда-то точно так же она прижималась бедром, у нее это получалось само собой. Немудрено, что он лапал ее не стесняясь, но и она вела себя будь здоров... Глядя со стороны на ее строгое лицо, и в голову не придет... что она умеет так прижиматься и шептать.

Счастлива?.. Еще бы, сам отвечал он, как все хорошо у нее сложилось... Ему хотелось похвалить ее, дать время отсердиться. И он восхищался ею и Корольковым: смотри, как взлетел, какой стал корифей, наверняка это ее рук дело, искательно предполагал он, надо же уметь обнаружить в Королькове такой алмаз!

Наконец-то она усмехнулась. Ей понравилась его догадка. Мало кто знал, сколько ей пришлось помыкаться и какова ее роль. Корольков не верил в себя, боялся и мечтать о диссертации («Ваша работа, Павлик, да и папа мой тоже добавил»), терпеливо и осторожно она внушала ему, что он способен, что может не хуже других. Не отступаясь ни на один день, она буквально заставляла его писать, действуя и лаской и угрозами, грозила бросить его, зачем ей муж, который не имеет положения, не в состоянии пробиться. Наверное, легче было самой сделать диссертацию.

— Неужели и докторскую вытянула ты?

— И докторскую. Могу из него и член-корра сделать, если возьмусь,— с вызовом сказала она.

— Но докторская... Это же должен быть серьезный вклад...

— Вклад был...— Голос ее колыхнула чуть слышная улыбка.— Что вы, не знаете, Павлик, как это делается? Направили в докторантуру. Им для Ученого совета нужен был доктор. Полагалось. И ставка была. Я говорила: направляют — иди. С кандидатской его тоже подгоняли. У них свой план подготовки. Все должны расти. Ассистент должен становиться научным сотрудником. Король-

ков не рвался. Единственное, чего я добивалась, чтобы он не противился. Делал, что требуют. Мой Корольков еще лучше некоторых других.

— Представляю. Но при чем тут наука?

— Ах, Павлик, не равняйте на себя, у вас иное дело, у вас талант.

Он молчал.

— А на Королькова вы напрасно, он вырос на своем месте, если б вы знали, сколько он пробил для наших математиков изданий, командировок по обмену. Это можно лишь с его упорством. У него характер есть, этого от него не отнимешь. Помните, Павлик, как он у нашего дома дежурил?..

Наконец-то из глубин и поверхности сознания всплыла картина осенней набережной, продрогшая фигура Королькова с поднятым воротником. Всякий раз, возвращаясь к Лазаревым, Кузьмин видел маячившего поодаль Королькова. До поздней ночи горе-кавалер бродил под окнами. Над ним смеялись. Аля потешалась откровенно и зло. На Королькова ничего не действовало. Однажды, рассвирепев, Кузьмин прогнал его, тогда Дудка перешел на другую сторону Фонтанки, стал там ходить, мотаясь взад-вперед, вдоль чугунных перил. Он был трус, слабак, зануда, его постная физиономия изображала страдание необыкновенной личности,— все это смешило Кузьмина, знавшего, что Дудка бездарен, скучен и не имеет никаких надежд на успех. Все преимущества были на стороне Кузьмина. Тем не менее Дудка иступленно продолжал свою безнадежную борьбу. Иногда, обессиленный, он повисал на перилах, тупо глядя в грязную воду. Лазарев боялся, что он утонет. Однажды Кузьмину это надоело. Почему-то все вдруг обрыдло, и он уступил. Или отступил?

Постепенно провалы памяти заполнялись клеточка за клеточкой, как в кроссворде.

— ...чего другого, а настойчивости ему хватает. Если им постоянно руководить. У американцев вышла книга «Роль жен в жизни ученых»...

— Что делает любовь,— сказал Кузьмин.

— Любви не было,— сказала Аля.— Был расчет.

— Он же тебя любил?

— Он — да. А мне было не до любви. И глупо было ждать любимого. Кто я была? Разведенка, учителька. Восемьдесят пять рэ в месяц, маленький ребенок, жила

в одной комнате с больной теткой. Чего мне ждать? Мать-одиночка. Я уже без иллюзий была,

— А Корольков ходил под окнами.

— Примерно так. Во всяком случае, возник и не испугался. Счастлив был, когда я согласилась. Расчет — он умнее любви. И честнее. Любовь с первым моим кончилась пьяными драками да судом. Квартиру потеряла. Нет, для прочного брака любовь не главное. Без нее даже лучше. Я для Королькова старалась, потому что отработывала, в благодарность. Отплатить хотела. — Она подумала. — Да и должна я себя куда-то тратить.

— А он?

— А ты, а он, — передразнила Аля, — я пошла с вами, Павлик, не для исповеди. Что он, ему прекрасно, он считает, что это и есть любовь. Может, он и прав. Любовь разная бывает. Я столько ему отдала, столько возилась, с ним, почти наново сделала, что и самой смотреть — сердце радуется... Так что иногда думаешь... Хотя...

Пауза возникла опасная, зыбкая, как трясина.

Часовые принимали их за любовную парочку: молодые люди, у каждого семья, деться некуда, вот и кружат подальше от людей, в туманном безлюдье крепости.

А ведь могло так и случиться.

Вариант, который еще возможен.

Отлитая, затвердевшая, казалось, навсегда, жизнь податливо размягчалась, позволяя все смять и переделать.

Полосатые тюремные ворота, будки, каблуки по булыжнику...

Тень арки поглотила их и вырезала полукругом Неву, мглистое высвеченное снизу небо, комендантскую пристань. Волна била в гранит. Холодный ветер гулял по реке. Аля прижалась к Кузьмину. Ему захотелось спуститься к воде...

Прыгнуть на осклизлый камень...

Поднять Алю на руки...

— ...Как обидно, Павлик, что папа не дожил и не узнал.

Пружинка волос качнулась у ее виска.

— ...такой триумф...

Или уехать сейчас с ней. Пойти на вокзал и уехать.

— ...почему вы не хотите? Что вам мешает?

— Ничего не мешает, — сказал он, — да этого мало.

— Что вас останавливает?

— Подумать надо, — примирительно сказал он.



— Чего думать? Завтра вечером заключительное заседание, поэтому сейчас надо решать. Нам надо ведь подготовиться. Боже, да за что вы цепляетесь? В крайнем случае назад всегда вернетесь. Такой-то хомут никуда не денется.

— Алечка, почему вы оба, с вашим ученым супругом, так свысока к моей работе...

— Можете со мною, Павлик, без вашего примитивного мужского самолюбия. Вас никто не посмеет упрек-

нуть, вы не сбегаете, вы возвращаетесь к своему званию.

— Слишком поздно.

— Там видно будет, сейчас следует использовать ситуацию, завтра на заседании вам надо сказать следующее...

Завтра ему предстоит встреча со следователем. Голубевская бригада кабельщиков по вечерам халтурила на соседнем заводе. Монтировали кабели. Откуда брали материал? Кузьмин объяснил следователю, что, хотя формально материал можно считать казенным, фактически же это бросовая арматура, захороненная в земле. У бригады свое хозяйство, учет там вести невозможно. Следователь, человек бывалый, понял, что стоимость воронок, муфт, гильз — копеечная, кое-что из дефицита стоило подороже, но и это следователя мало занимало. Его интересовало, знали ли мастер, начальник участка про эту халтуру. Кузьмин, выгораживая ребят, сказал, что он и сам знал. И начальство повыше знало. Не именно про этот завод, а что кабельщики и сетевики халтурят. Почему не запрещают эту халтуру? По многим причинам, прежде всего потому, что всякому предприятию позарез нужна подобная халтура, без нее не обойтись — специальной организации, которая бы вела такие работы, нет... Пока следователь писал, высунув кончик языка, он выглядел простаком, но когда он поднимал глаза, оплетенные тонкими морщинами, было ясно, что ему давно известно многое из того, что рассказывает Кузьмин. Когда Кузьмин предложил съездить на завод убедиться, следователь спросил, нужно ли это, Кузьмин настоял, не обратив внимания на его интонацию. По новому цеху их водил заводской энергетик, также привлеченный по этому делу, испуганный, плохо выбритый человек с еле слышным голосом.

В цеху стояли серебристые камеры для каких-то испытаний, сушильные агрегаты, холодильные, сверкала эмаль, никель. Этот цех выглядел как лаборатория, красивая, чистая, тихая и неработающая. Торчали разведенные концы кабелей, обесточенных, невключенных. Появился директор завода. С ходу он набросился на следователя, грозя жаловаться в обком, в Совет Министров. «Вы срываете выполнение госзаказа! — кричал он. —

Вы ответите!» Ему надо было немедленно пустить этот цех. На любых условиях — отдавайте под суд бухгалтера, энергетика, но разрешите кабельщикам кончить работу. Следователь не соглашался, и директор стал сваливать незаконные действия на своего энергетика. Кузьмин не выдержал, вступился — ведь энергетик хотел выручить завод, он выполнял требования начальства. На это директор, считая, что Кузьмин хочет его «вмазать», заявил, что лично он понятия не имел о подобных махинациях, что он никогда ничего подобного бы не позволил.

Кузьмину было неприятно смотреть на директора; вместо того чтобы замолвить за кабельщиков, директор топил их и заодно и своих людей, так что от поездки никакой пользы не выходило. Следователь не преминул поставить директора в пример Кузьмину — вот как надо блюсти государственные интересы, а не выгораживать халтурщиков. Однако при этом, как бы невзначай, он справился у директора, почему не обеспечили кабельщиков заводским материалом. Ах, на заводе нет, но почему не запросили министерство? Фондированные материалы? Пока выхлопочешь, год пройдет? Значит, директор все же знал? Значит, у энергетика выхода не было? Или был? Вопросы мелькали быстрые, простенькие, и задавал он их с непонятливо-простодушным видом, и вскоре неизвестно как выяснилось, что кабельщики и энергетик хоть и нарушали, но без них дело бы не продвинулось, а директор, тот как раз не способствовал, и сейчас в некотором смысле тормозит, поскольку если со стороны энергетика, как он указывает, есть злоупотребления, то надо заводить настоящее дело... На обратном пути следователь спросил: почему директор себя так ведет? Кузьмин сперва назвал директора трусом, прохиндеем, делягой, но тут же усовестился: директор был заслуженный, прошел огонь и медные трубы, — нет, дело в другом, на его месте, может, и Кузьмин вел бы себя не лучше, потому что держать такой цех под замком никто не может себе позволить... А почему же Кузьмин защищает кабельщиков? Опять же не в силу благородства, разъяснил Кузьмин, а прежде всего потому, что кабельщиков не достать, дефицитная специальность. Вот и приходится цацкаться с ними. Да и выполняют-то они то, что, кроме них, никто не сделает, они действительно выручили завод... Он не стал добавлять, что, как бы их

ни наказывать, ничего от этого измениться не может, сами предприятия толкают их на нарушения. Не первый раз его кабельщики попадались. Да бригадир Голубев и не таился. Похоже, привык к тому, что их отстоят. Они понимали ситуацию не хуже Кузьмина. Сам он вмешивался в крайнем случае. Было неприятно, что при этом тень подозрений ложилась и на него: «круговая порука», «честь мундира» и тому подобное. «Но кому от этого плохо, государство-то выигрывает?» А ему отвечали: «Государство не может выигрывать, если нарушается закон». К счастью, нынешний следователь избегал общих слов. «Все же придется привлечь бригадира», — как бы советуясь, сказал следователь. «Делайте что хотите». — «Что же вы, отступаетесь?» Он промолчал, но завтра Кузьмин скажет: «А меня это уже не интересует». — «Как так?» — «А вот так, я ухожу». — «Куда?» — «Далеко! Я улетаю от ваших дознаний, от взысканий, от наглеца Голубева, которого следовало бы проучить, от летучек, бесконечных бумажек, от хозактивов, от сметчиков, от новых распредустройств, приписок, отсыревшего кабеля, битых изоляторов, от печали вечерней своей опустелой конторы, — я улетаю, я удаляюсь».

— ...Завтра, — говорила Аля, — завтра...

Завтра он может стать недостижимым, уплыть в иной мир, к иным людям. Вдвух паруса, руль поворачивается круче, еще круче...

Камень внизу был мыльно-скользкий, прыгнешь — не удержишься. Прорези окон в крепостных стенах зияли столетней тьмой. Заключенные спали — декабристы, народовольцы, петрашевцы... В Монетном дворе стучали прессы. Готовили ордена и медали. А напротив, через Неву, в саду Мраморного дворца стоял маленький ленинский броневи́к...

— А Лаптев? — сказал Кузьмин. — Прошу тебя, Лаптева не трогай, не надо.

— Пожалуйста. Я согласна. Я вас понимаю, Павлик. Посмотрим, если он вам поможет... — Она наклонилась к нему. — Но все равно свое он получит, — глаза ее были, холодные и темные, как эта река.

— Тогда я не играю, — сказал Кузьмин. — Нет. Не нужны мне ваши утехы, не пойдет, — повторил он с удовольствием,

Он загадал — удержится или не удержится, — но не прыгнул, а спустился с причала на камень, ноги его стали разъезжаться, пока не уперлись в какие-то выступы.

— Зачем мне все это, не нужно, не нуждаюсь! — крикнул он снизу, не то дурачась, не то всерьез.

— Как это глупо, простите меня, Павлик, но другого слова я не нахожу... Пойдемте, здесь ветер.

В темноте арки он взял ее под руку.

— Зачем вы меня мучаете, Павлик?

Он засмеялся.

— Ей-богу, Алечка, неохота.

— Вы боитесь?

— Чего мне бояться?

— Вы, может, сами не понимаете. Вы боитесь отказаться от своего прошлого. Пришлось бы признать, что все было ошибкой. Вся ваша жизнь, со всеми вашими достижениями, все ошибки... Нет, нет, я уверена, все было достойно и дай бог всякому, но не то. Вам полагось другое. Вам надо сказать себе, что вы жили не так, делали не то, занимались не тем, — это, конечно, грустно. Надо иметь мужество...

— Да почему не то? Откуда тебе знать! — воскликнул Кузьмин, теряя терпение. Голос его взлетел, гулко ударился в кирпичный свод арки.

— Знаю, лучше других знаю! — с нажимом сказала Аля. — У вас, Павлик, был талант. А вы его затоптали. Вы не поверили в себя, — ожесточенно твердила она. — Вам завидовали. Вы же счастливчик! Вам достался божий дар! Другие бы все отдали... Если бы Корольков хоть половину имел... Господи, ведь это наивысший акт природы!.. Вы поймите, Павлик, им всем это недоступно, они в глубине души понимают, что положение у них временное, и у Королькова временное, а талант — это вечное. Талант дает удовлетворение, неизвестное им всем... Ну, хорошо, ошиблись вы по молодости, прошлого не изменишь, но зачем же оправдывать то, что произошло. Только потому, что это прошлое ваше? Ах, Павлик, зрелость наступает, чтобы исправлять ошибки молодости. Судьба дает эту возможность, судьба вознаградила вас, Павлик. И меня. Мы с вами наконец дождались...

Раздражала ее выпренность и то, как она прижима-

ла руки к груди. Кузьмин видел, что все это было искренне, и от этого ему становилось еще досаднее.

— Дает, значит, судьба возможность исправиться, да? Образумиться? А он кобенится... А если я ни о чем не жалею? Тогда как? Не раскаиваюсь. И никогда не жалел, моя жалелка на других удивляется,— соврал Кузьмин, но его подмывало выразиться поглубже, да и назло.— Тебя вот жалею. А себя-то за что? Отдельные ошибки, конечно, были, но общая линия совершенно правильная. Я работал, а не языком чесал, как твой Корольков! Твое, между прочим, произведение. На стройплощадке ему красная цена сто тридцать рэ. И будь добр, вкалывай. С утра до вечера, и никаких конгрессов!

— Корольков, между прочим, лаборантом простым работал, получал девяносто рублей. У нас на такой ставке молодые ребята после университета сидят по многу лет. И не жалуются. Уж ученых в корысти грех упрекать. Вы любому предложите двойную ставку и чтобы вместо научной работы пойти счетоводом, монтером, кем угодно — откажется. О нет, ученые — это особые существа! Самые бескорыстные!

— Сухою корочкою питаются? А знаешь, почему не хотят идти монтером? Там давай норму, давай план. Там грязно, шумно, всякие нехорошие слова говорят. Номерок вешай. А у вас чистенько, интеллигентная среда, милые разговоры. Платят меньше, зато под душ не надо. Все, что ни сделаешь, все работаешь на себя, на свою славу. А не хочешь работать — никто не заметит. Вдохновения нет, и все, поди проверь.

— Фу, стыдно слушать от вас, Павлик, такую обывательщину. Не вам бы... Интеллигенцию легко бранить. Они, мол, белоручки, болтуны, они много о себе мнят, они хлюпики, неизвестно за что деньги получают. Наш директор института, он, например, себя считает крестьянином. Это его гордость, обижается, если его называют интеллигентом.

— Скажи своему директору, что крестьянином можно родиться, а интеллигентом нельзя, интеллигент это не происхождение и не положение, это стремление. Свойственное, между прочим, не только научным работникам. На производстве, к твоему сведению, тоже встречаются интеллигенты... Хотя вы считаете инженера, мастера черной костью...— Кузьмин поднял палец, хотел что-то подчеркнуть, да передумал, вздохнул.— А может, ты

права, теперь не тот инженер пошел. Мельчает наша среда, беднеет, сколько-нибудь яркое отсасывают всякие институты, академии.

— Только потому, что у нас кейф, безделье? Так вы утешаетесь? А может, они стремятся на передовую? — Кругом было темно, а в зрачках ее горели бешеные огни.— Мы работаем побольше ваших шабашников! Наши головы ни выходных, ни отпуска не имеют. А что касается грязи, так я, к вашему сведению, каждый год весной и осенью в поле, я вот этими руками в колхозе столько картошки убираю, что всем вашим монтерам хватит. Да, да, кандидаты наук, доценты, лауреаты... пропалываем, и гнилье перебираем на овощных базах, и не ноем. У нас бездельников не больше, чем у ваших... Только у нас воровать нечего. Вот наш недостаток...

— Но это же глупо — хаять друг друга.

— Не я начинала.

Они препирались, все более ожесточаясь, и опять в последнюю минуту, когда Кузьмин понял бессцельность их схватки, но еще не нашел силы уступить, Аля опередила — мягко и виновато поскребла его руку.

— Вы помните, Павлик:

Чужое сердце — мир чужой,—
И нет к нему пути!
В него и любящей душой
Не можем мы войти...

Он вслушивался в эти стихи, пытаясь продолжить их музыку... Знал ли он их когда-то? Читал ей наизусть, или она ему читала?

— ...Вы, Павлик, могли себя чувствовать счастливым, пока не знали... Теперь же, когда есть уравнение Кузьмина... Оно будет существовать независимо от вас. В этом отличие науки. А кто устанавливал выключатели... не все ли равно, никого это не интересует...

Положим, случись что, и весьма даже будут интересоваться. Поднимут документацию.

Она не понимает, что совсем это не все равно, кто устанавливал, кто монтировал. Вот муфты акимовские, кабель акимовский... Этого Акимова он застал уже в самые последние месяцы перед смертью: маленький, с пе-

рекошенным от пареза страшноватым лицом, на котором успокаивающе светились голубенькие добрые глаза. Кабель, проложенный Акимовым, муфты, смонтированные Акимовым, славились надежностью. При аварии смотрят по документам, кто делал муфту; много лет, как Акимов умер, а до сих пор всем известно: если муфта его — можно ручаться, что авария не в муфте. Даже сделанное им в блокаду стоит и работает. Десять лет пройдет, двадцать, и по-прежнему имя его будет жить в уважении. Вот тебе и загробная жизнь,

Но вообще-то...

В Горьком Кузьмина не хотели пускать в цех автоматов, который он монтировал. Никто тут не знал, не помнил, как монтажники там ползали под крышей, по чертовым ходам-переходам, волоча кабель, двести сорок квадрат, а попробуй обведи его нужным радиусом между балками, покорячишься, пока управишься с этой жесткой виниловой изоляцией, только через плечо ее угнешь. Как у него кружилась голова от тридцатиметровой высоты, с детства у него был страх высоты... «Что вам надо?» — спросил по телефону начальник цеха. «Посмотреть? Чего смотреть?» Разве объяснишь. И не доказать было, что именно он монтировал цех, никаких справок не дается... Потом, когда его наконец пропустили, он обнаружил, что цех уже не тот, аппаратуру заменили, поставили новые моторы, только крановое хозяйство осталось на той же тридцатиметровой отметке.

Сколько было таких цехов... А в самом деле — сколько? Он даже приостановился. Штук двадцать наберется, плюс еще подстанции, распредустройства, пульта... Нет, нет, не так уж плохо это выглядит. Если еще нынешний объект вытолкнуть, то считай, второй завод целиком...

— ...Что ж вы, Павлик, из-за того, что Корольков вам не так сказал, из-за этого вы закусили удила?

— Он сказал совершенно точно. Сказал то, что не принято говорить, но все думают: *«Ни на что другое не способен»*.

— Обиделись?

— Нисколько. Я-то способен. Какая тут обида, ты не поняла...

Такое словами не передать. Это пережить надо, когда с нуля начинаешь. Все твое в пустом, чистом, пахнущем известью, краской зале. Ну, не совсем все. Машины, железо устанавливают другие. Но сила, то есть энергия, свет, тепло, движение,— это твое. Первооснова. Азбука. Потом можешь читать что угодно, но вначале кто-то должен выучить тебя азбуке. Об этом первом учителе забывают. У монтажника работа незаметная. Своего монтажники ничего не делают. Они готовое ставят на место. Исправляют чужие ошибки: проектировщиков, строителей, поставщиков. Позавчера хватились — щиты привезли покореженные. Кому приводить в порядок? Монтажникам. Заказчик плохо хранил реле — монтажники очищают ржавчину, окислы, дряют, заменяют контакты. Работяги прекрасно знают, что они не обязаны. И в зарплате теряют, и не выведешь им. Чего проще — не годится реле — гони другое. Не дадите — стоим. Постоим, постоим — уйдем на другой объект. Но почему-то никогда этого права своего не удавалось осуществить! И работяги — эти шабашники, эти халтурщики, эти рвачи, молотки, эти хваты, которые умели качать права будь здоров,— помалкивали, чистили щиты от краски, исправляли реле... Понимали: они не сделают — все остановится, все сроки, планы полетят...

— ...ежедневно я необходим. Без меня не обойтись. И ежедневно есть результат. Видно, сколько сделано. Не отвлеченные цифры, не научные отчеты, что гниют потом годами. Не проекты. И даже, скажу тебе, не то что на заводе: собираешь мотор, толком неизвестно, куда, для чего. А тут все понятно. Любому. Мы последняя инстанция. Финиш для каждой катушечки. Кончили — и пуск. И все заработало, закрутилось...

Нужен он, это точно, ничего не скажешь. Ежечасно. Для всяких okazji. Редко для хорошего. С утра сегодня — агрегат в последнюю минуту перед пуском сменили, и подводка оказалась не на месте. Нарастивать надо, а как ее нарастишь? Места нет. Подать сюда Кузьмина, пусть изобретает, пусть придумает, он начальник, он голова...

— ...Но это по мне. По мне. А у вас... Столько лет математика обходилась без меня, и обойдется. Я не хочу зависеть от своего таланта. Нет у меня таланта...— повторил он, с интересом прислушиваясь к своим словам. Как будто нацелился и выстрелил, ударил снарядом в свой сказочный мраморный город, с тихими улицами, высокими библиотечными залами, с памятниками, мемориальными досками, золотом по белому мрамору...

Взрыв, дым, поднимается белая пыль над руинами. Обломки. Развалины. Колонны Парфенона, камни дворца Диоклетиана в Сплите...

— Если бы ты видела, какую я капусту вырастил, ты бы не стала меня уговаривать.

— Какая капуста? — сухо сказала Аля.— При чем тут капуста?

— Так ответил Диоклетиан, экс-император, когда римские кесари уговаривали его вернуться к власти,— улыбаясь, он смотрел в темное небо.— Слыхала про такую историю?

Ему хотелось уязвить ее, пробить ее высокомерие, ее отвратительную уверенность.

— Почему ты знаешь, что мне надо? Кем я должен быть, по-твоему? Откуда тебе это известно? Ну да, тебе все известно, ты знаешь, как лучше жить... Почему ты не слушаешь, что я тебе говорю?

— Потому что я не верю вам, не верю,— она, поддразнивая, засматривала ему в лицо.— Ни одному слову не верю, все это притворство, все эти мысли, взятые напрокат. Римский император — это же пижонство, это не пример.

— Но почему ты не веришь? Странно... Какая мне корысть притворяться? У меня не будет второй жизни, чтобы говорить правду. И неизвестно, когда мы встретимся еще...

При свете фонаря он увидел, как она съежилась.

— Это... зачем... Какой вы жестокий... Опять вы делаете ужасную ошибку...

Он был доволен, хотя не понимал, что ее так подшибло.

— ...Может, у вас, Павлик, какая-то перспектива? Какие-то планы? На что вы надеетесь? — настаивала она, в отчаянии недоумевая, почему он не раскаивается, почему не приходит в ужас, узнав, что всю жизнь зани-

мался не своим делом, что потерял ее, ибо она была неотделима от его великих деяний.

«Не хочу», — отвечал он. «А я выше этого». «Все это уже было». «Пойми, мне неинтересно». Все эти ответы ничего не разъясняли. Поведение его выглядело загадочно. Или нелепо. От Алиной настойчивости решимость его возрастала. Он ничего не мог поделать с собой. Голос его звучал убежденно, как будто много лет Кузьмин готовился к этому часу, к этому отпору.

— Помните, Павлик, вы уверяли меня, что перевернете горы? Где эти горы?

Наверняка он так говорил. Горы!.. Ах, чудак, — простые наконечники, которые он предложил десять лет назад, и те еще осваивают. Сейчас он мечтает изготавливать контакторы, маленькие, подобно японским, легкие и надежные, — вот какие у него остались горы, совсем не те голубые, сверкающие ледниками исполины, что виделись молодому Кузьмину на горизонте его жизни.

Слова Али все же причиняли боль. Не ту, какой она добивалась, но боль.

Аля судила его, каким знала его тогда. То есть не его, а того мальчишку, за то, что он не совпадает, не поступает так, как должен был бы поступать...

Они вышли к стоянке такси. Машин не было, и людей не было, и не было где укрыться от ветра и мороси.

Он заслонял Алю, она стояла неподатливо прямо. Кузьмин обнял ее за плечи, мягко прижал к себе, и она вдруг охватила его шею, зацеловала его часто, быстро обегая теплыми губами его лицо.

— Павлик, если б вы знали, Павлик, кем вы были для меня все эти годы. Вы всегда присутствовали. Папа перед смертью тоже просил, чтобы я помогла вам. Я знаю, я недостойна, но я втайне верила, честное слово, я так ждала, что этот день придет...

Слова ее ударялись в его щеку, уходили вглубь сотрясением, болью. Было чувство полной власти над этой женщиной — как будто на миг она лишилась судьбы и очутилась на границе между привычным и неизвестным. Она жаждала самопожертвования, достаточно было одного движения, одного слова.

— ...Мне от вас ничего не нужно, Павлик, не бойтесь, я не покушаюсь... Стыдно, что я так надеялась...

— На что?

— ...И ничего не могу найти из того, что оставила.

— Но это же смешно, Аля, я не могу отвечать за твои детские фантазии.

— Вот именно — фантазии. Как просто вы разделились, Павлик.

— Посмотри: я другой, совсем другой человек. Того уже нет, как ты не можешь этого понять. И Корольков другой, и Лаптев, мы все стали другие, не хуже, не лучше, а другие. Это получается незаметно...

«Пришла моя пора, прошла моя пора,— подумал он,— меняется всего одна буква...»

— Почему же, я поняла. Вы, Павлик, всегда были другой. Не тот, за кого вас принимали. Вы оказались куда меньше своего таланта,— при этом она не отстранилась, она продолжала все тем же ласково-льнувшим голосом, только плечи ее закаменели.— Не тому было отпущено. Ошиблись. И я ошиблась, я любила... ах, Павлик, если б вы знали, кого я любила все эти годы. Какой он был, ваш тезка... Талант у вас, Павлик, не стал призванием, вы нисколечко не пожертвовали ради него. Вы доказали, что талант — это излишество, ненужный отрок. Избавились и счастливы. Все было правильно. За одним только исключением, Павлик: будущее-то ваше — оно позади. У вас впереди не остается ничего. Но это мелочь. Вы прекрасно обойдетесь своей капустой. Вместо будущего у вас перспективный план по капусте.— Она отстранилась и посмотрела на него, обнажив в улыбке белые чистые свои зубы.— Не надо делать такое лицо, ничего, ничего, переключите свою злость на производственные показатели...

Никакой злости он не чувствовал. Сырая одежда тяжело навалилась на плечи, тянула его к земле. Он закрыл глаза, асфальт мягко качнулся под ногами. Площадь могла опрокинуться на него вместе с фонарями, газонами и гранитным парапетом. Он крепко взял Алю под руку.

— Со мною надо постепенно...— сказал он, но слова были горькие, связывали рот, и Кузьмин замолчал.

Такси не было. Время тянулось без звуков, движения, тусклая пелена тумана поглощала все. Где-то неслышно, как стрелки часов, ползли тени машин, взбираясь на мост.

Какими извилистыми путями жизнь вывела его к этому вечеру. Он стоял на развилке судьбы. Аля, Лазарев, Корольков... Замкнулось в кольцо то, что он считал не-

значащим эпизодом своей юности, навсегда смытым, стертым... Ан нет, давние, казалось бы, случайные слова, встречи — все они жили, дожидаясь своего часа, рослись...

— Что, по-твоему, выше,— вдруг спросил он,— жизнь или судьба?

Она равнодушно пожала плечами.

— Жизнь выше,— сам себе ответил Кузьмин.

— Вы что же, Павлик, окончательно простили Лаптева? — спросила Аля.

— Я его даже поблагодарил. Думаю, что так будет лучше.

— Кому лучше?

— Всем, нам всем, и тебе тоже,— предостерегающе сказал он.— Твой отец, несмотря ни на что, чтит Лаптева, он сам говорил мне.

Ничего подобного Лазарев не говорил. Но какое это имело значение? Не стоило Але копаться в прошлом, во всяком случае ни к чему ей сталкиваться с Лаптевым. Ради отца и ради Лаптева. Потому что Лаптев в этом вопросе фанатик, он может зайти и не пощадить ее чувств к отцу, и оба они затерзают друг друга. Ложь, правда — когда-то это было так ясно: ложь — дурно, правда — хорошо, всякая правда хороша, правда не может повредить, ложь не может быть оправдана. С годами судить людей стало труднее. Все перепуталось. А судить надо было. Он понимал одно — с демонами прошлого надо обращаться крайне осторожно.

Зайдя в номер, Аля скинула намокшие туфли, привела себя в порядок, надела лодочки, припудрилась и, как было условлено, спустилась в бар, где сидел Корольков с французскими гостями.

Привычные эти действия, привычная обстановка несколько успокоили ее. Французы шумно обрадовались ей, принесли коктейль, она выпила и даже закурила. За столиком обсуждали математиков Бурбаки, потом сравнивали красоту законов Эйлера и Гаусса, смеялись над шуточками Несвицкого. Он, щеголяя своим прононсом, расчесывал бородку, наслаждался всей этой французскостью.

Улучив минуту, Корольков вопросительно посмотрел на Алю, она ответила коротко, так, что он один понял.

«Чудак», — определил он, повеселев, и стал показывать французам свои фотографии.

Если бы она могла вот так же легко и пренебрежительно поставить точку. Сырость и холод медленно покидали ее тело.

Какая-то женщина издали смотрела на нее взглядом, полным зависти. Аля увидела себя ее глазами: со вкусом одетая, окруженная интересными иностранцами, весельем... В молодости она сама завидовала таким женщинам, одетым в чернобурки, с генералами под руку.

Коктейль был густой, крепкий. Аля пила мелкими глотками и ждала, пока внутри отойдет. Общее внимание, милые эти приветливые люди должны были возбудить хорошее настроение. Отлаженный механизм такого настроения обычно заводился легко, однако сегодня что-то не срабатывало. Время шло, а она никак не могла включиться в разговор и видела этих людей отстраненно, как на сцене.

Ее сосед француз улыбнулся ей и под столом положил ей руку на колено. Она не удивилась, она смотрела на него и старалась понять, где же она ошиблась в разговоре с Кузьминым, на каком повороте. Поначалу реагировал Кузьмин вполне нормально, строил разные планы и радовался...

Француз считался одним из светил, за ним всячески ухаживали, но Королькову единственному удалось наладить с ним отношения. Корольков умел становиться нужным. Француз был развязан и бесцеремонен и наверняка полагал, что ей лестно такое внимание...

Неужто Кузьмин думал, что она хочет вернуться к тому, что было? Пожалуй, думал. И струхнул. Бедняга, он не понимал, что все давно кончилось. Женщина не может любить второй раз того, с кем рассталась. А может быть, она причинила ему боль? Может, ему что-то показалось? Она любила в нем первую свою любовь, не больше.

Корольков слушал француза, по-детски округлив глаза, замерев. Что-то он напоминал Але, его немигающий с металлическим холодком взгляд, сморщенная наготове к улыбке переносица. Не сама ли ее, Алю? А что, если она стала похожа на него, как становятся схожи с годами супруги? Подозрительно она вглядывалась в его лицо. Ужасно, если со временем она тоже станет вот так мелко кивать, искательно заглядывать в лицо себе-

седнику. И губы ее обвиснут. Корольков внезапно стал ей противен. «Что же это такое, за что я должна стать похожей на него?» Неотвратимость этого наводила на нее тоску.

Неизвестно почему, мысль ее перекинулась на Надю, то есть можно объяснить почему, но Аля ни за что не стала бы объяснять, она думала о том, правильно ли она сделала, ничего не спросив про Надю, хотя Кузьмин ждал ее расспросов. Что-то ее удержало. Что же это было? Вроде следовало бы намекнуть, каким героем он предстанет перед своими домочадцами. Мужчина прежде всего рад возвыситься в глазах жены. Однако и сам Кузьмин не подумал о семейном честолюбии. И Аля не стала... Не потому ли, что Надя тогда первая уговаривала его выкинуть из головы «лазаревщину». Это она настояла уехать на Север, изображала из себя спасительницу, вылечила, мол, его от губительной страсти. Недаром он скрывал от нее, что останавливался у Лазаревых. С некоторым злорадством Аля вообразила, как Надя примет новость. Оказывается, она не спасла, а загубила талант своего мужа, увела от подлинного назначения. Из-за нее он потерял себя. Всю жизнь его пустила под откос. От такой вины можно руки на себя наложить.

Что же, Кузьмина остановила вот эта боязнь огорчить жену?

Какая заботливость... Аля даже усмехнулась, вспомнила Надю, которая была старше ее на четыре года, низкорослую, с большим круглым плоским лицом, ноги грубоватые...

Неприязненный ее взгляд смутил француза. Он убрал руку и сказал авторитетно:

— Одним людям, кроме таланта, нужен еще и покой, другим — успех у женщин, каждому чего-то не хватает.

Разговоры о таланте были привычны. Она росла в доме, где постоянно обсуждали чьи-то способности, где жгучая зависть к таланту не давала покоя отцу, швыряла его от ненависти к истерическим восторгам, талант считался решающей меркой каждого человека, открытие было оправданием любой жизни. Отец скорбел о том, что дьяволы и чертей истребили и некому запродать свою душу в обмен на талант, он и вправду готов был бы на такую сделку, ни минуты бы не сомневался. Он с силой дергал короткие свои седые лохмы, и Аля пугалась, по-

нимая, что никого, даже ее, отец не пощадил бы, чтобы достигнуть какого-нибудь открытия; ей вспомнилось (наверное, из-за слов Кузьмина), как отец неохотно, прямо-таки корчась, признавал, что Лаптев настоящий, не маргаритовый профессор, при этом нос его бледнел и пальцы скрючивались.

Тайный счет, кто сколько стоит, вел даже Корольков, который обожал звания, должности, списки трудов, но при этом оказывал предпочтение, где только мог «настоящим», опекал молодых гениев, того же Нурматова, какого-то Зубаткина.

Если бы Кузьмин отказался от должности, скажем от кафедры, от профессорства, это еще можно объяснить. Но то, что он, в сущности, отверг талант, то есть признание его таланта, это оскорбляло ее. При чем тут Надя, разве смогла бы Надя перевесить свалившийся на Кузьмина ни за что ни про что неслыханный подарок? Нет, тут тайлось что-то другое, была у него какая-то тайна, какой-то иной, скрытый от нее смысл руководил им.

А может, Корольков прав: глуп Кузьмин, и ничего больше.

И в голову не могло ей прийти, что усилия ее кончатся провалом. Как ни верти, дело-то было верное, как дважды два. Ничего другого, кроме похвалы да спасибо, не ждала, и дальше все железно сцеплялось — Лаптев будет посрамлен, отец оправдан, а там пойдет, покажется, по колеям, своим ходом.

Слава богу, на доводы она не скупилась, со всех сторон заходила, Кузьмин же, как на невидимом поводке, шел, шел — и вдруг на дыбы и ни с места. Уперся в дурацком своем решении, хоть тресни. Ничем не взять. А ведь она умела своего добиваться, с мужиками особенно. Мужика на чем-то обязательно можно если не купить, так уломать, упросить. Сильные мужчины — это легенда, по крайней мере ей не попадались такие, сильные мужчины — девичий миф, сладкая мечта. Может, когда-то они существовали, но лично она убедилась, что мужчины охотнее подчиняются, чем верховодят, что, несмотря на их грозный вид и громкие слова, они слабы душою, они обидчивы, они упрямятся по мелочам, ими так легко управлять, они нуждаются в беспрестанной поддержке, в самоутверждении, в похвалах. И вовсе они не умны, и мужественность свою любят доказывать выпивкой, ру-

гательствами, или же гоняют на машине, как когда-то оняли на лошадях...

У Кузьмина она натолкнулась на силу, с которой никак было не справиться. Не обойти, не перехитрить, все ее подступы не помогали, и она почувствовала себя слабой, беспомощной.

В гостинице, когда они распрощались и Кузьмин спустился по лестнице, она следила за ним сверху. Голова его поднялась, плечи раздвинулись, словно тяжесть какую сбросил, словно поднимался, взмывал большой, свободный. Уходил на волю. Словно бы победитель.

Уязвило это ее чрезвычайно, но сейчас смотрела она на этих французов с вызовом — никто из них не сумел бы так играючи перешагнуть, отринуть, как Кузьмин... И ведь не опомнится, не прибежит назад...

Французы ухватились бы руками и зубами, поведение Кузьмина сочли бы вздором, нелепицей. Они презирали нелепые поступки. Да и Корольков, и она сама не умели совершать ничего нелепого, они всегда спрашивали себя: зачем? для чего? что это дает? И Кузьмина она сейчас судит по принципу «зачем?».

Они все были разумные люди, знали, чего хотели, с ними было ясно и легко. Например, сейчас они жаловались, что ученых у них ценят по количеству печатных работ: чем больше, тем, значит, ученее. Аля им сочувствовала, потому что и у нас творилось подобное. И ее все поняли, когда она сказала, что наряду с наукой растет ее тень — «научность». Получилось уместно и ловко, и все засмеялись, а Корольков с гордостью, и у Али в груди потеплело. Она была среди своих, милых ее сердцу людей. Мыслящих, преданных науке. Надо было знать их братство, чтобы любить их. Постороннему они казались чужаками, вздорными, тщеславными, а ведь все начиналось с них, они отдавали науке самое дорогое — мозг, математика требовала все силы их ума, души, и навсегда. Зато существование их в каждую частицу времени было насыщено... Когда-нибудь Кузьмин поймет, чего он лишился. И не то что когда-нибудь, а отныне он постоянно будет сравнивать... Нехорошо он поступил. Какие бы высокие мотивы он ни приводил, фактически он предал своего учителя. Никуда от этого ему не деться. Отрекся. Неблагодарный, бездушный, ограниченный человек. Бездуховный — вот верное слово, — бездуховный. Из-за этого он такой чужой...

Она залпом допила коктейль, показала глазами Королькову, что он может оставаться, сколько ему надо.

В двухкомнатном люксе ее обступила коврая тишина и тот прочный уют, какой исходит от старинной, тяжелой мебели. С бронзовыми накладками, с мраморными досками. Горел не торшер, а массивная медная лампа под зеленым абажуром. Лампа была из детства, и шелковые шторы с бахромой тоже оттуда. Аля разделась, накинула халатик, прошла босиком по толстому ковру. Из окна была видна мокрая улица, заставленная машинами, напротив — книжный магазин с высокой железной лестницей, раньше тут был продуктовый, и она с Кузьминым за высокими круглыми столиками пили кофе. Кузьмин угощал ее — граненый стакан кофе и булочка с изюмом. Рядом с магазином — кассы Филармонии, дальше, в тумане, темнел памятник Пушкину, окруженный голыми деревьями сквера.

Мне все здесь
На память
Приводит бывое.

Ей захотелось прочесть себе стихи Пушкина, печальные и тягучие, с мерцающим смыслом, от которого всегда сжимается сердце. На память не приходило ничего, кроме отрывков оперных арий. Она не поверила себе, она ведь хорошо знала Пушкина.

Я твой по-прежнему, тебя люблю я вновь
И без надежд, и без желаний...

А дальше забыла, пусто, какие-то обрывки без конца и начала. Все куда-то провалилось. Как же это так, испугалась она, почему?.. Отец лежал обложенный подушками, а она вечерами читала ему стихи, он повторял отдельные строки, и оба они вздыхали, открывая вдруг секрет иного значения этих простых слов.

Щеки, шею ее защекотало, она почувствовала, как жжет глаза, и, поняв, что это слезы, заплакала сильнее. Она плакала, горько и сладостно всхлипывая. Перед ней с обидным откровением открылась простая старенькая истина: времени не воротишь. И прошлого не повторить. Вроде бы все повторилось, и эта улица, и Кузьмин, и она, Аля, а прошлого нет, никак его не составить. Пе-

чальные стога зябнут на скошенных полях. Стога сухого сена, что было недавно цветущим лугом.

Нельзя ни на один миг вернуть те вечера с отцом, сесть в ту качалку, нельзя было снова очутиться в той осени с Павликом Кузьминым, нельзя никаким образом передать отцу, что мечта его сбылась, хотя и не совсем, но что он был прав, прав...

Почему нельзя ничего вернуть, если она, Аля, та же? Почему так несправедливо устроено, так бессовестно? Зачем же все это было? Зачем сохранились чувства? — вытирая глаза, спрашивала она. — Есть ли какой-то смысл в том, что было и что сейчас ожило и снова исчезло?.. Для чего оно появлялось?

Ей вдруг подумалось, как неправильно она живет, что хорошо было бы:

...чтобы он возвращался грузный, усталый, долго мылся в ванной, садился за стол и много ел.

...чтобы от него пахло железом, горелой изоляцией.

...чтобы он брал ребят с собою, показывал им свои подстанции, всякие машины, и в комнатах валялись бы провода, магнитики, катушки.

...чтобы все в доме беспокоились за план, аварии, премиальные.

...работать в школе учительницей.

...ехать за ним в Заполярье. Возиться с этими фундаментами на вечной мерзлоте.

Она готова была бросить все, и знала, что способна на это.

И знала, что приятно так воображать, потому что на самом деле все останется, как было.

И Кузьмин тоже ничего своего привычного не в состоянии бросить. Они одинаково приговорены.

Разница в том, что, очевидно, он имеет нечто большее. Для него существовали какие-то соображения, которые были ему дороже, чем успех, дороже даже, чем талант. Какой-то был у него тайник, преимущество, секрет.

Постукивая кончиками пальцев, она наносила под глаза ночной крем. И вокруг рта. Новый французский крем. Душистый, пахнущий мятой. В полутьме зеркала лицо ее выпукло заблестело, спокойное, словно отлитое из металла. Она сама не могла бы ничего прочесть по

своему лицу. В зеркале отражалась полнеющая женщина с еще красивой грудью, с длинными крепкими ногами, складки на загорелом животе не портили ее фигуры, и талия у нее сохранилась. Она придирчиво разглядывала себя, проверяя, как она выглядела перед Кузьминым. Она должна была ему понравиться. Заплаканные глаза тоже шли ей, жаль, что Кузьмин не видел ее такой. Может, она была слишком уверенной в себе, весьма довольная собой супруга Королькова, занятая украшением своей биографии. Самолюбие его и выиграло, не хотел предстать неудачником, вот в чем фокус, именно перед ней, перед женщиной, которую он упустил, а теперь увидел во всей красе. Теперь приходится изображать, напускать спесь,— мужчины думают, что они сохраняют этим мужское достоинство.

Не упустил, а уступил, и теперь досадно, с досады и уперся.

Утешительная эта версия была сомнительна, зато приятна.

Аля легла, вытянулась между свежими простынями. Та женщина в зеркале еще стояла перед ее глазами, запомнилась, словно встречная незнакомка. Значит, все видят ее именно такой, но ведь это была совсем не та, что существовала внутри, перед умственным ее взором, слабая, одинокая, чего-то ждущая...

Смутные надежды, связанные с Кузьминым, долгое ожидание этого дня — все чувства, которые составляли не известную никому часть ее жизни, только ей принадлежащей,— кончились. Она должна была стать такой, как та, встречная незнакомка в зеркале. Вернуться. О, она отчетливо сознавала все выгоды жизни той незнакомки.

Комфорт этого номера, гостиничный быт, когда завтра не надо ничего готовить, прибирать. Имелось множество утешений. Утром она позвонит своему двоюродному брату, следователю, пусть посоветует, как действовать насчет отца, чтобы восстановить его имя, авторитет. Намеки Кузьмина — пустое, Лаптев чего-нибудь натрубил, все они не любили отца. Недаром он оказался прозорливей всех. За это и травили его. Провидцев боятся. Они чувствовали его дар, завидовали...

Добиваться справедливости придется самой. Рассчитывать на Кузьмина не приходилось. Одинокая это будет и долгая борьба за правду об отце. Ну что ж, не

привыкать, она боец, она сильная, как нахваливал ее Корольков.

Если бы кто знал, как надоело ей быть сильной, добиваться своего, побеждать. Не хочет она побеждать, чего-то достигать, рассчитывать, предвидеть. Опять жить будущим. Она всегда жила либо прошлым, либо будущим. А существовало еще и настоящее. Не короткий миг, а долгое «сейчас», с которым она плыла сквозь этот родной ленинградский туман, в котором были эти жгучие, еще не утихшие слезы.

Завтра, в деловом, говорливом телефонном дне, все это исчезнет. Она сама не поверит, что плакала. Это уже исчезает, не удержать этой тоски, этих сомнений в правоте своей жизни. Было жаль, что она не может побыть еще вот такой же слабой, плачущей, чтобы не находить утешения, печалиться, почувствовать себя несчастной. Приоткроется ли еще когда-нибудь перед ней грусть накошенных стогов времени?

Слишком поздно, подумала она, слишком поздно, чтобы быть несчастной.

Медные светильники пылали, как факелы. Лестница спускалась полого, торжественно. Где-то с площадки Аля смотрела вслед. Кузьмин еще мог вернуться. Ковровая дорожка, зажатая бронзовыми прутьями, падала со ступеньки на ступеньку, каждая ступень была как обрыв, как удар топора. Рубились якорные канаты, скрепы, тросы...

Император Диоклетиан покидал свой престол. Внизу застыли воины, склонив железные копья, у подножия стояли центурионы с белыми лентами, в начищенных панцирях. Его гвардия, где он начинал простым солдатом, прощалась с императором. Диоклетиан отрекался от власти над огромной империей, которую он создал и которую оставлял в зените ее могущества. Пурпурная мантия еще висела на его могучем плече, и диадема — символ властителя империи — сияла на лбу. Он покидал дворец. Он распрощался с преторами, жрецами, авгурами, генералами, префектами, со своими ставленниками Максимилианом, Констанцием и третьим... как его звали? Ах да, Галерий, с гладким и нежным лицом, похожий на Алю. Кесарь Галерий был огорчен его решением больше других, а ведь Галерию он учинил немало позо-

ра, когда заставил его бежать целую милю за своей колесницей. И вот теперь Галерий стоял, кусая губы, не понимая, что случилось, почему император отрекается. Никто не понимал. Болезнь его прошла. Император выздоровел, он был богат, римляне восторженно приветствовали его на улицах, и тем не менее он удалялся. Он уплывал куда-то в жалкую провинцию на берег Адриатического моря. Что намерен искать он там, вдали от великого Рима? Для этих сенаторов, трибунов, властолюбцев, политиков, заговорщиков — для них ничего не значили изъяснения старого философа: не ищи себя нигде, кроме как в себе самом.

Всякие слабаки, нищие, умники и неудачные полководцы придумали это себе в утешение, вместо того чтобы искать славы и власти.

Реальны только власть, деньги и слава. Но власть важнее денег и славы. Диоклетиан отказывался от наивысшей власти. Он так ничего и не разъяснил.

Диоклетиан уходил, он удалялся, не добиваясь, чтобы его поняли.

Ночью, среди подсвеченных развалин императорского дворца в Сплите, Кузьмин рассказывал Наде про добровольное отречение Диоклетиана. Кузьмин забрался по каменной кладке на теплые ноздреватые выступы аркад и громовым голосом бросал вызов богам. Лестница людской славы для императора кончилась. Он достиг высшей ступени. Дальше было небо. Он швырнул свою диадему в сонм богов.

«Получайте. Я достиг, по-вашему, всего, но есть больше, чем власть императора,— это презрение к власти!»

Внизу, на площади, сидели парочки за столиками кафе, бренчала гитара, на рейде мигали огнями корабли польской эскадры, вспыхивал маяк.

Кесари прибыли во дворец уговаривать Диоклетиана вернуться в Рим. А он в ответ повел их в огород показать капусту, которую он выращивал! Кесари молчали. Презрение Диоклетиана оскорбляло их своей беспричинностью...

Надя смеялась, они вернулись на пароход поздно ночью и долго еще стояли на палубе.

Ему нравилась история Рима накануне падения, история России Ивана Грозного, периоды решающие и загадочные. История привлекала его неточностью. Там был простор домыслу.

Они карабкались по скалам, у Нади ноги еще были здоровые. Адриатика доводила ее до слез своей синевой, теплыню, призрачными, дрожащими в густом воздухе берегами...

Лифт, как назло, не работал. Опираясь на железные перила, Кузьмин устало поднимался вместе с императором на пятый этаж. Лестница сборного железобетона гудела под их ногами. Пахло из люков мусоропровода, да еще из ведер для пищевых отходов. Какого черта ты покинул свою империю, Диоклетиан, что тебя ждет?

Ведь не хотел же ты начать сызнава. Восхождение не терпит срывов. Нет, тут что-то другое. Диоклетиан променял свою власть на... На что? Что он получил взамен? В истории цезарей, королей, тиранов редчайший, беспримерный поступок. И никаких объяснений.

В передней они скинули обувь и почувствовали, как отсырели ноги. Тапочек, конечно, на месте не было. Так и живем, дружище император. Ребята спали. Надя, наверное, тоже уснула, и никому не было до них дела. Никто не станет славить твоего отречения, Диоклетиан, бывший властелин, исключенный отныне из истории Древнего Рима... А может, наоборот, может, он выделился из всех императоров, цезарей и прочих владельцев власти и навечно озадачил всех... Но что, если ничего он не хотел — ни озадачивать, ни получать взамен?..

Они развесили набрякшую влагой одежду, пустили горячую воду, заплескались в ванной, смывая с себя промозглость и чад ушедшего дня. Кузьмин докрасна растерся полотенцем, мысли его вернулись к следователю: надо бы рассказать ему про дальневосточную историю, когда этот прощелыга Голубев вкалывал со своими ребятами без роздыха, без жилья, в мороз, на голых сопках неделю, больше, полторы. Если бы он сумел изобразить следователю скрюченные, исковерканные металлические опоры, одну за другой по распадам и вершинам сопки, — страшная картина, которую они увидели впервые в жизни. Ночью оборвалась линия передачи, одна, затем вторая. Города и поселки побережья остались без энергии. Под утро с вертолета Кузьмин увидел масштаб аварии. Гололед рвал тросы, сминал могучие стальные конструкции опор, сворачивал, скручивал их, словно проволочные игрушки. Кое-где высились уцелев-

шие мачты — обросшие льдом белые башни. Ничего подобного Кузьмин не представлял. А кругом тянулись мрачные черные сопки, поросшие бамбуком и стлаником. Гусеничные тракторы, между прочим, и те не могли из-за этого бамбука взбираться на сопки, скользили вниз. В городах прекратилось отопление, лопались трубы, остались без света больницы, погасли печи хлебопекарен. Бедствие разрасталось. Партийные организации мобилизовали все средства, бросили в помощь моряков, учащихся, все передавалось в распоряжение энергетиков. Как они работали!.. Как этот самый Голубев таскал на себе изоляторы, взбирался на четвереньках на сопку, волоча тяжелые фарфоровые тарелки... Ребята Кузьмина были там приезжие, командированные на монтаж линий к рыбозаводу. Они не знали ни этих поселков, ни городов, сидевших без света, никто не знал и их в этом краю. Когда аврал кончился, выяснилось, что некому оплачивать им за эти авральные дни, за неслыханную работу... И ведь никто и не шумел по этому поводу. А Голубев сказал: вот это и есть, ребята, потрудиться на благо родины в чистом виде! Вроде бы не всерьез сказал, но, когда Кузьмин выхлопотал им деньги, показалось, что они чуть разочарованы тем, что ту работу перевели на сверхурочные, аккордные, словом, на обычные рублики. Сейчас звенья тех дней слились, и остались и, видно, уж до конца останутся только заключительные минуты, когда по рации Кузьмин сообщил дежурному инженеру, что провода закреплены, и дежурный инженер сказал, что сейчас подадут напряжение. Под брезентовыми робами они стояли на голой, продуваемой, истоптанной до грязи сопке и смотрели вверх, на провода, как будто там можно было что-то увидеть, кроме низкого, тяжкого неба, где быстро меркнул последний свет и присвистывал ветер. Глаза слезились, словно песок был под веками... Ноги вросли в землю. Чего ждали все эти сонные, усталые, продрогшие линейщики, почему не спускались по гусеничному следу вниз, к машинам, чтобы завалиться спать на дно кузова?

...Это было как толчок, они услышали его, хотя ничего не произошло, они сперва почувствовали включенное напряжение, а потом уловили легкое гудение, но это звучало для них так, словно запели трубы над этими безлюдными, мерзлыми сопками. Праздничный оркестр

шагал по дикому этому небу, гремели барабаны, играли фаготы, тромбоны, шел ток. Ток идет, ток идет! Где-то далеко, на побережье, в домах щелкали выключатели, сотни, тысячи маленьких выключателей, загорались лампочки, вода поднималась в квартиры, вспыхивали телевизоры. Дети смеялись, прыгали, взрослые гасили свечи, коптилки, но ничего этого на сопке не было видно, и даже никто и не пытался представить, вообразить всю эту картину, а был только оркестр наверху, в темном холодном небе, в проводах, играли трубы, и чувство такого полного счастья и оправдания жизни, что даже спустя годы, когда вспоминаешь, теплеет в груди. Со всем не много таких минут набирается в биографии любого человека, зато и хранишь их, как говорится, на черный день. Если бы можно было как-то объяснить Але чувство это, то, может, она и не сочла бы его решение таким нелепым, но вся беда в том, что словами этого не передашь, такое пережить надо, даже не пережить, а прожить вместе с ним, как Надя, перемучиться. Поэтому Аля-то и не могла понять, а может, и Кузьмин тоже поэтому чего-то недопонял из Алиных доводов, может, и у нее есть какая-то своя нажитая правда.

Коридорчик с рванными понизу обоями.

Антресоли, где лежали чемоданы, сбоку кирзовые сапоги, в которых Кузьмин ездил на ильменские объекты. Потрепанный коричневый чемодан. На нем и сидеть было удобно, и класть под изголовье где-нибудь в бесплацкартном вагоне...

Внимательно оглядывал он свою квартиру, словно вернулся из дальнего путешествия.

На книжной полке стояли журналы «Юность», Короленко, сборники «Пути в незнаемое», Андрей Платонов — об этом авторе Кузьмин ничего не знал, — впервые он просматривал книги ребят, удивился, обнаружив здесь Тимирязева и Мечникова.

На кухне приготовлены были для него бутылка кефира и холодные голубцы.

Ничего, кажется, не изменилось, те же кастрюли, банки, ваза с бессмертниками, та же клеенка, стена, исцирканная карандашом, — давно он ее не замечал, пригляделась, — детские проделки младшего сына.

В буфете сердечные капли, наверное Надины. Кузьмин попробовал сообразить, давно ли они здесь. Он вспомнил, что у Нади несколько месяцев побаливает

сердце и о чем-то ее предупреждал врач. Возле тарелки лежал скрученный в трубку бюллетень техотдела с их коллективной статьей о монтаже шин. Кто-то его брал и, видно, вернул, принес.

Капала вода из крана. Пахло укропом и яблоками. Ночью каждая вещь жила для себя, становилась заметной. С высокой чашки улыбались пионеры. Чашку подарил Леня Самойлов. На домашние вещи Кузьмин не обращал внимания, вещи появлялись и исчезали — случайные спутники бивачной его жизни. А вот, оказывается, чашка — не просто чашка, она еще память о Лене, и, глядя на нее, можно припомнить тот день, когда Леня подарил ее, как принес, и какой он был, и где это было. Чашка хранила в себе, оказывается, массу воспоминаний, как живое существо. Без чашки ничего не сработало бы, не припомнилось...

Послышались шаги. Кузьмин подобрал босые ноги. Вошла Надя, заспанная, в халате, присела к столу, жмурясь от света. Зевая, рассказала, кто звонил, про ребят. Сама ни о чем не спрашивала. Смотрела, как ест. Глаза ее, даже заспанные, выделялись на лице резко и сильно. Еще раз зевнула недовольно и протяжно. Кузьмина взяла досада — могла бы поинтересоваться все же, где был так долго.

— Что же, до сих пор заседали? — спросила она равнодушно. — Что это за конференция?

— Математическая, — он достал программу. — Научная.

Она перелистала, скучая.

— Тебе-то там зачем?

— Пригласили.

— Время только терять, — категорично заключила Надя. — Дергают зазря.

Кузьмин не то чтоб улыбнулся, улыбка выскользнула, он не успел ее удержать.

— В самом деле, — она внимательно всмотрелась в него. — Ты-то какое отношение имеешь?

Капля звучно ударила в раковину, и снова, еще громче. В самом деле, думал Кузьмин, какое я имею отношение, я, нынешний... Сон ушел из Надиных глаз. Она обеспокоенно выпрямилась, словно прислушиваясь.

— Это верно, — сказал Кузьмин. — Никакого отношения. Так... забавно было.

— Что забавно?

— Знаешь, кого я там встретил? Лаптева!

Выщипанные брови ее поднялись, кожа на левой, обмороженной щеке натянулась, покраснела. Это произошло в гололед, на Дальнем Востоке, когда Кузьмин заставил ее ждать на сопке вертолет с оборудованием.

— Лаптев... Лаптев... тот самый? Что долбал тебя? Он еще жив? — Она засмеялась, напряжение медленно покидало ее. — Узнал он тебя?

— Кажется.

Она вслушивалась не в слова, а в интонацию его голоса, и это беспокоило его. Он почувствовал, как трудно ему укрыться, она знала все его уловки и приемы.

— Узнал, узнал! Вот оно что... то-то, я вижу, ты не в себе. Ну и что он тебе сказал? Напомнил... И ты расстроился. До сих пор забыть не можешь. Не стыдно? — Она успокоенно зевнула, потянулась, халатик распахнулся, и Кузьмин увидел, как проигрывала она перед Алей. С оптическим увеличением проступили тонкие морщины на шее, блестящие нити седых волос. Набегал второй подбородок. И ему было больно оттого, что она старилась. Потому что эти морщины были его морщины, и ее тело, руки — все это было уже неотделимо от него самого.

«Как моя работа, как прожитая жизнь, или нет — нажитая жизнь. Сменить — значит, наверное — изменить. Как предательски схожи все эти слова...»

Зрение его чудесно обострилось — он увидел мелкие трещины на стене, распухшую больную ногу Нади, синие тромбы на икрах, и в то же время видел мелькающие ее молодые ноги в шиповках над гаревой дорожкой стадиона, он видел следы своих былых поцелуев на ее плечах, на груди, и шрам от грудницы, и следы беременностей и болезней. Ясновидение это было неприятно. Мучительно было видеть себя на коленях, когда он стоял, охватив ее ноги, и молил прощения, и когда она его простила, он нес ее на руках по упруго-дощатому тротуару под огромными морозными звездами и был так счастлив...

Куда ж это подевалось? За что, за что он ее так давно не целует?

Он чувствовал, как от этого странного видения все вокруг меняется, и понимал, что жизнь его тоже должна измениться. Это было странно, потому что он-то как раз старался оставить ее неизменной.

Он поднялся, расправив плечи до хруста, потер глаза, словно бы собираясь спать. Ему хотелось подойти к Наде, обнять ее, но подойти вот так, ни с того ни с сего, оказалось невозможно. С удивлением он обнаружил какое-то препятствие. Что-торосло за эти годы. Искоса он взглянул на Надю: она точно прислушивалась к недосказанным его словам, беспомощно и встревоженно. Но, странное дело, глядя на нее, Кузьмин думал не о том, от чего он заслонил Надю, а чего он лишил ее,—она и не подозревает, сколько бесплатных даров, какая красивая новая жизнь *не досталась* ей... В горле у него запершило, он заставил себя разгладить лоб, разжать губы, сделать веселое и сонное лицо, он поднял Надю со стула, притянул к себе, заново чувствуя ее мягкие груди, ее тело, знакомое каждым изгибом, осторожно поцеловал ее в щеку.

— Ты что? — почти испуганно спросила она.

— Да, да, все правильно,—ответил он невпопад.

Под утро он внезапно проснулся. Кто-то звал его тоненьким мальчишеским голоском: «Па-а-клик! Па-а-клик!» Кузьмин улыбнулся. Он не знал, чему он улыбается, за окнами тьма чуть подтаяла, и можно было еще спать час-другой, тем более что день предстоял хлопотный, без особых радостей. Но он лежал и, улыбаясь, слушал, как босые мальчишеские ноги, шлепая, бегут по высокой траве все дальше и дальше, и детский голос зовет его, замирая в отдалении.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

ЦЕЛЬ ВЫБОРА

Даниил Гранин — прозаик, обладающий незаурядным социальным темпераментом. Во всем его творчестве слышен непосредственный, горячий отклик на вопросы, выдвигаемые как жизнью, так и общим движением литературы. Он не просто публицистичен — он порою раньше публицистики предвидит, предчувствует тему. Отсюда — и его художественная эссеистика, и тяга к документу, которому Гранин привержен, пожалуй, больше, нежели вымыслу. Отсюда — насыщенность злободневнейшими вопросами и его чисто беллетристической прозы.

На первый взгляд, такая непосредственная отзывчивость писателя может показаться разбросанностью интересов.

Действительно, если остановиться, например, только на жанрах, к которым в последние годы обращался Гранин, то жанровые пристрастия писателя окажутся чрезвычайно пестрыми.

Но, замечу, в этой разбросанности есть своя система. И состоит она прежде всего в том, что ни одно из важных социальных движений жизни, ни одно из «качаний» литературного общего маятника не прошло мимо внимания писателя. Конец шестидесятых — семидесятые годы были для Гранина временем активного творческого поиска. Я не могу назвать ни одного писателя, который сравнился бы с ним по разносторонности как проблемных, так и чисто художественных интересов, потому что каждая его повесть обладает своей цельной художественной формой, не похожей на другие.

Возникает даже впечатление, что, когда Гранин нащупывал тему, он — одновременно — нащупывал форму, в которую эту тему надо заключить. Нельзя сказать, что он ее изобретал, эту форму, но он ничего не делал дважды. Он просто-напросто форму — после «обжига» — разбивал. И — делал новую.

Это, может быть, не самый рациональный способ работы. Но самый точный именно для Гранина, потому что теме он всегда старается найти адекватное выражение, заключить ее в самую рациональную, — а значит, единственно точную, — форму. Вот в чем парадокс.

И еще один аспект его творчества, самый, на мой взгляд, важ-

ный: несмотря на такой широкий диапазон пристрастий, в принципе Гранин — писатель одной общей проблемы. Но проблемы в высшей степени многогранной и глубоко содержательной, проблемы, способной дать множество тематических и жанровых вариантов. Проблемы, ставшей актуальнейшей для советской литературы на переломе шестидесятых в семидесятые. Это — п р о б л е м а в ы б о р а.

Небольшое отступление по вопросу хронологии, вопросу частному, но важному с точки зрения общей мысли.

Литературу часто «меряют» десятилетиями. И это, в общем-то, имеет свой резон — критике легче оперировать системой десятилетий, чтобы проследить определенные тенденции в развитии литературного процесса. Но странным и наивным было бы предположить, чтобы литература в своем движении точно совпадала с григорианским летосчислением. И семидесятые годы в нашей литературе, на мой взгляд, начались несколько раньше первого января 1970 года.

Чем же они были характерны для всего процесса литературы в целом? Ответить на это в пределах одного абзаца невозможно; писать общие слова не хочется. В критических статьях и дискуссиях, подводивших итог десятилетию, обращалось внимание на различные, разнохарактерные стороны литературы 70-х. Критики много спорили и о так называемой «литературе эпохи НТР», и о «деревенской» прозе, — противопоставляя ей как литературу о производстве, так и «городскую» прозу, спорили о «прозе быта и бытии прозы», о мифе и притче и о многом другом. Но одно оказалось бесспорным, в одном сошлись: в проблеме личности. Необычайно углубилась — именно в 70-е годы — трактовка человека как личности, имеющей массу измерений. Какие бы жанры, какие бы стилистические направления в прозе 70-х мы ни взяли, мы всегда столкнемся с проблемой человека и его выбора. Ведь нравственность в целом и заключается в решимости человека сделать выбор и в верности этого выбора. Просто, как дважды два четыре. И — невероятно сложно, посложнее самой высшей математики, так как в жизни, в отличие от математики, ничего нельзя исчислить до конца.

Гранин пришел в литературу из техники. Он сам окончил технический вуз, работал инженером, поступил в аспирантуру — и ...стал писать прозу. Так сказать, лирик, получившийся из физика. Первые его вещи — и особенно роман «Искатели» — сразу сделали его имя известным. И среди «физиков», и среди «лириков», чьи «сражения» пришлось на середину пятидесятых, он был своим.

После романа «Иду на грозу», имевшего заслуженный успех, появились произведения, которые можно объединить по тематической близости в определенные циклы. Такими циклами, например, можно увидеть «военные» повести («Наш комбат», «Клавдия Вилор»); повести об ученых, развивающие главную тему Гранина («Кто-то дол-

жен», «Однофамилец», «Выбор цели», «Эта странная жизнь»); повести-путешествия («Сад камней», «Обратный билет»). Не так давно опубликован Граниным новый роман «Картина».

И в каждом произведении взгляд писателя остро нацелен на одну волнующую его проблему; Гранин рассматривает ее почти в упор, досконально, под микроскопом. Главное средство, используемое писателем,—это прежде всего внимательнейший, въедливый анализ, иногда кажущийся почти лабораторным, исследовательским. Возникает порою такое ощущение, что Гранин использует методы, приходящие скорее математике или физике, нежели литературе. Таков, например, нравственный «эксперимент» в повести «Наш комбат».

Действие этой повести развивается сразу в двух временных пластах.

Герой, «я», от имени которого ведется повествование, через два с лишним десятилетия после войны встречается со своими тремя фронтовыми товарищами, с которыми связаны самые тяжкие месяцы ленинградской блокады — с октября 1941-го по май 1942-го. Один из товарищей был тогда командиром его батальона.

Прошло много лет, люди изменились, постарели: «Время стерло и меня. Мы... были стерты до безликих встречных. Каждый из нас ушел в чужие»,— с грустью замечает рассказчик.

И тем не менее память о прошлом очень сильна, тем более память о прошлом героическом, о том времени, когда, воевавшие вместе, они стояли насмерть: «С годами он (комбат.— Н. И.) становился для меня все лучше и совершеннее, я написал очерк о нем, вернее — о нашем батальоне, и о Володе, и о себе, но главным образом я имел в виду комбата. В этом рассказе все были хорошие, а лучше всех был комбат. На самом деле среди нас были всякие, но мне было не интересно писать плохое о людях, с которыми вместе воевал. Через них я изумлялся собственной силе. Очерк мне нравился. Комбата я теперь помнил, главным образом, таким, каким я его написал, хотя я старался ничего не присочинять».

С первых же страниц повести звучит тревожная нота — «тогда» и «теперь». Тогда — война, спайка; прошлое, выросшее в самолегенду о людях необычайной силы и красоты, бесстрашных войнах. Это — правда, которая живет в людях. Тревога вот с чего начинается — он, комбат, поседел, сгорбился, пополнил, в руках болтается какая-то авоська. Несовпадение образа — щеголеватого, «ах какого красивого», стройного, лихого комбата — с теперешним земным, грузным, усталым от жизни.

Романтика войны. И — грубая реальность повседневья.

Все в теперешнем комбате раздражает рассказчика, «все в нем было не то. Все казалось в нем скучноватым, никак не соответствовало, не сходилось с задуманным нами когда-то. И эта обыденность,

вроде бы стертость, запутанная мелкими морщинами от школьных хлопот; эта заурядность неотличимого от всех остальных...»

Гранин как бы выворачивает человека наизнанку, дает нам его полную внешнюю противоположность тому, романтически-прекрасному, героическому. Что сейчас можно разглядеть в этом пожилом человеке от того, прежнего? Да ничего. Тот, прежний, в сознании окружающих, был недосягаем. Это был уже не человек, а — монумент: «За двадцать с лишним лет образ комбата выстроился, закаменел, он поднялся великолепным памятником, который я воздвиг на своей военной дороге, он стал для меня символом нашей героической обороны. А теперь появляется этот самозванец в небесном галстучке...»

Все четверо едут в машине на пятачок, где шли тяжелейшие бои в ту военную зиму 1941/42 года.

Не только сам комбат, его образ, но и образ того времени «забронзовел», стал монументальным в сознании товарищей. И Гранин начинает — вместе с так негероически, неимпозантно выглядящим комбатом — «оттаивать» это время, постепенно приближая к героям повести — и одновременно к читателю — реальные события прошлого.

«Домашность», сугубая штатскость облика комбата программирует и неромантическую «домашность» его поведения. Старым, немодным карандашиком пишет он на мраморном обелиске, поставленном на месте военного кладбища, фамилии погибших.

Вместе с комбатом идут они и к проклятому «аппендициту», вклиненному в нашу оборону укреплению немцев. Этот «аппендицит» штурмовали без конца, без конца ходили в атаку и откатывались, подбирая мертвых. «Аппендицит» отнял лучших.

Сейчас найти его на поле, где ребяташки играют в футбол, на поле, заросшем «вялой, жирной» (страшная деталь!) травой, где «все съедено ржавчиной времени», очень трудно.

Только комбат, с горечью думает рассказчик, помнит дорогу в ту военную зиму. Но, оказывается, комбат помнит не только дорогу. С годами возник в нем новый, глубже мыслящий человек. Он помнит и то, что тогда, в военное время, казалось мелочью, не стоящей внимания, — ну, подумаешь, отобрали молитвенник у верующего солдата!

«— Любой из нас натворил немало глупостей, — сказал я комбату. — Что мы понимали?

Он долго молчал, потом сказал неожиданно:

— Ишь, как у тебя просто. Ничего не понимали, значит — все прощается?»

Для комбата война не кончилась. И он, как человек, отнюдь

не стал «памятником себе», не забронзовел. Да, он изменился, но постоянно в сознании своем возвращается к тем тяжелым испытаниям, судит все по новому, человеческому счету. И этим он сбивает рассказчика с элегически-ностальгического, просветленного тона, лишая его воспоминания флера этакой возвышенности, заставляя взглянуть на прошлую ситуацию иначе. Это раздражает товарищей комбата.

Они тоже постоянно вспоминают прошлое, но скорее как-то легендарно-анекдотически, высвечивая что-то либо безусловно героическое, либо — забавное. «Но кому нужна была точность? Так куда было интереснее — это была одна из тех легенд, которые бродили по фронту... Прошное притирается, обретает ловкий овал...»

Комбат же — не из тех, кого этот «ловкий овал» устраивает. Он — бескомпромиссен в оценке происходившего, которое для него столь реально и живо, что не только не нуждается в приукрашивании — такое приукрашивание оскорбительно. Точность — вот чего хочет комбат. Истина — вот чего он жаждет. И пусть при этом откроется отнюдь не самая приятная правда о неверном расчете комбата, повлекшем страшные человеческие потери.

Тут и заключен главный нерв повествования: частный, казалось бы, вопрос о непродуманном наступлении ведет к проблеме исторической правды. Действительно, что изменится, если все начнут рвать на себе рубаху? Не проще ли, не лучше ли все оставить на своих местах? Ведь люди вели себя героически? Да. Значит, все «соответствовало историческим требованиям»?

«Покушались на нашу навоеванную славу, которая не должна была зависеть от временн, исторических ошибок и всяких пересмотров... все наши подвиги принадлежали легендам», — думает рассказчик. Но комбат «портит» это прошлое — подвергает его мучительному пересмотру, устраивает почти судебный эксперимент!

Сейчас нужна «другая смелость», «смелость без иллюзий, чтобы не бояться пересмотреть свое прошлое». «Неуютные правила» комбата, суд его над самим собой возвышают его неизмеримо по сравнению с тем молодым щеголеватым. Именно теперь, после нелегкого пересмотра, его человеческое величие укрепляется на наших глазах.

Так проблема исторической истины вырастает в проблему человеческого выбора: с кем ты — с истиной или неправдой, пусть даже самой привлекательной, пусть даже легендарной.

Не только военная тема сближает эту повесть с документальной повестью «Клавдия Вилор», но сама трактовка этой темы. Романтика войны уже заземлена Граниным в «Нашем комбате». Здесь же — вообще никакой романтики, никаких украшений. Подвиг — да, однако подвиг в реальном своем обличье — не только высочайшее явле-

ние духа, но и кровь, грязь, страдания, обреченность на мучительную смерть. Подвиг многомесячный, труд подвига, состоящего из множества побед.

Течение повести постоянно прерывают авторские отступления, комментарии. Автор думает вместе с читателем, размышляет на его глазах. Авторский голос, в «Нашем комбате» никак не проявившийся, здесь открыт для нас. Гранин рассуждает о природе подвига, о стратегии войны, вспоминает свою войну. Все это расширяет пределы «единоличного» повествования. Но все же главным в повести остается — подвиг Вилор.

Жертвуя своей жизнью, Вилор поднялась выше самой себя. К ней тянулись люди. Перед ней исповедовались. Ее слушали, она обладала огромной силой убеждения: ее слушались. «Она была выведена за ту незримую черту, за которой кончались все страхи — и ее собственные, и страхи этих людей... Она была выведена из круга страстей человеческих». Ее не только слушались — ее спасали не как человека, как самое идею. Отчаянность ее идейной убежденности, сила ее идейного проповедничества увлекала людей.

Гранин, открыто участвуя в повествовании, тем не менее не ставит всех точек над «і», не делает никаких выводов. Думайте сами.

В «Нашем комбате», несмотря на видимое отсутствие автора и неподтвержденность происходившего никакими документами, авторская позиция была ясной и недвусмысленной.

Здесь же, вроде бы более откровенная, позиция более диалектична.

В центре повести Гранина — духовное подвижничество; «странничество» по оккупированной территории Клавдии Вилор. Главное и единственное оружие, которое у нее есть — это слово во всеобъемлющем понятии исповедуемой и проповедуемой идеи.

Подробно описанное мученичество героини, ее раны, язвы суть тоже испытания ее духа, стойкости и идеи. Да, она так распорядилась собой, своей жизнью. Сделала выбор. Но была ли она права, когда максималистски делала этот выбор за других? Этот вопрос Гранин ставит, но ответа на него не дает. Вернее, нет: он заставляет Клавдию Вилор сегодняшнюю распорядиться собой тогдашней (вспомним комбата).

Максимализм героини по отношению к людям автор несколько смягчает тем, что с тем же предельным максимализмом она относилась к себе, судила себя самым строгим судом.

Но Гранин не хочет облегчать задачу ни героине, ни читателю, ни себе: «Я ничего не сочинял, хотя ничего плохого нет в этом слове, литература — это всегда сочинение, сочинительство. Но, по крайней мере, я пробовал свести тут сочинительство на нет...»

С этими словами перекликаются слова Гранина из его эссе — жанра, включившего в себя элементы повести, статьи-размышления, психологического трактата, — эссе о французском ученом-астрономе и математике Араго («Повесть об одном ученом и одном императоре»): «Не надо было ничего сочинять. Оставалось лишь срифмовать факты, обнаружить их скрытый рисунок».

Гранин пишет повесть как бы на глазах читателя. И очень важен для него сам выбор жанра — основы организации материала. Выбор жанра предварительно определяет тот идейный комплекс, который проявится в произведении. «Сначала мне хотелось написать... назидательную повесть о невероятных похождениях... я вдруг почувствовал нечто большее, чем сюжет приключенческой повести».

Для приключенческой повести в сюжете об Араго было все: стремительные романы с красотками, дуэли, разбойники, инквизиция.

Для размышления писателя — отчетливый выбор поступков, своей «линии поведения», своей собственной судьбы.

Сам Араго, в жизни которого «были... события, когда приходилось выбирать», писал: «Действительно ли люди, занимающиеся отлично науками, становятся равнодушными ко всему, что другие считают счастьем или бедствием, становятся холодными к переменам в политике и нравственности?»

Первой серьезной научной работой Араго была экспедиция по измерению меридиана в Испании. Происходило это в бурное время восстания — испанские патриоты начали «герилью», народную войну за независимость.

«С точки зрения здравомыслящего человека, меридиан не испортился бы, если его покинуть на годик». Но Араго измеряет — «таков был путь Меридиана, не Араго его выбирал». Это тоже — поступок, как определенным поступком было неповиновение императорскому приказу. Строптивый, неудобный, бескомпромиссный Араго подчиняет свою жизнь не приказам, не обстоятельствам, а своей собственной идее: он тоже максималист, и в этом — родной по духу Клавдии Вилор. Гранин не только сочувствует таким героям, он любит их, людей, чье поведение со стороны кажется более чем странным, — кажется лишенным здравого смысла.

Судьба постоянно подкидывает Араго варианты: «У каждого человека есть несколько несбывшихся биографий, эскизы случайно несостоявшихся судеб». Так и Араго мог, выбрав иной поворот, стать полководцем, диктатором, наконец, разбойником... Кажется, самой природой этот красавец был предназначен для другой жизни. Но нет: самым банальнейшим образом он доказывает свою преданность науке.

Очевидно, есть какая-то бóльшая сила, чем сила возможностей, щедро предлагаемых обстоятельствами. Это — сила сопротивления

личности. И вот это-то взаимоотношение незаурядной личности и обстоятельств делает Гранин предметом своего художественного исследования. Жизнь Араго постоянно — на грани смерти, исполнена мучительнейших испытаний, в том числе и духовных. «Где-то в начале пути совершается выбор, казалось бы, незначительный, и вот через годы вдруг предъявляет счет».

В свое время Араго отказался арестовать Бриссо; затем Бриссо задумал освободить Францию от тирана. Много сил потратил Араго на то, чтобы отговорить Бриссо, — донести на него он не мог, но и быть соучастником убийства он тоже не мог. Однако, отговорив Бриссо, он объективно способствовал войне с Испанией, а потом, будучи пленником, сам пожинал плоды посеянного им. Такова диалектика поступка, таков результат незначительного, казалось бы, выбора, влияющего на всю последующую жизнь.

Параллельно, «рифмой» судьбе Араго в повести проходит судьба Наполеона, который считал себя сведущим в естественных науках, мечтал стать ученым, слушал лекции, написал даже трактат о внешней баллистике. «Не будь он императором, — иронично замечает Гранин, — он, конечно, занимался бы математикой или артиллерией, а может, астрономией, но, увы, приходилось быть императором». Перед нами тоже — несостоявшийся, но возможный вариант судьбы, манок выбора. Или — император, или — ученый. И Араго, и Наполеон выбрали не столько свою профессию, сколько свою личность.

После Ватерлоо, после отречения Наполеон вернулся к мысли заняться наукой. Он намерен был вести научные экспедиции в Америке. С истинно наполеоновским размахом он намеревался «насобирать открытий». Нужен был спутник — талантливый и одновременно отважный ученый. Это лестное предложение о сотрудничестве получил Араго. И отказался. Он опять последовал своему давно сделанному выбору.

Что представляет собой Араго без мундира академика? Все тот же ученый с мировым именем.

Что представляет собой Наполеон — не император, не полководец, а просто господин Бонапарт, частное лицо? «Лишенный министров, полиции, солдат — что же останется? Заурядная личность?»

Открытия, сделанные Араго, остаются за ним; выбранная линия поведения — тоже. Араго выбрал прежде всего свою свободу быть истинным человеком и честным ученым. Проблема «ученый и власть» — это проблема стойкости духа.

В «Повести об одном ученом и одном императоре» Гранин подходит к вопросу об образе жизни как результате раз и навсегда сделанного человеком выбора. Обратного пути нет, как бы мы этого ни желали.

Судьба человека, судьба ученого — от чего она зависит? От целенаправленности личности? От силы обстоятельств?

Этот же вопрос ставится Граниным на совсем другом жизненном материале, уже современном, в повести «Эта странная жизнь». Ее герой — известный ученый, оставивший огромное научное наследие, Александр Александрович Любищев.

В самом начале повести лукавый автор тоже (как и в начале повести об Араго) прикидывает, выбирает жанр, а вместе с тем — и дает пунктир своего понимания личности Любищева. Это будет не научно-популярный очерк, хотя повествование не лишено и научных сведений, не приключенческая повесть, хотя и здесь есть своя тайна и свой секрет. Гранин берет реальную человеческую судьбу, реальную личность, хотя и заявляет парадокс: «Факты интересны тогда, когда их необязательно придерживаться». Подлинность, конечно, связывает руки, но необходимо стремиться к достоверности.

И перед нами проходит в высшей степени своеобразная жизнь, насыщенная деятельностью, лишенная внешних примет занимательности.

Тут нет ни Испании, ни разбойников, ни императоров. «Жизнь, прожитая им, — внешне самая заурядная, по некоторым приметам даже незадачливая; с точки зрения обывателя, он — типичный неудачник, по внутреннему же смыслу это был человек гармоничный и счастливый, причем счастье его было наивысшей пробы».

Любищев действительно обладал секретом — «на счет того, как лучше жить». Ученый терпеливо, изо дня в день, осуществлял свой образ жизни, подвижнический и беспрецедентный. Можно сказать, что это человек, возведший жизнь в систему, а систему воплотивший в жизнь. «Подвига не было, — замечает Гранин, — но было больше чем подвиг — была хорошо прожитая жизнь. Странность ее, загадка, тайна в том, что всю ее необычайность он считал для себя естественной».

Любищев умер, образ его как бы отдаляется, застывает; писатель ставит перед собой задачу восстановить это подвижничество духа во всех его противоречиях. Он не ищет в своем герое только «святости», только высоконравственных и положительных начал, «идеального» облика. Любищев прожил достаточно сложную жизнь, чтобы при ближайшем рассмотрении не растаял романтический флер. Писатель пытается представить нам его без всякого ореола — «плохо одетый, громоздкий, некрасивый старик, с провинциальным интересом к разного рода литературным слухам. Чем он мог пленить? Поначалу казалось, что привлекает еретичность его взглядов. Все, что он говорил, шло как бы вразрез».

Но не только своеобразие мышления привлекло в Любичеве Гранина.

Поразила его — и поражает читателя — невероятная величина наследия, оставленного им: написано более пятисот листов разного рода статей и исследований — двенадцать с половиной тысяч страниц научного машинописного текста!

Работоспособность и энергичность его непостижимы. Наследие Любичева состоит из многих разделов, он мог быть одновременно узким специалистом и универсалом с невероятным диапазоном знаний. Но «дело даже не в количестве, — пишет Гранин, — а в том, как, каким образом он этого добивался. Вот этот способ и составлял суть наиболее для меня привлекательного создания Любичева».

Подвиг Любичева состоял в выборе образа, способа жизни. Сейчас, как никогда прежде, человечество жалуется на дефицит времени — его не хватает ни на что: ни на работу, ни на друзей, ни на детей, ни на жизнь. Любичев поставил время под строжайший контроль и учет, каждодневно записывая все временные затраты, ежемесячно и ежегодно подводя времени баланс. Гранин показывает, как Любичев пытался приручить, ухватить, задержать время — и, действительно, как много ему удавалось!

Любичев постоянно хронометрировал себя, подсчитывая не только «стоимость» каждой статьи, но и время отдыха, чтения газет, прогулки.

С молодости, с двадцати лет Любичев (как и Араго!) уже твердо знал, чего он хочет, он жестко запрограммировал, «выбрал» свою жизнь. Но не значит ли это — ограничить, упустить возможности? Нет. Оказывается, «и это примечательно, что судьба Любичева — пример полнокровной, гармоничной жизни, и значительную роль в ней сыграло неотступное следование своей цели. От начала до конца он был верен своему юношескому выбору, своей любви, своей мечте».

Увы, под конец жизни выясняется, что он не выполнил всего намеченного. Неудачник? Может быть. Счастливый неудачник — так это определяет Гранин.

Образ времени, сама его пластичность чрезвычайно важны для Гранина-художника. «Странная жизнь» Александра Александровича Любичева насквозь связана не только с преодолением притяжения Времени, но сила ее в том, что она ни в чем не отделялась от своего исторического настоящего, а, наоборот, существовала с ним в едином ритме.

В одной из своих работ М. Бахтин замечал, обращаясь к творчеству Гёте: «Современность для него — и в природе и в человеческой жизни — раскрывается как существенная разновременность: как пережитки или реликты разных ступеней и формаций прошлого и как

зачатки более или менее далекого будущего». Безусловно, это наблюдение шире своего конкретного адреса.

Связь прошлого с будущим осуществляется через личность человека, через его настоящее. Но фантастический вымысел может поменять времена местами — осуществить временной сдвиг.

То самое время, за которым охотился Любищев, Гранин смещает из реальности в фантастику в рассказе «Место для памятника», но проблема остается той же — человек и время, выбор человеком своего образа жизни.

Гранин четко выстраивает сюжет рассказа «Место для памятника» на чисто фантастической ситуации. Ортодокс Осокин борется с фантомом, с тенью, но с тенью чего-то необычного и великого, коснувшейся его серой чиновничьей жизни, в которой он знал только одно: пустить или не пустить, дать или не дать. Лиденцов, ученый, просивший у него комнату для работы, объяснял свою нужду в площади совершенно невероятно — ему нужно сидеть и думать! Лиденцов, однако, оказался великим ученым, ученым с мировым именем, имеющим свои собственные отношения с временем; человеком, предвидящим будущее. Человек бумажки, обладающий не умом, а исключительно «здравым смыслом», парадоксально — через много лет — способствует возрождению общественной памяти о столь неприятном ему субъекте.

Осокин — это комбат наоборот из повести «Наш комбат». В отличие от того, пристально вглядывающегося в прошлое с целью установить объективную истину, Осокин — человек с «неколебимой убежденностью в том, что все можно отменить, подчинить, исправить — и теорию невероятности, и физику, и будущее, — в сущности, он брался переделывать и прошлое».

Гранин в этом рассказе ищет новые художественные возможности, сочетая фантастику с гротеском, гиперболой. Образ Осокина строится им по законам сатирического изображения. Это — образ, лишенный светотени, вариантов; никаким «выбором» в рассказе и не пахнет.

Сочетать же по законам психологической прозы образ человека «здорового смысла» с образом человека стихийно талантливого, одаренного, как говорится, «от бога» Гранин попытался в повести «Однофамилец».

«Кто-то должен», «Однофамилец», «Дождь в чужом городе» — повести чисто беллетристические, сюжетные, написанные без какого-то ни было документализма. Гранин оставляет здесь свою проповедническую публицистику, прячет свой сильный авторский пафос; вместо открытой читателю творческой лаборатории — поисков жанра на глазах публики — традиционное фабульное повествование.

Наиболее «романична» в ряду этих повестей повесть «Дождь в

чужом городе». Это повесть о любви, о верности, о глубине и искренности чувства, о человечности.

Перед нами впервые (потом это продолжится в романе «Картина») возникает образ провинциального городка Лыкова, в котором и сосредоточивается неторопливо развивающееся действие.

Нет здесь выдающихся физиков, великих открытий, нет спасения человечества, нет шума исторического времени.

Гранин пробует себя в новом жанре — жанре любовной повести.

Но он верен себе, внутреннему пафосу своего творчества: и здесь все проходит под знаком выбора. Выбор совершается сейчас, теперь, может быть, от неверно выбранного пути переменится вся жизнь. Это состояние неустойчивости, нестабильности, недовыбранности человеческих отношений и создает чуть размытую, чуть туманную слегка «чеховскую» атмосферу повести.

Чижегов, человек командированный (он едет из Ленинграда на лыковский завод отлаживать регуляторы, но для Гранина это не суть важно) и семейный (а вот это уже гораздо важнее), заводит роман — можно сказать, от провинциальной скуки. Но этот вполне пошлый поначалу роман перерастает в нечто гораздо большее — в глубокое чувство, только сам Чижегов от него отмахивается, стараясь не принимать ничего всерьез.

Гранин в этой повести отходит от изображения человека идеи, чей выбор был в конечном счете выбором убеждений, формирующих бытовое поведение героя. Акцент перемещается на другое — на выбор повседневной жизни, определяемой выбором чувства.

Чижегов ничего не хочет выбирать сам. Он уже привык к мысли о том, что в его жизни существуют две женщины. На выбор его провоцирует Кира — да и выбрать-то он должен вроде не для себя, а для нее — она получила предложение от хорошего и преданного человека выйти замуж. Как Чижегов решит, так и будет.

Чижегов и любит по-своему Киру, и неспособен взять на себя ответственность за выбор, ответственность за судьбу Киры.

Чижегов — человек «всякий», и Гранин анализирует эту «смутность чувств», приглушенность, неосознанность событий, в которых автоматически не живет, а существует его герой. Только страх потерять Киру выводит его из этого полудремотного состояния, возвращая ему на какое-то время эмоциональную свежесть и восприимчивость. Ему становится грустно за «утлую свою судьбу».

Но самое главное состоит в том, что Чижегов «впервые в жизни... не знал, чего он хочет... Признание Киры сделало все безвыходным».

Странное дело: теряя Киру, Чижегов обретает другое — успех в изобретении, карьеру. Судьба как бы меняет все местами: оболгав и трусливо унизив свое чувство, Чижегов словно продает свою лю-

бовь, свою душу, взамен получая другое. «...В судьбе его с этого времени начали происходить счастливые перемены» — Чижегова после лыковского успеха заметили, оценили его хватку, сообразительность, назначили руководителем группы.

В Чижегове, пробудившемся было к любви, к прекрасному, возобладавший «здравый смысл» — и только временами, мстя за утраченную душу, наваливалась на него тяжелая тоска.

Способен ли современный человек на любовь, на доброту к ближнему своему — так неожиданно для себя ставит вопрос писатель, поверяя этой любовью и добротой все его изобретения и достижения, имеющие внечеловеческую, так сказать, ценность.

Это — новая система отсчета для Гранина, новые ценности в его прозе. «И вдруг Чижегов позавидовал прошлому своему безумию». Это-то «безумие» на человеческих весах стоит больше, чем «правильная, честная, полезная» жизнь, которую ведет сейчас Чижегов. Возможность выбора была, но упущена безвозвратно.

Раньше Гранин знал о своих героях все без остатка, анализировал их, не оставлял ничего не поддающегося причинно-следственному разложению на составные части. Проблема выбора, анализ с помощью выбора — как лезвие для вскрытия человеческих поступков — очень этому способствовали. Человек и его судьба были принципиально познаваемы. Героя можно было и с черпать, взяв, отобрав главное — от несущественного, ненужного, сорного. Даже Любищев при всех своих противоречиях для Гранина — познаваемый герой. Его противоречия выстроены перед читателем в определенном, рационально организованном порядке — не свалены в кучу, мол, разбирайтесь сами.

И противоречия в характере Клавдии Вилор в общем-то поддаются рациональному познанию, исследованию, чем и занимается автор.

С Чижеговым уже иначе. Остается какой-то неучтенный остаток, осадок. Который нельзя уточнить. Классифицировать. Или хотя бы обозначить.

Так, «смутность чувств».

В «Обратном билете», повести-путешествии в собственное детство, Гранин не скрывает своего смущения и — одновременно — радуется этой иррациональности.

«Я вгляделся и обнаружил, что самые близкие мне люди часто таинственны в своих действиях, и я не понимаю, что ими движет. Словно это «черные ящики», я знаю только, что они говорят, что делают, но не знаю почему. А сам я для себя разве не бываю тоже «черным ящиком?»»

«Человек — это тайна», — вспоминает Гранин в этой повести Достоевского.

Полноте, да Гранин ли это?

Рационалист, убежденный «физик», до мозга костей интеллектуал? Не раз чрезвычайно точным и ловким поворотом своего рассказа вскрывавший человека до донышка? Когда ни убавить, ни прибавить?

Да, и это — Гранин.

В «Обратном билете» он отпускает вожжи своего разума — и полагается на память, на ассоциацию, на воображение.

Гораздо более собран, нацелен и энергичен Гранин в своей беллетристической повести «Однофамилец».

Человек здоровой мысли и выверенной годами линии поведения, герой этой повести сейчас — прораб, в прошлом — подававший большие надежды математик. Гранин как бы сталкивает два варианта судьбы в одном человеке — Кузьмин, человек предельной честности и порядочности, движется по жизни, «подхваченный общим потоком». Проблему выбора, проблему поступка, от которого в конечном счете может зависеть вся судьба человека, Гранин анализирует не только через судьбу Кузьмина, но и на судьбе старшего поколения в науке, на судьбе совсем молодых ученых-математиков.

Роман «Иду на грозу», принесший Гранину всесоюзную известность, был написан в романтическом ключе. «В шестидесятые годы мне казалось,— замечает Гранин в своей «Автобиографии»,— что успехи науки, и прежде всего физики, преобразят мир, судьбы человечества. Ученые-физики казались мне главными героями нашего времени. К семидесятым тот период кончился, и в знак прощания я написал повесть «Однофамилец», где как-то попробовал осмыслить свое новое или, вернее, иное отношение к прежним моим увлечениям. Это не разочарование. Это избавление от излишних надежд».

В повести «Однофамилец» Гранин предлагает нам конфликт многосоставный, непростой (хотя и его построение отличает известная умозрительность). Ю. Суровцев, анализируя эту повесть, писал: «Перед нами... внутренняя конфликтность выбора в самоосуществлении себя как творческой личности. Выбор пути может быть и ошибочным, и вот вам один тип конфликта такого рода. Но даже тогда, когда выбор ведет к труду, творчески удовлетворяющему человека, как мы видим в случае с Кузьминым, ситуация и тогда может быть конфликтной, противоречивой...»

На самом деле, кажется, действительно Кузьмин выбрал себя как инженера-монтажника. Но так ли это? Ведь если бы не вмешательство в его судьбу «высших сил» — борьбы «порядочного» Лаптева против «непорядочного» клеветника Лазарева, борьбы, в результате которой Лаптев, не разобравшись в работе Кузьмина, пожертвовал его человеческой и научной судьбой ради гуманных соображений,— то, вполне вероятно, Кузьмин с огромным успехом ре-

ализовал бы себя как математик. В том, что талантливый ученик Лазарева Кузьмин не стал тем, кем мог бы быть, не совершил того, что мог, виноваты не только общественные обстоятельства или выбор самого Кузьмина (до выбора ли ему было!) — виноват прежде всего Лаптев: «Вспомнилась еще одна фразочка Лаптева: «Пусть лучше Кузьмин пострадает от математики, чем математика от Кузьмина».

А получилось, что математика от Кузьмина не пострадала, а от Лаптева пострадала, и Кузьмин незаслуженно пострадал...».

Лаптев, замечательный математик, наделяется писателем нравственной глухотой, ему нет дела до единичной человеческой судьбы, которую он, ничтоже сумняшеся, принес в жертву на алтарь справедливости. И сколько ни будет меня утешать сам Кузьмин воспоминаниями о своей инженерной необходимости и состоятельности, сколько ни будет утверждать критика, что и в технике Кузьмин успешно реализовал свою творческую личность, — печаль о нереализованном, загубленном в зародыше математическом таланте остается. Ведь и из Кузьмина мог выйти ученый не меньшего масштаба, чем Лаптев...

Так от проблемы выбора героем своего пути, (несущественной, на мой взгляд, для повести «Однофамилец») Гранин переходит к проблеме судьбы человека, проблеме осуществления данного ему таланта.

Лаптев «прошлого» как бы олицетворял разумное, рациональное, «математическое» начало. Сейчас он постарел, помудрел, задумался о нравственности, объявил Кузьмину, что «талант бесчеловечная штука», хочет благостного душевного покоя, о «яблоньке», о душе помышляет.

Раньше, в молодости, он все прекрасное и нравственное отдал на откуп математике. Но за торжество справедливости Лаптев боролся безнравственными способами, используя Кузьмина: «Лаптев, конечно, полагал, что он борец за справедливость, но какими методами он боролся — вот в чем суть!» Лаптев реализовал свое понимание справедливости и нравственности в ущерб отдельному, конкретному человеку («Наука не мешает человеку быть подлецом, но подлость мешает человеку быть ученым» — так «красиво» формулирует Лаптев).

Лазарев, с которым боролся Лаптев, — тоже гораздо сложнее обычного, привычного «дельца от науки». Перед читателем возникает человек неоднозначный. Клеветник, сутяга, негодяй... Но «при свете старости» Лаптев задумывается: «Может, Лазарев не просто низкая личность, может, было в нем что-то другое».

Параллельно словам Лаптева о разумной и «математической» справедливости звучит внутренний монолог его «духовного» наслед-

ника — молодого математика Саши Зубаткина: «То, что разумно, то всегда нравственно. Поэтому поступать надо разумно, не поддаваясь эмоциям.

Вот он, Александр Зубаткин, обладал немалыми математическими способностями и, следовательно, имел полное право идти в науку, и прежде многих других. Талант разрешал ему добиваться своего, он действовал во имя своего таланта, он прямо-таки обязан был открыть дорогу своему таланту. Его способности должны были быть реализованы, это было выгодно обществу и науке, и он мог не стесняться в средствах. Он имел всяческое право использовать этого Кузьмина...» (подчеркнуто мной.— Н. И.).

Сложность многослойного конфликта повести состоит в том, что такие понятия, как «нравственность», «талант», «поступок», обнаруживают свою неустойчивую, противоречивую, зависимую от конкретного приложения природу. Вот, например, Кузьмин начинает проповедовать Лаптеву нравственные заповеди («ах, как убедительно у него это получилось!» — иронизирует автор): «Нельзя сводить счета при помощи науки... Наука не терпит никаких комбинаций... В науке нужно думать не о себе, не о своих интересах... Наука требует... Только тот достоин...» и так далее. Автор подчеркивает «начальственную мощь» его голоса.

Но все эти заповеди и проповеди тоже обнаруживают свою беспомощность, оставаясь лишь словами, которые так «принято», по определению Гранина, произносить.

И подчеркнутые Граниным заземленность, практичность, полезность, твердая и неколебимая (никакого «выбора»!) нравственность Кузьмина в повести торжествуют. Лаптев горюет о своей жизни, загубленной «математикой» и «талантом»; Зубаткин мечтает о заслуженной научной карьере; Лазарев злобствует, что ему не удалось победить; Корольков и Аля хотят использовать Кузьмина в своих целях... Каждый из них субъективно прав — и объективно не прав. И Кузьмин лишь ненадолго присваивает себе органически не свойственное ему амплуа «проповедника» нравственных ценностей, вовремя спохватываясь и вспоминая, что и Лаптев-то действовал во имя высших ценностей...

В романе «Картина» Гранин как бы продолжает внутреннюю тему, найденную в «Обратном билете» и «Однофамильце».

Сергей Лосев — тоже «черный ящик» для читателя, человек с внутренней конфликтностью. С одной стороны, перед нами рациональный «управленец», мэр города Лыкова; с другой — человек с душой мятущейся. Рациональность Лосева проверяется сугубо нерациональным — искусством. Картина, которую Лосев приобретает для родного города, постепенно начинает влиять на всю судьбу Лосева, преображает его, меняет его поведение.

Цивилизация и культура — вот к каким категориям движется мысль писателя в романе «Картина». С одной стороны, требования цивилизации, изменения жизни в Лыкове с учетом современных достижений науки и техники, — с другой стороны, проблемы сохранения культурно-исторического облика старинного русского городка. Герои «Картины» разделяются на две стороны, на два лагеря, и только Лосев соединяет в себе и то, и другое — граница проходит по его душе, по его сознанию. И Лосев не выдерживает, и автор не выдерживает столь тяжелой нагрузки на своего героя, — в конце романа Лосева в городе уже нет.

«Смутность чувств», которая мучала Чижегова («Дождь в чужом городе»), мучает и Лосева.

Ему тоже приходится много выбирать на страницах романа — выбирать линию своего поведения буквально по отношению к каждому герою романа, — но перед ним ставится и другая задача — задача совмещать. В конце концов, действительно выбрать невозможно — или культура, или цивилизация; Лосев должен суметь сохранить и то, и другое — и новый комплекс построить, необходимый для развития города, и его память уберечь. Гранин ставит своего героя в ту парадоксальную ситуацию, когда выбор, казалось бы, ничего не решает. Но не решает, так сказать, выбор внешний, — что же касается выбора внутреннего, нравственного, то от него, в конечном счете, зависит вся жизнь, зависит судьба человека.

Писатель, обладающий чувством социальной ответственности, быстро отзывающийся жизни — как публицист и как прозаик, — Гранин настойчиво повторяет идейно-сюжетную коллизию «выбора», столь характерную для прозы «нравственных исканий» семидесятых годов. Но при этом Гранин умудряется не повториться — столь изощрен его интеллект, нацеленный на свежую жизненную проблему, на безошибочный поиск героя (надо признать, что именно в интеллекте сила дарования Гранина). Однако сейчас интересы прозаика сосредоточены не только на проблеме выбора, но и на всем пути человека. В центре внимания — судьба героя, его жизнь, обстоятельства, формирующие его сознание.

И — еще о выборе.

Выбирают не только герои Гранина. Выбирает и он сам, ищет и выбирает постоянно — нового героя, жанр, единственный для данной вещи, отвечающий ее проблематике. Не важно, каким инструментом пользуется художник — эссеистика Гранина, на мой взгляд, не менее увлекательное чтение, чем его беллетристика, потому что именно жанр эссе позволяет нам не только следить за игрой ума автора, но и, побуждаясь к диалогу, участвовать в нем.

Наталья ИВАНОВА.

СОДЕРЖАНИЕ

КТО-ТО ДОЛЖЕН	5
ПОВЕСТЬ ОБ ОДНОМ УЧЕНОМ И ОДНОМ ИМПЕРАТОРЕ . .	78
МЕСТО ДЛЯ ПАМЯТНИКА	111
НАШ КОМБАТ	146
ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ	192
ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ	267
ОДНОФАМИЛЕЦ	317
ЦЕЛЬ ВЫБОРА. <i>Послесловие</i> Н. Ивановой	444

Даниил Александрович ГРАНИН

МЕСТО ДЛЯ ПАМЯТНИКА

Приложение к журналу «Дружба народов»

М., «Известия», 1982, 464 стр. с. илл.

Оформление «Библиотеки» Ю. Алексеевой

Редактор приложения Е. Мовчан

Редактор В. Полонская

Художественный редактор И. Смирнов

Технический редактор В. Новикова

Корректор С. Розенберг



А 06044. Сдано в набор 21.IX.81 г. Подписано в печать 17.II.82 г.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура латинская.
Печать высокая. Печ. л. 14,5. Усл. печ. л. 24,36. Уч.-изд. л. 25,66.
Зак. 1962. Тираж 240 000 экз.

Цена 1 руб. 90 коп.



Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.
Минское производственное полиграфическое объединение им. Я. Ко-
ласа. 220005, Минск, Красная, 23.

**В 1982 году
издается 16 книг
библиотеки**

«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

**А. Ананьев. Годы без войны. Роман. Кни-
ги 1-я, 2-я**

**А. Ананьев. Годы без войны. Роман. Кни-
ги 2-я, 3-я**

В. Астафьев. Последний поклон. Повесть

**Г. Ахунов. Ядро ореха. Романы. Повесть,
Перевод с татарского**

**В. Бээкман. И сто смертей. Романы. Пере-
вод с эстонского**

Д. Гранин. Место для памятника. Повести.

**С. Капутикян. Меридианы карты и души,
Перевод с армянского**

**В. Козько. Судный день. Повести. Пере-
вод с белорусского**

**Т. Пулатов. Завсегдатай. Повести. Рас-
сказы**

**П. Сажин. Севастопольская хроника. По-
весть**

**З. Скуинь. Нагота. Романы. Перевод с л а-
тышского**

**М. Слуцкис. На исходе дня. Роман. Пере-
вод с литовского**

Г. Троепольский. Повести. Рассказы

**О. Чиладзе. И всякий, кто встретится со
мной... Роман. Перевод с грузинского**

**А. Якубов. Совесть. Романы. Перевод
с узбекского**

**Проза молодых. Сборник. К 60-летию об-
разования СССР**

